ТАХАВИ
АХТАНОВ

буран

Scan Kreyder - 28.01.2018 - STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА
ДН
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Сурен Агабабян
Ануар Алимжанов
Лев Аннинский
Сергей Баруздин
Альгимантас Бучис
Константин Воронков
Валерий Гейдеко
Леонид Грачев
Игорь Захорошко
Имант Зиедонис
Мирза Ибрагимов
Алим Кешоков
Григорий Корабельников
Георгий Ломидзе
Андрей Лупан
Юстинас Марцинкявичюс
Рафаэль Мустафин
Леонид Новиченко
Александр Овчаренко
Александр Руденко-Десняк
Инна Сергеева
Леонид Теракопян
Бронислав Холопов
Иван Шамякин
Людмила Шиловцева
Камиль Яшен

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ТАХАВИ АХТАНОВ

буран

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА 1977

С [казахск.]2
А 95

Художник С. ХАЛИЗОВ

А $\frac{70302-057}{074(02)-77}$ 174—77 (подписное)

Тахави АХТАНОВ родился 25 октября 1923 года в селе Карабутак Актюбинской области в семье крестьянина, скотовода-кочевника. В 1932 году семья Ахтановых откочевала в Каракалпакию, но через год они вернулись на родину. Отец Тахави вступил в колхоз, и он смог продолжать учиться в средней школе. Это было трудное, порой голодное время. В 1935 году отец умер, и Тахави приняли в интернат. В 1940 году после окончания школы Т. Ахтанов поступил в Алма-Атинский педагогический институт.

В декабре 1941 года со второго курса института он добровольцем уходит на фронт. Сапер, комсорг батальона, он воевал под Ржевом, в Крыму, в Восточной Пруссии, четырежды был ранен, награжден тремя боевыми орденами и несколькими медалями.

В 1948 году Т. Ахтанов уволился из армии в запас и сразу же активно включился в литературную жизнь республики. Он работает в издательстве, на киностудии, в правлении Союза писателей Казахстана, редактирует журнал «Жулдыз».

Свои первые стихи и очерки Т. Ахтанов начал писать еще в годы войны. Они публиковались во фронтовых газетах. В 1949 году его военные стихи были напечатаны в сборнике «Голоса молодых». Затем Ахтанов обращается к прозе и драматургии. В 1956 году в Алма-Ате выходит его первое большое произведение — роман «Грозные дни» (в издательстве «Известия» в русском переводе он публиковался в 1966 году). В основе романа — боевые действия прославленной дивизии генерала Панфилова осенью 1941 года под Москвой. Т. Ахтанов не стремится здесь показать чисто военную сторону событий, его интересует становление и развитие характеров людей разных возрастов и национальностей, объединенных жестокими и героическими военными буднями. Роман «Грозные дни» явился одним из первых произведений в казахской литературе о Великой Отечественной войне и принес автору заслуженный успех.

В 1960 году выходит сборник повестей и рассказов Т. Ахтанова «Печаль любви». А в 1963 году писатель публикует повесть «Исповедь степи». Это произведение, дополненное и значительно переработанное, легло в основу романа «Буран», удостоенного в 1966 году Государственной премии Казахской ССР имени Абая. За внешне несложным сюжетом, за простотой облика главного героя — и важные события эпохи, и глубокое, тонкое проникновение в духовный мир человека. Роман «Буран» — одно из значительных достижений казахской прозы в области психологического романа.

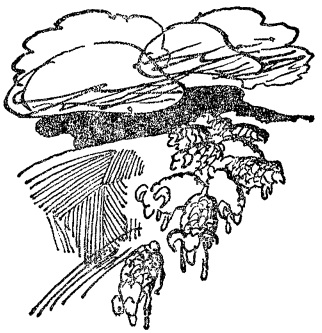
Активно работает Т. Ахтанов и как драматург. Им написано около десяти пьес. В том числе поставленная многими театрами пьеса «Сауле» (1961 г.) — о наших современниках. Одно из последних произведений Ахтанова в этом жанре — драматическая поэма «Клятва».

В этом произведении писатель обращается к событиям сложного и очень важного в казахской истории периода — начала XVIII века. Тогда на территории Казахстана существовало три географически и хозяйственно сравнительно обособленных района — жуза: Старший (область Семиречья), Средний (Центральный Казахстан) и Младший (Западный Казахстан). Но в государственном отношении даже жуз зачастую не был единым целым, не составлял одного ханства. Отсутствие единства создавало благоприятную почву для набегов врагов. Так в начале XVIII века казахские жузы подверглись опустошительным вторжениям джунгаров. 20-е годы XVIII века вошли в казахскую историю как годы великого Бедствия. Один из правителей Младшего жуза, хан Абулхаир, обратился за военной помощью к России. В 1728 году казахи создали мощное ополчение, избрав своим военачальником хана Абулхаира, и нанесли джунгарам серьезное поражение. Но в процессе этой борьбы Абулхаиру и его сподвижникам стала очевидна необходимость принятия российского подданства. Они видели в этом единственную гарантию мира и процветания для казахского народа. Что же касается личных устремлений хана Абулхаира, то, будучи натурой весьма противоречивой, он в определенной мере стремился этим упрочить и собственную власть. Дважды обращается хан Абулхаир к царскому правительству, и наконец в 1731 году императрица Анна Иоанновна подписала жалованную грамоту о принятии Младшего жуза в российское подданство — так началось присоединение Казахстана к России. Несколько дней в жузе шло обсуждение, в итоге большинство старшин, представителей родов, проголосовали за вступление в состав России. Эти события и легли в основу сюжета драматической поэмы Т. Ахтанова.

Тахави Ахтанов — автор большого количества критических и литературоведческих работ. Им написана монография о творчестве Г. Мусрепова (1956 г.), в 1969 году вышел сборник статей «Караван» (Мысли о литературе)». Много сделано писателем и в области художественного перевода. Он переводил на казахский язык Пушкина, Горького, А. Толстого.

В 1972 году вышли написанные в беллетризованной форме путевые очерки Т. Ахтанова «Индийская повесть». Критика справедливо отметила особенность художественной манеры писателя в этом произведении. Т. Ахтанов не просто описывает и дает социальный анализ увиденного — в его очерках чувствуется большая эмоциональная сила, гражданская взволнованность. Поэтому «Индийская повесть» воспринимается как художественное произведение.

Писатель работает в самых разных жанрах. Воспоминания о битве с фашистами на Сиваше легли в основу одного из последних рассказов «Прикосновение». В настоящее время Т. Ахтанов завершает работу над новым романом «Свет очага».



буран

РОМАН

Перевод с казахского В. АКСЕНОВА

1

Тучи на севере угрожающе густеют, чернеют, в воздухе явственно ощущается дыхание мороза, однако Коспан не торопится. Пустив коня пастись, он стоит на косогоре и смотрит на своих овец.

Изголодавшиеся животные быстро и нервно разрывают своими маленькими ножками тонкий слой снега. В эту широкую холмистую степь с самой весны не ступало ни одно копыто, и застоявшаяся под снегом полынь пьянит овец.

«Пай, пай,— тепло думает Коспан, глядя на своих овец,— ешьте, бедняжки, кушайте досыта. За зиму вам не пришлось ни разу набить брюхо до отвала».

Да, нынешняя зима, зима шестидесятого года очень тяжела для Коспана и его отары. Как и прежде, он зимует в Костагане, живет до второго снега в юрте, кочует на дальних пастбищах, хотя и вокруг кошар с лета был хороший травостой.

Пастбище вокруг кошар Коспан бережет теперь, как золото, почти так же, как стог песчаной полыни, скошенной им самим, этот бесценный «энзе». Еще бы! Зима нынче изменчивая, а колхоз вдруг ни с того ни с сего принял обязательство резко увеличить поголовье. Проблемы остались те же — не хватает ни кошар, ни чабанов, не заготовлены корма, а к отаре Коспана еще с осени прибавили триста ягнят.

С ягнятами хлопот полон рот. Чуть только задует низовой ветер, их уже не выгонишь из кошары. Они жалобно блеют и бросаются к чабану, словно голодные дети к матери. И что же? Заветный стог сена тает, как снег под солнцем.

Впереди еще долгая зима, выход только один, и вот Коспан, пользуясь установившейся погодой, уходит с отарой в далекую Кузганскую степь. Подпаска своего Каламуша он отправляет на центральную усадьбу в колхозную лавку, а дома, на зимовке, остается с ягнятами его жена Жанель.

...Угрожающе темнеет небо. Коспан пытается заглушить тревогу, успокаивает себя, пытается обмануть свое чутье опытного чабана.

— Изменился, изменился климат за последние годы,— бормочет он себе под нос.— Предсказать погоду стало почти невозможно, даже самые дошлые аксакалы стали ошибаться. Иной раз завьюжит и среди ясного неба, а то самые тяжелые тучи проходят без беды.

Жалко Коспану своих овец — пусть хоть раз поедят вдоволь.

Коспан послал своего подпаска в колхозную лавку неспроста. Председатель колхоза Кумар на днях сообщил ему: «Готовься, Коспан, ждем большого гостя. Касеке собирается побывать на отгонах».

Касеке — так почтительно зовет народ Касбулата, одного из главных руководителей района. Если уж Касбулат выехал на отгоны, он не минует отары Коспана. Давняя дружба связывает простого чабана с его бывшим фронтовым командиром. Разумеется, дружба эта скреплена кровью, общей опасностью, общей борьбой, но существует между ними еще какое-то особое взаимное тяготение, какое-то душевное влечение, и это несмотря на то, что и на войне и после их разделяла субординация. Коспану всегда казалось, что важный начальник Касбулат придает какое-то особое значение своим визитам к нему, что он как-то по-особенному дорожит их дружбой. Что касается самого Коспана, то он для дружбы открыт всегда.

Обычно Касбулат выпрыгивал из газика с легкостью, удивительной для его грузноватой коренастой фигуры,

широкими шагами шел к дому, весело кричал во все горло:

— Эй, Верзила, почему не встречаешь гостей? Три наряда вне очереди!

Матовое округлое лицо его светилось неподдельной радостью и добротой, он крепко жал руку Коспану, окидывал его с головы до ног цепким взглядом маленьких черных глаз, входил в дом и снова кричал:

— А ну, Жанель, мечи что ни есть из печи!

Для одинокой, живущей в безлюдной степи семьи чабана всякий гость событие, приезд же Касбулата вносил особое обостренное оживление, дыхание большого мира входило в дом. Такой большой человек запросто к нам. Он наш друг! Было в этом даже что-то невероятное, не совсем естественное, они это чувствовали, но старались не показать своей неловкости.

Впрочем, не всегда между Коспаном и Касбулатом были такие безоблачные отношения. Было время, когда Коспан не смел поднять глаза на друга, да и Касбулат старательно отводил взгляд при встречах. Еще и сейчас сердце Коспана болезненно сжимается, когда он вспоминает о тех временах, но он не злопамятен. Виноват ли в чем-нибудь Касбулат? Может быть, время виновато? Время прошло, и Касбулат вернулся к нему, вновь зовет его дружеской фронтовой кличкой «Верзила», бьет по плечу.

Больше того, Касбулат не пропускает ни одного чабанского «тоя», чтобы не премировать своего друга, ни одного собрания, чтобы не похвалить его с трибуны. Имя Коспана стало за последние годы известным в районе.

«Уж не хочет ли он таким образом искупить передо мной ту свою старую вину?» — иногда думал Коспан, но тут же старался отмахнуться от этих мыслей. Правда, однажды осторожно сказал:

— Слишком уж ты меня выпячиваешь, Касеке. Люди еще подумают, что я примазался к начальству.

— Разговорчики в строю! — гаркнул в ответ на это Касбулат и, смеясь, обнял его за плечи.— А ты взвесь-ка, Верзила, свои результаты. Мы в районе возлагаем на тебя большие надежды, но если ты вдруг снизишь свои показатели, тогда держись — никакая дружба тебе не поможет. Забыл, каким я был командиром?..

Коспан стал чабаном четырнадцать лет назад и другой жизни себе не желал. Здесь, в степи, он обрел наконец душевное спокойствие, кончились его терзания, нелегкий пастушеский труд заполнил его жизнь целиком. Нет в огромном этом районе места, где бы он не побывал. Особенности разных трав, глубина колодцев, поведение капризных степных ветров, повадки овец — все это ему было известно досконально.

В отаре Коспана овцы грубошерстной казахской породы. Животные эти выносливы, но очень боятся ветров. Чабан в здешних краях должен быть опытным метеорологом. Предугадать направление и силу ветра, вовремя найти укрытие в какой-нибудь балке — уже половина успеха. Другая половина успеха — корма, корма, корма, проклятые зимние корма...

Давно уже нацеливался Коспан на Кузгунскую степь, далекое пастбище, куда летом из-за отсутствия воды не ступают копыта отар. Кузгунское разнотравье — настоящее сокровище, и вот Коспан, взвесив все «за» и «против», решился на смелый шаг — погнал свою отару за пятьдесят километров от зимовки.

«...Ну, ничего, ничего, авось тучи пройдут стороной. Севернее, верстах в десяти, есть тихая балка у подножия холма Дунгара. К ночи загоню овец туда. Дня три и один продержусь, а потом приедет Каламуш со скарбом и провизией. Вдвоем нам и сам черт не страшен. Поставим войлочный шалаш, наломаем побольше таволги и караганника... костер будет гореть ярко, с треском... едкий запах дыма... хорошо...»

К полудню все небо заволакивают облака. Теплеет. Тают и исчезают колючие иголки изморози. Степь, погасив свою нестерпимую белизну, становится тихой, умиротворенной. Так иногда бывает среди глухой зимы — приходит день, напоминающий раннюю весну или мягкую осень, когда по первому снегу трусят на лошадках охотники. В мерцающем матовом свете хмурого дня округа на все четыре стороны проступает с неожиданной отчетливостью. Вот холм Дунгара с чернеющими на вершине таволгой и караганником, он кажется совсем близким.

Колдовской день... Смягчается сердце, в душе тишина, спокойная печаль... жизнь, смерть — не все ли равно... думает ли об этом таволга... вот одиночество теперь — это божья благодать... ты словно становишься

частью этой спокойной природы, погружаешься в течение какой-то беззвучной умиротворяющей музыки, мелодии без ритма...

Падают пушистые мягкие хлопья снега, пушистым слоем покрывают твердую корку. Медленно проходит вдруг волна холодного воздуха. Коспан вздрагивает, стряхивая дурманящее ощущение всемирного покоя, ему вдруг кажется подозрительной эта вкрадчивая, словно ждущая чего-то недоброго тишина. Взяв коня за повод, он идет к своим овцам.

Они пасутся мирно, не обращая внимания на падающий снег. На их спинах слой снега толщиной в палец. Любимица Коспана овца Кокшулан при виде хозяина поднимает голову.

— Заморила червячка, глупышка? — говорит ей Коспан.

Овца отвечает неожиданным тревожным блеянием. Какая-то глухая тревога слышится и в отклике длиннорогого черного козла с другого конца отары. Кажется, овцы чувствуют что-то неладное, грудятся плотнее друг к другу. Сука Майлаяк жалобно скулит, трется о голенище сапога, тоскливо заглядывает в глаза хозяину. Один лишь кобель Кутпан, как всегда сохраняя чувство собственного достоинства, в величественной позе лежит на краю отары.

Резкий порыв студеного ветра вдруг обжигает лицо Коспана. Все овцы разом начинают тревожно блеять, испуганно жмутся друг к другу. Коспан смотрит на горизонт, и все внутри у него сжимается от страха. С севера на отару идет снежный заряд.

Проходит несколько минут. Хлопья снега кружатся все быстрее, и вот уже бешеная белая кипень захлестывает отару, закручивает ее, как в гигантской воронке.

Коспан прыгает на коня, бросается за отарой. Овцы, давя друг друга, рвутся в подветренную сторону.

Скорей! Скорей! Единственное спасение для отары — балка у подножия холма Дунгары.

— Чайт! Чайт! — вопит, срывая голос, Коспан, безжалостно хлещет коня камчой, пытаясь повернуть отару против ветра. Все тщетно: овцы, пронизываемые ледяным ветром, бессмысленно кружатся, поворачивают в сторону. Крики Коспана и удары бича уже не пугают их.

Мокрый снег бьет в лицо, залепляет глаза. Холм Дунгара скрывается в белой кипящей мгле. Коспан остервенело кричит, без устали размахивает кнутом, на чем свет стоит клянет самого себя. Расслабился, размягчился, не услышал поступи бурана...

Беда... Неужели случится самое страшное, и он потеряет отару? Вперед, лоб в лоб бурану, шаг, еще шаг... Отара рассыпается... Чайт! Чайт! Спасенье перед тобой, оно высится словно гигантская ледяная скала, с которой ты соскальзываешь, но продолжаешь лезть, охваченный одной только мощной страстью, с почти непреодолимым злым упорством.

На мгновение в этом белом кошмаре перед Коспаном возникает освещенное улыбкой широкое лицо Касбулата в сетке резких морщин. Что за наваждение? Коспану становится не по себе.

Буран усиливается. Шаг, еще шаг, еще... Все-таки мы идем вперед... Перед глазами Жанель. Успела ли она загнать ягнят в кошару? Бедная женщина — одна среди этой сатанинской пляски! Вдруг ягнята разбежались, и она сейчас в ужасе мечется по степи и рвет на себе волосы от бессилия?

Эй, Каламуш, где ты? Как бы ты сейчас пригодился, парень! Беда, беда, идет беда. Вокруг становится все темнее. Снег совершенно залепил лицо, режет глаза. Верный Тортобель, опустив шею, фыркает, двигается медленно, словно тянет непосильный воз. Иногда под его ногами мелькает Майлаяк.

Ветер не ослабевает. Коспан поднимает кнут и вдруг застывает в ужасе, понимая, что все это время отара стояла на месте. Оказывается, он только заворачивал тех овец, что бежали назад.

Вскрикнув, он направляет коня в самую гущу. Отара раскалывается и двумя лавинами устремляется назад. В бессильной ярости чабан мечется от одной овцы к другой, но все тщетно — отара уже не подчиняется ему. То, чего он боялся больше всего, произошло...

2

Жанель гонит своих ягнят к кошаре. Ледяной ветер свистя заметает следы. Ягнята, обгоняя друг друга, спешат укрыться в тепле.

«Боже мой, как бы не случилось беды,— думает Жанель о муже.— Как внезапно налетела метель...»

Белая крутящаяся мгла мгновенно покрывает, проглатывает овчарню и приземистый чабанский домик.

Жанель заходит в дом, зажигает лампу. В доме, пустовавшем с утра, холодно, неуютно. Что может быть тоскливее нежилых холодных домов, остывших очагов? Сердце Жанель вдруг пронзает острая боль одиночества. Она торопливо разводит огонь, наливает воду в чугунный котел. Оцепенев, глядит на огонь, охваченная тревогой за мужа. Если бы рядом был Каламуш, было бы не так страшно, но она сама велела ему не спешить и переночевать на обратном пути у его отца, старика Минайдара.

Бездетная Жанель любила Каламуша как родного сына. Когда они с Коспаном приехали в этот колхоз, Каламушу было всего пять лет, у него только что умерла мать. Жанель взялась помогать Минайдару и его дочерям ухаживать за малышом, и с этого все и началось. Настоящее имя мальчика было Галимжан, но Жанель стала называть его Каламуш — Перышко, имя это прижилось, а парень прирос душой к своей новой матери.

Он и называет ее апа, мама, и каждый раз, когда она слышит это слово, у нее сжимается сердце. И Коспана парнишка полюбил, называет его «ага», а старого своего отца называет, как и все в округе,— ата, дедушка.

Так и рос Каламуш сыном двух домов, словно ягненок, которого одновременно выкармливают две матки. В прошлом году парень окончил среднюю школу, но в город не уехал, остался подпаском у Коспана. Был он ловким, подвижным, характер имел веселый и дом этот без всяких околичностей считал своим.

Жанель нет-нет да напоминала мужу: «Поезжай к Минайдару, намекни ему, пусть скажет заветное слово, ведь у него и без Каламуша детей хватает, пусть разрешит нам его усыновить...» Коспан же резонно полагал, что если мудрый Минайдар до сих пор не сказал «заветного слова», значит, нелегко ему это сделать. Жанель и без того самозабвенно любила своего воспитанника, ведь она давно уже потеряла надежду на рождение ребенка.

Тепло растекается по всему телу, опускаются отяжелевшие веки. Жанель вздрагивает, стряхивает дремоту. С ощущением какой-то смутной вины, накидывает шубу, выходит.

Смеркается, и в сумерках все сильнее крутит буран. Перед дверью снегу выше колен. Она проходит шагов тридцать и останавливается. Вот уже ни зги не видать. Она стоит неподвижно, не зная, куда себя деть, вглядывается в темноту.

Жене чабана не привыкать к одиночеству. «Не первый день пасет Коспан овец,— успокаивает себя Жанель.— Наверняка нашел какое-нибудь убежище, не в таких переделках приходилось ему бывать. Иди спокойно в дом, выпей чаю, поужинай...»

В полумраке комнаты тихо дрожит слабый огонек керосиновой лампы, тлеют подернутые золой кизячные угольки. Крошечный пузырек тишины, а вокруг дикий вой бурана. Жанель сидит неподвижно. Теперь она думает о Каламуше.

Знает она его характер. Как бы он не заспешил домой в такую непогоду, как бы не сбился с пути, не замерз, не наткнулся бы, боже упаси, на волка...

Ей чудится какой-то скрип в дверях, тревожно прислушивается она к шорохам. Почему она потеряла покой? Неужели сердце чует беду? А ветер дует и дует, дует все в одну и ту же сторону. Женщина сидит в шубе, поджав под себя ноги, скрестив руки в рукавах, упершись спиной в стену...

Вот так же тогда мела пурга, а дом был полон крика. Гудел огонь под казаном, до слуха долетали звон посуды, колготня встревоженных женщин. Зачем они пришли сюда, чего они галдят? Сбились в кучу, как испуганные овцы, и трещат, трещат, трещат без умолку. Уйдите, все уйдите, оставьте меня одну! Нет, не уходите, останьтесь! Ужас неотвратимого несчастья надвигался на Жанель. Все-таки легче, когда в доме много народу.

Она сидела на полу и держала в руке письмо. Пять месяцев от Коспана с фронта не было ни единой весточки, и вот — дождалась — письмо... Письмо, написанное чужой рукой. Подкосились ноги, и она села на пол. Даже смысл письма дошел до нее не сразу.

Нескоро она опомнилась от этого удара. Перестала ходить на работу, бесконечные дни сидела дома, глядя в одну точку, обняв четырехлетнего Мурата. Непоседа Мурат, обычно переворачивавший дом вверх дном, присмирел, смотрел на мать жалобным взглядом.

Соседки, ранее причитавшие и подвывавшие, увидев, как убита Жанель, дружно взялись за нее.

— Ну посмотри, Жанель, ведь не сказано же в бумаге, что погиб Коспан! Сказано — пропал без вести. Богу молись, может, жив, а живой человек всегда вернется. Вон сколько жен черную бумагу получили, и то живут. Жить надо, Жанель. Перестань ребенка мучить.

На миру, как говорят, и смерть красна, и горе в общем котле не такое горькое. Жанель взяла себя в руки. Начала работать, разговаривала с людьми, и все-таки каждый день, каждую минуту она чувствовала, что перешла страшную грань, что те четыре счастливых предвоенных года канули в вечность и не вернутся больше никогда. Коспан был для нее не просто мужем, он был человеком, впервые открывшим ей вкус счастья, пробудившим ее к жизни. Все это прошло навсегда, она это понимала. Опять вернулось к ней ее холодное одиночество, сиротство.

> ...И вновь она видит комнату, полную женщин, но это уже другая комната.

...Низкий потолок, узкое окно, затянутое тонкой овечьей брюшиной, длинная казахская печь, разделяющая комнату пополам, вмазанный в печь почерневший казан, там что-то кипит, бурлит, валит пар...

Старухи двигались медлительно и важно, говорили таинственным шепотом, на лицах их лежали горестные тени, некая печать мрачной торжественности, у иных вырывался тяжкий вздох-отрыжка — угхх... Тошнотворный дух мясного варева, сырой запах земляной стены смешались с запахом болезни, неизбывной беды.

Совсем недавно Жанель исполнилось десять лет, а месяц назад ее мать слегла в постель. Маленькая Жанель сама топила печь, готовила еду, как могла ухаживала за матерью. Она была уверена, что болезнь скоро пройдет, и мама встанет; ни о чем страшном она не думала.

Первый раз она испугалась, когда разыгрался сильный приступ. После этого приступы участились. Мать таяла на глазах. Жанель теперь подолгу сидела возле постели, держала худую руку, умоляюще просила:

— Апа, пожалуйста, не умирай.

— Не умру, родная, не бойся,— успокаивала ее мать.— Как же я умру, куда же я тебя-то дену...

В то утро Жанель едва проснулась, почувствовала приближение чего-то зловещего...

— Поднимите ей голову!

— Воды, воды!

Женщины сновали взад-вперед, переглядывались с каким-то странным воровато-испуганным выражением. Присутствие в комнате человека, подошедшего к страшному порогу, угнетало всех. Жанель, как испуганный цыпленок, забилась в угол.

— Подведите к ней Жанель. Пусть попрощаются.

Тетушка Уштап взяла ее за руку. Дрожа всем телом, Жанель приблизилась. Восковое заострившееся лицо матери с вытянутым подбородком потрясло ее. Стеклянные безжизненные глаза неподвижно уставились на Жанель. Это уже не была ее мать. Перед ней лежало нечто, почти уже не имеющее отношения к ее матери. Жанель заплакала.

...Тетушка Уштап связывала в узел бедные пожитки и беспрерывно что-то говорила.

— Бедная сиротка, несчастный ребенок, не бойся — не оставим мы тебя одну. Воспитаю тебя не хуже, чем нашу Ибаш, все будем делить на вас двоих, как и раньше мы делили с твоей матушкой чашку айрана...

Муж Уштап Байсерке — двоюродный брат покойного отца Жанель. Других родственников у нее нет, и она это знает прекрасно.

Тетушку Уштап красавицей назвать было трудно — долговязая, сутулая, ширококостная и страшно худая, нос словно вдавлен в широкое лицо, широкие ноздри зияют, как норы. Голос ее одновременно и гнусав и визглив. Она деловито вытряхивала вещи, что-то беспрерывно говорила, не забывая временами попричитать над усопшей.

— Ай, бесценная моя сноха! Ай, солнце мое золотое!

Жанель поняла, что с этого дня будет жить у них.

Вначале все было хорошо. Уштап и Байсерке нежно заботились о ней, подкладывали лучший кусок, укладывали спать, то и дело одергивали родную дочь Ибаш: «Ибаш, уступи место Жанель», «Ибаш, возьми у Жанель ведро, сходи сама за водой, Жанель у нас слабенькая».

Однако не прошло и месяца, как все изменилось. Сна-

чала Уштап стала говорить умильным голоском: «Жанель-джан, сходи, пожалуйста, за водой — Ибаш некогда», «Жанель-джан, вынеси золу — у Ибаш голова что-то разболелась», потом тон ее становился все суше, а вскоре ласкательное обращение Жанель-джан сменилось лаконичным возгласом «эй ты». Спала теперь Жанель на овечьей шкуре возле двери. Чуть свет доила коров, потом зажигала огонь в очаге, выгоняла коров на выпас, а днем у нее была тысяча больших и малых дел до глубокой ночи. Позже всех, смертельно усталая, она засыпала на своей подстилке. Так кончилось ее детство.

Дядя Байсерке пытался как-то облегчить ее участь,

иногда заступался за нее, но Уштап в таких случаях стучала кочергой, вопила истошно:

— Разве я сделала ее сиротой? Она сама проглотила своих родителей! Пусть винит бога, а не меня! Разве я свою родную дочь не заставляю работать? Знаю я, Байсерке, почему ты за нее вступаешься! Не забыла я, что у тебя было на уме, когда Айгыз стала вдовой. Позор тебе, ой-бай-ай!

Жанель уже понимала подоплеку этих скандалов. Не раз она слышала, как судачат аульные женщины.

— Покойная Айгыз была замечательной женщиной,— говорили они.— А уж как по ней вздыхал Байсеркемокроносый, как хотел заполучить ее себе под одеяло. Да где ему, слабоват он, кишка тонка, только и может что сморкаться, одно слово: сумурун кайнага — мокроносый деверь...

— Ой-бой, да кабы Айгыз только пальчиком повела, не видать Уштап своего мужа. Разве сможет мужчина, обняв хоть раз луноликую Айгыз, положить в свою постель такую высохшую шкуру, как Уштап?

— Ай-бой-ой, то-то засияла Уштап, когда Айгыз стала чахнуть...

Кто знает, возможно, Уштап подсознательно переносила на Жанель свою неприязнь к ее матери, может быть, она и сейчас, после смерти Айгыз, мстила ей за давние обиды. Ясно только одно — она возненавидела Жанель. За малейшую провинность сыпались на девочку тычки и зуботычины, а то и удары кочергой. Однажды Жанель, оставшись одна дома, примерила новое платье Ибаш. Застав ее за этим преступлением, Уштап избила ее до потери сознания.

Дочь не отставала от своей матери и подражала ей.

— Эй, ведьма, проглотившая своих родителей! — кричала она Жанель.— Проклятая богом беспризорница! Сука позорная!

Любой удобный момент Ибаш поровила использовать для того, чтобы ударить Жанель, дать ей пинка, ущипнуть. Разобьет пиалу, слижет сливки с молока — все сваливает на Жанель. Если не было повода для клеветы, Ибаш подходила к матери и жаловалась: «Мамочка, она мне нашептывает похабные слова». Уштап, разумеется, не утруждала себя выяснением истины, а немедля пускала в дело кочергу.

Иногда Ибаш развлекалась таким оригинальным способом: ночью привязывала волосы Жанель к ножке кровати и сильным щипком будила ее. Девочка вскакивала с криком от резкой боли. Ибаш приходила в неописуемый восторг.

Дети привыкают к грубости и жестокости взрослых, вернее воспринимают это, как нечто неизбежное, как норму жизни, но мириться с издевательством своих сверстников не может ни один ребенок. Доведенная до отчаяния, Жанель часто бросалась на Ибаш, но та была сильнее и всегда выходила победительницей в этих поединках.

Иногда дядя Байсерке робко пытался вмешаться в эти потасовки, разобраться по справедливости, но его супруга всякий раз вставала на защиту своего «бедного ребенка».

— Что ты лезешь, болван седой, в детские споры? Что, бедной девочке и поиграть нельзя, позабавиться?

Весь этот привычный устоявшийся ад прерывался, когда в дом заходил кто-нибудь посторонний. Уштап становилась церемонно-любезной, почти ласковой: «Жанель-джан, поставь самовар гостю», «лапочка моя, пригляди за казаном, у меня нет времени».

Жанель вначале просто терялась в такие минуты, потом привыкла и уже не обращала внимания на лицемерие Уштап.

— Ах-ах, трудно воспитывать чужого ребенка,— с глубоким вздохом говорила та гостям.— Знаете, как они бывают мнительны, всюду им мерещится обида. Вот Ибаш я ругаю частенько, ведь когда своя матка лягнет — жеребенку не больно. А до Жанель боюсь и пальцем дотронуться. Не знаю, возблагодарит ли нас бог за это трудное дело.

— Обязательно возблагодарит,— говорили гости.— Добро не пропадает. Жанель у тебя как родная дочь.

Но, встречая Жанель на улице, те же люди говорили ей:

— Бедная наша сиротка, как тебе тяжело живется. Знаем мы эту Уштап...

Такая откровенная ложь пугала Жанель, она замыкалась в себе, становилась угрюмой и нелюдимой.

Прошли годы, и Жанель даже не заметила, как превратилась во взрослую девушку. За это время она совер-

шенно привыкла к своему приниженному положению, с тупой покорностью выполняла тяжелую работу, молча выслушивала грубые оскорбления. Душа ее как бы поникла, и только однажды все в ней взбунтовалось, когда она случайно подслушала разговор Уштап с мужем.

— Ну, потолковали мы с этим Турсаном,— говорила Уштап.— Бедняга уже три года обнимает в постели свое голое колено. Я, конечно, завела издалека, с подходом, но он меня сразу понял и обрадовался.

— Что ты мелешь? — возмутился Байсерке.— Как язык у тебя не отсохнет!

— Сам ты ерунду говоришь! Жанель давно уже на выданье. Что мы ее сушить будем? Турсан мужчина еще в соку. Пусть люди говорят, что он жаман — ничтожный, но хозяйство свое он вести умеет, этого никто не посмеет отрицать. Конечно, так просто свою воспитанницу я ему не отдам. Сколько лет поили-кормили. Пусть калым готовит — корову и четырех овечек, не меньше.

Потрясенная, Жанель, не дослушав, выскочила из дома. Турсан... дохлый старикашка-вдовец... маленькое сморщенное личико... на подбородке два десятка рыжеватых волосков... ростом на голову ниже Жанель... вечно возится в своем дворике за камышовой изгородью, доит корову, а головой ей до живота не достает... униженно всем улыбается... «да-да», больше от него слова не добьешься...

Турсан... Она вздрогнула от омерзения, словно ей на голую грудь положили жабу. В первый раз за свою жизнь она испытала чувство яростного протеста. Ушла далеко в степь и не возвращалась домой до самой ночи.

Ни один джигит в ауле еще не предлагал ей своей руки. Бывало, парни несколько раз подбирались по ночам к дому, мяукающими похотливыми голосами вызывали ее. Ясно, что им надо,— позабавиться с бедной девушкой и уйти, посвистывая.

— Тоже мне, гордая,— говорили они.— В чужом доме золу таскает, а ломается, как ханская дочь.

Она понимала, что ни на что хорошее не может рассчитывать в своем сиротском положении, но все равно твердо решила за Турсана замуж не выходить.

Спустя некоторое время в ауле появился незнакомый джигит. Был он очень высокого роста, ширококостный. Продолговатое лицо с выпуклыми, словно бока казана,

скулами было очень смуглым, почти черным. Иногда он один бродил вечерами по косогору за аулом, и это было в диковинку местной молодежи. Вскоре в ауле все о нем стало известно, и до Жанель тоже дошли кое-какие сведения. Настоящий служащий! Работает в районе! Двадцать пять лет, а все еще холостой. Приехал сюда в отпуск к родственнику по материнской линии, и приехал не просто так, дядя хочет поставить его на ноги, то-есть женить.

Разве для несчастной сиротки такой внушительный джигит? Жанель прислушивалась к разговорам лишь краем уха и вдруг как-то случайно встретилась с ним на речке. Издали он выглядел очень мощным, суровым, даже немного страшноватым, а вблизи оказался добродушным, застенчивым. Выпуклые глаза смотрели совершенно детским взглядом. Жанель сразу же почувствовала к нему какое-то необъяснимое доверие и осмелела даже настолько, что перекинулась с ним парой слов.

После этого они встретились еще несколько раз. Джигит смущенно пытался завести с ней разговор, но Жанель дичилась, молчала, краска стыда заливала ее щеки. Ох, уж эти аульные девушки!

Настал день, когда она подняла глаза и увидела, что джигит смотрит на нее с удивительной нежностью. Она встрепенулась, теплая весенняя волна захлестнула ее с ног до головы, позвала ее к чему-то неведомому, прекрасному: проснулась ее юность.

Однажды она задремала в траве на берегу реки. Во сне ее не оставляло ощущение безотчетного счастья. Внезапно сон улетел, она открыла глаза — рядом сидел он, Коспан.

«Ах, неужели и он только одного добивается»,— с внезапной горечью подумала она и резко встала.

— Жанель, мне надо с тобой поговорить,— глухо сказал он.

И вдруг она мгновенно поняла, что он не обидит ее, не обидит никогда. Она смело придвинулась к нему, и он обнял ее за шею, прижал ее голову к своей груди, стал целовать сначала ее волосы, потом глаза, потом губы.

Земля и небо вращались вокруг них. Жанель дрожала. Нестерпимо прекрасное чувство впервые в жизни пронизало ее с головы до ног. Умереть в его руках...

Коспан откупился лошадью и увез Жанель к себе в

районный центр. Жизнь ее переменилась так разительно, что она думала: «Я родилась заново». Трудно было поверить в эти неожиданные перемены. Первое время ее не оставляло ощущение зыбкости, непрочности своего счастья. Вечером в ожидании мужа она ставила на крыльце самовар и стояла молча, преодолевая волнение, боясь, что он не придет и волшебный замок рухнет. Однако он появлялся всегда, и всегда, когда он выходил из-за угла, ей хотелось сбежать с крыльца и броситься ему на шею. Еле-еле удерживала она себя от такого легкомысленного поступка. И Коспан тоже сдерживал себя. Солидно брал из ее рук топор, колол дрова, прежде чем войти в дом, но взгляды, которые при этом он бросал на нее, были откровеннее движений. От этих взглядов в висках у нее стучала кровь.

В первую же ночь Жанель рассказала мужу свою нехитрую жизнь, выплакала на его груди все свои горести. Он не только любил ее — щадил, разговаривал с ней, как с ребенком. А для нее Коспан заполнил все время и пространство. Она гордилась его внешностью, его походкой, манерами. Да, если были в то время на земле счастливые люди, то двое из них — Жанель и Коспан. И вот пришла война.

Нельзя сказать, что Жанель довольно ясно представляла себе, что такое война. Одно только она знала — там могут убить ее Коспана, и эта мысль наполняла ее холодным ужасом.

В доме без Коспана стало пусто. Правда, маленький Мурат, так забавно похожий на отца, скрашивал ее новое одиночество, но все равно мира уже не было в ее душе, и по ночам она долго шептала, заклиная судьбу пожалеть ее Коспана.

Неутоленная жажда счастья сжигала Жанель. Вновь и вновь в мыслях она возвращалась к счастливым временам. Во всем она видела мужа. Вон его табуретка, он сам ее красил в светло-зеленый цвет, краска теперь облупилась; вот стол, накрытый клеенкой, за ним он сидел и, шевеля губами, читал вот эту книгу с захватанной обложкой — «Богатырский эпос»; вот калитка, что он сам поставил перед войной.

Она тогда не отходила от него и смотрела, как он вбивает гвоздь за гвоздем. Напряженно прикусив уголок рта, он двумя точными ударами вгонял гвоздь в доску и

удовлетворенно приговаривал: «Сиди так». Всегда, когда он работал, строгал или пилил, он прикусывал губу таким образом.

В передней на вешалке, тоже сделанной руками Коспана, висело его большое черное пальто. Жанель долго не снимала это пальто. Ей было приятно смотреть на него, казалось, что Коспан только что снял его с плеч.

Проходили недели и месяцы. Прибыло извещение, что муж пропал без вести. Пальто уныло висело на своем месте, потеряв уже свое тепло и запах, не частичка Коспана, а просто холодный предмет. Жанель спрятала его в сундук.

Жанель теперь работала грузчиком в конторе заготживсырья, с утра до ночи таскала тюки шерсти и овечьих шкур, пропиталась кислым дурнотным запахом. Возвращалась поздно, усталая, как верблюд, но заснуть не могла — рядом пустовало место Коспана.

Чаще всего она вспоминала сцену прощания. Коспан старался держаться молодцом, пытался не выдать волнения и поэтому суетился, натужно бодрым голосом разговаривал с товарищами, а на прощание сказал лишь:

— Держись, Жанель. Береги Муратика...

Они построились в колонну, и он бросил жене и сыну последний взгляд, полный тоски. Лицо его исказилось болью, словно он собственными руками что-то вырывал из себя.

— О боже, будь милостив к нему,— шептала Жанель по ночам.— Он не обидел ни одной живой души.

Мурат... Мурат-джан... Это имя дал ему отец. Сколько радости он принес им! Смуглый, толстенький, ширококостный, как отец,— настоящий крепыш. Круглые выпуклые лукавые глазищи. Мурат — сорви-голова, все переворачивал в доме, изображая сражающегося на фронте отца: «Пуф! пуф! бей фашистов! чи! чи!» Возвращаясь с улицы, он хвастался перед матерью: «Мам-мам, как я сегодня надавал Абитаю»,— но, невзирая на такую воинственность, был он очень добрым, делился с товарищами последней краюшкой хлеба.

Однажды, когда Жанель вернулась с работы, мальчик сидел на полу и строгал доску. Мастерил себе лодку. Весь напрягся, прикусил правый угол рта — вылитый Коспан. Сердце Жанель дрогнуло от нежности. Обняв сына, она долго его целовала и плакала.

В мягкой теплой мгле плавает желтый огонек лампы. Мурат лежит на руках, тихо посапывает во сне. Она вдыхает его запах. Мурат ли это? А не маленький Каламуш! Вот тебе на, Муратик, выходит, вовсе не умер, просто он стал Каламушем. Как это она раньше не догадывалась? Жанель улыбается во сне. Ее ребенок жив.

3

Догорает кизяк под казаном. Жанель спит и улыбается во сне.

Что это — сон или явь? Летние джайляу. Солнце в зените. Печет вовсю. Невидимое на солнце пламя очага. Над ним колышется воздух. Жанель готовит обед. В ногах у нее крутится льстивая бестия Майлаяк. Крикнешь «прочь», собака изображает из себя самое несчастное в мире существо — отползает на брюхе, скулит, смотрит на хозяйку так, словно молит о вечном спасении.

— Брось ей косточку, Жанель. Все равно не отвяжется.

Это голос Коспана. Он снимает седло с Тортобеля. Спокойные неторопливые движения. Огромный, сутуловатый, он идет к Жанель, и она ясно, до мельчайших подробностей видит его продолговатое лицо со впалыми щеками, с миндалевидной бородавкой на правом виске, подернутые уже сединой торчащие усы, морщины на багрово-черном фоне и две глубокие складки кожи на выбритом до синевы темени.

Взгляд его остался совершенно детским, несмотря на все эти годы. Сейчас в нем светится какая-то веселая хитринка, словно Коспан припас для нее какую-то радостную новость. Жанель знает, что он хочет ей сказать. Знает, знает... Что же? Нет, она не помнит. Нет, нет... Ладно уж, не надо ей никаких особенных радостей, лишь бы он был рядом. Но он и так рядом, чего же ты боишься?

— Апа! Апа...— слышится голос издалека.

Жанель вздрагивает — это голос Каламуша. Но где он сам? Откуда доносится голос? Жанель куда-то бежит наугад. Голос звучит теперь сзади. Коспан! Куда девался Коспан? В растерянности она останавливается.

Неожиданно опускается ночь. Вокруг темно и тихо, и

только откуда-то с большой высоты доносятся резкие странные трели жаворонка. Что это за жаворонок, поющий ночью? Жанель хочет бежать, но ноги не слушаются, пытается крикнуть, но нет голоса. Резкая трель с высоты штопором ввинчивается в ее мозг...

Жанель просыпается в холодном поту. Садится. Болит затекшая во сне шея.

Лампа вот-вот потухнет, в доме темно. Надрываясь, звонит на столе будильник Каламуша. Обычно он вскакивает от этого звонка и выбегает посмотреть отару. Жанель приходит в себя. Вероятно, рассвет близок. Она вспоминает про Коспана и встает. Бессовестная, спала в такую ночь. О боже милостивый, буран-то все еще воет.

Она вновь выходит из дома и смотрит в непроглядную ревущую ночь. Их кошары самые крайние, за ними в огромной степи, где бушует буран, нет ни одной живой души, нет куста, чтобы спрятаться, нет шалаша, чтобы обогреться, и где-то бродит Коспан со своей отарой.

Жанель стоит неподвижно, не обращая внимания на снег, набившийся за воротник, думает, думает...

Дни тогда тянулись мутной безликой чередой. Лето сменяло весну, потом приходила осень, за ней следовала зима, а она только и делала, что таскала свои вонючие тюки. Тоска по Коспану померкла, потеряла свою остроту, превратилась в обычное уныние, тупое безразличие.

Человек привыкает и к горю, оно становится повседневностью. К тому же не она одна горюет — почти в каждом доме лежат похоронки.

Те четыре счастливых года с Коспаном представляются ей сейчас увиденным когда-то сказочно-прекрасным миражем. Она по-прежнему вспоминает о них, как дети долгой зимой вспоминают весеннюю ярмарку.

Правда, все-таки что-то переменилось в ее жизни по сравнению с годами сиротства. Как ни говори, но все-таки есть в ее сегодня какой-то важный смысл, есть борьба. Иначе откуда такое упорство? Даже если Коспан не вернется, она будет хранить его очаг и воспитает его сына порядочным человеком.

Жанель была молода и сильна. Она не страшилась никакой работы, и каждый кусок сахара, который ей удавалось добыть для Мурата, каждая ситцевая рубашонка

приносили ей радость. Сын рос веселым крепким мальчишкой, и он так напоминал ей отца.

С фронта начали приходить обнадеживающие вести, и люди повеселели. В самые лютые морозы они собирались в промерзших домах. Они чувствовали, что ведут общую борьбу, и поэтому жаждали общей радости. Липкий военный хлеб и жидкая похлебка из проса казались им лакомствами пышного тоя. Пели песни и утешали тех, у кого в доме лежала «черная бумага», и даже у этих несчастных появлялась слабая надежда.

Жанель тоже ходила иногда на бедные праздники и даже пела вместе с другими женщинами. Пела она и дома, когда укладывала Мурата спать, пела разные немудреные забавные песенки, которые сочиняла для него сама, пела иной раз что-то неопределенное и самой себе, забывшись, когда Мурат уже сладко посапывал во сне. Пела она и в тот вечер.

— Вечер добрый,— вдруг близко прогудел грубый мужской голос. Она вздрогнула. В облаке морозного пара в комнату влез некто огромный, грузный, в тяжелой шубе. В мерцающем свете тускло блеснули маленькие, словно подернутые сальной пленкой глазки, обозначились забеленные инеем черные усы. Жаппасбай...

«Господи, какой черт его принес?» — подумала Жанель.

Какую должность занимал в районе Жаппасбай, Жанель не знала, знала лишь, что он важная птица. Обычно он всегда появлялся, когда собирали людей для какого-нибудь срочного дела. Появлялся и командовал, распоряжался отрывисто, словно лаял. Даже с районным начальством у него разговор был короткий.

— Подкинь-ка мне людишек десятка два,— говорил он и возражений не слушал.

Когда он, важно закинув голову, скрестив на своем объемистом заду руки, появлялся из переулка, начальники учреждений хватались за головы — «опять всех людей заберет».

Возражать ему, упрашивать, умолять, говорить о нехватке рабочих рук, о том, что люди смертельно устали, что не потянут,— было бессмысленно. В таких случаях Жаппасбай снисходительно усмехался в усы, насмешливо и подозрительно прощупывал глазками начальников.

— Закон военного времени, знаешь, что это такое?

Ты у меня лучше не трепыхайся. Голова-то у тебя одна, или имеешь еще в запасе?

С женщинами, которые составляли тогда главную рабочую силу, Жаппасбай и совсем не церемонился.

— Давай, давай, марш! — рявкал он, сразу пресекая все мольбы, вопли и плач по оставленным без присмотра малым детям.

По необъяснимой причине Жаппасбай был добр к Жанель и ни разу не мобилизовывал ее на далекие работы.

— У тебя ведь маленький ребенок. Тебе нельзя далеко уезжать,— говорил он ей.

Но ведь у других тоже были маленькие дети.

Теперь Жанель смотрела с недоумением на столь важного и незваного гостя, пришедшего в такой поздний час.

— Ну как, Жанель, жива-здорова? — спросил Жаппасбай, бесцеремонно проходя в глубь комнаты.

— Слава богу,— привычно ответила она.

Последовало неловкое молчание, которое, казалось, слегка смутило Жаппасбая. Впрочем, он тут же оправился и сказал с легким смешком:

— Ты что же не приглашаешь гостя на почетное место?

— Проходите, проходите...

— Ну вот, это уже другое дело.

Он снял шубу, стащил валенки, остался в стеганой душегрейке, деловито протопал на почетное место и расселся совершенно по-хозяйски.

— Вот захотелось вдруг у тебя чайку попить,— сказал Жаппасбай и улыбнулся Жанель.

Жанель выгребла из печки горячие угли, чтобы разогреть чай. Сердце ее колотилось, от смущения она ничего не соображала. Что значит этот приход ночью к одинокой женщине? Но не выгонять же его из дому? Где это видано, чтобы гостя выгонять? Она пыталась подготовить фразу, выражающую вежливое недоумение, что-нибудь вроде «ваш неожиданный приход в дом, где нет мужчины...», но не смогла сказать ничего, а только краснела все больше и роняла кизячные угольки.

Жаппасбай по-своему истолковал растерянность молодой женщины и, самодовольно хмыкнув, приподнял голову с подушек, на которых так удобно разлегся.

— Не волнуйся, дорогая, не смущайся. Жаппасбай не какой-нибудь скряга, чтобы прийти с пустыми руками.

Он встал и вытащил из кармана шубы тяжелый сверток.

— Вот тебе баранья ножка и крестец в придачу. Нарежь хорошенько.

Жанель, двигаясь как во сне, приготовила чай, расстелила дастархан. Жаппасбай вновь разлегся и хитровато подмигнул ей.

— Принеси-ка стаканчики.

Жестом фокусника он извлек откуда-то поллитровку, посмотрел ее на свет, вожделенно улыбнулся, сглотнул слюну и сказал веско, точно вбивая кол:

— Эта штука теперь подороже, чем птичье молоко.

Наполнив один стакан до краев, а второй наполовину, он чокнулся первым стаканом с бутылкой, а второй торжественно, как бесценный дар, преподнес Жанель.

— Ну давай! Будем здоровы! За победу!

— Извините, но я не пью,— пробормотала Жанель.

— Как так? — искренне удивился Жаппасбай.— Сейчас не пьет только тот, кому не наливают. Не ломайся, милая, война все спишет.

— Нет-нет, пейте сами.

— Ну, бери-бери! Что с тобой сделается? Пей, не стесняйся! Давай-давай!

Жанель никогда не пробовала водки. Раза два в гостях еще до войны пригубила красного вина. «А если эта гадость действительно поднимает настроение?» — подумала она сейчас.

Жаппасбай сильной рукой схватил ее за локоть. Она задрожала. Он поднял стакан и запрокинул ей голову.

Она на мгновение задохнулась, потом почувствовала головокружение, а через несколько минут комната показалась ей теплой, уютной, лампа словно вспыхнула ярче, и все вокруг приятно сузилось. Мясистое лицо Жаппасбая симпатично лоснилось, и он казался теперь вовсе не мрачной пугающей личностью, а вполне обыкновенным и давно знакомым мужчиной.

Жаппасбай жадно и сосредоточенно рвал зубами холодную баранину, а потом, что-то вспомнив, хлопнул себя по лбу.

— Эй, совсем из головы вылетело! Я ведь гостинец принес твоему пацану.

Он сунул руку в карман штанов и вытащил горсть слипшихся, в волосках и соринках, конфет-подушечек. Жанель завернула конфеты в тряпочку и отложила в сторону. Мурат уже и не помнил, как выглядят настоящие конфеты.

— Все, что будет нужно, говори, не стесняйся,— благодушно сказал Жаппасбай и игриво потрепал ее по спине.

Жанель почему-то не уклонилась, не сбросила эту тяжелую руку. Она не понимала, что с ней происходит. Мерцающий неверный свет лампы, мужчина, развалившийся рядом на подушках, его тяжелая рука... Какое-то странное чувство охватывало ее, и вдруг она поняла, что это было почти уже забытое чувство близости мужчины, и когда она осознала, что это за чувство, оно поднялось над ней мутной волной и захлестнуло с ног до головы.

Жаппасбай, улыбаясь, смотрел на нее так, словно она была уже без платья. Его рука со стаканом водки вновь приближалась к ее лицу.

— Не буду! — дико закричала Жанель.— Не буду пить!

Жаппасбай изумленно взглянул на нее и мгновенно, каким-то автоматическим движением, опрокинул стакан в свою глотку.

— Эй, Жанель, что с тобой случилось? — спросил, запихивая в рот мясо.— Забыла чаю подлить...

— Извините,— прошептала Жанель и трясущимися руками подлила чаю.

Жаппасбай снова посмотрел бутылку на свет. Водки оставалось совсем мало, и он сокрушенно поцокал.

— Другие сейчас за эту драгоценную влагу готовы не знаю на что, но я не из таких. Люблю угостить, я мужик не прижимистый.

Отрыгивая, он лежал на почетном месте, на мягких подушках, как сытый кот.

— Так что, Жанель, если в чем у тебя нехватка, сигнализируй мне, не стесняйся,— говорил он.— Все эти кладовщики и продавцы у меня вот здесь,— он показал массивный кулак.— Да что там продавцы — все самые большие районные шишки передо мной на задних лапках ходят.

— Да что вы говорите? Как же это так? — удивилась Жанель.

— Ха! Ты что, Жаппасбая не знаешь, что ли,— он высокомерно поднял голову.— У меня хоть должность и не ахти какая высокая, а заслуги перед государством нема-а-алые! Да-да! Кто в недавние годы, не жалея сил, громил врагов? Жаппасбай! Вот тогда и оценили меня по достоинству.

— Каких же врагов? Вы ведь на фронте не были,— сказала Жанель.

— Дура! — свирепо выкрикнул он, но потом спохватился.— Ты, оказывается, политически недоразвитая. Придется,— он глухо хохотнул,— подзаняться с тобой. Не слыхала, что ли, про врагов народа? С ними мы и бились, их, гадов, выводили на чистую воду. Лично я подал восемьдесят сигналов. Каково? То-то же!

Жанель, толком не понимая, о чем он говорит, все же подковырнула:

— Ну, на фронте-то небось пострашнее будет.

— Совершенно политически неграмотная,— почему-то весело сказал Жаппасбай.— Да ведь если бы их тогда не убрали, они сейчас нас всех немцам бы предали. Понимаешь? — он вдруг погрозил Жанель пальцем.— А ты смотри — поосторожней высказывайся. Борьба с ними далеко не окончена. И сейчас еще кое-где затаились фашистские прихвостни. Вот в прошлом году выявлен был псевдоучитель Боранкул...

Жанель помрачнела. «Враг народа» для нее было понятием туманным, а старика Боранкула она знала хорошо — на шильдехане ее первенца он был крестным.

— Так что поменьше безответственной болтовни,— продолжал Жаппасбай,— а то мигом пошлем к черту на кулички.

Она испугалась, но он, тут же подобрев, снисходительно потрепал ее по спине.

— Не дрожи, дурочка. Жаппасбай своих людей в обиду не даст.

Она убрала дастархан, и он встал, сильно, до хруста в суставах, потянулся и коротко буркнул:

— Стели постель.

Жанель охватила паника.

— Постель? Как это постель?

— Да ты что, чокнутая? Не понимаешь, зачем к тебе мужик пришел? Небось истомилась одна-то, а? Ты, наверное, горячая, а, Жанель? Ну, быстрей, быстрей! По-

могу твоему бабьему горю. В народе говорят, поможешь человеку в беде — бог воздаст...— Жаппасбай поблескивал глазами и нечисто усмехался.

Жанель дрожала всем телом. Больше всего она боялась, что он сейчас кинется на нее, и тогда снова мутная волна захлестнет ее, и она не выдержит, сломится.

— Нет! Нет! Уходите! Прочь! — закричала она.

— Ну-ну, покричи, так уж полагается для порядка...

— Убирайтесь! — взвизгнула Жанель.

Жаппасбай и ухом не повел. Не торопясь, он стал расстегивать брюки.

— Ишь ты, ишь ты,— хихикал он.— Любая девка не прочь переспать с Жаппасбаем, а тут какая-то бабенка еще выламывается.

Память обо всех давних унижениях мгновенно отрезвила Жанель. Вот так же и те джигиты-кобели в ауле относились к ней. Днем они стеснялись приблизиться, а ночью лезли. Они видели в ней не человека, а лишь предмет своей похоти. Нет, этого не забыть...

— Прочь! — яростно завопила она.— Убирайся вон, скотина!

Отпрыгнув к порогу, она схватила топор.

«Сироты злопамятны»,— говорят в народе. Наверное, так оно и есть, а может быть, иначе, но именно эта злая память спасла Жанель, прогнала бесовское наваждение, уберегла от поступка, которого она не простила бы себе всю жизнь.

> ...А буран воет все сильнее. Видимость только на длину аркана, дальше — сплошная черная мгла. Иногда чудится, что кто-то проносится совсем рядом, иногда чудятся какие-то звуки. Жанель сдерживает дыхание, вся превращается в слух, но нет, ничего не слышно, кроме воя ветра. Один лишь черный ветер колобродит в степи и гонит поземку с яростным свистом.
>
> Жанель вздрагивает от омерзения, вспоминая выражение лица Жаппасбая...

На его толстом багрово-буром лице все еще бродила грязная ухмылка, но маслянистые глазки уже были растерянны. Отвратительным скабрезным хихиканьем он пытался замаскировать свою неудачу.

На следующий день он приветствовал ее сиплым хохотом:

— А, это ты, строптивая бабенка? Что, лягаться начала без хомута, а? Ничего-ничего, была бы шея, а хомут найдется. Запряжем еще норовистую кобыленку. Поедешь сегодня в дальний колхоз на снегозадержание.

Жанель сама не заметила, как вырвались у нее униженные слова:

— Господи, да ведь знаешь ты, что у меня маленький ребенок! Куда я его дену?

— Может, мне понянчиться с твоим щенком? — усмехнулся он и вдруг рявкнул: — Ладно, хватит! Шагом марш! Давай-давай!

— Ну, будьте же человеком, Жаппасбай! — взмолилась Жанель.— Как я в такие лютые морозы оставлю несмышленыша?

— Некогда мне разговаривать. Шагом марш! — рявкнул он.

Перед отъездом Жанель упросила соседку, одинокую женщину, присмотреть за Муратом. Целую неделю еда вставала у нее колом в горле, каждую минуту она думала о Мурате, сердце чувствовало недоброе. И точно: когда она вернулась, Мурат метался в жару. Случилось так, что соседка сама слегла и не могла уследить за непоседливым мальчиком.

Жанель заметалась в ужасе между двумя домами. Кое-как наколола дров, начала протапливать покрывшуюся инеем комнату, перенесла сына домой. Мурат весь горел. Иногда кричал и плакал в бреду.

— Светик мой, ягненок мой! — истошно выла Жанель.

Врача на месте не оказалось — уехал в город. Пришел фельдшер, сделал укол, выписал какое-то лекарство. Ребенок даже не шелохнулся, когда игла вошла в его тело. В этот момент перед глазами Жанель встал Коспан.

Когда однажды двухлетнему Мурату делали укол, Коспан держал его на руках. Едва игла коснулась розовой ножки, Коспан весь сжался, до крови прикусил нижнюю губу, словно его самого кололи и не иглой, а штыком.

После укола ребенок как будто успокоился, открыл помутившиеся глаза, слабо шевельнул губами, кажется, позвал маму.

Семидневная изнурительная работа, холод и горе до-

конали Жанель, и к полуночи она забылась тяжелым сном.

И почти тотчас вдруг вскочила, словно от толчка. Надрывно кричал Мурат. Он снова весь горел. Судорога свела все его мышцы, тельце мальчика вытянулось и как будто одеревенело, лицо посинело, глаза закатились. Подняв его на руки, Жанель лихорадочно кружила по комнате...

Кучка людей уныло ежилась на морозе. Маленькая яма, рядом жалкий бугорок из желтой глины, смешанной со снегом. Две женщины под руки держали Жанель. Маленького Мурата, завернутого в белую бязь, опускали в мерзлую землю. Жанель, не помня себя, вырвала своего сына из чужих рук и побежала обратно к деревне.

— Не отдам! Не отдам! — неистово кричала она. Потом потеряла сознание.

От этого нового удара она долго не могла прийти в себя. Каждое утро шла к погосту на косогоре, останавливалась у маленького холмика, покрытого снегом. Там, внизу, под мерзлой глиной лежал ее маленький Мурат, шалун, забияка... Это было немыслимо.

Смерть Мурата добила ее совсем. Жанель перестала выходить из дому, сидела, оцепенев, в нетопленной комнате, ничего не ела, ни о чем не думала. Казалось, она точно помешалась. Соседки, пытавшиеся ей хоть как-то помочь, заходили все реже. Чем они ей могли помочь? Только словами, но она не воспринимала слов.

В те горькие дни к ней приехала Уштап. Уже с порога она громко запричитала:

— Цыпленок ты мой, взлелеянный под крылышком, верблюжонок мой родимый, потеряла ты своего дитятку, осталась ты одна на белом свете!

Она обняла Жанель и долго плакала, и, похоже, слезы ее были искренними. Она как будто хотела своими стенаниями вызвать слезы у Жанель — ведь, когда поплачешь, становится легче, но Жанель не могла плакать. Словно обессилевший после экстаза шаман, она сидела неподвижно с потухшим, безжизненным взглядом.

— Ах, ой-бай, что же мне с тобой делать? — причитала Уштап.

Четыре дня она просидела рядом с Жанель, пыталась

ее расшевелить, рассказывала о свом житье-бытье, тоже не очень-то веселом.

— Старик мой совсем стал плохой — кряхтит, кашляет, но коров пасет, что же остается. А мою жизнь ты сама знаешь — высморкаться некогда. Слава богу, Ибаш помогает, жалеет свою несчастную мать. Когда услышали мы горькую весть о Коспане, хотели тебя навестить, да разве сейчас найдешь живую тварь, через которую ноги можно перебросить... Ну, а уж когда про Муратджана услышали, не выдержала, четыре дня топала по морозу. Ух, создатель, еле добралась...

Годы не украсили Уштап — похудела еще больше, плечи сузились и согнулись, кожа на лице собралась в глубокие складки, но походка осталась крепкой, да и говорливости не убавилось.

— Ой, Жанель, что же ты так сушишь-то себя? Ни одной слезинки не уронила, очерствела душой, все внутри держишь, изнутри себя жжешь. Вот и Айгыз, мать твоя усопшая, такая же была — все внутри держала, а это до добра не доводит. Что же делать, Жанель-джан, за мертвым в могилу не пойдешь, жить, как ни хочешь, а надо. Вот и Ибаш моя кукует с тремя сиротами.— Уштап засморкалась и заплакала.

Через четыре дня Уштап собралась домой и неожиданно предложила Жанель уехать с ней вместе.

— Хочешь не хочешь, а без тебя не уеду. Зачахнешь ты тут одна. Поезжай в аул и приди в себя.

Аул почти не изменился, только домики его стали угрюмее, покосились, облупились. Вот и дом Байсерке — здесь прошло ее детство. Встретили ее радушно, как тогда, после смерти матери. Ибаш обняла ее и расплакалась. Как тогда, ей подкладывали лучший кусок, угощали словно важную гостью, не разрешали работать. Жанель начала есть, стала замечать окружающих, понемногу приходила в себя.

Странно устроен человек: все дурное, что связано было с этим домом, Жанель позабыла, а вспоминались только какие-то маленькие, почти потаенные радости, детство вдруг окрасилось в светлые тона. К тому же и Уштап с Ибаш словно подменили. Видно было, что они не лицемерили, а искренне сочувствовали ее горю и всячески старались облегчить его. Годы сделали свое дело, обе эти женщины узнали вкус беды, и, может

быть, поэтому все нечистые страсти в них перегорели.

Уштап, из уст которой, бывало, извергались одни проклятия, теперь понемногу превращалась в добродушную согбенную старушку. «Создатель, аллах милосердный, спасибо тебе»,— только и приговаривала она. Ибаш стала вдовой, обремененной тремя детьми, и хоть она и поколачивала их и покрикивала, но не давала им чувствовать себя несчастными. Иногда три женщины усаживались вместе, вспоминали прошлое, плакали и винились друг перед другом.

Вскоре Жанель перестала сидеть сложа руки, начала доить коров, помогать по хозяйству. Иногда она ходила по воду на знакомую реку, реку ее юности. Коспан... Вот в этой низине он стоял, не решаясь подойти к ней. Когда-то там росла густая куга. Коспан делал вид, что ищет съедобный корень, а сам то и дело поглядывал на Жанель. Теперь куги нет: крестьяне скосили ее на топливо. Нет и Коспана... А вдруг он есть? Вот его тень, бесконечно длинная под ранней луной... На берегу этой реки в ней возникала безумная надежда.

Тьма сгущается. Теперь и ушей своей лошади не увидишь. Есть ли предел этому вою? Маленький домик чабана все ниже опускается в сугроб, а у ворот в темноте все еще маячит фигура одинокой женщины.

4

Бешеная стихия, оторвав Коспана от спасительной балки, гонит его вместе с беспомощными овцами все дальше и дальше. Он уже потерял всякую надежду уцепиться за Дунгару. Впереди равнина Кара-Киян с ее редкими пологими голыми холмами. В эту пору там нет ни души. По спине Коспана пробегают мурашки. Впереди настоящая белая прорва, и ветер тащит его прямо ей в пасть. Не за что зацепиться, отара безудержно рвется вперед, подобно взбесившейся лошади, что летит к краю пропасти.

А по правую руку, верстах в пятидесяти отсюда, тихий уютный оазис Кишкене-Кум, тысячи песчаных глубоких котлов, что не хуже любой кошары, и это на самом краю обжигающей, как холодное железо, равнины Кара-Киян.

Давно пора бы уже наступить утру, но темно по-преж-

нему. Отара похожа на белую кошму, уносимую ветром. Она то растягивается, то сжимается. Края ее теряются в бушующем мраке.

Коспан одет тепло. Закаленный в зное и стуже, он пока хорошо выдерживает пронизывающий ветер и даже приторочил к седлу тяжелую баранью шубу. То на коне, то пешим он все старается повернуть овец направо, но остановить животных, глупо убегающих от ветра, невозможно.

Правда, шаг их становится с каждым часом все тяжелее, видно, что они устали, вот они уже не бегут, а идут, тихим шагом упрямо идут к страшной степи Кара-Киян.

«Даже если к утру погода установится, все равно будет трудно добраться до зимовки,— думал Коспан.— А если буран затянется? Все-таки где же мы находимся? Насколько мне удалось повернуть овец в сторону Кишкене-Кумов?»

А ветер все усиливается, нелегкая его возьми! Путь становится круче. Передние овцы останавливаются, но задние напирают, и снова вся отара движется вперед.

Коспан подгоняет Тортобеля, пытается с вершины холма определить местность. Ничего не видно в этой зыбкой мгле. Остается только копытами коня измерить глубину снега.

Перевалив через хребет, он спускается по обратному склону. Ветер стихает, смягчается его морозное дыхание. Наконец-то впереди желанное убежище. Неужели борьба закончилась? Напряжение ослабевает, он чувствует страшную усталость, ноют кости, тянет к теплу, покою.

Спуск становится все круче. Неожиданно Тортобель проваливается по грудь в сугроб, и у Коспана падает сердце. Он мгновенно догадывается, что это за холм. Это холм на границе равнины Кара-Киян, а перед ним глубокая балка с отвесной стеной. Если сюда провалятся овцы,— конец! С трудом вытащив Тортобеля из снега, он бросается назад.

Овцы уже подходят к гребню холма. С диким гиканьем он бросается на них и пытается повернуть назад, кнут со свистом рассекает воздух. В темноте отрывисто и гневно лает Кутпан, ему вторит высокий скулящий голос Майлаяк. Коспан не видит собак, но понимает, что они верно несут службу: бросаются наперерез овцам, кусают непослушных.

— Чайт! Чайт! Назад! — изо всех сил кричит Коспан.— Кутпан! Айт! Айт!

Стремление к теплу гонит овец прямо в пропасть. Коспан сорвал голос, но продолжает беззвучно кричать. Ледяной ветер обжигает горло. Овцы напирают. Коспан похож на матроса, пытающегося своим телом закрыть гигантскую пробоину в борту. Одна за другой овцы просачиваются сквозь заслон. Он пытается ловить их поодиночке, но в это время вся отара рвется вперед.

Около часа борется Коспан со своей отарой на гребне холма. Он уже ничего не соображает, он словно забыл о смысле своей борьбы и действует по инерции. Какая-то темная глыба валится на него, он чувствует свою беспомощность, но понимает, что, если хоть на секунду ослабит усилия, глыба мгновенно задавит его.

Шаг за шагом овцы теснят его к пропасти. Под ногами коня словно бурлящий котел. Слышится храп задыхающегося Тортобеля, хриплый лай собак. Силы оставляют Коспана. Черная лавина срывает его с места и неудержимо гонит к пропасти.

Стремительное неумолимое сползание к пропасти вдруг останавливает какая-то неведомая сила. Овцы, ринувшись с хребта вниз, к пропасти, неожиданно останавливаются, послушно поворачивают вправо, словно они не охваченное бессмысленным страхом стадо, а вполне разумные животные. Коспан недоумевает — откуда пришло неожиданное спасение? Потом догадывается: за хребтом резко сник ветер, и овцы сразу успокоились. Много ли им надо?

Отдышавшись, Коспан гладит шею Тортобеля. Она совершенно мокрая. Ай, беда, чуть не запорол коня. Надо пустить его побыстрее, а то застудится.

Ночь немного светлеет. Под защитой нависшего гребня Коспан гонит свою отару вдоль холма. Согревшиеся овцы бредут лениво.

Перед глазами Коспана играют холодные белые искры. Они то рассыпаются, брызжут мелкими лучистыми звездочками, то графитовыми палочками повисают на ресницах. Коспан немного отогрелся. Тяжелая дремота одолевает его, голова то и дело падает на грудь. То ли сон, то ли явь — непонятно. Белые искры сливаются, образуя сплошной матовый свет...

Сплошной яркий свет. Громадная люстра и сотни маленьких светильников ярким праздничным светом заливали пышно отделанный театральный зал. Люди, собравшиеся в алма-атинском оперном театре, были одеты в добротные «парадные» костюмы. Все улыбались.

Коспану после степи все это великолепие показалось совершенно фантастическим. С безграничным почтением взирал он на мужчин в черных пиджаках и безупречных белых, прямо даже как-то светящихся сорочках. Мужчины эти чернели за столом президиума, словно галки на проводах. Яркий свет, падавший сверху, скрадывал черты их лиц, отчетливо были видны лишь волосы, седые или черные, да блестящие лысины. А во втором ряду рельефно темнели коричневые, словно дубленые, физиономии чабанов.

Во время перерыва Коспан направился к буфету в боковом фойе. Бог ты мой, чего здесь только не было на аккуратных столиках, покрытых снежными скатерками: бутылки с обернутыми в серебро горлышками, пирожные и торты, похожие на цветы, разные плюшки-финтифлюшки, яйца, фаршированные красной и черной икрой, и прочие яства, названия которых были ему неведомы.

«Впустить бы сюда детей,— подумал он,— то-то им было бы раздолье. А взрослому человеку закусить вроде бы и нечем».

Кто-то взял его под руку. Ого, Касбулат!

— Ну, как нравится совещание?

— Красиво,— смущенно промямлил Коспан.

Широкий в плечах, низенький Касбулат снизу вверх смотрел на огромного Коспана. Смотрел он любовно, сияя улыбкой, словно гордился таким своим другом, а Коспан неуклюже переминался с ноги на ногу, стыдясь своего роста. Ему было неловко, что из-за него такой уважаемый человек задирает голову. Друг-то друг, но все-таки руководитель района.

Касбулат повел его в большое фойе, где по кругу расхаживали люди.

— Я только что переговорил с председателем. Скоро тебе дадут слово. Как себя чувствуешь? Не собьешься? Не подведешь, Коспан?

Коспан вытащил из кармана текст своей речи, отпечатанный на машинке. Еще в районе Касбулат вручил ему эту бумагу. В дороге Коспан несколько раз перечи-

тал ее, можно сказать, заучил наизусть. Написано там было все гладко, не придерешься, но Коспану было както не по себе. Не очень-то приятно повторять, подобно грампластинке, чужие слова.

Полчаса назад на трибуну вылез какой-то старик с белой бородой и в тюбетейке. Расположившись поуютнее на трибуне, он начал говорить так, словно находился не в роскошном сверкающем зале, а среди чабанов, собравшихся вокруг костра. Простыми и довольно корявыми словами он стал излагать то, что наболело у него на душе.

Коспану захотелось выступить так же, как тот старик, но он еще по прежнему своему опыту знал, как страшно выступать без подготовки на совещаниях, а тем более на таком совещании.

Маленькие глаза Касбулата понимающе усмехнулись, лицо, отсвечивающее, как эмалированная кастрюля, выражало сочувствие и дружескую поддержку.

— Дай-ка я еще раз просмотрю, пошлифую.

Низкий надтреснутый голос Касбулата напомнил Коспану блеяние старой овцы. От этой мысли ему стало стыдно, он даже покраснел. Касбулат сел на бархатную скамейку, углубился в текст, что-то зачеркивал, что-то вставлял. Складки вокруг рта стали у него глубже, щеки обвисли.

«И ты постарел, друг»,— подумал Коспан.

Касбулат оторвался от бумаги, испытующе посмотрел на Коспана, нервно улыбнулся.

— Просмотри еще раз. Главное — спокойствие.

Он положил ему руку на плечо. Рука еле заметно дрожала, точно он выпускал своего коня на скачки. Коспан понял, что его друг держит на него большую ставку. Это удержало его от намерения «выступить по-своеему».

Что же это за робость такая, откуда она взялась? Из-за доброты или от боязни огорчить друга? Или из-за того морального груза, который столько лет угнетал его? А ведь есть о чем сказать! Сколько передумано в степи! Есть идеи, есть конкретные предложения.

Вместо этого он долго и нудно читал по бумаге о своих показателях, о достижениях района, приводил бесконечные цифры обязательств. Да, когда еще выпадет случай высказать то, что надумано...

Овцы идут все медленнее. Укрывшись от ветра, они разогрелись, размякли. Часто останавливаются, сбиваясь в кучу. Глубокий снег затрудняет движение, но все равно Коспан радуется неожиданной передышке... Вспоминает прекрасный оперный спектакль, которым угостили чабанов после совещания. «Кыз-Жибек» была его детской мечтой, и вот тогда ему довелось увидеть ее собственными глазами и услышать собственными ушами. До сих пор не забыть ему, как пела Кыз-Жибек.

После спектакля народ сгрудился в дверях, словно овцы перед входом в кошару. Молодой, чуть постарше Каламуша, чабан взволнованно сказал Коспану:

— Вот это настоящая жизнь! Не так ли, ага? Все бы отдал за то, чтобы каждый день видеть такое зрелище! Вот блаженство-то!

Взглянув на его сияющее лицо, Коспан невольно усмехнулся.

Немного раньше, после его выступления, в очередном перерыве к нему подбежал тщедушный вертлявый человечек.

— Привет, аксакал! Я корреспондент. В завтрашний номер идет о вас заметка. Давай-ка в темпе рассказывай о своей жизни. Время — деньги!

Он был невероятно худ, этот корреспондент, худ и бледен, щеки будто слиплись во рту. Коспану даже стало жалко его. Привезти бы его на джайляу, отдохнул бы, поправился. Впрочем, человечка как будто нисколько не смущала его худоба. Весело хмыкая, он быстро писал, то и дело зыркая глазами по сторонам. Оборвав вдруг Коспана на полуслове, бросился к какому-то черноволосому горбоносому человеку:

— Ты что, старик, уже сматываешься?

Человек этот, отнюдь не старик, как увидел Коспан, небрежно бросил через плечо:

— Надоела эта тягомотина.

— Вечером «Кыз-Жибек». Придешь?

— Смотреть на эту старую деву? Нет уж, увольте.

Вот почему Коспан усмехнулся, слушая восторженного молодого чабана. А тот продолжал с тем же энтузиазмом:

— Ничего мы не видим в степи, никакой жизни. Лучше уж улицы мести, но жить в Алма-Ате.

— Не был бы ты передовым чабаном, на тебя никто бы здесь и не посмотрел,— возразил ему кто-то в толпе, но парень только отмахнулся.

«Каждому свое,— подумал Коспан, вспомнив лицо горбоносого.— Должно быть, и в раю со временем становится скучно».

Дыхание мороза вновь касается его лица. В следующий момент пурга одним ударом залепляет ему глаза и ноздри. Видимо, кончился спасительный гребень, и теперь они выходят в равнинную степь. Задрожав от холодного ветра, отара поворачивает влево. Упрямый, бесконечный ночной буран, оторвавший Коспана от всего живого в мире, гасит воспоминания и все дальше втягивает его в свою гигантскую зловещую воронку.

5

Касбулат собирается к вечеру выехать в колхозы. Поездка эта давно уже запланирована. Но после обеда начинает сыпать мелкий колючий снег, закручивает поземка. Касбулат колеблется. Начнется буран, еще застрянешь где-нибудь: расстояния между колхозами огромные.

А в доме, как обычно, стараниями Сабиры тепло, чисто, уютно. Впрочем, вопрос совсем не в том, что не хочется вылезать из уютного гнезда. Просто надо все-таки себя немного поберечь для общего же дела — как-никак работенка на износ.

Сабира — преподаватель, но уроков у нее в школе мало, просто для сохранения педагогического стажа и немного для престижа. Зато дома хлопот полон рот, и работу домашнюю она любит. Никогда Касбулат не замечал, чтобы она уставала или недовольно морщилась. Даже в дни великого нашествия гостей она не суетится, не нервничает, а делает все ровно, спокойно, обстоятельно. Он привык к этой размеренной деятельности жены и теперь даже не задумывается, что женщины могут быть иными.

Как хорошо после изнурительных бесконечных сове-

щаний, после всякого рода неприятностей обрести дома полный уют и покой. Дом — его надежный тыл.

Сабира — человек далеко не глупый, она отлично угадывает настроение мужа, но никогда не копается в его душе, не спрашивает о причинах душевного подъема или подавленности, короче — не выворачивает его наизнанку.

Раньше эта молчаливость и видимое безразличие страшно злили Касбулата, особенно когда он возвращался с совещаний в возбужденном состоянии. Вместо того чтобы восхищаться его принципиальностью, клеймить противников, она молча подавала ему чай и теплые домашние туфли.

Когда Касбулат, еще не остыв после жарких споров, начинал что-то ей рассказывать, она вроде бы и слушала его, и в то же время ни на минуту не прекращала хлопот, как челнок, сновала от кухни к столу и обратно в молчании. Молчала, словно думала какую-то свою бесконечную думу.

Касбулат раздражался, отодвигал тарелки, уходил к себе. Скверно, когда нельзя с самым близким человеком поделиться тем, что накипело. А еще говорят, что жена прежде всего товарищ.

Впрочем, в чем он мог обвинить жену? Разве лишь в том, что она его любит как-то по-своему, по-особенному? Приласкаешь ее — молчит, накричишь — тоже молчит и все хлопочет. Раньше казахи, отдавая детей в учебу, обычно говорили мулле: «Кости мои, мясо твое». Дескать, колоти сколько душе угодно, только обучи мое дитя. Должно быть, примерно так рассуждала и Сабира в отношении своего мужа.

Со временем Касбулат перестал откровенничать дома. Постепенно замкнутость превратилась в привычку. Теперь из него клещами ничего не вытащишь. Пожалуй, молчаливость и равнодушие Сабиры уже вполне устраивают Касбулата. Домашние разговоры тоже бывают чреваты последствиями и нередко приносят неприятности. Сколько угодно таких случаев.

Иные жены руководителей, желая показать свою причастность к великим мира сего, хвастаются своей осведомленностью, позволяют себе важные многозначительные намеки, а мужьям от этого одни неприятности. В маленьком районном центре все друг друга знают, а эти

гусыни задирают головы, разговаривают повелительным тоном, нелепо стараются острить. Знает Касбулат этот доморощенный юмор.

Сабира не такая дура, она осталась такой же ровной и спокойной, хотя он уже много лет руководитель района. В общем, такую жену, безусловно, следует ценить. Конечно, монотонность домашнего быта несколько надоедает, но когда все твои интересы, вся твоя страсть, все думы вне дома, может быть, это и хорошо.

На совещаниях, в кабинете, в поездках по аулам, даже на охоте с другими ответработниками, даже за преферансом и на курорте он не имеет права хоть на секунду забыть о своем положении и ответственности. Нужно все время следить за собой, чтобы ненароком не выдать какую-нибудь слабинку. И только дома он чувствует себя, как развьюченный верблюд. Переступая порог дома, он оставляет на улице своего зоркого стража, свою неотступную тень, следящую за каждым шагом, свое второе и главное «я».

Касбулат раздевается, облачается в свой любимый ворсистый халат, опускается на тахту. В комнате сумерки, и от этого она кажется огромной, немного таинственной. Радиоприемник, сервант, ваза на столе, «Незнакомка» Крамского — все вроде больше, объемней, а очертания расплывчатые.

Мягко ступая, в сумеречные тени входит Сабира, и чудится, что ее полное тело стало легким, что она не входит, а вплывает. Касбулат щурится, блаженствует.

После ужина появляется его шофер Жуматай. По тому, как он долго кряхтит и отряхивается в передней, становится ясно, что пурга усилилась. Вот в дверях показывается его лобастая коричневая голова.

— Ну что, ага, поедем или как? Вообще-то погода никудышная. Хороший хозяин собаки со двора не выгонит,— говорит он, хитровато щурясь. Что-что, а психологию своего начальника Жуматай знает досконально.

Касбулат молчит, сердито сопя. Сиплый голос Жуматая раздражает его. Не любит он отменять свои решения, но уж очень не хочется вылезать на мороз.

— Буран очень сильный, хозяйка, а у меня задний мост стучит,— дипломатично обращается Жуматай к Сабире, но и та молчит, по своему обыкновению.

Касбулат затягивается папиросой, выпускает густой клуб дыма, неприязненно смотрит на шофера. Ишь ты, хитрован! Видит, что начальству не хочется ехать, проявляет заботу. Обычно прозорливость и услужливая предусмотрительность Жуматая забавляют и нравятся Касбулату, но сейчас он досадливо морщится, злится на себя за свою нерешительность.

— Так завтра к какому часу подать, ага? — спрашивает шофер.

Ишь, стервец, абсолютно убежден, что верно разгадал ситуацию.

— Ровно в семь утра — и без проволочек,— резко и четко говорит Касбулат, и эта резкость, разумеется, адресована не дошлому шоферу, а ему самому.

После ужина он не просматривает, как обычно, газет и журналов, а просто сидит неподвижно и нехотя курит. Сабира, конечно, отлично понимает, что мужа что-то тревожит, что он не в своей тарелке, но, как всегда, делает вид, что все нормально, и спокойно убирает со стола. Потом она стелет постель. Ее мягкие привычные движения сегодня раздражают Касбулата, он даже тихонько скрипит зубами.

В голове какой-то сумбур, какие-то смутно беспокойные мысли, и тело почему-то корежит. В чем дело? Сегодняшнее совещание, посвященное зимовке скота, прошло нормально, провел он его, как всегда, четко. Конечно, были кое-какие личные выпады, попытки субъективно подойти к существу вопроса, но он их сразу пресек. В чем же дело?

Он накидывает пальто и выходит на улицу. Поземка превратилась уже в настоящий буран. У ворот намело целый сугроб. Вокруг темно, видимость на длину аркана. Должно быть, небо обложено плотно. Вот незадача! Какой-нибудь месяц-полтора — и до весны бы дотянули. Дрянь погодка... Как бы скот не пострадал... Вдруг начнется падеж?

Касбулат быстро входит в дом, хватает телефонную трубку, звонит председателю райисполкома, другим товарищам, делится с ними своей тревогой. Товарищи тоже обеспокоены, но не очень. Некоторые оптимисты думают, что к утру буран устанет. Однако Касбулат до глубокой ночи сидит у телефона, звонит председателям колхозов, спрашивает, сколько отар в кошарах, сколько в степи,

интересуется, какие приняты меры на случай многодневной непогоды. Председатели все невероятные оптимисты, голоса у них сильные, уверенные. Нижестоящие всегда успокаивают вышестоящих, уже это он знает по себе.

Надо было все-таки выехать немедленно. Раньше он не задумался бы ни на минуту, сразу бы помчался,— хоть днем, хоть ночью, в любую погоду, а в последнее время что-то стал не таким решительным. Стареть начал, что ли? Да ведь только еще полсотни набрал, даже седины в висках нет и сил еще достаточно — самый государственный возраст.

Что-то все-таки с ним происходит. Всю жизнь он работает, что называется, на людях. Поле приложения его сил — человек, человеческая масса. Всю жизнь собрания, совещания, большие и малые, и в них вся его страсть, вся энергия, а чувствовал он себя на публике всегда хорошо, как конь в табуне. А теперь вот, надо признаться, старается избежать многолюдия. Это происходит инстинктивно, неосознанно, но он явно жаждет уединения, одиночества. Даже самые интересные совещания старается поскорее свернуть. В колхозах тянет его из правления куда-нибудь на ферму или в одинокий домик чабана. И всегда ему особенно хочется посетить Коспана. Хорошо бы и в эту поездку заехать к нему, посидеть молча вместе с ним у камелька.

И откуда у него появились эти склонности, не очень-то свойственные руководящим лицам,— уму непостижимо. Откуда бы ни взялись,— но ему всегда хочется видеть этого молчуна с его нерешительной, почти детской улыбкой. Всегда он чувствовал за его молчанием какую-то редкую душевную ясность. Даже смотреть на него приятно — в каждом движении сквозит что-то простое, мудрое и успокаивающее.

...Судьба впервые столкнула их лет двадцать назад, осенью сорок первого года. Из новобранцев, собранных со всего Казахстана, была сформирована национальная бригада. Касбулат был назначен командиром роты. Начались учения. Однажды в одном из взводов Касбулат заметил громадного смуглого верзилу. Нелепые неуклюжие движения этого солдата привели его в ярость. При команде «вперед» верзила позже всех отрывался от земли и бежал тяжело, враскачку, словно верблюд. Звучала команда «ложись», все прижимались к земле, а ги-

гант еще несколько шагов пробегал вперед, потом опускался на корточки и виновато оглядывался. Винтовку он держал, как кочергу. Короче говоря, отличная мишень для фрицев.

Касбулат подозвал солдата к себе, оглядел его с ног до головы и процедил:

— Ты просто создан для войны, дружище.

Он стал лично заниматься с ним и провозился битый час. И сам устал и солдата в пот вогнал. «Встать — бегом — ложись!» — свирепо орал Касбулат, пока совершенно не охрип. Солдат старался изо всех сил, обливался черным потом, но все у него получалось так, как будто он снимался в кинокомедии. Касбулат дрожал от ярости.

Обычно в таких ситуациях командир и солдат бывают обозлены. Командир видит в неумелом солдате чуть ли не своего личного врага, беспрерывно муштрует его. Солдат же молча, стиснув зубы, выполняет все приказания, а сам думает про командира: «Чтоб тебя приподняло и хлопнуло».

Однако, когда прошла первая злость, Касбулат присмотрелся к солдату и понял, что тот ни в чем не виноват. Старается парень, не жалеет себя, но что поделаешь — тело его не слушается.

Был солдат чрезвычайно тяжел и широк в кости, а в лице было что-то простодушное, детское. Казалось, его расстраивали не собственные муки, а огорчение командира. Он виновато поглядывал на Касбулата, как бы говоря: «Простите уж вы меня, бестолочь...» В конце концов Касбулат махнул рукой, подозвал его к себе, усадил рядом и угостил папиросой. Солдат неумело взял папиросу, поблагодарил, а затем смущенно сообщил, что не курит.

Они разговорились. Выяснилось, что Коспан окончил семилетку, занимал до войны какую-то должность в райисполкоме и был с Касбулатом одних лет. Уже тогда Касбулат почувствовал к нему неясную симпатию.

В ту осень положение на фронте было тяжелым. Враг подходил к Москве. Казахская бригада со дня на день ждала отправки на фронт. Касбулат чувствовал, что впереди их ждут неведомые опасности, ему хоте-

лось, чтобы в решительный час рядом с ним был надежный человек. Поэтому он все чаще стал присматриваться к спокойному высоченному солдату.

Вскоре он взял его к себе в ординарцы. Прошло еще долгих пять месяцев, прежде чем их отправили на фронт, и за это время он так привык к своему ординарцу, словно это была его тень, умеющая по движению бровей угадывать и выполнять желание своего хозяина. Оружие и одежда Касбулата всегда были в чистоте, сапоги сверкали, и даже в самых трудных походах Коспан умудрялся подать пищу в горячем виде.

Каждый, кто был на войне, не забывает своего первого боя. Касбулат тоже до мелочей помнит этот день.

Широкая, слегка волнистая равнина с редкими лесками — колками дымилась от зноя, хотя был только май. Чем ближе подходили к фронту, тем серей, опаленней становилась земля, на горизонте небо сгущалось, словно наполняясь электрическими зарядами. Вскоре неподалеку стали рваться первые снаряды. Над головой что-то свистело, визжало, шипело. В животе все опускалось от этих звуков, а кожа покрывалась пупырышками. Шутки и смех, которыми люди подбадривали друг друга, теперь смолкли. Солдаты украдкой поглядывали один на другого.

Касбулат тоже чувствовал себя не особенно уютно. Тогда он еще только понаслышке знал, что, если снаряд летит с протяжным воем, значит, взорвется где-нибудь вдалеке. Все страшные звуки казались ему голосом смерти, его личной смерти. Чувствуя на себе взгляды солдат, он старался изо всех сил выглядеть спокойным.

Развернув взводы в позицию и оставшись на командном пункте, он почувствовал себя еще хуже. Надо было обойти окопы, но он не мог заставить себя подняться. Похоже было, что все огневые средства немцев нацелены именно на него.

За четыре месяца командования ротой он узнал не только в лицо, но и по именам всех своих солдат, а их было больше сотни. Даже довоенная жизнь многих из них была известна. Сейчас все они стояли перед его глазами. В предстоящем бою некоторые из этих славных парней безусловно погибнут. Для кого уже отлита пуля? Для Коспана? Или... или даже для него?

Четыре раза посылал Касбулат Коспана с приказами на передовую к взводам. Получив первый приказ, Коспан даже посинел и крепко сжал кулаки, чтобы унять дрожь.

— Есть, товарищ командир! — сразу как-то осевшим голосом пробормотал он, отдал честь и побежал.

Обычно неуклюжий, неповоротливый, как верблюд, тогда он бежал быстро, ловко припадал к земле, полз, как ящерица... Вокруг него со всех сторон вздымались безобидные на взгляд фонтанчики пыли. Вот он на бегу растянулся и замер. Касбулат содрогнулся и от ужаса закрыл глаза. Все — погиб парень! Чья теперь очередь? Открыв глаза, он увидел, что Коспан снова бежит. Ой-пырмай, он жив, жив! Все — добежал до окопа.

Надо бы самому обойти позиции, но липкий страх словно приклеил ноги к земле. Неужели его солдаты сейчас потешаются над своим храбрым командиром? После боя будет стыдно на глаза показаться. Поднимайся, Касбулат, вперед!

Но как ни подбадривал себя Касбулат,— трудно было оторваться от земли. Наконец, собрав всю свою волю и отбросив мерзкий липкий страх, Касбулат вместе с Коспаном отправился на передовую.

Ну, а потом были такие дела, по сравнению с которыми тот, первый, бой вспоминался просто как игра. Столько было кровавых каш, в таких переплетах пришлось побывать, что думалось, нет никакой надежды выжить. От страха на войне никуда не уйдешь, он живет в солдате всегда, словно печень или селезенка, к нему можно даже привыкнуть, и Касбулат привык к нему. Больше уже он никогда не испытывал такого мерзкого бессилия, как в первом недоброй памяти бою. И в самые опасные минуты Касбулат ни на шаг не отпускал от себя Коспана, всегда, словно талисман, держал его при себе.

Потом война раскидала их в разные стороны, в очень разные стороны. И встретились они не через год, а через четыре или больше, после победы.

Да-а, двадцать лет уже тянется их дружба, двадцать лет... Правда, были, конечно, и кое-какие, как говорится, «шероховатости». Было время, когда отношения между ними оборвались. Хорошо, что это прошло. Он сам вос-

становил их связь. Истинную цену прошлого и друзей познаешь с годами. Вот тянет его к Коспану, да и все. Если бы не этот буран, погостил бы он пару дней у Коспана, посидел бы молча рядом с ним.

Ветер бьет снегом в окно. Неужели усиливается этот дьявольский буран? Вот и в комнате становится прохладно. Завтра будет трудно ехать. Начну с самого ближнего, с «Жан-Жола», а после буду перебираться из колхоза в колхоз. До Коспана тяжело будет добраться, но все равно надо — его уже предупредили, он ждет. Эх, Коспан...

Итак, старые друзья вновь обрели друг друга, и на этот раз, верилось, навсегда. О том, что Касбулат называл «шероховатостями», он старался не вспоминать, а если случайно и вспоминалось, старался отмахнуться, мрачнел, бормотал себе под нос: «Ну, чего там в прошлом-то ковыряться, что было, то прошло, помирились — и ладно...» Эти мысли частенько возвращались и мучили, как навязчивая изжога.

Ну, хорошо, говорил он себе, да, я его обидел, но я же сам и пришел к нему первым, дружбу, мной разбитую, сам же и восстановил, и теперь между нами такие же хорошие отношения, как и тогда, на войне... Разве я не проявляю к нему внимания, не вожусь с ним? Забыл ли Коспан обиду? Они не сказали об этом ни слова, когда встретились вновь.

Просто Касбулат приехал однажды к затерянному в степи домику чабана, приехал так, как будто и не было между ними ничего дурного, выскочил из машины и закричал:

— Уа, Дау-Кара, Черный Великан! Так-то ты принимаешь гостей, Верзила? Три наряда вне очереди!

Вот этот неожиданный для Коспана приезд, и та свобода, и душевная — не наигранная ли? — веселость, с которой он ввалился в домик, избавили Касбулата от тягостных объяснений.

В самом деле избавили? Может быть, стоило поговорить, перетряхнуть прошлое, не засовывать, как страус, голову под крыло? Коспан, конечно, добрый малый, но кто его знает, что у него на душе? Такие обиды нелегко забываются. Он бы, Касбулат, не забыл.

6

Касбулат переворачивается на другой бок. Черт бы побрал эти воспоминания, ноют, как старая рана к дурной погоде. Раньше он был крепче, чихать он хотел на всякие воспоминания.

Завтра рано вставать, а сон не идет. Он начинает считать до ста, потом до тысячи, потом обратно. Исчез проклятый сон! А рядом спокойно посапывает Сабира. У нее никогда не бывает бессонницы. На душе у нее полный покой. Муж — ответственный работник. Сын в институте на последнем курсе. Чего ей еще? «Делай, как хочешь»,— вот что она говорит, другого слова от нее не жди...

Раньше было сильное чувство, что там говорить, а сейчас... Разумеется, притерлись они друг к другу за эти долгие годы, свыклись, живут мирно, словом — тихие родственники...

Сабира — опора этого дома, все лежит на ней, Касбулат не знает хозяйственных домашних забот. Сабира просто необходима ему. Впрочем, и без своей персональной машины он уже не может себя представить, и без шофера Жуматая.

Сабиру, пожалуй, устраивает, что он не сует нос в домашние дела, а она, в свою очередь, совершенно не интересуется его работой, то есть главной его жизнью. Никогда она не спросит: «Ну, как там у тебя?» или «Что с тобой?».

Та девушка ворвалась в спокойную жизнь Касбулата неожиданно и стремительно и разом взбаламутила тихую заводь. Собственно говоря, не совсем понятно было, почему мужчины теряли из-за нее голову. Ну, стройная, ну, хорошенькая, довольно милое продолговатое лицо, насмешливые, чуть раскосые глазки. Красавицей ее все-таки никак нельзя было назвать, но было в ней что-то притягательное.

Потом, когда вся эта история благополучно закончилась, он даже удивлялся — что за наваждение? Вскоре он и забыл ее совсем и почти никогда не вспоминал, разве что вот в такие недобрые ночи, вроде сегодняшней.

Она стоит перед ним как наяву. В ее небольших черных глазах светится что-то колдовское.

Ну вспоминай, вспоминай смелее, не отмахивайся, как всегда, не прячь голову под крыло...

Да, когда она, бывало, улыбалась ему, он чувствовал: нет на свете человека, более близкого ему, более дорогого. Когда же она обжигала его насмешливым, ядовитым взглядом, хотелось провалиться сквозь землю. Казалось, что ты самый низкий, самый ничтожный человек, тварь, мелюзга.

Явившись из темноты, она смотрит на него с милой грустью, даже жалостью, доброй женской жалостью. Так могла смотреть только она...

Началось у них все просто, вполне банально. Касбулат тогда только что демобилизовался. Она работала в РОНО и часто по делам захаживала в райисполком. Звали ее Шарипа.

Вначале Касбулат просто думал про себя: «Довольно интересная девица. Н-да, весьма приятная девица». Потом стал приглядываться все пристальнее. Что-то весело-игривое было в этой Шарипе, казалось, она еле сдерживается, чтобы не выкинуть какой-нибудь неожиданный озорной номер. Она была стройная, гибкая, о таких казахи говорят — «сквозь перстень пролезет». Иногда, когда она, тонко улыбаясь, насмешливо и небрежно взглядывала на него, Касбулат терялся и неопределенно хмыкал. «Приударить, что ли, за ней? — думал он.— Или не стоит?» С фронтовыми привычками расстаться трудно, но домашняя жизнь уже начала засасывать его.

Между тем они познакомились. Установились даже почти приятельские отношения. Однако что-то мешало им превратиться в совсем приятельские. При встрече они улыбались друг другу и всегда возникала какая-то неловкость, какая-то смутная недоговоренность.

Однажды они вместе поехали в область на какое-то совещание. Более удобных обстоятельств для ухаживания не придумаешь. «Вот тут-то я за ней и приударю»,— решил Касбулат.

Шарипа, наверное, чувствовала его нерешительность, улыбалась откровенно насмешливо, дразнила его своим шальным взглядом. Как-то Касбулат, решительно кряк-

нув, пригласил ее вечером прогуляться за городом. Она весело и просто согласилась.

Довольно долго они лениво бродили вдоль маленькой мелкой речушки. На него напала робость, он дико злился. Надо же, так легко удалось пригласить ее, а он только ходит, внушительно кашляет в кулак, мелет какой-то скучный вздор.

— Стемнело,— сказала Шарипа.— Пожалуй, можно и домой идти. Спасибо за прогулку.

Касбулат не на шутку растерялся. Так хитро все задумать, осуществить такую сложную операцию «выманивания» и даже ни разу не поцеловать девчонку! Вернуться в гостиницу и завалиться на казенную кровать? Вспомнив фронтовой опыт, Касбулат без подготовки бросился в атаку.

Шарипа сначала не сопротивлялась. Запах ее волос опьянил Касбулата, он прижал к себе девушку, стал обнимать ее, но она легко выскочила из его рук.

— Я люблю тебя, Шарипа,— задыхаясь сказал он.

— Не выдумывайте, товарищ заместитель председателя райисполкома,— дрожащим голосом сказала она.

— Серьезно! Клянусь тебе, Шарипаш!

Конечно, он говорил искренне. В этот момент он действительно был влюблен. Он снова схватил ее за плечи. Она вырвалась и вдруг закрыла лицо руками. Плечи ее вздрагивали. Плачет, что ли? Пошлая мыслишка мелькнула: «Раз плачет, значит, уже готова!»

Однако он тоже волновался, вдруг им овладело совсем иное чувство к этой женщине, ему захотелось нежно привлечь ее к себе, но она опустила руки и сказала твердо:

— Вы меня не любите.

— Шарипа, послушай,— с жаром начал было он, но осекся.

— Зачем вам врать, Касеке, и говорить такие слова? Ведь вы же не дешевый человек... А вот я вас люблю по-настоящему...

Она беспомощно опустила голову. Касбулат, растерявшийся было от этого неожиданного признания, порывисто обнял ее, начал целовать. Он был охвачен страстью и искренней нежностью.

— Шарипаш, милая моя...— шептал он.

В гостиницу он вернулся довольный. Все оказалось

так просто. Как он сразу не понял, что она неспроста строит ему глазки. Видно, влипла с самого начала. Что уж тут поделаешь — нравится он женщинам — и все. Нет, Касбулат, хоть тебе и за тридцать, а ехать с ярмарки, видно, еще не пришло время.

Легкая эта победа не остудила его, а напротив — только разожгла. Весь день на работе он рисовал в воображении картины очередного свидания.

Вот он входит, Шарипа, радостно вскрикнув, бежит к нему по темному коридору, кидается на шею. Это мгновение... Они долго стоят, прижавшись друг к другу.

Все так и было. Из глаз Шарипы исчез насмешливый огонек, который прежде так смущал Касбулата. Теперь они полны были стыдливой робкой любви, они смотрели на Касбулата с мольбой и восхищением. Беспомощность и покорность этой сильной своевольной девушки умиляли его. Что там говорить, он очень был горд собой.

Часы любви бежали, как минуты. Что поделаешь, приходилось возвращаться домой. Касбулат косился на часы, а Шарипа всегда говорила первая:

— Иди, милый. Тебе нужно идти домой. Еще разговоры пойдут.

Соглашаясь, он кивал с тяжелым вздохом, но она вновь начинала исступленно обнимать и целовать его. Проходило еще полчаса. Гордый, приятно опустошенный, Касбулат торопливо шагал домой и думал: «Надо все-таки пореже встречаться, следующий раз пойду к ней через неделю».

Но проходил всего лишь день, и он опять спешил к знакомому крыльцу. Дома он нервничал, не мог ни спать, ни есть, ерзал, вздыхал, оглядывался, как потерянный, а в командировках просто бесился.

В начале их романа ему и в голову не приходило подумать о будущем. Потрясенный нахлынувшей на него страстью, он, что называется, просто упивался своим счастьем. Правда, иногда, а именно по дороге от Шарипы домой, появлялись иные мысли: «Ничего, ничего, всегда ведь можно смотаться...»

Шарипа не ставила ему никаких условий. Он прекрасно видел, что она и не думает ни о чем таком, просто живет от одной встречи до другой, беззаветно отдавшись чувству. Совсем она не думает заарканить его. Это успокаивало. Беспокоило только одно: как бы в малень-

ком райцентре, где все на виду, не поползли слухи о его похождениях.

Довольно долгое время все было спокойно, и Сабира, казалось, ни о чем не подозревала или просто делала вид, что не подозревает, чтобы не нарушать мира в семье. «Ничего, ничего,— успокаивал он себя.— Все утрясется. Перемелется».

Однажды он понял, что зашел уж слишком далеко. Если так пойдет и дальше, он не сможет больше прожить без Шарипы и часа. Надо остановиться. Мало ли что было? И с кем не бывает?

«Мало ли что было... С кем не бывает... Не я у нее первый, не я и последний... На мне свет клином не сошелся... После войны мужиков всюду не хватает. Просто я ей сразу попался».

Этими лукавыми мыслишками он как бы подготавливал себе отступление на заранее намеченные позиции, прекрасно в то же время понимая, что никого Шарипа так самозабвенно не любила и не полюбит никогда.

Он знал, что такая любовь выпадает только один раз в жизни. Если и выйдет Шарипа потом замуж, такой страсти ей больше не испытать. И ему тоже. И вообще он не представлял себе дальнейшего своего существования без этой девушки.

А ведь при первом знакомстве она показалась ему просто миловидной девушкой, отнюдь не красавицей. Теперь с глаз его словно упали шоры. Он понял, что красота бывает чем-то подспудным, тайным, что не всегда доступно поверхностному взгляду. Если бы Шарипа стала красивей внешне, изменились бы черты ее лица, и тогда она потеряла бы то неуловимое, за что Касбулат ее так безрассудно любил.

Тонкое смуглое лицо Шарипы не было броским, но оно было словно трава под ветром, в нем отражалось каждое движение души. Во всей ее вытянутой стройной фигуре, в длинных пальцах, во всей этой ее продолговатости была какая-то необъяснимая для него прелесть. При каждой новой встрече он с искренним изумлением находил что-то новое в лице, жестах, движениях Шарипы. Почему же он сразу не смог разгадать ее?

Удивительно то, что в отсутствие Шарипы он никак не мог целиком представить себе ее. Четко вспоминались лишь какой-то жест, взгляд, движение бровей. Он

напрягался, пытался дополнить эти мгновенные, как вспышки, воспоминания, но образ Шарипы был неуловим. Оставалось только ощущение нежности, доброты, счастья.

Жизнь Касбулата теперь текла словно по двум руслам, проходила в двух измерениях. Было то, что можно было назвать его основной жизнью: работа, дом, компания преферансистов. Эта реальная, понятная жизнь казалась ему теперь иллюзией, призрачной, бессмысленной, она утекала сквозь пальцы, как песок, и остановить ее было нельзя. Зато была у него теперь и вторая жизнь — неуловимая, безбрежная, не выразимая словами, туманная и сияющая, и эта жизнь задерживалась в быстротекущем времени, она не пропадала.

Увы, то, что он называл мнимо реальным миром, скоро заявило на него свои права. Грубая внешняя реальность без стука ввалилась во вторую жизнь Касбулата.

Поползли сплетни. На лицах сотрудников он стал замечать игриво-завистливые улыбки, за спиной все чаще слышался шепот и сдавленное хихиканье. Наконец, разговоры дошли и до Сабиры. Он сразу это заметил. Сначала она только хмурилась и молчала. Касбулат был доволен уже и этим, но чувствовал, что так дело не кончится.

Даже и без этой истории их отношения с Сабирой были не простыми. До войны они жили вместе всего полтора года. Не успел Касбулат свыкнуться с положением семейного человека, как снова оказался холостяком. Началась разлука длиною в пять лет. Что касается паренька, то, когда Касбулат уходил на фронт, он лежал поперек люльки, а вернулся — по дому бегает шестилетний сорвиголова. Оттого, что сын не рос у него на глазах, не начинал при нем ходить, не лепетал первые слова, Касбулат почему-то не испытывал при виде сына отцовского чувства. Он казался ему скорее младшим братишкой.

«Разумеется, я их не оставлю,— говорил себе Касбулат.— Помогать буду всю жизнь».

Да, он начинал подумывать о разводе. Но как решиться на такой шаг? И с Шарипой тоже невозможно порвать. Без нее все погаснет.

Мучаясь, не находя никакого решения, он шел к Ша-

рипе. Она прижимала его голову к своей груди, целовала его волосы, пугливые ее пальцы бродили по его лицу. Она молчала, но каждое ее движение говорило: «Милый, я все понимаю. Не думай обо мне. Делай, как знаешь, только не мучайся». Но знала ли она, что своей этой покорностью и жертвенностью она еще больше ранит его?

— Где ты пропадаешь? — сказала в один из вечеров Сабира.— Что тебя из дому гонит?

— Что ты мелешь? — отмахнулся Касбулат. Внутри у него все сжалось.

— Не понимаешь, да? Не перебесился еще?

Касбулат давно ждал этого объяснения и внутренне подготовился к нему, но сейчас растерялся, попытался увильнуть.

— Не понимаю, о чем ты говоришь. Что за вздор?

— Ах, не понимаешь? И того, что весь район уже перемывает нам косточки, ты тоже не знаешь? Больше нет у меня сил молчать: в глаза люди смеются.

Касбулат собирался было рассердиться, изобразить благородный мужской гнев, но тут Сабира мгновенно и бурно расплакалась, и он растерялся. Все приготовленные к этому случаю слова — слова решительные, четкие — вылетели из головы.

— Давай не будем ссориться. И без того наша жизнь не сахар,— глухо проговорил он.

— Да разве я в этом виновата? — надломленным голосом воскликнула она.

— Не знаю, кто из нас виноват, знаю только, что это не жизнь, проку в ней мало. Будем честными, Сабира, перестанем тянуть резину. Лучше по-хорошему...

— Нет! — крикнула Сабира.— Я тебя пять лет ждала? Ради чего? А мальчик наш тут при чем? Разве он виноват? Хочешь его без войны сиротой сделать?

Все, что она сдерживала в себе последнее время, сейчас вырвалось в потоке слез, в безудержном истошном крике, в жалких беспомощных словах.

«Так и знал. Сразу сына вперед выставила. Конечно, мощное оружие»,— ярил себя Касбулат, в то же время понимая, что ему уже болезненно жалко и сына, и эту рыдающую беззащитную женщину. Потрясенный и разбитый, он вышел из дома.

Одна беда тянет за собой другую. На следующий день его вызвал к себе Мажитов.

Мажитов, его непосредственный начальник, был плотным невысоким человеком лет за сорок. Добродушный и смешливый, он любил шутку, знал множество смешных историй и любил их рассказывать к случаю и без случая.

— Есть новенькие анекдотики? — обычно спрашивал он и наклонялся к собеседнику, выражая полную готовность тут же расхохотаться, как говорится, до животиков.

На сей раз лицо его было непроницаемым и холодным. Кивком головы он указал ему на стул, сухо сказал, обращаясь по фамилии: «Садись, товарищ...» После этого, разумеется, он уставился в какую-то бумагу, словно кроме него в кабинете никого не было. Кто-кто, а Касбулат знал этот стиль. Обычное начало для официального разговора старшего с младшим.

Однако молчание затягивалось, и Касбулат даже подумал, уж не поклеп ли какой-нибудь на него сейчас в руках Мажитова. Скосив глаза, он заглянул в бумагу — нет, какое-то обычное отношение. Мажитов наконец поднял голову, посмотрел прямо в глаза Касбулату и неопределенно проговорил: «Н-да, да-да-да...» Ни тени улыбки.

— Давай-ка поговорим в открытую,— словно решившись, начал он.— Как у тебя на семейном фронте? Порядок?

Касбулат не ответил.

— Красноречивое молчание. Нет, стало быть, порядка, так, что ли?

Касбулат не отрывал взгляда от глаз Мажитова. Если он сейчас по обыкновению расхохочется и превратит чужую беду в смачный анекдотец, Касбулат тогда встанет и хлопнет дверью. Была не была!

— Жена, что ли, вам написала или сплетни дошли? — мрачно спросил он.

— Сплетни не сплетни, а слухи о тебе ходят, и слухи, как я вижу, далеко не беспочвенные. Верно говорят: без ветра и трава не колышется...

Больше всего Касбулат злился сейчас на самого себя. Не хватило мужества самому с ходу обрубить, принять на себя всю тяжесть, крутил, юлил, и вот теперь расплачивайся — сейчас чужие руки полезут тебе под кожу, к самому сердцу.

— ...Жена у тебя умная, да-да. Напиши она жалобу, пришлось бы ей дать ход, бумага есть бумага. Но я без бумаги хорошо знаю твои дела. Люди не ангелы, конечно, и с грехами молодости все мы знакомы, только ты, я думаю, зашел слишком далеко. Послушай, я тебя спрашиваю по-дружески: что дальше собираешься делать?

— Сказать по правде, я и сам не знаю,— глухо проговорил Касбулат.

Этот ответ сразу как-то настроил Мажитова на отвлеченно-философский лад. Он задумался и даже вроде бы вздохнул.

— Сложно... сложно... Что и говорить, сердцу не прикажешь. Жизнь она... иногда... Но вот о чем забывать тебе нельзя — о семье. Ты хороший работник и с надежной перспективой, а каждый из нас должен быть морально безупречным. Так или нет? Споткнешься один раз, мы тебя поддержим. Будешь падать дальше, тут уж извини, никто тебе не поможет. Мы будем только осуждать тебя, клеймить позором. Парень ты с будущим, и кадров у нас не хватает, но незаменимых нет. Понимаешь? — пытливым взором он впился в лицо Касбулату, помолчал.— Хочешь, дам тебе совет?

Касбулат не ответил, даже не кивнул. Он только опустил голову.

— В жизни бывают моменты, когда не мешает выслушать мнение людей, хотя и посторонних, но умудренных опытом и благожелательных,— тихо, как больному, говорил Мажитов.— Совсем это не значит, что надо только тянуться перед старшими по чину и возрасту, но, когда сам не можешь ничего решить, лучше другого послушать, чтобы потом не кусать себя за локти.

Касбулату казалось, что Мажитов мягко, но решительно вынимает у него из рук тот проклятый клубок, который он вот уже столько дней пытается распутать. И он продолжал молчать.

— Конечно, обуздать свои страсти нелегко,— продолжал Мажитов,— но ты все-таки возьми себя в руки, послушай меня, дорогой. Как-никак ты боевой офицер, должен знать, что такое выдержка, на войне людьми командовал, с самим-то собой должен справиться.

Резкий страх вдруг сжал Касбулату сердце: он понял, что сейчас потеряет Шарипу навсегда. «Не отдам!» — хо-

телось ему крикнуть изо всех сил. Лицо багровело, он задыхался, но молчал.

Мажитов, казалось, понимал его состояние. Он смотрел на него сочувственно и грустно, словно и сам когда-то пережил что-то подобное.

— Не хочешь ты передо мной раскрыть душу, Қасбулат, и это я понимаю,— сказал он после долгой паузы.— Однако не в моих привычках бросать товарища в беде. Долго я думал о тебе, дорогой, ой, долго, и считаю, что самое разумное для тебя — перевестись в другой район. Здесь все только и болтают о твоем деле, а вдали все утрясется, перемелется,— он впервые усмехнулся,— мука будет. Так вот, я все уже согласовал с Баймолдиным, получишь должность не хуже, чем здесь. Жаль отпускать хорошего работника, но ведь и о будущем его надо подумать.

«Қакой он все-таки добрый и дальновидный человек,— неожиданно подумал Қасбулат.— Милый, исключительно внимательный и тактичный... Да-да, он совершенно прав, я не простой работник, меня в области считают человеком «с перспективой». Он знает, что я пойду в гору, если не... Но это невозможно! Шарипа! А жена, заплаканная, жалкая от слез? А сын? Нет, это невозможно! О Шарипа, Шарипа...»

Он все молчал, и Мажитов молчал, понимающе и тактично расходуя на него свое ценное время. Наконец он поднялся из-за стола и подошел.

— Обмозгуй все как следует, не спеши. Уверен, что прислушаешься к моим советам. Это советы старшего брата, Қасбулат.

Разумеется, Қасбулат «прислушался», и вскоре его перевели в другой район. Новизна всегда захватывает, а Қасбулат накинулся на новую работу, как голодный на хлеб. Кампания следовала за кампанией, командировка за командировкой, не прошло и года, как его из завотделом повысили в зампредрайисполкома. Вкус первой власти тоже довольно сильное чувство. Сложные перипетии руководящего положения все больше поглощали его.

То, что совсем еще недавно виделось ему ложной грубой реальностью, оказалось хоть и суровой, но действительной реальностью, а то другое, «истинное», померкло в тумане.

Через два-три года он вспоминал Шарипу лишь на областных совещаниях, когда встречался с Мажитовым. Мажитов всегда при встречах хлопал его по плечу, заговорщически подмигивал, добродушно похохатывал, а когда Касбулат недовольно морщился, переходил на серьезный тон, интересовался его отношениями с Баймолдиным, одобрительно кивал, глядя на него, как на своего крестника. Все-таки именно благодаря ему он не свернул с правильного пути, и, хотя Касбулата раздражали порой ухмылки и подмигивания Мажитова, в глубине души он был благодарен ему. Страшно подумать, что случилось бы с ним, если бы он поддался власти слепого чувства. Хорошо, что встретилась ему на жизненном пути эта добрая душа, человек, который не сделал из многочисленных сигналов никаких оргвыводов, а просто по-товарищески поддержал его.

> ...Касбулат ворочается с боку на бок. Сна ни в одном глазу, а в доме как назло нет снотворного. Текут мысли, цепляются одна за другую, ничем их не остановишь. Надо же, пятнадцать лет с той поры прошло, давно уже остыл, перегорели «страсти роковые», и вдруг все разом всплыло на поверхность. И Шарипа, как живая, стоит сейчас перед ним. Как ты живешь теперь, Шарипа, со своим скромнягой-мужем?

Даже после разговора с Мажитовым Касбулат несколько раз, останавливаясь на ночной улице и глядя в небо на редкие звезды, думал: «А не послать ли мне все к чертовой матери? Не уехать ли куда-нибудь подальше с Шарипой? Хоть в чабаны пойти, а?»

Даже когда писал обстоятельно аргументированное заявление о необходимости перевода в другой район, даже тогда что-то в этом же роде, словно сквозь сон, ворочалось в душе. Он боялся увидеть ее, чтобы вновь все не проснулось, и зашел только за день до отъезда.

> ...Не надо вспоминать эту встречу. Зачем это тебе? Лучше о чем-нибудь другом подумай. О снегозадержании, например, об этом проклятом буране. Как завтра поедем? Надеюсь, Жуматай не забудет цепи, этот старый плут... Вот правильно, так-то лучше...

Не надо вспоминать эту встречу! Лучше ущипни себя за руку.

Прощальный монолог был подготовлен заранее и в самых лучших выражениях. Любовь его к ней безгранична, он не забудет ее до последнего мгновения жизни, но против жестокой судьбы человек бессилен...

Шарипа встретила его по обыкновению тепло и приветливо, словно ничего не случилось.

— Раздевайся, проходи, сейчас приготовлю чай.

Касбулат от неожиданности даже растерялся. Красивый и мрачный монолог вылетел из головы. Неужели она еще ничего не знает? Неужели придется объяснять все сначала?

— Не надо чая. Я очень спешу,— смущенно промямлил он.

— Нет уж, так у нас не принято,— весело сказала Шарипа.— В дальний путь не отпускают с пустым желудком.

Знает она, знает, не может не знать. Знает и ничуть не печалится, и голос у нее не дрожит. Он себя терзает, мучается, разрывается на части, а ей-то, оказывается, все равно. Вот цена его страданиям. Хотел с такой бездушной женщиной связать свою судьбу!

За чаем Шарипа, как и положено, занимала его всякими разговорами, с интересом расспрашивала о том районе, куда он направлялся. Он хмурился, отвечал неохотно, сквозь зубы. Его терзала досада, что Шарипа оказалась недостойной его великой, чуть ли не вселенской трагедии.

Вдруг он увидел, как дрожит ее рука, державшая чашку чаю, услышал, как тоненько звенит ложечка... Он резко поднял голову. Глаза, захваченные врасплох, выдали Шарипу. Он сразу понял, как малы все его терзания рядом с ее горем, вся его «бесконечная любовь», «жестокая судьба»... Как ничтожно, как пошло... Репетировал свой монолог, как какой-нибудь бездарный актеришка...

Он тяжело поворачивается на другой бок. Скрипит под ним деревянная кровать. Сабира, проснувшись, подает голос со своей кровати:

— Что не спишь? Может, нездоровится?

Вместо ответа он что-то глухо бурчит. Жена сладко зевает, устраивается поуютнее. Снова безмятежное посапывание.

«А для нее хоть трава не расти,— думает Касбулат.— Неплохо иметь такой душевный покой. Неужели она забыла, забыла совсем о той истории? Как странно все это. Тогда мы даже не объяснились, и пятнадцать лет она ни разу, ни одним словом... Все исчезло, как какая-то сущая ерунда, словно кошка засыпала свою дрянь...»

Он снова переворачивается. Хоть бы уснуть. Скоро, наверное, начнет светать, а за окном все воет. Ой, разгуливается буран...

7

Поставив коня в колхозную конюшню, расседлав и положив перед ним охапку сена, Каламуш направляется к общежитию школы. Эх, как ему хочется задержаться пару дней на колхозной усадьбе!

Он проходит по некрашеному рассохшемуся полу невысокого саманного дома и останавливается у дверей пятой комнаты. Здесь все ему знакомо, каждая тумбочка. На его кровати в углу разлегся горбоносый Саден — Кок-Кошкар, как прозвали его ребята. Совсем еще недавно был ведь салажонком, а, смотрите пожалуйста, переселился уже в комнату старшеклассников.

— С приездом, Каламуш-ага,— небрежно говорит Саден, словно только его и дожидался.

— Где ребята? — спрашивает Каламуш.

— Где же им быть? На занятиях.

— А ты что здесь валяешься?

— Увы и ах, я заболел,— весело отвечает Саден и добавляет уже грустно: — кажется, простудился.— Голова его бессильно опускается на подушку.

— Чем заболел — мигренью или ленью?

— Ужасная температура,— доносится с подушки умирающий голос.

— Дай-ка пульс пощупаю.

— Честное пионерское, агатай! Вернее, честное комсомольское, агатай! — восклицает Кок-Кошкар, закрывается с головой и сжимается в комочек.

Сбросить его с постели для Каламуша дело пяти секунд.

— Я на этой кровати пять лет бока протирал и се-

годня буду на ней спать, а ты поищи себе место у салажат,— деловито распоряжается Каламуш.— Сейчас я иду в правление переговорить с председателем по важному делу, а к вечеру вернусь. Не забудьте чаю приготовить.

Рожица Кок-Кошкара расплывается в хитрой улыбке.

— Я думаю, Каламуш-ага, что Зюбайда тебе даже мясо по-казахски приготовит.

Короткая погоня заканчивается поимкой маленького интригана.

— Ой, агатай, прости, больше не буду! Агатай!

— Перестанешь ты меня заводить Зюбайдой или нет? Вот оторву голову, суну ее тебе под мышку и скажу, что так и было. Еще одно слово про Зюбайду — и будешь голову свою носить под мышкой.

— Больше ни одного слова, агатай! Все забыл, клянусь! Даже когда на свадьбу пригласите, не пойду, не поверю.

Каламуш идет к правлению колхоза по длинной улице мимо редких домов с плоскими кровлями.

Надо было бы зайти в школу, но лучше, пожалуй, сделать это через пару часов, когда кончатся уроки. Ребята высыпят из классов, шумно окружат его, Каламуша, настоящего чабана. Разинув рты, они будут смотреть на него, слушать деловой, чуточку усталый рассказ о дальнем отгоне. Такие минуты были Каламушу очень даже по душе.

Честно говоря, школа — это главное, что тянет его на центральную усадьбу. Черная парта, на которой сохранились еще вырезанные им инициалы, первая жажда увековечиться. Коридоры... По ним он так много бегал. Волейбольная площадка... Кто обладал самыми сильными «гасами»? Замнем для ясности.

Но есть и еще кое-что, может быть, самое главное. Зюбайда... Она будет стоять чуть в сторонке, не смешиваясь с толпой ребят, и будет отводить в сторону свои глаза, похожие на две черные смородины, и пунцовый румянец выступит на ее смуглом лице, а он будет говорить намеренно громко, вроде бы вовсе не для нее, но потом глаза их на мгновение встретятся, и что-то сладко запоет у него внутри, голова слегка закружится, и он поймет, что нет никого на свете лучше этой девочки.

Предвкушение торжества и радости греет и вдохновляет Каламуша, лучисто светится его матово-белое лицо с чуть вздернутым носом, на губах блуждает смутная улыбка — так много в мире припасено для него еще не изведанного счастья.

Из конторы выходит председатель правления Кумар. Фигура, прямо скажем, с первого взгляда несколько нелепая: черная овечья шуба узка в талии, но полы огромные, малахай на голове сидит так, словно торчат в разные стороны ослиные уши. Выходит он торопливо, точно спешит куда-то, но, увидев Каламуша, останавливается.

— А, мальчик! Когда приехал? Как Коспан, жив-здоров? Отара в порядке?

При полной крупной фигуре у Кумара тонкий писклявый козлетончик, кажется, что в его толстую шею вставлено тоненькое горлышко, через которое проходит только небольшая часть, четверть его голоса. Впрочем, этот голосок не помешал ему утвердить за собой авторитет крутого и властного председателя.

— У нас все в порядке. Спасибо.

Кумар внимательно смотрит на Каламуша застывшими глазами, видно, что он думает о чем-то своем.

— Кумеке, а как насчет моего важного предложения? — бросается в атаку Каламуш. Собственно говоря, ради этого предложения он и шел в контору.— Как насчет бригады чабанов? Что же получается — в прошлом году мои слова пустили на ветер и в этом году зажимаете инициативу. Мы могли бы стать передовиками, настоящими маяками...

— А, подожди ты с этим,— досадливо отмахивается Кумар, и глаза его приобретают живое выражение, видимо, мысль оформилась.— Ты вот что — сегодня же возвращайся домой. Сюда Касеке завтра приедет и, видно, сразу отправится к вам. Возьми все что надо из магазина.

— А как же быть с моим важным предложением? Всегда вы...

— Об этом в другой раз.

Хлопнув Каламуша по плечу, Кумар поспешно уходит. Всегда вот так, никакого серьезного отношения к начинаниям молодежи. Потрепал, как мальчишку, по плечу — и все.

В прошлом году Каламуш вычитал в газете, что в

Бурятии организованы комплексные бригады чабанов. Одна бригада на шесть, а то и на десять тысяч овец. Сами сеют и убирают кукурузу, сами заготавливают корма, свои тракторы, машины... У него даже дух захватило от восторга — вот оно настоящее дело! Бросился с газетой к Коспану, но тот только улыбнулся. «О чем ты говоришь, дорогой, у нас зимой даже подножных кормов не хватает вокруг зимовки. Сколько я твердил в правлении, чтобы построили запасные базы в степи, а толку — ноль».

Каламуш не думает отказываться от своих идей, это не в его привычках. Он уверен в своей конечной победе, уверен, что ему удастся объединить чабанов в большие комплексные бригады, где будет весело и интересно жить и работать. Исчезнут одинокие, разбросанные по степи убогие и унылые юрты чабанов. В такую бригаду, глядишь, и Зюбайда переберется.

Подождите, подождите, председатель Кумар. Я еще завтра к вам приду, а сегодня никуда не уеду, переночую в общежитии. Вечером можно будет заглянуть к девушкам, посидеть, поболтать, ничего в этом нет зазорного...

Утром следующего дня Каламушу не до прений с Кумаром. Он с тревогой смотрит на небо, на степь, седлает коня и сразу трогается в обратный путь.

Буран, бушевавший всю ночь, замел дорогу, и лошадь проваливается по колено. Сейчас ветер немного ослаб, снег летит мелкой жесткой крупой, смутно виднеется горизонт, справа из снежной пыли выплывает пологий холм Костаган.

За Костаганом зимовка его отца, которого все в округе, да и он в том числе, зовут стариком Минайдаром. Что если завернуть к старику? Нет, нельзя, надо спешить. Со вчерашнего дня Каламуш потерял покой. Сейчас тревога его растет, он не перестает думать о своем Коспане-ага. Всю ночь думал, как он там, в плоской Кузгунской степи, и вот сейчас, забыв про Кумара, про свое «важное предложение» и даже про Зюбайду, он, защищаясь левым плечом от напора ветра, крупной рысью спешит домой.

Вот она, их кошара,— белый сугроб у подножия Дунькзыл. Только труба отличает ее от других сугробов. Но почему труба такая длинная? Ой-бай, да это Жа-

нель-апа стоит на крыше, всматриваясь вдаль. Каламуш пускает коня галопом.

— Айналайн! Солнышко мое! Приехал, мой мальчик! Замерз, наверное, до костей! — причитая и подпрыгивая, Жанель пытается обнять Каламуша еще в седле.

— Ага еще не вернулся?

Жанель выхватывает повод из рук Каламуша и, не отвечая, ведет его лошадь к конюшне. В доме она снова бросается к нему.

— Быстрей раздевайся, ты весь в инее и снегу. Сейчас чаю подам.

Каламуш внимательно смотрит на свою вторую мать. Всего лишь сутки прошли, а как резко она изменилась: обтянулись скулы, ввалились щеки. Каламуш понимает, что Коспан не вернулся, да он и не мог вернуться в такую погоду. Он смотрит на Жанель и не знает что сказать.

Жанель суетливо заваривает чай, расстилает скатерть, приносит вареное мясо. Своими суетливыми движениями она как будто пытается заглушить тревогу. Наконец садится напротив и со вздохом говорит:

— Авось нашел Коспан где-нибудь убежище, не впервой ведь ему...

До Каламуша доходит, что апа за всю ночь не сомкнула глаз, и он говорит с нарочитым спокойствием, даже немного небрежно:

— Пожалуй, апа, мне не надо задерживаться. Трудновато аге одному в таком буране.

— Нет-нет, подожди! — восклицает она.— Куда же ты, родненький, один в такую жуть?

— Чего же ждать? Это не в моих привычках.

Он пружинисто встает. Поднимается со стоном и Жанель.

— Да ведь конь-то твой небось еле на ногах держится...

Куренкаска сегодня отмахал сорок километров и действительно устал. Каламуш в нерешительности, но все же идет к выходу.

— Поезжай лучше к деду, айналайн,— говорит Жанель.— Уж дед-то что-нибудь придумает, может быть, пошлет вместе с тобой Кадыржана. Там, у деда, и коня сменишь.

Пожалуй, это единственно правильное решение. Каламуш выводит из стойла усталую лошадь. Жанель

смотрит, как он ловко прыгает в седло, берет коня за узду, улыбается Қаламушу. Вот и вымахал мальчик в настоящего джигита. Лицо еще совсем детское, а в плечах уже раздался, и рука, охватившая луку седла,— настоящая мужская рука.

— Не горюй, апа, все уладится. Если ветер не затихнет, ягнят не выгоняй,— говорит он на прощание и трогает лошадь. Қаждый раз, когда он произносит слово «апа», сердце Жанель сжимается от благодарности.

После смерти Мурата многие утешали ее как всегда в таких случаях — ты еще у нас молодая, будут у тебя еще дети, подожди — вернется муж с фронта, будет у вас еще один Мурат. В глубине души и сама Жанель сохраняла эту безумную надежду, не зная, что совсем поблизости поджидает ее новый страшный удар.

Это случилось в последнюю весну войны. Женщины перетаскивали семенное зерно, когда на рабочем дворе появился грозный Жаппасбай. Некоторое время, сложив по обыкновению руки на крестце, он наблюдал, как женщины по двое, взявшись за углы, перетаскивают семипудовые мешки. Лицо его постепенно темнело, и вдруг он заорал:

— Я вижу, вы тут просто баклуши бьете! Совсем от рук отбились! По две бабы на один мешок!

— Эй, замараха, поди-ка сюда! — подозвал он к себе Жанель и, когда она подошла, взвалил ей на плечи семипудовую тяжесть.

Жанель, раскорячившись, еле добралась до телеги. Вдруг страшная боль пронзила ее, будто внутри что-то лопнуло. Она только успела свалить канар в сторону и потеряла сознание.

Много времени спустя врачи сказали ей, что она никогда не сможет иметь детей...

...Қаламуш скачет наискосок к ветру. Жанель с любовью смотрит ему вслед. Все-таки бог послал ей еще одного сына.

Круп лошади тонет в поземке.

Вот уже четырнадцать лет, как начали чабанствовать Қоспан и Жанель, и все эти четырнадцать лет ближай-

шими их соседями была семья старика Минайдара. Бог принес Минайдару еще троих детей старше Каламуша, да не ахти какие удачные получились эти дети. Старшая, Салиха, была почти ровесницей Жанель. Молчаливая, туповатая, она, казалось, ничем не интересовалась, кроме овец, а вот, гляди-ка ты, и ей ветром надуло ребеночка. В округе тогда много хихикали по этому поводу, и Жанель как-то, смеясь, предложила назвать младенца Олжабаем, что значит находка.

— Неуместная шутка,— одернул ее тогда Коспан.— Человек есть человек.

Второй дочери Минайдара Васихе удалось немного подучиться, и она работала осеменатором. Было ей тоже уже далеко за тридцать, а никаких женихов не предвиделось, да и какой джигит приедет в пустынную степь за черной неуклюжей невестой?

Ну, а старший сын Кадыржан хоть и ходил в передовых чабанах, но далеко не заслуженно — это старик Минайдар передал ему свою славу, и Кадыржан стал как бы представителем семьи-бригады на разных районных и межрайонных конференциях. На трибуне-то он умел повеличаться!

Старик Минайдар не торопился передать формальные родительские права Жанели и Коспану на своего младшего Каламуша, настоящего джигита. Давно уже потихоньку досадовала за это Жанель на своего ближайшего соседа и друга...

8

Занимается дикое утро в пустынной степи. Ветер гонит безнадежно ковыляющую по снегу отару. За отарой едет Коспан. Куда они идут? Сколько прошли за ночь? Что ждет их впереди? Распухшими от стужи пальцами чабан срывает с усов сосульки. Пальцы, казалось бы, должны были уже совсем одеревенеть, но холод от прикосновения к сосулькам по-прежнему прожигает их насквозь. Вот тело одеревенело, это да. И Тортобель, бедный, еле переставляет ноги. Холка его покрылась коркой льда.

Со вчерашнего полдня во рту Коспана росинки не было. Покопавшись в курджуне, он находит кусок курта, начинает его сосать. Кисловато-горький сок дерет пище-

вод, как наждак, но все-таки это еда, в желудке становится немного теплее.

Из снежного марева выплывает одинокая остроконечная сопка. Қоспан узнает ее, это Аттан-шоки, что колом торчит посреди пустыни Қара-Қиян. Наверное, в древние воинственные времена на вершине этой сопки стоял дозорный и, увидев на горизонте облако пыли, поднятое вражеской конницей, с криком «Аттан!» бросался к своим сарбазам.

Судьба словно издевается над Қоспаном. Он мечтал найти хоть какой-нибудь ориентир, чтобы определиться в снежной мгле, и вот она вроде бы услужливо предлагает ориентир, да еще какой, но сколько вероломства в этой услуге! Қоспан теперь ясно видит, что за ночь он оказался еще дальше от спасительных Қишкене-Қумов. Его несет и кружит какой-то зловещий водоворот, и он безволен в нем, как последний осенний лист. Чувство одиночества и оставленности потрясает Қоспана, и вдруг...

Вдруг, о чудо, не мираж ли это? У южного подножия сопки отчетливо определяются какие-то снежные валы, как две капли воды похожие на занесенную снегом овчарню. На миг ему чудится даже теплый кислый запах овечьего помета.

Возможно ли это? Ведь он сам, Қоспан, что называется, «плешь переел» не только Қумару — председателю, но и самому Қасбулату предложениями поставить у подножия Аттан-шоки запасную базу. Травостой здесь отличный, можно пригнать зимой не одну отару. Неужели они откликнулись на его призывы, а он и не знал? Вперед, вперед!

Қошара при ближайшем рассмотрении оказалась обычным сугробом. Еще одна ухмылка судьбы. Ну, что ж, придется бороться дальше...

Қоспан прячет своих овец за высокий яр, намытый весенней водой, слезает с седла. Тортобель тяжело раздувает бока... Изнуренные овцы стоят, понуро опустив головы.

Қоспан поднимается вверх по склону, оглядывает окрестности. Завьюженную даль укутали низкие облака. Вершина Аттан-шоки клубится поземкой. На сколько хватает глаз, вокруг валы, обрывы, яры — следы весенней воды.

Прошлой весной Коспан проезжал здесь. Тогда белесая от ковыля и полыни степь была покрыта прозрачной, как кисея, дымкой. Солнце ярко светило и казалось очень близким. Красный суглинок на обрывах был еще мокрым, а внизу зеркально блестела талая вода. Аттаншоки, одинокая вершина среди плоской степи, купаясь в солнечных лучах, весело смотрела вдаль, где все было спокойно, бесконечно и прекрасно. От приятного прохладного ветра чуть подрагивал воздух, а ветер, этот весенний ветер, был осязаем и отчетливо виден — нежной рукой он поглаживал волнующийся ковыль и убегал к горизонтам, чтобы тут же вернуться. Терпко пахла полынь, в низине горели красные пятна тюльпанов, под ногами порхали белые бабочки, а суслики, встав на задние лапки у своих нор, пронзительно свистели. Молодая, веселая жизнь со всех сторон обступала тогда Коспана.

...А теперь только один здесь слышится звук — свист морозного ветра. Борясь с тоскливым чувством, Коспан шагает к зарослям таволги. Нет ни кетменя, ни топора. Вытащив из-за голенища нож, Коспан срезает прутик за прутиком. После часа работы — две охапки дров.

Еще чуть ли не час он дует в жалкий тлеющий костерик, пока не разгораются дрова. Набив снегом, ставит в огонь маленький черный чайник, отогревает замерзшие хлеб и мясо. Сверху с обрыва сыплется снег, грозя завалить костер. Почувствовав запах паленого, к костру подбегает Майлаяк, ложится брюхом на расстеленную шубу, умильно, преданно смотрит на хозяина, масленым затуманенным взглядом как бы невзначай косится на мясо. Коспан бросает кусок. Она ловит его на лету, только челюсти щелкают.

Майлаяк — настоящий подхалим. Коспан улыбается, вспоминая, как она постоянно крутится у подола Жанель и смотрит на нее вот такими же преданными глазами. Как ей откажешь? Майлаяк страшно любопытна и очень расположена к обществу людей. На незнакомого человека бросается с диким лаем, а через минуту уже трется о его сапог, дружелюбно поглядывает — нельзя ли чего перехватить?

Полная противоположность Майлаяк — кобель Кутпан. Такая ерунда, как кусок мяса, никогда не нарушит его гордой осанки. Он никогда не лежит возле костра, а всегда где-нибудь поодаль, неподвижно и важно, в клас-

сической позе чабанской собаки. Позовешь, подходит, но и тогда не торопится. И перед Майлаяк он никогда не теряет чувства собственного достоинства. Сколько ни крутит она перед ним хвостом по весне, Кутпан на нее внимания не обращает до поры.

Сейчас он лежит на краю отары, будто дремлет. Коспан бросает ему кость, он солидно прижимает ее лапой.

Покончив с едой и согревшись, Коспан проверяет свои запасы. Харчей должно хватить дня на два — на три. Он-то выдержит, выдержат ли овцы?

Лишь бы Каламуш не поскакал в одиночку на поиски отары. Долго ли до беды в этой беспросветной мутной канители? В характере мальчика последнее время стали проявляться какие-то новые черты, какая-то безудержность и даже самоуверенность, только и слышишь от него: «Это не в моих привычках»... Как быстро течет жизнь. Давно ли он был просто смешным карапузом...

Коспан собственными руками сделал детское седло «ашамай» и собственными руками впервые в жизни посадил мальчика на коня. В крови это, что ли, у казахских мальчишек, но Каламуш ни капельки не испугался. Больше того, он сразу же стегнул кнутом гнедую кобылу, и она затрусила привычно и лениво. Мальчик что-то крикнул ей сердито, стегнул посильнее, кобыла встрепенулась, и Каламуш крупной рысью погарцевал мимо группы мужчин, с любопытством и одобрением смотревших на него. Ноздри его раздувались, глаза сияли, он, не обращая внимания на предостерегающие крики Коспана, бил коня пятками. Когда Коспан догнал его, он крикнул: «Не трогай меня, ага, я сам поскачу!» Гордый Коспан в тот день зарезал овцу, устроил «токум кагар», пир по случаю первого выезда мальчика.

Да, годы протекли, и вот теперь Каламуш уже настоящий джигит. Теперь с ним уже и посоветоваться можно по любому вопросу: и по хозяйству, и по выгодам, и по делам в мире. Всегда даст какой-нибудь дельный совет, расскажет что-нибудь интересное, подсунет новую книжку. Иной раз кажется, что уже не Коспан его, а он Коспана ведет за руку по жизни.

Только пока что еще излишне горяч, фантастические идеи витают в голове. Вот носится теперь с этими «комплексными чабанскими бригадами», все уши прожужжал. Бросим, говорит, дедовскую палку. Эх, молодость, мо-

лодость... Тут запасной базы не добьешься, загибаешься в степи, а он про передовую технику кричит.

Коспан задумывается. Что, если это не только молодые фантазии, а само время требует перемен? Разве он сам не думал сотни раз о чабанской судьбе?

Издревле казахи занимаются скотоводством, большинство и сейчас ходит за скотом. Как сотни лет назад пращуры делали, так и он сейчас пасет отару. Что же ему теперь с ложки кормить овец? Но посмотри, как все изменилось вокруг, как изменилась твоя страна, как вся земля изменилась... С казахской земли ракеты к Луне уходят... Думали ли об этом пращуры? Одни только чабаны бродят по степи, как и сотни лет назад... И в этом тоже, наверное, есть какой-то смысл?

Все-таки можно что-то сделать в нынешних условиях даже и без фантазий Каламуша. Подножный корм зимой — великое дело, но он чреват страшной бедой — джутом, поголовным падежом скота во время гололеда. Такая простая вещь, как запасная база, могла бы уберечь отары от джута, а какую выгоду это принесло бы колхозам! Летом из-за отсутствия воды на равнину Кара-Киян не пригоняют ни одну отару. Полынь и изень стоят нетронутыми. Просто золотое дно под ногами!

А почему бы нам не заняться тонкорунным овцеводством? После совещания в Алма-Ате он побывал у чабанов в предгорьях Ала-Тау. Там выращивают казахскую тонкорунную породу. Овцы эти на редкость выносливые: пушистая плотная шерсть замечательно защищает их от ветра, степные бураны им не страшны, а шерсть на вес золота. Сразу можно поднять хозяйство...

Каламуш горяч излишне, а все-таки он беспокоит, зовет к переменам. Кто знает, может быть, через год его идеи вовсе не будут казаться невыполнимыми?.. Эх, славный парень мой Каламуш!

Угольки таволги гаснут. Снежная пыль сыплется на золу. Коспан заворачивается в шубу, пытается уснуть, но холод снова подступает, и он для бодрости снова начинает думать все о том же, о насущных чабанских делах.

Почему бы все-таки Касбулату не принять ближе к сердцу эти дела, не прислушаться к нему, своему другу, не подстегнуть немного упрямого Кумара?

Кумар, конечно, председатель опытный, еще с довоенным стажем, и человек он не злой, людям старается

только добро делать, но, будем прямо говорить, отстал Кумар от нынешних масштабов, сильно отстал. На огромном ныне хозяйстве колхоза он торчит, как детская тюбетейка на взрослой голове.

Странная все-таки личность Касбулат. Сам себя называет его другом и приезжает всегда с самой искренней радостью, а вот когда Коспан начинает говорить с ним о чабанских делах, высказывает свои мысли, он вроде бы слушает его внимательно, но чудится Коспану в его глазах огонек какого-то ласкового пренебрежения, снисхождения к его наивности. Что-то в таком роде сквозит иногда в его взгляде: не твоего, братец, это ума дело, ну да ладно, поговори... Иной раз кажется Коспану, что больше всего нравится Касбулату сидеть рядом с ним и молчать...

Однажды после совещания в райцентре Касбулат повел его к себе домой. Еще с порога радостно закричал жене:

— Байбише, принимай моего закадычного фронтового друга! Да-да, это тот самый Коспан! А ну, мечи что ни есть из печи!

Сабира понравилась Коспану. От нее веяло спокойствием, уютом и добротой. Она с улыбкой смотрела на него, как бы говоря: «Вот, значит, вы какой, милый Коспан». Коспану показалось, что он давно уже знает эту полную женщину с большими широко поставленными глазами на смуглом лице и что всегда между ними было добро и согласие.

Дружба их началась непринужденно и естественно, как нечто само собой разумеющееся. Несколько раз Сабира приезжала отдохнуть к ним на летнее джайляу, и с Жанелью они тоже сразу пришлись по душе друг другу.

Ну, а Касбулат всегда встречал его с громогласной радостью, сажал среди почетных гостей, уважительно знакомил с крупными начальством из района и даже области. «Помнишь, Коспан, как было под Харьковом?» — иногда обращался он к нему и остановившимся взглядом смотрел прямо перед собой; гости почтительно замолкали в такие минуты.

Что ни говори, но дом Касбулата стал для Коспана самым близким домом в райцентре. Знакомые чабаны часто говорили ему: «Поговори с Касеке, поведай ему

наши мысли, тебя-то он послушается». Коспан заводил эти разговоры, и Касбулат всегда его вежливо выслушивал, но в глазах его тут же появлялся этот лукавый ускользающий огонек, какая-то полоса отчуждения возникала между ними. Вроде бы перед другом нечего тушеваться, можно даже предъявить ему какой-то счет, но что-то было между ними...

Снова усиливается буран, нелегкая его возьми! Снег с обрыва засыпает овец, а они стоят неподвижно. Коспан поднимается, подходит к Тортобелю. Почувствовав намерение хозяина, умный конь одним движением стряхивает снег со спины. Коспан седлает его, приторачивает к седлу курджун и шубу.

Овцы не хотят выходить из теплого убежища, но ничего не поделаешь — надо идти. Подножие Аттан-шоки уже не приют для них. Коспан бьет бичом, но овцы проваливаются по грудь, бессильно барахтаются в снегу. Прямо с седла Коспан за курдюк вытаскивает их поодиночке. Под самым обрывом жалобно блеет овца Кокчулан. Вожак отары — черный козел прячется за спины своих подопечных. Проходит полчаса, прежде чем Коспану удается выгнать отару из-под обрыва.

Одна из овец бредет медленнее всех, еле перебирает ножками, оставляя в снегу широкий след. Потом она падает на живот. Отара идет дальше. Задерживаться нельзя. Хоть по вершку в час, но надо ползти к пескам Кишкене-Кум.

9

Проворочавшись всю ночь, Касбулат наконец к утру засыпает, и почти сразу же Сабира будит его. Если бы не эта странная ночь, ранняя побудка ничуть не смутила бы его. Всегда он спал крепко и вставал рано, отдохнувший, бодрый.

Сейчас он еле оторвал от подушки чугунную голову и даже сначала не понял что к чему — в комнате было еще сумрачно. Ах да, он ведь наказал Жуматаю подать машину...

— Машина подана, ага,— доносится из кухни голос Жуматая.

— Как там погодка?

— Немного улеглось, но снегу насыпало — ужас! Поедем или нет?

— Что за разговоры? Конечно, едем.

Одевшись, Касбулат вновь обзванивает районное начальство. Голос его уже приобрел прежнюю властную раскатистость. В трубке хрипят сонные голоса:

— Будет сделано.

— Примем меры.

— Непременно учтем.

Сабира подает ему «командировочную сбрую» — шубу, обитые войлоком сапоги, пуховый шарф.

— Дай сюда. Я сам,— бурчит он. На ходу, уже одетый, выпивает залпом две чашки чаю.

— Не нравится мне твой вид,— говорит Сабира.— Уж не заболел ли? И спал сегодня плохо...

Застыв, он молча смотрит на нее в упор, прямо в глаза, минуту, две, три... Под этим странным пристальным взглядом Сабире становится не по себе.

— Ну, хорошо,— словно сжалившись, говорит он и опускает руку ей на плечо.— Я вернусь дня через три. Не беспокойся.

...Пурга уже выбилась из сил. На востоке среди туч появились просветы. Ехать очень трудно — дороги замело. Машина идет по сухому снегу, словно по песку. Жуматай молчит. Его лицо добродушного плута даже как-то заострилось. Напряженно подавшись вперед, он переключает скорости. Впрочем, скоро он осваивается с дорогой, ерзает, устраивается поудобнее и начинает свой обычный треп, пытаясь расшевелить хмурое нынче начальство.

Касбулат привык к своему шоферу, ему даже нравятся его плутовские замашки, забавляет его гонор перед другими водителями. Как-никак, он возит первого руководителя района, он ближе всех к великим мира сего и знает то, что недоступно другим смертным. Усвоив некую почтительно-нагловатую манеру, он позволяет себе иногда даже «встревать» в разговор начальства, подкидывать ценные предложения. И впрямь, взгляд у Жуматая наметанный, зоркий, иной раз он бьет не в бровь, а прямо в глаз. Касбулат всегда прислушивается к его высказываниям, хотя делает вид, что только краем уха. Словом, Жуматай не только крутит баранку, он еще своего рода общественный деятель.

Сейчас Касбулат косится на Жуматая. Ишь ты, посвистывает — и горя ему мало. Быть бы таким беззаботным. Нет, руководитель никогда не может позволить себе такой роскоши. Вечные заботы, вечная борьба... Сейчас вот этот буран. Лишь бы джута не было — тогда конец. И надо же, как все благополучно шло этой мягкой, теплой зимой. Увеличили поголовье, думали, что даже кормов хватит, а теперь только аллах знает, чем все кончится. Если бы все можно было предугадать заранее...

Прошлой весной в области состоялось очень важное совещание. Оно наметило крутой подъем животноводства. Много говорили об этом, как о главной задаче, как о «второй целине». Совещание вел сам Иван Митрофанович, и доклад, как всегда обширный, делал он лично.

Отношения между Касбулатом и Иваном Митрофановичем не всегда были гладкими. Иногда возникала чрезвычайно опасная напряженность. Касбулату в этих случаях казалось, что он ходит по лезвию ножа. И поэтому он пристально следил за малейшими нюансами поведения и настроения Ивана Митрофановича, за особенностями его стиля, оценивая все его слабости и сильные стороны. Очень внимательно наблюдал он за его манерой держаться на трибуне.

Иван Митрофанович читал так уверенно и убедительно, словно это он сам лично написал такой пространный доклад, можно сказать, выстрадал от «а» до «я». Понятно, что такие доклады готовит руководству аппарат, но Иван Митрофанович, казалось, даже и не читал, а говорил на память: лишь одним глазом слегка косил в текст и все время зорко наблюдал зал. Вот это класс! Это просто божий дар!

Иногда Иван Митрофанович даже отходил от текста и, непринужденно беседуя с аудиторией, пересыпал речь такими шуточками, что зал взрывался от хохота.

«Учитесь у жизни, учитесь у народа» — вот кредо Ивана Митрофановича. Об этом он говорит всегда. Готовясь к докладу, он тоже не забывает этого правила и всегда старается обобщить не только свой собственный опыт, но и опыт других товарищей.

Есть у Ивана Митрофановича свой «мозговой трест», главное лицо в нем некто Амангалиев, одинаково свободно владеющий и русским и казахским языками. Такой ти-

хий, милый, приятный человек. Почти все доклады пишет он. Безусловно, очень способный, толковый работник.

Правда, ухо с ним надо держать востро. Невзначай оброненные слова, некоторые неприятные факты могут мигом оказаться в очередном докладе Ивана Митрофановича. А подложив тебе такую свинью, Амангалиев так обаятельно улыбнется при очередной встрече, что всякая обида мигом улетучивается.

Впрочем, он и сам довольно откровенен. Посмеиваясь, он рассказывает, как Иван Митрофанович готовится к докладам, как вызывает его к себе, намечает тезисы и как потом он эти тезисы «костюмирует».

Однажды Касбулат встретил Амангалиева в коридоре гостиницы и обратил внимание на его озабоченный вид.

— Гнетет меня одно обстоятельство,— сказал Амангалиев и почесал затылок.

— Что стряслось?

— Иван Митрофанович прочел доклад и вызвал меня. Гляжу — вид суровый. Даже сесть не предлагает.

— Неужели доклад не понравился?

— Как тебе сказать... Доклад, говорит, правильный, но суховат. Подкинь, говорит, юморку малость, чтобы людей расшевелить. Хоть три-четыре юморочка, без этого доклад не доклад.

— Так за чем же дело стало?

Амангалиев снова взялся за затылок.

— Никакой юмор в голову не лезет, хоть плачь. Даже брата просил анекдотик какой-нибудь выдать. Анекдотов много, но, сам, понимаешь, ни один не годится. У тебя, Касеке, ничего не завалялось, а? Хоть какой-нибудь смешной фактик? Выручи ради бога!

История эта тогда искренне развеселила Касбулата, но потом он подумал, что все не так-то просто. От длинных сухих докладов с бесконечным перечислением цифр народ устает, а острое словцо, любая смешинка снимает напряжение и, что очень важно, располагает аудиторию к докладчику. «Надо бы и мне взять на вооружение юмор»,— подумал тогда он.

Хоть и сложное чувство испытывал Касбулат к Ивану Митрофановичу, но не уважать его он не мог и даже отчасти восхищался им. Под счастливой звездой родился этот человек, а биография у него просто блестящая. Вы-

шел из самой гущи народа: в ранней юности пастух, позже — тракторист. Можно сказать, и крестьянин и рабочий одновременно.

Даже долгие годы руководящей работы не соскоблили с Ивана Митрофановича народных привычек и манер, и это подкупает.

Иной раз увидит в степи чабана, тут же приказывает подъехать к нему, колобком выкатывается из машины. Как у многих невысоких толстячков, движения у него шустрые, он всегда бодр и энергичен.

Чабаны-казахи всегда держатся при незнакомых людях со спокойным, сдержанным достоинством, сидят в седлах, как высеченные из камня, но Иван Митрофанович широко улыбается, хватает чабана за руку, смотрит в лицо.

— Здорово, браток! Как делишки, как детишки?

Ошарашенный такой простотой, чабан смущенно ерзает в седле, от волнения не может связать двух слов.

— Ничего-ничего, не робей, браток... Я ведь тоже был пастухом. Пастух пастуха видит издалека. Скотоводство-то мы с тобой, браток, знаем получше некоторых,— и он лукаво подмигивает чабану на свою свиту.

Потом он долго и обстоятельно расспрашивает чабана о его семье, о здоровье, об условиях быта.

Но самое большое удовольствие доставляет Ивану Митрофановичу разговор с трактористами. Тут он просто блещет эрудицией, с исключительным знанием дела говорит о марках тракторов — наших и иностранных, о двигателях и даже о запчастях. Видно, что ему приятно чувствовать себя причастным к простым труженикам. Всегда при случае напоминает аудитории, что и сам когда-то...

Касбулату приходилось довольно часто сопровождать Ивана Митрофановича, и всегда в этих поездках он досадовал на себя. Почему у него никогда так не получается? Почему он сам не может с ходу, легко, с шутками-прибаутками войти в доверие к людям? То ли замкнутость характера мешает, то ли воспитанная за долгие годы сдержанность и холодноватая вежливость. Никак он не может стать таким истинно народным человеком, как Иван Митрофанович.

Удивительно еще и то, что своей простотой, вернее простоватостью, Иван Митрофанович нимало не снижа-

ет своего авторитета. Чабаны и трактористы — народ дошлый. Балагуря с Иваном Митрофановичем, они ни на секунду не забывают, что за птица перед ними, и никогда не переступают невидимой грани дозволенного.

Дистанции вроде бы и нет никакой, но тем не менее она железно соблюдается.

В народе говорят: «Чем человек больше, тем он проще». И именно такая слава идет в области об Иване Митрофановиче. Очень интересно и полезно быть при нем и наблюдать за его поведением.

Когда Иван Митрофанович в хорошем настроении, более обаятельного человека представить трудно. Районных руководителей он встречает весело, радушно, разговор ведет непринужденно, по-приятельски. Ну, а если же чем-нибудь ты не потрафил, если у тебя какой-нибудь прорыв, неполадки, не ожидай увидеть милого Ивана Митрофановича. Перед тобой совсем другой человек. Такой человек может, что называется, заставить обеими ногами в один сапог влезть. Обычно смешливые голубые глаза начинают просверливать тебя, как буравчики. Никуда от них не спрячешься. Жестким, отчужденным голосом Иван Митрофанович говорит:

— Не финти, голубчик. Я не либерал. Миндальничать с тобой не буду.

И после таких слов и этого взгляда сразу понимаешь, что Иван Митрофанович действительно никакой не либерал.

Года три-четыре назад пришлось Касбулату столкнуться с ним на крутой стежке. В то время начали внедрять в области «королеву полей». Мало кто ясно представлял себе в этих краях, как следует заниматься кукурузой, но большинство благоразумно помалкивали. Впрочем, были и недовольные, и среди них оказался Касбулат. Однажды он отправился к Ивану Митрофановичу высказать свои сомнения. Разговор начал издалека.

— Чую, чую, куда клонишь, голубчик,— оборвал его Иван Митрофанович.— Не крути, говори прямо. Коли пришел за айраном, не прячь посуды. Так, кажется, говорят казахи?

Иван Митрофанович не прочь был при случае щегольнуть знанием народных пословиц.

Касбулат понял, что разговор сейчас пойдет крайне серьезный.

— Видите ли, Иван Митрофанович, наш район хоть и большой, но, как вы сами знаете, почвы у нас в основном песчаные. Посевные площади мы используем под пшеницу и просо, и население привыкло выращивать именно эти культуры...

— Так-так, продолжай,— Иван Митрофанович весь подался вперед.

— Видите ли, если мы эти небольшие площади отведем под кукурузу, которую выращивать не умеем и которая, еще неизвестно, приживется ли у нас...

Касбулат не договорил. Он заметил в лице Ивана Митрофановича перемену, которая не предвещала ничего доброго.

— Я вас понял прекрасно, и можете не продолжать.— Иван Митрофанович откинулся в кресле и смерил Касбулата таким взглядом, как будто увидел его впервые.— Несостоятельна, голубчик, ваша теория, несостоятельна... Кукуруза даже в более северных широтах нашей страны дает отменный урожай. Дискуссия по этому поводу давно уже окончена. Что касается посевных площадей, то твой район больше герцогства Люксембург и княжества Лихтенштейн, вместе взятых, так-то. Мало ли у тебя еще не освоенных земель? Под кукурузу следует отвести самые плодородные участки. Надо уметь заинтересовать народ и показать ему колоссальные возможности этой культуры.

— Наш район не может пойти на это, Иван Митрофанович. Может быть, в княжестве Лихтенштейн...

— Вы что, это серьезно говорите?

— Совершенно серьезно.

Иван Митрофанович замолчал и стал смотреть на Касбулата с каким-то особым интересом. Воспользовавшись паузой, Касбулат попытался изложить свои соображения.

— Мы не можем ломать сложившуюся структуру посевов. Мы и так лишились лучших пастбищ и сенокосных угодий, а ведь наш профиль все-таки животноводство.

— А кукуруза — лучший корм для скота. Ты это знаешь?

— Кто знает, что это будет за корм.

— Я вижу, ты только о сегодняшнем дне думаешь, а на завтра тебе наплевать? А я-то всегда считал, что у тебя есть государственное мышление, Касбулат.

— Иван Митрофанович, разве не говорим мы сейчас об инициативе снизу? Вы же сами говорили, что надо больше доверять местным органам, больше давать им прав. Я прошу вас, предоставьте нам инициативу...

— Пожалуйста, она твоя. Предоставляю тебе инициативу выращивать кукурузу. Если думаешь о будущем района, проявляй эту инициативу.

Многолетний опыт подсказывал Касбулату, что сейчас нужно остановиться, незаметно стушеваться, начать тактическое и приличное отступление. Прежде в спорах с Иваном Митрофановичем он применял своеобразную волейбольную тактику. Своеобразие ее заключалось в том, что нужно было проиграть; проиграть, но и показать свою ловкость, и сделать так, чтобы противник был доволен своей победой и принял ее за чистую монету. В такой игре он проявлял известную виртуозность.

Резкая подача крюком, резкая, но не очень сильная. Иван Митрофанович в прыжке принимает мяч. Браво, Иван Митрофанович! Гас с четвертого номера, но так, чтобы и Иван Митрофанович смог продемонстрировать свое искусство, вытянуться рыбкой и сорвать аплодисменты. Финт над сеткой, но так, чтобы Иван Митрофанович разгадал хитрость и в ответ всадил бы наконец кол в твою площадку, а ты бы только с улыбкой развел руками — тут, мол, ничего не поделаешь, разные уровни класса.

— Ну, вот видишь, голубчик, чего же ты колья ломал,— довольный, улыбался в таких случаях Иван Митрофанович.— А за принципиальность тебя люблю.

В тот раз Касбулат изменил этой проверенной тактике и заупрямился, делая вид, что не понимает жестких намеков Ивана Митрофановича. В конце концов после долгих споров приняли половинчатое решение — прежних посевных площадей не трогать, а под кукурузу отвести неосвоенные земли. Неприступно холодным тоном Иван Митрофанович попрощался с Касбулатом.

Касбулат понимал, что даром ему его упорство не пройдет, а настанет время — все вспомнится и припомнится. Память у Ивана Митрофановича исключительно цепкая. Незаменимое качество для руководителя или ученого.

Понимая все это, Касбулат окружил свою кукурузу исключительным вниманием, никому не доверял, прове-

рял все сам. При встречах Иван Митрофанович спрашивал, насмешливо щурясь:

— Ну, как твоя кукуруза, Касбулат? Растет?

— Растет,— с готовностью отвечал Касбулат.— Думаю, со временем освоим это дело.

Казалось бы, такой ответ должен был устроить Ивана Митрофановича, но он только усмехался. В глазах его не остывал внимательный подозрительный огонек. «Вижу, вижу тебя, голубчик, насквозь. На словах ты за кукурузу, а на деле — против».

Весной следующего года состоялось областное совещание чрезвычайной важности. В то время Северный Казахстан был в центре внимания всех газет — там поднимали целину. Можно сказать, что все население сверху донизу ощущало атмосферу подъема. А здесь сидеть сложа руки было нельзя. Был брошен лозунг о «второй целине», то есть о резком увеличении поголовья скота.

Собственно говоря, со скотоводством в этих краях дело всегда обстояло неплохо, но, поскольку лозунг был брошен, на него следовало откликаться. Руководители районов заволновались. Люди бывалые и осторожные, они не торопились лезть «поперед батьки в пекло», каждый выжидал, расспрашивал другого — какие тот намерен взять обязательства. Никто, правда, не торопился раскрывать карты. Обязательства-то взять можно, можно сорвать аплодисменты, а потом, когда с тебя спросят, поймешь почем фунт лиха.

В перерыве, когда Касбулат пробирался в фойе, его вдруг окликнули из президиума.

— Касбулат Искакович! Что же вы прячетесь, дорогой?

Не сразу поняв, кому принадлежит голос, он обернулся и увидел Ивана Митрофановича, который ласково ему кивал и манил к себе.

Есть нечто приятное в том, что начальство выделяет тебя среди других и подзывает к себе, однако сейчас Касбулат не очень обрадовался этому вниманию.

Иван Митрофанович был весел, оживлен и бодр. Большие совещания всегда настраивают начальство на какой-то особый торжественно-приподнятый лад. Это Касбулат знал по себе.

Взяв Касбулата под руку, Иван Митрофанович отвел

его немного в сторону от других членов президиума и деловито спросил:

— Почему не записываешься в прения, дорогой?

— Собираюсь выступить позднее.

— Выжидаешь, значит. Так-так...— Иван Митрофанович уставился прямо в глаза Касбулату.— Что-то не очень активно идет собрание. Как тебе кажется? Пока только трое выступили. Не густо, а?

Глаза Ивана Митрофановича как будто и спрашивали Касбулата, но где-то в глубине явственно проступало: «Ты меня правильно понял? Ну, вот и действуй».

Он понял, что должен выступить и взять повышенные обязательства. Но что делать, если нет для этого в районе никаких условий? Ни средств не хватит, ни техники, ни людей...

Он хотел было возразить, попытаться доказать, что сейчас не время для такого решительного шага, но вспомнил про злосчастную кукурузу и передумал. Повторное упорство уже переполнит чашу терпения Ивана Митрофановича.

А тот все смотрел на него, понимающе и вместе с тем загадочно улыбаясь.

— Понимаю тебя, браток, понимаю. Дело серьезное. Надо, конечно, все обдумать, взвесить...

— Вот именно! — встрепенулся было в надежде Касбулат.— Крепко надо подумать.

— Правильно, думать надо, но ведь одними думами сыт не будешь? Так или нет? Ничего не получится, если будем кружить на одном месте, как конь на приколе. Верно?— Эту казахскую пословицу Иван Митрофанович уже приводил сегодня в своем докладе.— Под лежачий камень вода не течет. Верно я говорю? Сейчас нам позарез нужен добрый почин. Согласен? Дело задумано грандиозное, и нужен толчок, творческий взлет. Согласен или нет? Ну вот, после перерыва ты будешь выступать.

На этом разговор оборвался. Ну что ж, утешал себя Касбулат, не быть же мне белой вороной. Кампания разворачивается большая, все так или иначе примут обязательства. Что же мне плыть против течения? Так можно заплыть и в омут. Он мне еще той «кукурузной эпопеи» не забыл, отнюдь не забыл. Сейчас везде на руководящие должности выдвигают молодежь с университетскими дипломами. Так и не заметишь, как выйдешь в тираж.

Утешив себя таким образом и хорошенько подумав, Касбулат пересмотрел текст своего выступления и значительно повысил цифры обязательств. Делать это пришлось в спешке, цифры казались то непомерно большими, то до обидного маленькими, Касбулат зверел, черкал карандашом, цифры получались трех- и четырехэтажными — в общем, сам черт голову сломит.

Еще во время выступления он понял, что повышенные его обязательства все же ниже тех рубежей, что наметили наверху. Иван Митрофанович постоянно его прерывал, придирался к отдельным цифрам и мало-помалу еще выше приподнимал заданный потолок.

В последние годы Иван Митрофанович обогатил свой стиль руководства еще одной новой манерой. Склонив голову, он внимательно слушал докладчика и вдруг, выбрав подходящий момент, прерывал его то короткой «разящей», то пространной «направляющей» репликой. Люди понимали, откуда это взялось, но поначалу без привычки терялись, сбивались с мысли, возникали неловкие паузы. Позже многие освоились. Как только Иван Митрофанович брался за свое, докладчик упирал палец в текст на прерванном месте, а когда Иван Митрофанович, наговорившись, замолкал, спокойно шпарил дальше.

Машина врезается в сугроб и застревает. Жуматай дает задний ход. Ревет мотор.

Буран снова усиливается, взвихривает поземку, взвихривает тревогу Касбулата.

Черт побери, все шло нормально даже с этими проклятыми обязательствами. План мясопоставок выполнили за счет единоличного скота, в каждом колхозе организовали по двадцать — тридцать новых отар, в каждую отару пустили по двести полугодовалых ягнят в расчете на то, что жены чабанов за ними присмотрят. Главная надежда была на теплую зиму. И вот на тебе — джут на носу.

Одна за другой перед мысленным взором Касбулата проносятся картины его возможного падения: телефонный звонок, вызов в область, аудиенция у Ивана Митрофановича.

Он входит. Десяток хорошо ему знакомых, но сейчас безучастно суровых лиц. Он знает прекрасно, что за ми-

нуту до его прихода эти люди что-то деловито обсуждали, спорили, даже смеялись, но вот вошел он, провинившийся, и все обернулись к нему, смотрят как на что-то совершенно уже чуждое и неприятное. Он садится. Председательствующий медленно листает материал, кто-то чертит каракули на бумаге, все молчат. О боже мой, что может быть страшнее этого молчания!

— Пусть товарищ нам объяснит...

Тогда он срывается, захлебываясь в словах, заикаясь, пытается объясниться, оправдаться, свалить с себя хотя бы часть вины, но...

— Все это нам и без вас известно. Ты скажи нам вот что...

И этот непререкаемый голос окончательно валит его с ног, вышибает все опоры.

Такой проработки ему еще не приходилось переживать, но других людей в этой роли он видел, и представить себя на их месте было страшно.

Да что это с ним творится? Откуда эти нелепые страхи? Что за мнительность? Или он боится в вёдро промокнуть насквозь?

Буран... Буран нашептывает все это сквозь окошечко машины, тоненькими зловещими струйками проникает в мозг. Буран, проклятый буран...

Встрепенувшись, Касбулат выглядывает из машины. Вдоль дороги горбатятся сугробы, за сто шагов все тонет в снежной мгле. Машина идет с трудом.

10

Отец и сын слезают с седел. Молчат. Лица у них почернели от усталости. Лошади в клубах пара.

Сердце Жанель трепещет. Сейчас они сообщат что-то страшное. Молчат. Она идет вперед, и в тамбуре у нее подкашиваются ноги. Садится на пол. Гулкими хлопками путники перед домом стряхивают с себя снег. С трудом она поднимается.

До чая никто не раскрывает рта. Старик и мальчик, больше суток не слезавшие с коней, неподвижно лежат на нарах поверх стеганых одеял. Кажется, что они спят.

Жанель вносит самовар. Минайдар поднимает голову, с еле слышным стоном садится, поджав под себя

ноги. Трет глаза, лицо. Каламуш недвижим: он и впрямь спит.

На лице Минайдара играют желтоватые блики керосиновой лампы. Вообще старик красив: высокий лоб, продолговатый овал лица, тонкий с горбинкой нос, но сейчас все это можно лишь угадать — лицо от мороза распухло, огрубело.

Жанель разливает чай. Минайдар хочет разбудить сына, но она останавливает его.

— Не будите его, кайнага. Бедный мальчик двое суток пояса не расстегнул.

С минуту они смотрят на порозовевшее во сне лицо Каламуша. Мальчик, словно чувствуя, что на него устремлены любящие взгляды, по-детски чмокает губами.

Минайдар понимает, что молчать больше нельзя, но как трудно ему сейчас говорить. Конечно, Жанель сразу же поняла, что они не нашли Коспана. Если он скажет ей, что они обшарили все углы, что побывали везде, где может ступить конское копыто, это совсем убьет ее. Но сидеть молча, словно только что из дома вынесли покойника, тоже нельзя.

— Мы прочесали Кузгунскую степь,— наконец медленно говорит он, протягивая Жанель опустошенную пиалу.— Я с самого начала имел в виду балку у подножия Дунгары.

Рука Жанель, протянутая к крану самовара, застывает в воздухе.

— Балка у Дунгары — известное убежище,— продолжает Минайдар с трудом.— Видно, он не смог зацепиться за нее. Если он пойдет по ветру, Кишкене-Кумы останутся в стороне...

Жанель все понимает. Ветер дует в безлюдную степь Кара-Киян. Старик даже боится упоминать о ней.

Минайдар тоже понимает, что от Жанель ничего не скроешь и провести ее трудно. Все же он высказывает ей свою последнюю и очень слабую надежду, в которую сам почти не верит.

— Коспан хорошо знает местность. Если его не оказалось у Дунгары, значит, спохватился заранее и погнал отару прямо к Кишкене-Кумам.

— А там вы были? — тихо, с усилием спрашивает Жанель.

— Вначале мы шли по ветру к Кара-Кияну. Не доез-

жая Аттан-шоки, свернули к пескам, дошли до колодца Бугендик, но разве в песках легко найти...

«Что же делать? Надо что-то предпринять! Нельзя же так сидеть!»— хочет закричать Жанель, но разве может она крикнуть это старику, который еле приволок сюда свои кости?

Словно услышав ее немую мольбу, Каламуш резко поднимает голову с подушки. Секунду непонимающим взглядом смотрит на керосиновую лампу, потом выходит в тамбур, умывается. Вернувшись, жадно набрасывается на мясо. Выпив залпом две пиалы чаю, встает.

— Ата,— обращается он к отцу,— вы отдохните сегодня здесь, а я поеду.

Жанель даже вскрикивает от неожиданности. Широко раскрытыми глазами смотрит на Каламуша.

— Это куда же ты собрался в такую ночь?

— Поеду на центральную.

— Не будь ребенком,— говорит Минайдар.— С такой погодой шутки плохи. Опытный человек и то...

Каламуш нетерпеливым движением бровей отбрасывает все возражения.

— Центральную я найду с завязанными глазами. По дороге пересяду на Куренкаску. Мой конь меня не подведет, к тому же он отдохнул.

— Умоляю, айналайн, потерпи хоть до утра,— просит Жанель.

— Терпеть? Это не в моих привычках. Буран не терпит.

Каламуш начинает одеваться. Минайдар с трудом поднимается.

— Хорошо, до дому поедем вместе, а оттуда с тобой отправится Кадыржан. А ты, Жанель, милая, не убивайся. Не такой человек Коспан, чтобы пропасть... Вспомни, что с ним было в Германии. И за отарой не первый день ходит.

Легко сказать, не убивайся. Третьи сутки пошли. Пропал без вести... Сколько мрачных воспоминаний в этих словах для Жанель. Неужели она снова останется одна? Опять эта изнурительная пытка — пытка бессилием... Так, наверно, чувствует себя птица с простреленными крыльями, когда на ее птенцов пикирует коршун.

Ночь снова проходит без сна, только короткие полуобморочные провалы, сопровождающиеся кошмарами. Утром она рьяно берется за работу, пытаясь заглушить тоску.

Задав корм ягнятам, Жанель седлает гнедую кобылу и выезжает в сторону далекой Кузгунской степи.

Она хочет пустить кобылу рысью, но вспоминает, что та брюхата, и, боясь выкидыша, едет шагом. С жадной надеждой смотрит вдаль.

Горизонт как будто проясняется, но резкий холодный ветер все с той же неослабевающей силой лижет снег своим жестким языком. Тысячи белых змей, извиваясь и свистя, ползут по степи.

Жанель выезжает на косогор, всматривается. В разных местах бескрайнего белого пространства темнеют какие-то пятна. То ли это живые существа, то ли просто кусты тамариска. До рези в глазах она вглядывается в эти пятна. Ей кажется, что они двигаются.

Вдруг снег светлеет, точно экран в кино. Еще минута, и он — о чудо! — начинает блестеть. Из разрыва туч впервые за трое суток выглядывает солнце. Светлеет и на душе Жанель. Какими бесконечными были эти дни...

Вспомни, вспомни... Вот так же бесконечно тянулись дни в то далекое безнадежное время, и тех дней было не три, а триста раз три. И все-таки солнце выглянуло даже тогда...

Лето и осень сорок пятого обернулись сплошным праздником — возвращались фронтовики. Не проходило дня без пирушек. Скудость быта отнюдь не смущала людей, исчезла и привычная бережливость — все, все выкладывалось на стол. Подчищались закрома ради великой победы и встреч. Все ночи напролет по поселку кружила повеселевшая молодежь.

Услышав, что вернулся очередной герой, Жанель не могла усидеть дома. Она неслышно переступала порог домика, где шел той, но не присоединялась к шумной компании, а незаметно садилась где-нибудь в полутемной передней, с замиранием сердца ловила каждое слово фронтовика — вдруг он назовет имя Коспана.

Соседки, заметив ее, приглашали на кухню.

— Угощайся, Жанель-голубушка. Бог даст, и к тебе скоро придем на той.

А за спиной она слышала сочувственный шепот:

— Надеется горемыка. А что же ей остается? Говорят ведь, что только дьявол живет без надежды.

Так прошли лето и осень. Шла уже зима сорок шестого года. Все реже приходили люди из армии, и все реже выходила из дому Жанель.

И вдруг однажды к ней на работу прибежал соседский мальчишка. Распахнутое пальтишко за его спиной трепыхалось как крылья.

— Суюнши, тетка Жанель! — закричал он еще издалека.— Ликуй!

Сердце Жанель упало. Ноги стали ватными.

— Суюнши, суюнши! Коспан-ага приехал!

Она таким диким взглядом посмотрела на мальчика, что тот отпрянул. Опустилась на саманный дувал.

Не может быть, этого не может быть, это какая-то путаница...

— Ой-бай! — воскликнул мальчик.— Тетя Жанель, меня мать послала. Коспан-ага пришел.

Дальше все было как во сне. Не помня себя, она бежала по улице, и все вокруг мелькало крупными рваными пятнами, земля уходила назад, и вдруг все остановилось, замерло. Перед своей калиткой она увидела высокого человека в серой шинели, который медленно к ней оборачивался.

Потом сон продолжался. Шумно, с радостными восклицаниями входили мужчины и женщины в сиротливый холодный дом, в котором, считалось, уже раз и навсегда поселилось несчастье. Галдели женщины.

— Да будет долгой радость твоя!

— Что умерло у тебя, то воскресло, что погасло — разгорелось!

— Только одетый в саван не вернется, одетый в рубище возвращается!

Жанель растопила плиту, но больше ей ничего не дали делать. Женщины взяли на себя все заботы: таскали посуду, мясо, муку, бегали в магазин. Подходили все новые и новые люди, крича еще с улицы:

— Неужели правда, что Коспан вернулся?!

Она и сама не могла до конца поверить в это счастье и то и дело поглядывала в открытую дверь — не исчез ли?

Когда народу набилось полный дом, пришел Минайдар. Уже тогда ему перевалило за пятьдесят, но он был еще крепок, сух, в черной бороде ни одной белой ниточки.

Кто-то из женщин шепнул Жанель:

— Иди к мужу. Кайнага сейчас сообщит Коспану про смерть Мурата.

Минайдар не начал, как принято, издалека, он говорил коротко, спокойным твердым голосом, словно желая призвать все мужество Коспана.

— Коспан, брат мой, ты пережил то, что нам и не снилось. Ты вернулся прямо из пасти смерти. Ты воскрес из мертвых для горемыки Жанель и для всех нас. Вспомни, как сказано: «Сетуй на свою судьбу, если ты остался

позади каравана жизни, благодари судьбу, если ты впереди каравана». Кто сейчас идет впереди каравана? Вряд ли найдешь семью, у которой не сломаны ребра. Что написано в книге судьбы, того не миновать. Но если сломаны ребра, надо беречь хребет.

Коспан, я вынужден отравить твою радость. Будь мужественным. Сломано то копыто, что шло по твоим стопам. В тяжелую годину мы потеряли Мурат-жана.

Жанель плакала навзрыд, уткнув лицо в фартук какой-то женщины. Она не видела лица мужа в этот момент. Соседки потом рассказывали, что он вскинул голову и посмотрел на Минайдара так, словно хотел остановить падающую на голову саблю. Потом он точно окаменел, и только одна слезинка дрожала на его щеке, словно капля росы на камне. «Ойпырмай, не дай мне бог еще когда-нибудь увидеть такое лицо!»

Той начался и продолжался долго, но странное это было веселье. Когда люди ушли, Жанель и Коспан долго сидели молча, глядя друг на друга. Где они могли найти слова, чтобы выразить свои чувства? Ни один поэт еще не нашел таких слов.

Только когда они остались с глазу на глаз, Жанель заметила, как Коспан изменился. Темное лицо казалось вырезанным из дерева, плечи потеряли округлость, словно кто-то поработал над ними топором, и вообще весь он был похож на дерево, опаленное огнем. Особенно поразили и насторожили ее глаза Коспана. В них не было и следа знакомого и любимого мягкого, доброго света. Его заменил чужой и далекий, словно бы угольный, но прозрачный блеск. Что это? Память о прошедшей вблизи смерти?

Пять лет разделяли их, и что это были за годы! Когда тридцатилетний Коспан уходил на фронт, в нем много еще было детского, наивного и чистого. Сейчас это был другой человек.

Каким-то чутьем Жанель поняла, что прежнюю жизнь, о которой она столько мечтала, восстановить невозможно. Нужно начинать новую. Весна прошла, лето у них украла война, на пороге осень, но как в нее войти? Она была растеряна.

— Сядь ко мне поближе, Жанель,— сказал наконец Коспан. Она увидела, что он все понимает, что думает о том же, и рванулась к нему.

Он обнял ее за талию и прижал к груди. Эта почти забытая ласка потрясла ее. Она зарыдала, а он жесткой рукой пытался утереть ей слезы, бормотал:

— Не плачь, милая моя, все страшное уже позади... Я ведь уже не надеялся увидеть тебя вновь... Не плачь...

Коспан ни слова не сказал ей о сыне ни в первый день, ни позже. Он вел себя так, словно у них и не было сына, и только весной, опять же не говоря ни слова, приготовил саманные кирпичи и отправился строить мазар Мурату.

Он работал в полном одиночестве, молча, деловито и только иногда застывал с кирпичом в руке, в оцепенении глядя на маленький, уже оседающий холмик.

С неделю после возвращения они ходили в гости к друзьям Коспана, потом поехали в колхоз к родственникам.

Это были счастливые дни для Жанель. Родная земля и внимание близких людей отогрели Коспана. Иногда ей даже грезилось, что вернулись далекие, неизбывно прекрасные времена, их медовый месяц. Коспан тоже переменился. Из глаз его исчез тот страшноватый угольный блеск, и Жанель почувствовала, что он набирает прежнюю добрую силу.

— Все-таки человек — самое выносливое существо,— говорил Коспан в гостях.— Иногда думаешь, что уже дошел до точки, ан нет — откуда-то появляются новые силы. Где они таились до этого? Они как будто нижнее чистое течение в загрязненном ручье. Война, братцы, очистила этот ручей, обнаружила скрытые силы в человеке.

— От этой войны у нас ребра наружу торчат,— говорил ему кто-нибудь из стариков.

— Худая лошадь быстрее жир нагуливает,— смеялся Коспан.— Вот посмотрите, скоро и у нас шерсть заблестит. Теперь-то мы знаем, где сила жизни.

Вернувшись из аула, Коспан энергично взялся за поиски работы.

— Самое время сейчас работать, Жанель,— говорил он.— Руки зудят.

Однако время шло, а он все никак не мог устроиться. Каждое утро он уходил в различные учреждения, а

возвращался домой поздно, какой-то странный и, как угадывала Жанель, немного растерянный. Потом он стал мрачнеть. Жанель беспокоилась и не понимала в чем дело. Однажды за чаем он бросил, скривив губы и глядя в сторону:

— Не доверяют тем, кто был в плену.

— Как так не доверяют? — ахнула Жанель.

— Подозревают.

Она задохнулась от возмущения.

— Да разве ты сам сдался в плен? Разве ты Гитлеру служил? Через ад прошел человек, а они...

Коспан долго молчал, уставившись на скатерть, потом заговорил:

— Иным людям постричь велят человека, а они ему голову снимают. Были, понятно, и предатели среди пленных, никто не отрицает, но их было меньшинство. Бдительность, конечно, надо проявлять, но... Ничего, скоро все станет на свое место. Невинных людей не обидят.

Жанель почувствовала, что он хочет утешить ее, но в глубине души вовсе не так уверен, как говорит.

Однажды он вернулся домой веселым. Еле сдерживая улыбку, он посматривал на жену так, словно припас для нее удивительный сюрприз. Жанель обрадовалась, засуетилась, быстро подала ужин.

— Ну, знаешь, кого я сегодня встретил? — с плохо скрытым торжеством спросил Коспан.

— Кого же?

— Ты не можешь себе представить — Касбулата! Захожу в райком и сталкиваюсь с ним носом к носу. Узнаю, что он и здесь очень важный начальник. Начальник отдела кадров! Вот как!

— Да кто это такой? — удивилась Жанель. Она впервые слышала это имя.

Коспан раскатисто захохотал, хлопнул себя по лбу.

— Выходит, я тебе не рассказывал о нем? Вот растяпа? Да это же мой ротный командир! Фронтовой товарищ!

— Ой, неужели правда?!

— Он меня сразу узнал. Как я ему гаркнул: «Здравия желаю, товарищ командир!» — так сразу он ко мне и бросился. «Верзила,— кричит,— ты жив, Верзила, а мы тебя уже сто раз похоронили!» Это у меня такая кличка была в роте — «Верзила...» Через три дня, говорит, при-

ходи ко мне. Сейчас, говорит, в командировку отбываю. Через три дня! Понимаешь, Жанель?

Все эти три дня имя Касбулата витало в их доме. Коспан бесконечно рассказывал жене о нем, о боях, об отступлении, обо всех тех жарких денечках. Кто-кто, а Касбулат знает, как он попал в плен. Ведь это именно он, их командир, выставил прикрытие, когда рота стремительно уходила на восток, чтобы не попасть в котел. Ему ли не знать, что Коспан был в этом прикрытии и что они отбивались до последнего патрона!

Коспан ходил энергичный, подтянутый, с веселым блеском в глазах, часто повторял:

— Я же тебе говорил, что все это временно.

— Теперь-то я возьмусь за работу!

— Безвинный человек всегда свою правду докажет!

Прошло три дня, и он отправился на свидание с Касбулатом, как на праздник. Перед уходом намекнул, что может вернуться не один. Сияющее его лицо так и осталось перед глазами Жанель. Ощущение приближающегося праздника охватило и ее.

Увы, зимнее солнце не долго балует степь. Вот оно уже теряет свой блеск, превращается в маленький желтый кружочек, а вскоре опять скрывается в наплывающих тяжелых тучах.

Жанель вздрагивает от холода. В воздухе вновь начинают кружить бесчисленные рои белой мошкары. Кузгунская степь темнеет, скрывается из глаз.

Он вернулся не скоро и тяжело опустился на краешек нар. Сидел не двигаясь, боясь поднять на Жанель глаза. Казалось, что у него перебит хребет. Все крупное его тело как-то сжалось, сникло...

Как смогли его так мгновенно сломать? Ведь он, несмотря на свое добродушие, был сильным, волевым человеком. Прошел сквозь военную мясорубку, сквозь фашистский плен и не потерял лица. Почему сейчас он так сразу и окончательно отчаялся?

Удар был очень сильным. Даже спустя много лет, когда давным-давно все уже должно было забыться, Жанель ловила иногда в облике мужа что-то напоминавшее тот вечер.

Впрочем, и это прошло, время затянуло и эту рану. Они смогли победить судьбу и построили себе новую доб-

рую и прочную жизнь, с которой их уже никакая сила не собьет. Впереди их ждала спокойная старость...

Жанель шагом возвращается домой. Глаза устали. Впереди снежными валами бугрятся овчарни. Низенькая чабанская изба протягивает из-под сугроба свою трубу, как единственную руку. В степи никого.

11

Жизнь чабана считается одинокой, почти отшельнической, но тем не менее у него есть свой мир, привычный и довольно многообразный. Сотнями невидимых нитей чабан связан со всем остальным человечеством, с большой жизнью.

Буран вырвал Коспана из его мира и бросил в пустоту. Все нити, видимые и невидимые, обрублены. Слабое дыхание жизни, в центре которого он сам, теплится в зловещей пустыне, безвольное, как перекати-поле. Если он ослабит усилия, дыхание прервется, и погибнут все — и овцы, и собаки, и верный его друг Тортобель. Он сам погибнет.

«Белый дьявол», так называет он буран, не смог уничтожить его первым ударом. Теперь буран решает взять его измором, не дает ни минуты покоя, подстерегает каждый неверный шаг, морозным воздухом леденит легкие, выдувает последние остатки тепла из шерсти овец.

Голодные овцы дрожа жмутся друг к другу. Вожак отары, черный козел, забыв свои обязанности, прячется среди овец. Длинная шерсть его смерзлась в сосульки, от былого величия остались только роскошные рога, которые сейчас нелепо торчат над отарой. Красавицу Кокчулан сейчас не узнать — дивная ее шерсть с синим отливом свалялась, некогда пышный курдюк опал, как проколотый мяч.

Даже собак одолел «белый дьявол». Бока у Кутпана ввалились. Майлаяк, жалобно скуля, бредет у ног хозяина. Иногда она поднимает голову и смотрит на него слезящимися умоляющими глазами. Коспан отворачивается — ему нечего ей дать, запас пищи на исходе.

Один только верный Тортобель пока не сдается. На коротких привалах он сильными копытами раскапывает снег, щиплет мерзлую траву. По первому зову хозяина с готовностью поднимает голову.

Судьба всех этих беспомощных существ в руках Коспана. Без него «белый дьявол» мгновенно пожрет их.

«Белый дьявол»... Коспану кажется уже, что это не просто ветер, тучи и снег, что это действительно какой-то демон, злая, коварная личность, решившая свести с ним какие-то счеты.

Но все-таки... но все-таки так уж устроен человек — он борется до самого конца и в самые гибельные моменты находит в себе невесть где таящиеся силы.

Интересно то, что Коспан уже привык к этой изнуряющей борьбе. Шаг за шагом с тупым упорством он идет вперед, щелкает бичом, вытаскивает за курдюки застрявших овец. «Зацепиться за пески, зацепиться за пески»,— твердит он себе. Вот уже и руки потеряли чувствительность, лицо распухло и окоченело, мутит... Он пытается отвлечься, подумать о чем-нибудь, что-нибудь вспомнить, но мысли гаснут, как мокрые дрова.

Вдруг он даже не замечает, а чувствует, что «белый дьявол» решил дать ему передышку. И впрямь, через несколько минут далекие холмы выплывают из мглы, в разрыве туч появляется кусочек синего неба.

Тучи на горизонте поднимаются все выше, показывается предзакатное солнце, начинает искриться снег.

Ветер стихает, исчезают последние языки поземки, и степь открывается во всей своей беспредельности, похожая на застывшее штормовое море.

И во всем этом огромном мире не видно ни одной живой души. Тщетно Коспан всматривается в пространство. Ему представляется, что только он один со своей отарой и остался на земле.

Коспан вздрагивает от внезапного звука — это заскулила Майлаяк. Видно, и ее угнетает белое безмолвие.

Дорого бы он дал за такую тишину тогда, в том лесу, в Силезии...

Мир был предельно тесен, предельно заполнен звуками, запахами и движениями. Коспан лежал за кустом. Ему хотелось стать частью этого прилизанного немецкого леса, все равно чем — корягой, пнем, улиткой, божьей коровкой...

Ночью, когда они с Гусевым подошли к этому лесу, он показался им настоящими джунглями, надежным дре-

мучим убежищем, но с рассветом он начал редеть, расступаться, и вот теперь под ярким весенним солнцем просматривался насквозь, почти даже не лес, а парк.

Спрятались в стеклянном ящике всем на обозрение! Отвратительное чувство обнаженности все сильнее прижимало к земле, хотелось просто залезть под дерн.

И звуки, звуки со всех сторон. Тоненьким зуммером поет вдалеке майский жук, но при их приближении он уподобляется «фокке-вульфу». Прозрачные крылья стрекозы дребезжат, словно листы жести. Шелест листвы гулко хлопает по барабанным перепонкам. Как танк, ревет шмель.

И вдруг среди этих усиленных воображением беглеца звуков послышались сзади медленные спокойные шаги. У Коспана заколотилось сердце. Гусев? Да не сумасшедший же он — гулять при свете дня по немецкому лесу. Совсем близко послышалось шумное дыхание, глубокий трагический вздох. Мимо прошла бурая в белых полосах корова.

«А вдруг сейчас за ней пастух»,— похолодел Коспан.

Небольшой лес, в котором они прятались, был разбит на квадраты и приведен в порядок с удивительной аккуратностью, словно в задачу хозяев этого леса входило и то, чтобы никто здесь не смог как следует спрятаться.

Совсем близко от леса проходила асфальтовая дорога. Она вливалась в автостраду, по которой мчались мотоциклы и машины. Дальше, километрах в двух, среди деревьев с круглыми, как юрты, кронами белели стены домов. За ними простирались нежно зеленеющие поля. Мирная эта картина на всю жизнь запечатлелась в душе Коспана, как одно из самых страшных видений.

Вон из ближайшего домика вышли двое. Они идут медленно, вяло, видно, разнежились под весенним солнцем. По дороге мимо леса катит телега на резиновых шинах. Тяжелоногие здоровенные кони в серых яблоках. Телега военного образца, но сидят на ней старик с белым пушком на висках и затылке и ширококостная старуха. Красная лысина старика странным образом гармонирует с пейзажем, вносит в него дополнительную свежесть.

Мир, покой, благолепие, но стоит Коспану обнаружить себя, и вся эта идиллия с грохотом взорвется. Бешено застучат мотоциклы, залают овчарки, в грудь ему

упрется сталь штыка, от удара прикладом по голове земля вырвется из-под ног и опрокинется небо.

На другом конце леса, там, где прятался Гусев, остановилась военная машина. Коспан затаил дыхание. Из кузова выпрыгнули двое солдат. Они подошли к кустам, оправились и забрались обратно.

Тактика, разработанная Гусевым, была несложной.

— Ночью будем идти вместе, а к утру прятаться врозь.

— Почему? — удивился Коспан.

— Всякое может случиться. Если одного из нас накроют, второй сможет уйти. Уже половина дела.

Коспану эта тактика не очень-то была по душе — прятаться одному целый долгий майский день просто невыносимо, но он не возражал. Он вообще доверял Гусеву больше, чем самому себе.

В бараке Гусев был одним из тех немногих людей, что ходили, не опуская головы. Большинство заключенных любили этого долговязого пройдоху, который даже в фашистском концлагере умудрялся не терять чувства юмора. Он был очень общителен и завел себе широкий круг знакомств даже за пределами барака. «Я Гусев»,— коротко представлялся он, и все, даже самые близкие друзья, звали его не по имени, Иваном, а по фамилии — Гусев.

С Коспаном они познакомились на земляных работах. Как и всё в этом потустороннем царстве, земляные работы были нацелены на то, чтобы поставить человека на грань жизни и смерти. Копали с утра до ночи. Тарелка жидкой бурды и сто граммов хлеба из отрубей, так называемый «витальный минимум», вот и все, что составляло их рацион. С каждым днем становилось труднее поднимать большую лопату с землей.

— Ты чего это так стараешься, браток? — пробормотал кто-то над ухом.

Коспан опустил лопату. Рядом стоял русский парень, примерно одного с ним роста. Он и раньше замечал его в бараке. Темно-русые волосы, широкие монгольские скулы, глаза навыкате. Ходил он всегда с задранной головой — подбородок выше носа. Среди безнадежно опущенных голов это сразу бросалось в глаза.

Коспан непонимающе уставился на парня, а тот скло-

нился к земле и с преувеличенным усердием заработал лопатой, поднимая облако пыли.

— Капо идет. Шуруй! — буркнул он Коспану.

Морщась от пыли, мимо прошел надзиратель с резиновой дубинкой. Через несколько минут парень снова обернулся к Коспану.

— Если ты будешь так глубоко врезать лопату, загнешься через две недели. Полегонечку действуй, а землю кидай подальше, чтоб больше было пыли. Понял? Не торопись, выработай себе ритм.

Обернувшись через минуту, Коспан увидел, что парень исчез.

Вечером, когда колонну вели к бараку, он почему-то снова оказался рядом и тихонько пожал Коспану руку.

— Понял премудрость? Где бы ни работать, лишь бы не работать,— ухмыльнулся он.— Ты, друг, кто будешь по нации? Казах? Вот это здорово! Мы же с тобой земляки. Я Гусев, акмолинский.

После этого они подружились. Поведение Гусева долгое время поражало Коспана невероятно. До родины далеко, как до другой планеты, жизнь их угасает в зловонных бараках и чудовищных карьерах, а он себе в ус не дует, ходит с задранной головой, с вечной ухмылкой, с острым словцом, даже позволяет себе подшучивать над надзирателями.

Всем было ясно, что никто не уйдет живым из этого концентрационного лагеря. Тысячи живых скелетов копошились с рассвета до темноты в каменных карьерах. Даже самых последних «доходяг» выгоняли на работу. Здесь, прежде чем отправить человека в газовую камеру, из него неумолимо и расчетливо выжимали последние остатки силы.

Заключенных обували в деревянные башмаки. Привыкнуть к ним было невозможно. Ноги стирались до крови, постоянно ломило ступни. Некоторые пленные хитрили и подкладывали в колодки тряпье, но если это обнаруживал надзиратель, на виновного обрушивалась резиновая дубинка.

Колодками этими, безусловно, достигалась двойная выгода. Во-первых, в них нельзя было убежать, а во-вторых, постоянная боль принижала человеческое достоинство, люди тупели, грызлись друг с другом.

С наступлением темноты всех загоняли в бараки, вы-

ходить из них запрещалось. Русских военнопленных, будь они обнаружены вечером вне бараков, приказано было расстреливать без предупреждения.

Французы из соседнего барака шутили:

— У нас перед вами масса преимуществ. Вас расстреливают без предупреждения, а нам вежливо говорят: «Пардон, месье, разрешите прострелить вам голову»,— и только тогда уже стреляют.

Бараки, бараки... Трехэтажные нары, вонючая параша. Зловонный воздух так густ, что его, кажется, можно резать ножом. Вонь, тлен, запах смерти...

Брезжит рассвет, и в барак, как свора псов, с лающими криками врываются надзиратели. Нужно вскочить сразу, хотя тело налито свинцом, иначе заработают резиновые дубинки. След от удара жжет целые сутки, как ожог, но иные не двигаются, даже когда их молотят несколько человек. До надзирателей наконец доходит причина столь странного поведения. Следует команда — «вынести». В последнее время выносить стали все чаще.

В первые месяцы многие еще на что-то надеялись. Люди, привыкшие к оружию, не могли сразу смириться с положением бессловесного скота, искали пути к спасению.

Прошел год, и с надеждами было покончено. Головы опустились, на лицах появилась обреченность. Люди почти не разговаривали друг с другом.

Один лишь Гусев... Ох, уж этот Гусев! Поведение его уму непостижимо.

В тяжелом молчании барака он ползает с нары на нару, шепчется с людьми. Иногда слышится тихий смешок, это Гусев рассказывает какую-нибудь смешную байку или анекдот, начиная, как всегда, словами «один мой приятель говорил».

Доведенные до отчаяния, пленные по любому пустяку схватываются друг с другом. Молчание то и дело прорывается истерическими криками. Тотчас же к месту ссоры бросается Гусев и быстро примиряет враждующие стороны. Через минуту там уже слышится его хихиканье.

— Ну, Гусев, ты даешь!— говорят ему.— Откуда у тебя силы-то берутся?

Гусев усмехается.

— Такова природа человека, товарищи по несчастью. Один мой приятель, древний философ, говорил: «Люди и в аду будут перебрасываться головешками».

Однажды Коспан решился намекнуть Гусеву на возможность бегства из лагеря. Гусев зорко взглянул на него, мгновенно, словно оценивая, смерил взглядом с головы до ног, потаенно улыбнулся.

— Не спеши, земляк. Один мой приятель говорил, что нормальный человек везде найдет выход.

На следующий день после этого разговора комендатура лагеря, словно разгадав их намерения, ввела новый порядок. Теперь заключенные должны были снимать верхнюю одежду еще во дворе и входить в барак в каль-

сонах и рубашках. Гусев и Коспан пали духом — в кальсонах далеко не уйдешь.

Примерно в это же время в лагере появились вербовщики. Они агитировали пленных вступить в РОА, армию генерала Власова, сулили манну небесную. Некоторые заключенные, отчаявшись, попадались на эту удочку.

Сосед Коспана по нарам, толстомордый парень с белесыми глазами, как-то сказал ему:

— А, пропади все пропадом, давай запишемся в РОА. Лишь бы оружие в руки получить, а там махнем через линию фронта. Чего же нам здесь гнить заживо?

Парень этот появился в лагере позже других и всех удивил своим упитанным видом.

— Где же ты такую ряху нагулял? — спрашивали его, и он рассказывал свою довольно-таки удивительную историю.

Попав в плен, он был отправлен на сельскохозяйственные работы, их партию роздали немецким крестьянам как даровую рабочую силу. Он стал батраком в хозяйстве одной зажиточной немки. Пахал, сеял, убирал хлеб, ухаживал за скотом.

— Хозяйство у моей бабы было что надо. Даже скотный двор каменный,— горделиво рассказывал он.— Работа была нелегкая, но на хороших харчах да на свежем воздухе жить было можно. Эх, братцы, сам я ваньку свалял,— сокрушался он.— Так бы до конца войны не знал горя. Теперь вот здесь загорать приходится.

— Да как же так получилось? — спрашивали его.

Он обстоятельно объяснял:

— Хозяйке моей фрау Эльзе лет так немного за сорок было. Ух, до хозяйства зла, стерва! Говорили, что до войны мужа своего так загоняла, что он на фронт отдыхать поехал, как на курорт. Ну, мне ее работа не страшна была: я, как себя помню, все работаю. Потом она на меня и ночную работу мужа взвалила. Эту работу, братцы, я тоже знаю очень даже хорошо. Очень меня тогда зауважала фрау Эльза, кормила, как на убой. Сало, ребята, настоящий шпик, я рубал, молока и даже шнапсу иногда перепадало. Рай да и только.

— Кто ж тебя из рая этого выгнал?

— Черт попутал меня, дурня несчастного. Очень уж худа была моя старуха. Грудь жесткая, как у старой курицы, аж кости выпирают.

Короче, мужиков-то в селе стоящих нет совсем. Гитлер сейчас подчистую всех гребет. А молодые фрау словно сбесились. И во мне бес играет от жирной пищи. Короче, повело... можно сказать, по рукам пошел.

Сначала все было шито-крыто, а потом как-то фрау Эльза накрыла меня с Гертрудой. Шуму было! Мало того, пожаловалась, идиотка, на меня начальству. Правды, конечно, не сказала — разве может руссише швайн бесчестить чистопородных ариек? — сказала, что работаю, мол, плохо, ворую, пью, веду опасные разговоры.

Ну, приехали за мной из гестапо, а Эльза тут в слезы. Не отдам, кричит. Нет, ребята, баб не поймешь по обе стороны фронта. Так она выла и стенала, что гестаповцы даже подозревать ее стали, хотели кокнуть меня для ясности, да раздумали.

Вот так я и попал, как кур во щи,— грустно заканчивал он свой рассказ.

Парень этот, хоть и был на вид раз в пять здоровее других заключенных, быстрее всех стал «доходить». Чувствуя приближение конца, он как за соломинку ухватился за предложение власовцев. Почему-то он не решался пойти на это в одиночку и поэтому бесконечно уговаривал Коспана.

Доводы его порой звучали убедительно. Коспан заколебался. Как-то ночью он забрался на нары к Гусеву и рассказал ему о предложении толстомордого.

Гусев резко поднял голову. Глаза его блеснули.

— Ты это серьезно?

— Другого-то выхода нет...

— А это, по-твоему, выход? Остроумней ничего не придумала твоя башка?

Коспан рассердился.

— Ты думаешь, что я предателем решил стать? Как только возьму в руки оружие...

— Не пори хреновину! — грубо оборвал его Гусев.— Думаешь, немцы глупее тебя? Да там тебе по... свободно не дадут.

Он замолчал. Коспан чувствовал, что Гусев дрожит от ярости и сдерживается, чтобы не наговорить лишнего своему другу.

— Заруби себе на носу, Коспан,— заговорил он наконец,— уже сам факт, что ты принял оружие от врагов

советской власти, никогда тебе не простится. Думал я, что ты нормальный человек, да, видно, ошибся.

После этого разговора отношения их сильно разладились. Гусев перестал разговаривать с Коспаном, делал вид, что не замечает его. Коспан понимал, что Гусев абсолютно прав, и очень страдал.

Между тем Гусев не терял времени даром.

— До чего же вы наивные, ребята,— говорил он колеблющимся.— Думаете, от хорошей жизни немцы с нас штаны сдирают? По всем признакам видно — скоро им капут. Интересно, какой нормальный здравомыслящий человек в такое время поступает в армию предателей? Пошевелите-ка мозгами.

Бесконечно тянулись однообразные тягостные дни плена. Днем камни, кирка, крики надзирателей. Ночью вонь, тяжелое дыхание товарищей, стоны. Боль, усталость, голод — вот и все ощущения.

И вдруг начались перемены. Группу пленных поздоровее отправили на завод. Завод этот точил какую-то деталь — изогнутую стальную чурку. Для чего она предназначена, не знали даже немецкие рабочие.

Коспан и Гусев работали на погрузке, таскали огромные ящики с деталями. Работа была неимоверно тяжелая, но все-таки случались паузы, когда можно было разогнуть спину.

Гусев все время крутился среди немецких рабочих, с невероятной ловкостью оперируя своим более чем скромным немецким. Коспан заметил, что немецкие рабочие начинают сдержанно улыбаться при виде разбитного русского парня. Некоторые даже тайком от эсэсовцев угощали его сигаретами. Особенно часто это делал один старик. Лицо у старика было красное с синими паучками на щеках и носу, что явственно свидетельствовало о повышенном интересе к горячительным напиткам. Он вообще, этот старик, довольно дружелюбно поглядывал на пленных...

Однажды Коспан и Гусев несли вдвоем тяжелый ящик с деталями.

— У тебя какой размер обуви? — неожиданно спросил Гусев.

— Сорок четвертый. А что?

— Ничего себе ножки! Лучше бы голову себе завел

такого размера. Что рот разинул? Сапоги тебе хочу заказать, да вот где столько кожи достанешь...

На следующий день старый немец спрятал в условленном месте две пары ботинок, брюки и сапоги...

Майскому дню не было конца. Солнце томительно долго поднималось к зениту, а там и совсем застряло. Коспан мучительно боролся со сном. Он боялся захрапеть. Дома от его храпа дрожали стекла. Все-таки усталость взяла свое, и он погрузился в забытье.

Очнулся он от какого-то неясного, еле слышного звука. Прислушавшись, понял, что это шаги. Легкие, быстрые, словно шелестящие, шаги приближались к нему. Вдалеке женский голос что-то сердито прокричал. В ответ послышался совсем близко детский смех, похожий на колокольчик.

Коспан осторожно раздвинул кусты. Впереди, шагах в десяти, паслась та самая бурая корова с белыми полосами. К ней по траве бежал светловолосый мальчуган в коротких штанишках. Его догоняла худая женщина в бедном сером платье.

Мальчик подбежал к корове и схватил ее за хвост. Разбухшая на весеннем приволье корова даже не шелохнулась, только чуточку повернула голову. Мальчишка, упираясь пятками в землю, изо всей силы тянул ее за хвост. Подбежала женщина. У нее было усталое лицо. Она взяла мальчика за руку, отругала, шлепнула. Мальчишка смеялся. Потом они мирно пошли к селу, погоняя впереди себя корову.

Эта мгновенно промелькнувшая картина была как толчок в сердце. Он чуть не заплакал от жалости к своей маленькой, такой далекой отсюда семье. Два самых близких ему нежных и беспомощных существа... Муратик... Жанель...

Вспомнилась сцена прощания. Ох уж эти казахские обычаи! Он не решился на людях обнять свою милую. А мог бы обнять ее тогда в последний раз.

Неужели в последний раз? Неужели больше никогда он не положит руки на ее худенькие плечи, не подбросит в воздух Мурата? Должно быть, они считают его погибшим. Что с ними сейчас?

От бессилия он заскрипел зубами, уткнул лицо в ла-

дони и обнаружил, что ладони стали мокрыми. Он не заметил, как начал плакать, а теперь, поняв это, больше уже не мог сдерживаться и разрыдался. Это были его первые слезы за время войны, и теперь они лились освобожденным потоком, словно все эти годы скапливались где-то. Он всхлипывал и дрожал от жалости, ярости и бессилия.

Потом ему стало стыдно. Пройти через все, что пройдено, бежать из лагеря, поставить на карту жизнь — и теперь плакать, как баба, только из-за того, что мимо пробежал пятилетний мальчуган! А впереди сотни километров густонаселенной враждебной страны, где шагу нельзя ступить, не задев кого-нибудь плечом. Впереди линия фронта.

Он сжал зубы и поклялся себе, что не пикнет, даже если его будут живьем резать на куски...

Тучи на западе снова сгущаются. Тонет в них закатное солнце. Быстро темнеет.

В густеющих сумерках Коспан гонит отару к гряде невысоких холмов. Он хочет до наступления темноты найти за ними место для ночлега.

Отара тяжело перекатывается через гряду. Коспан съезжает вниз и вдруг краем глаза замечает на голубоватом снежном фоне какой-то промельк. Он оборачивается и совершенно отчетливо видит трусящего по противоположному косогору волка.

Только этого еще не хватало! Вскрикнув, Коспан бросает Тортобеля в погоню, но вовремя одумывается. Все равно его не догнать, а коня запороть можно.

Хищник бежит с совершенно безразличным видом, словно по очень важному неотложному делу, как будто даже не замечает отары: мало ли, мол, овец, гуляет по степи. Одним махом он перепрыгивает через бугор и скрывается.

Коспан тревожно смотрит туда, где скрылся волк. Он знает повадки этих тварей, знает, что волк так просто не уйдет от добычи. Это, должно быть, «белый дьявол» обернулся теперь волком.

Хочешь не хочешь, но ночевать придется здесь. Надо бы костер развести, но в окрестности не видно ни одного кустика.

Подвесив к луке седла соил — длинную дубину, Коспан в темноте объезжает отару, чутко прислушивается к ночи.

Вокруг ни звука, только мерно дышат овцы. Они лежат на снегу, плотно прижавшись друг к другу. Бескрайняя степь сузилась теперь до размеров небольшого пятна размытого мутного света. За этим пятном плотная стена мрака. В любую минуту из этого мрака могут выступить горящие точки волчьих глаз...

По пятам за ним неслась огромная, как волк, овчарка. Коспан лавировал среди деревьев. Совсем близко стучали выстрелы. Пули с треском разрывали кору берез. Он уже чувствовал за спиной близкое дыхание собаки, он прекрасно понимал, что спасения нет, но продолжал бежать, петляя и перепрыгивая через кусты. Надо было увести погоню как можно дальше от Гусева.

Последний миг, последнее усилие. Он бросается за дерево, но овчарка настигает его, впивается в ногу, обрывает штанину вместе с куском мяса.

Очнулся он через сутки. Долго бессмысленно глядел в темный потолок. Наконец до него дошло, что это он, Коспан, что он существует... Тело не давало о себе знать — ни тяжести, ни боли...

С трудом ему удалось скосить глаза. Он осмотрелся и понял, что находится в цементном мешке одиночной камеры. Сжав зубы, он попытался повернуться на бок. Только для того, чтобы почувствовать свое тело.

Тело не послушалось его. Ему почудилось, что оно где-то в стороне от него самого. Он потерял сознание.

Очнувшись вновь, Коспан подумал, что скоро его убьют. Убьют уже окончательно. Эта мысль принесла облегчение.

Гусев... Он узнал его по фигуре, лицо было неузнаваемым, оно потеряло всякие очертания и напоминало скорее кусок мясного фарша, чем человеческое лицо.

Их вели на допрос. На лестнице конвоиры замешкались, и они очутились рядом. Гусев поднял закованные руки и слегка толкнул Коспана в бок.

— А ты настоящий джигит, Коспан. Спасибо!

Конвоир стукнул его прикладом в спину, он полетел

вперед, ударился о стенку, но не упал и, обернувшись, крикнул:

— Держись! Мы еще поговорим с ними всерьез!

Почему-то их не расстреляли, а отправили в прежний лагерь и даже в старый барак.

— Ну как, хорошо прогулялись? — язвительно спросил толстомордый.

— Пошел бы ты туда-то, потом еще раз туда, а в третий раз подальше,— ответил Гусев.

— Как же вы попались? — интересовались другие.

— Таким дылдам, как мы с Коспаном, на немецкой земле не спрятаться. Разве это леса? Это же парки культуры и отдыха. Голову спрячешь, а ж... торчит.

Нет, Гусев решительно отказывался терять присутствие духа...

Медленно объезжает Коспан свою отару. Медленно тянется зимняя ночь. Медленно тянутся в ночи, как караван за караваном, воспоминания, медленно проходит жизнь.

Все спокойно.

Коспан расстилает шубу, ложится и сразу погружается в тяжелую дремоту.

Будит его какой-то тоскливый утробный звук. Он поднимает голову. Рядом скулит Майлаяк. Коспан вскакивает, хватает соил, бежит к Тортобелю. Гулко начинает лаять Кутпан. Овцы испуганно мечутся по глубокому снегу.

12

Навострив уши, Куренкаска смотрит на хозяина и тихо ржет. В темноте отчетливо проступает его силуэт, и Каламуш с удовольствием отмечает, как он строен и красив. Все в нем пружинисто, стремительно, словно след уходящей волны. Каламуш гладит его по шее, под слоем инея пальцы касаются теплой, бархатистой шерсти. Куренкаска вздрагивает и кладет морду на плечо Каламуша, обдавая его теплым дыханием. Целые сутки держат его во дворе. Он сыт и полон сил.

Неуклюже двигается в темноте Кадыржан. Тоже седлает свою лошадь. Он еще не проснулся до конца, часто зевает, поеживается от холода. «Чего это мы утра не до-

ждались?.. Куда это нас несет в такую ночь?» — бурчит он в темноте.

Каламуш знает характер своего старшего брата. Он молча седлает коня. Кадыржан еще долго бурчит, но в конце концов его выводит из себя то, что этот сопляк его, старшего, не удостаивает ответом. И он уже зло кричит:

— Слушай!.. Ты... ты, малыш, не будь дураком! Подумаешь какой! До утра никуда не поедем. А ну, расседлывай коня! — И сам начинает расстегивать подпруги.

— Это почему же не поедем?

— В такую темень... да еще пурга! Мы же... мы же замерзнем.

— Ах вот как! Значит, тебе твоя шкура дороже всего на свете! Ну тогда оставайся. Я поеду один.

Каламуш садится в седло.

— Взгляните-ка на него! За кого ты меня принимаешь? В такую ночь отпустить безумного мальчишку одного? А ну, слезай с коня,— уже властно приказывает Кадыржан.

Каламуш трогает, Кадыржан растерянно кричит:

— Эй, подожди! Подожди, тебе говорят! Несет же его черт!

— Догоняй!

Каламуш едет рысью. Ветер хлещет, снег залепляет глаза. Он обматывает лицо шарфом, но снег все равно находит лазейку. Мокрые шерстинки щекочут лицо. Позади на своем гнедом трусит Кадыржан. Временами, вспоминая свое старшинство, он подает сердитые наставительные реплики:

— Слушай, ты внимательнее следи за дорогой. А то еще собьемся!

Или:

— Куда тебя несет! Так недолго и коней загнать.

При отъезде Каламуш, выведенный из себя, нагрубил брату.

Обычно он вежлив, хотя ни капли не уважает Кадыржана. Терпеливо выслушивает нудные замечания, но делает все по-своему. Родные братья никогда не были близкими людьми. Вообще, странное отношение у Каламуша к своей семье. Он как чужак в семейном клане. Младших всегда балуют. Каламуш же никогда не ласкался к отцу, скорее относился к нему с почтением, как

к деду. Приезжает он в отчий дом, как сын близкого родственника, держится отчужденно, степенно. А тот, другой, дом вроде родного гнезда. Там он чувствует полную свободу. Сызмальства он привязался к Коспану, бегал за ним по пятам, засыпал только у него на руках. С пяти лет посадил его Коспан на коня и стал брать с собой в степь. Нет в этой округе урочища, куда бы Каламуш не ездил с Коспаном. Вон впереди, в низине, куда они сейчас спускаются, есть чистый родник. Летом у родника образуется маленькое озеро, а вокруг — зеленая лужайка. Ягнята и козлята бегают туда, чтобы напиться. Каламуш любит смотреть, как козлята острыми мордочками тычутся в воду. У самого родника зеленая, клейкая, как пластилин, глина. Каламуш руками месит ее, лепит фигурки верблюдов, овечек, козлят. За лето он лепил их великое множество.

Во время школьных каникул Каламуш ходил с Коспаном за отарой. Он любил вечернюю степь, что с наслаждением отдыхает после дневного зноя, подставив прохладному ветру свою могучую грудь. Ясно проступает закатная даль. Сердце замирает, что-то неведомое манит туда. Каламуш садится на коня и скачет во весь опор. На полном скаку взлетает он на косогор. Впереди необозримое головокружительное пространство. Низины, далекие холмы. Хочется без конца скакать, стать частью этой красоты. Возвращается он, когда солнце уже скрывается. Издали видит стоящие на большом расстоянии друг от друга чабанские юрты. Они похожи на шлемы богатырей.

От земляного очага валит дым. Там Жанель-апа хлопочет над ужином. С косогора заворачивает своих овец Коспан-ага. Он на коне. Тень его тянется за ним на целый километр. С любовью смотрит Коспан-ага на Каламуша и ласково говорит:

— Ты много скакал. Теперь не стой, поезжай рысью, чтобы конь отдышался.

Добротой и спокойствием веет от его большого тела, так же как от этой вечерней степи. Коспан-ага чем-то похож на Поля Робсона. Когда Каламуш увидел впервые портрет певца в журнале, его поразило это сходство. Он вырезал портрет из журнала и спрятал в учебник...

Кадыржан и Каламуш взбираются на холм, ветер становится еще более порывистым. Куренкаска, опустив

шею, мотает головой, фыркает. Снег слепит все сильнее. Кругом не видно ни зги. Лошадиные копыта прощупывают дорогу. А где-то далеко, в безлюдной степи Кара-Кияна, вместе со своей отарой скитается Коспан-ага. Уже пошли третьи сутки, а никаких вестей, как в воду канул. Если Каламуш к рассвету не доберется до центральной и не поставит на ноги весь колхоз...

Прекрасный человек Коспан-ага. В детстве он заменял Каламушу отца, а теперь стал вроде брата или старшего друга, с которым Каламуш советуется во всем.

После окончания школы Каламуш начал работать вместе с Коспаном. Первые месяцы работы принесли разочарование. Чабанский труд, казавшийся ему раньше делом нехитрым, скорее похожим на увлекательную игру, обернулся тяжелым потом, усталостью, а порой и отчаянием от своего неумения. «Брошу я это дело, уеду учиться»,— решил Каламуш.

Своими мыслями он поделился с Коспаном.

— Я до сих пор не считал тебя легкомысленным. Сегодня здесь, завтра там. Как же это так получается? — спросил Коспан-ага с неожиданной холодностью.

— Буду всю зиму готовиться, а летом поступлю в институт. Кончу — вернусь.

Жанель горячо вступилась:

— Пускай учится. Зачем нам портить будущее мальчика?

— Человек, который при первой же трудности меняет свое решение,— ненадежный человек. Если хотелось учиться дальше, то надо было решить это сразу после окончания школы... Ну, хорошо, коли хочешь — поезжай,— закончил разговор Коспан.

Каламуш почувствовал, что Коспан уязвлен. Всегда он добр и справедлив. Многое прощает Каламушу, только выражение лица меняется, когда тот говорит неправду или обижает сверстников. На лице появляется огорчение и боль, и нет большего наказания для Каламуша, чем видеть это. После того разговора он больше и не упоминал об отъезде. Каламуш мечтатель. Он много читает и размышляет в одиночестве. О чем только он не думает ночью, лежа на спине, глядя в звездное небо.

Как-то он увидел спутник. Маленькая звездочка медленно плыла по ночному небу. Зрелище это потрясло его.

Он побежал за Жанель и Коспаном, долго тыкал пальцем в небо, кричал, пока и они не увидели спутник. Говорят, что скоро человек полетит в космос. «Вот здорово! Кто же полетит первым? Повезет же кому-то!» Какие только мысли не приходят в голову, когда ты один в степи...

Но как бы высоко ни устремлялись мечты, мысли Каламуша все чаще стали возвращаться к отаре. В последнее время он часто толкует с Коспаном-ага насчет комплексных чабанских бригад. Думают, прикидывают. Часто бывает Каламуш у учеников десятого класса. Каждый свой приезд обязательно заезжает к ним. Делится своими идеями.

— А вы, ребята, как только окончите школу, приходите работать в животноводство. Создадим новые бригады. Техника в животноводстве — вот что нам нужно. Тогда чабаны будут не просто чабанами, они станут и механизаторами. Хватит пасти овец по старинке. Вот увидите, все будет по-новому.

— Так тебе и дадут машины! Чего захотел! — возражают ребята.

— Знаем мы Кумара. Даст тебе коня, кнут в руки и — марш за отарой!

— Так мы и поверим, что Кумар послушается Каламуша.

Он так прожужжал им уши своей комплексной бригадой, что ребята окрестили его «комплексным чабаном». Каламуша это не смущает. Каждый раз он затевает новый спор.

— Технику нам дадут, ребята! Если по своей воле не дадут — заставим,— убеждает он их.

— Ну тогда и посмотрим! — отвечают ребята.

Каламуш возмущается:

— Ишь, какие вы умные! Хотите на все готовенькое прийти. Вот вам машины, вот вам трактор — все готово! Нет! Мы сами всего добьемся. Дадут — спасибо, не дадут — вырвем. Нам нужны железные ребята, а не размазни какие-то.

Споры приносят свои плоды. Все больше ребят переходят на сторону Каламуша. Каламуш идет к директору школы. Тот его поддерживает. Они решают организовать встречу чабанов с учениками старших классов. У ребят меняется настроение. Каждый раз, когда Каламуш

приезжает на центральную, они расспрашивают его о хозяйстве, советуются.

Слухи об активности Каламуша дошли до председателя Кумара. Разумеется, он обрадовался, что Каламуш зовет молодежь идти в животноводство, но насчет комплексных бригад — ни в какую.

Как бы Каламуш ни доказывал, ни убеждал, тот твердит свое:

— Брось ты, голубчик. Нереальную вещь предлагаешь. Посмотрим, как другие будут поступать. А вот то, что ты призываешь молодежь идти в животноводство,— это дельно. Об этом и толкуй.

Кумар, как старый дуб. Как ни раскачивай его, не шелохнется. Хоть бы одна ветка дрогнула. Каламуш все подбивает Кадыржана: «Ты же передовой чабан, тебя-то он послушается»,— но над Кадыржаном не каплет, и он молчит.

А мысль все кружится, как лошадь на аркане. Какой смысл во всем этом чабанстве, если весь твой труд, все твое богатство в один миг может поглотить джут...

И думает ли хоть кто-нибудь о том, что ты один в степи, что увидеть человека — это счастье для тебя, что вот в такой буран ты один на один борешься со смертью?

Каламуш, занятый своими мыслями, долго не замечает, что снег уже не падает. Рассвет робко проникает в густую темноту ночи, превращая ее в серую муть. Путники одеты тепло, но и сквозь одежду проникает морозный ветер. Руки и ноги коченеют, все тело сковывает холод. Каламуш шевелится, чтобы согреться, но одеревеневшая от холода одежда больно царапает тело, и от этого становится еще холоднее.

Они проезжают балку Тэнке, взбираются на бугор. Показывается ферма. Невысокие коровники, покрытые снегом, тянутся вдоль дороги. Куренкаска чует кислый запах навоза, резко поднимает голову, его тянет в тепло. Они подъезжают к небольшому домику возле коровника. Тут оживился и Кадыржан. Он кричит Каламушу:

— Подожди, ты! Зайдем, согреемся малость! — Губы его дрожат от холода.

— Чего же останавливаться, когда осталось полчаса езды?

Каламуш пускает лошадь рысью. Его тело тоже то-

мится по теплу, так и хочется зайти в этот маленький домик, манящий теплом и человеческим духом. Но он вспоминает Коспана-ага и берет себя в руки. Стоит ему расстегнуть пояс, лечь отдохнуть — перед глазами встанет Коспан, одиноко сражающийся с пургой.

Они хотят миновать контору, ехать к Кумару прямо домой и разбудить его, но в мутном утреннем свете видят у конторы два газика, оседланных лошадей. В окнах горит свет, снуют темные силуэты людей. Кажется, здесь предчувствуют ту недобрую весть, которую везет им Каламуш.

Каламуш и Кадыржан, задевая плечами встречных, проходят по тесному коридору в кабинет председателя. Здесь человек пять. Все они стоят. За столом председателя, согнувшись, кричит в трубку Касбулат. В другом конце кабинета Кумар горячо спорит со своими людьми:

— Ты, браток, брось дурака валять. Вот Кистаубай дает тебе трех людей. Сажай их на сани и езжай,— приказывает он трактористу. Он охрип, его тонкий голос дребезжит.

— Трактор-то мой на ремонте стоит, как я его соберу? К тому же кабина не оборудована. В такую пургу...

— А как же быть с отарой Жанайдара? Ведь ее тоже потеряем?

Галдеж перекрывает надтреснутый баритон Касбулата:

— Как? Отправили людей в «Жанажол»? А как с «Кировым»? С «Кировым» как? Все еще нет сведений?! Скорее шлите туда представителя! Как только приедет, пусть сразу же свяжется со мной. После обеда я уже буду в райцентре.

Касбулат кладет трубку и замечает Каламуша с Кадыржаном. Подняв правую бровь, с удивлением смотрит на них, догадываясь, что и эти неспроста чуть свет прискакали.

— Здравствуйте, Касеке,— произносит Кадыржан, и его замерзшие непослушные губы расплываются в широкой улыбке.

— А ты что тут делаешь, передовой чабан?

Каламуш не понимает, чего больше в словах Касбулата — беспокойства или издевки. Теперь и группа Кумара поворачивается к ним, ожидая новой недоброй вести.

— Коспан?! Коспан пропал вместе с отарой? — подскакивает Касбулат, услышав весть. Он упирается обеими руками в стол, будто хочет вдавить его в пол, и глазами пожирает Кумара. Весть эта сражает председателя окончательно. Он стоит, моргая глазами, жалобно посматривает то на Каламуша, то на Кадыржана. «Неужели это правда? Вы же убили меня»,— написано на его лице.

— Если кто-нибудь другой, тогда уж... Как же это Коспан недоглядел? — сокрушенно бормочет он. Люди молчат.

— Да-а... В самом деле, он же опытный, знающий чабан. И мы возлагали на него большие надежды...— неожиданно тихо произносит Касбулат.

Кумар потерял уже шесть отар. Слова Касбулата подстегивают его. Он не знает, на ком сорвать злость.

— Подумать только!.. Он же не мальчик, не юнец какой-нибудь. Не видел разве, что погода портится! Что это за халатность такая?! Говорят же: самый большой верблюд у переправы подведет. В самом деле — это промах Коспана...

Касбулат молчит, хмурится, стучит пальцем по столу.

Каламуш не выдерживает. Эти почтенные люди объяты беспомощным гневом и злятся на Коспана за то, что он поставил их в такое трудное положение!

— А как по-вашему, мой ага ради забавы угнал своих овец в степь?!

— Но надо же следить за погодой,— морщится Кумар.

— А как следить за погодой, если овец кормить нечем? Вокруг зимовки все выщипано до последней травинки! Если бы у нас были скирды сена! Мы тоже знаем, как их подать овцам!

С удивлением, молча наблюдает Касбулат за Каламушем.

— Заткнись хоть ты, ради бога! — с раздражением кричит Кумар.

Но Каламуш не может больше молчать, прорывается то, что накипело за эти страшные трое суток.

— Нет, не буду молчать, дядя Кумар! Триста ягнят прибавили к отаре, но не дали даже трех стогов сена! Снегом, что ли, их кормить?! Сколько раз я говорил — создавайте чабанские бригады! Сами заготовим корма, ни

на кого надеяться не будем. Разве не говорил? Говорил сто раз, аж оскомину набил...

Кумар, на которого со всех сторон сыплются недобрые вести, отмахивается, он не в состоянии спорить.

— Да подожди ты, голубчик, здесь же не собрание! — просит он наконец.

Касбулат, будто сбрасывая какую-то тяжесть, резко поднимает голову:

— Довольно пустых слов!

— Как это «пустые слова»?! — Каламуш, как разгоряченный конь, не может уже остановиться. С ходу набрасывается на самого Касбулата.

— Все, что мы предлагаем, все считают «пустыми словами». Даже и слушать не хотите. Разве комплексные бригады чабанов — пустые слова?! А вы сначала создайте их, потом посмотрим,— пустые слова или нет!

— Эй ты, как смеешь грубить Касеке? Смотрите-ка! Лезет всегда с какой-то своей бригадой!— визжит Кадыржан. Ожил, осмелел как в теплом кабинете!

Каламуш со злостью его обрывает:

— А тебе-то какое дело? За тебя овец пасут отец и сестра. Тебе никакой бригады и не нужно. Тебе бы только успевать с одного совещания на другое...

— Во всяком случае не сейчас и не здесь решать эти вопросы,— морщится Касбулат.

В другое время Каламуш, может быть, и растерялся бы, но сейчас суровый взгляд Касбулата только раздражает его, вызывает на спор.

— Если сейчас нельзя решать, то почему не решали раньше, в прошлом году? Тогда бы нам не пришлось так лететь на центральную. Не кричали бы «спасайте!» Были бы вы на месте Коспана-ага, совсем по-другому заговорили бы. Предупреждаю, если что-нибудь случится с моим Коспаном-ага, вы меня не остановите.

Касбулат с Кумаром еле успокаивают распалившегося юнца. Они ломают голову над организацией поиска Коспана, но ничего путного придумать не могут. Кумар остался ни с чем: три трактора и четыре грузовика посланы на помощь другим отарам. Касбулат звонит в райком. Беспомощность их злит Каламуша, и он решает действовать самостоятельно.

...Он еще не остыл. Разгоряченные мысли путаются в голове. Но в нем зреет уверенность, что только он сам вырвет своего Коспана-ага из цепких объятий разбушевавшейся стихии.

Сегодня Каламуш вступил в спор с людьми, которых считал раньше очень большими, мудрыми. Раньше он не мог заставить их выслушать себя, только хныкал, как маленький ребенок. Оказывается, если напирать всерьез, то и сам Касеке отступает. Каламуш даже удивляется, как это он раньше не догадывался об этом.

В коридоре общежития Каламуш сталкивается с Зюбайдой. На плече у нее висит полотенце, в руках — мыльница и щетка. Правой рукой она отбрасывает назад упавшую на лоб мокрую прядь черных волос. Увидя Каламуша, она так и застывает. Большие черные глаза с тревогой смотрят на него. Что привело юношу на центральную в такой ранний час? Ее поза, весь ее облик, даже зеленый цветастый халатик кажутся ему бесконечно милыми. В ее глазах — один вопрос: «Что случилось?». Теплеет на душе у Каламуша. Он рассказывает девушке обо всех своих горестях и тревогах.

Зюбайда слушает молча, не сводя глаз с Каламуша.

— Сейчас приду,— говорит она и заходит в свою комнату.

Каламуш смотрит ей вслед, потом широко распахивает дверь комнаты, где спят ребята, и командует:

— Подъем! Живо! Живее!

— Эй, кто это орет?— слышится в ответ из темноты.

— Что случилось?

— Заткнись! В морду получишь!

— Слушай, это же Каламуш!

Ребята поднимают головы, жмурятся от яркого света электрической лампочки. Некоторые кутаются в одеяло и поворачиваются к стене. Каламуш тормошит их, стаскивает с кроватей. Ученики, полусонные, трут глаза, сопят. Никто ничего не понимает. В комнату входят четверо девушек во главе с Зюбайдой.

— Ребята, нужно ехать в степь,— говорит Каламуш.— Короче, мне нужны восемь джигитов! Настоящих джигитов, а не замухрышек.

— Да как ехать-то в такую пургу?— ворчит кто-то.

— Тебя не гулять приглашают!— рявкает Каламуш.— Пропал Коспан-ага. Пурга угнала отару.

— Эй, ребята, поехали!

— Постой! А как быть с занятиями?

— Директор нам спуску не даст!

— А на чем мы поедем?

— Мало ли коней в колхозе?! Возьмем коней и поскачем.

Зюбайда останавливает этот галдеж. Встает, сердито смотрит на ребят:

— Чего вы галдите, как маленькие? Это вам не игра. Поедут только крепкие, выносливые ребята. Ты поедешь, Есенгельды, и ты, Жанузак... Бадак и Адамбек. Идите к директору и добейтесь разрешения. Те, кто едет, собирайтесь быстрее. Мы пойдем на кухню, соберем вам еды на дорогу.

Каламуш идет к директору. С трудом уговаривает его. Вместе с ребятами директор отправляет воспитателя интерната. Каламуш бежит в правление просить лошадей. Узнав, что на поиски Коспана едут ученики старших классов, Кумар протестует.

— За жизнь ребят я буду отвечать сам,— заверяет его Каламуш.

— Нет, не ты, сопляк, а мы будем за них в ответе!— вопит Кумар, потрясая кулаками. Потом он замолкает, понимая, видимо, что это единственно возможный выход из положения. Вопросительно смотрит на Касбулата. Каламуш чувствует — сейчас могут рухнуть его планы, и бросается в атаку:

— А что плохого, если поедут ребята? Они ведь в этом году кончают школу. Кто же завтра пойдет за отарой, как не они? Хватит им лежать на печке и плевать в потолок!

Эти слова неожиданно убеждают Касбулата. Он что-то шепчет Кумару, и тот наконец дает свое «добро». Каламуш бежит на конный двор, отбирает лошадей, готовит сани. Приходят ребята, которые должны ехать на поиски. Одеты как попало. На одних легкие пальто, у других на ногах тонкие ботинки, третьи— с открытой шеей.

Подходит Зюбайда с девушками. Они несут в мешках провизию.

— Ну, что стоите как истуканы? Запрягайте коней,— приказывает Зюбайда ребятам.

— Как одеты, олухи!— кричит Каламуш.— В клуб на танцульки собрались?

— Да ничего, не замерзнем!

— Да я в любую погоду хожу в шапке без ушей!

— Не маленькие, чтоб кутаться,— обиженно бурчат ребята.

Зюбайда снимает с головы пуховую шаль, протягивает Жанузаку.

— На, укутай шею. Сказано же было, что едете не на прогулку. Идемте в общежитие, найдем там и валенки и шарфы.

Зюбайда уводит четверых парней. С нежностью следит Каламуш за ее быстрыми, энергичными движениями. Еще вчера девушка сторонилась людей, только украдкой посматривала на него, а сегодня, когда обрушилось несчастье, она смело перешагнула через этот детский стыд и делает все, что в ее силах, для спасения Коспана-ага.

Восемь человек, четверо на конях, четверо в санях, подъезжают к конторе правления. Здесь уже собрались провожающие. Среди них и Зюбайда. Прежняя робость и застенчивость аульной девушки вернулись к ней. Издали с нежностью и тревогой она посматривает на Каламуша. Каламуш сияет. Сегодня у него исключительный день. Невидимая преграда, стоявшая между ним и девушкой, рухнула. Теперь у него есть подруга, которая будет думать о нем и ждать. Он смело подходит к ней и протягивает руку.

— Не волнуйся, Зюбайдаш. Мы обязательно найдем ага.

— Будьте осторожны! Погода нешуточная!— потупив глаза, говорит девушка.

13

Ночная схватка с волками вконец измотала Коспана. Пока ему удалось убить одного из двух хищников, они успели запороть восемь овец. Одну из них он освежевал и накормил мясом Кутпана и Майлаяк.

Сейчас уже утро. А Коспан снова в пути. Снова он гонит отару на северо-запад. Снова, как земля обетованная, грезятся ему пески Кишкене-Кум. Снова пуржит. Ему уже тошно от этого зловещего однообразия.

Сегодня десять маток остались в пути. Сдают самые выносливые овцы. Некогда пышные их курдюки теперь болтаются, как тряпье. Поминутно они останавливаются и смотрят на снег перед собой в тупой безнадежности.

А вокруг простирается равнодушная бесконечная степь. Никакие мольбы, никакие страдания не разбудят ее, ничто не дрогнет в ней, даже если ты будешь умирать медленной мучительной смертью. Нет в ней ни человека, ни бога...

«Неужели меня не ищут?— думает Қоспан.— Неужели все махнули рукой? Не может этого быть, так не бывает».

Он пытается представить себе, как его ищут, как тревожатся родные и друзья, но видит все это расплывчато, туманно, словно сквозь толщу воды. Чувства его притупились от бесконечного холода и усталости. Он только идет и идет. Это он знает твердо — надо идти...

Привал. Қоспан лежит, опершись на локоть, опустив голову. Спины овец, стоящих в тихой балке, покрыты снегом. Они недвижимы, кажется, что это не живые существа, а фигурки, вылепленные из снега. Ткнешь кнутом — рассыплются.

Почерневшее, распухшее лицо Қоспана словно обтянуто воловьей шкурой — оно не чувствует прикосновения снега. А тело дрожит от непрекращающегося озноба, мелкая отвратительная дрожь.

Разная мерзость мерещится Қоспану; вот выплывает наглое бессовестное лицо Жаппасбая.

Вот рожа! Такому, как видно, совершенно безразлично общее презрение и брезгливость. Как говорится, плюнь в глаза, все божья роса.

...Прошлой осенью Жаппасбай, примазавшись к одному районному работнику, заявился в дом Қоспана. Қоспана как ножом резануло. Хотелось ему сразу же показать Жаппасбаю на дверь, но он должен был принять его спутника и угостить, как положено. Не будешь ведь объяснять малознакомому человеку всю сложность их отношений. Қоспан промолчал, и Жаппасбай как ни в чем не бывало сел к столу.

За столом выяснилось, что он уже на пенсии. Некогда мощное грузное тело сейчас обвисло, как полупустой мешок, усы стали сивыми. Только наглости не убавилось.

Жаппасбай никому не давал говорить за столом, а сам все гудел, гудел без умолку. Рассказывал, что его связывают с Қоспаном и Жанель давние теплые отношения, что он почти друг дома, во всяком случае благодетель.

— Хоть я сейчас и на пенсии, а актипность (активность) терять не могу. Как-никак бывший актеп (актив). Вот, понимаешь, добровольно вошел в камасию (комиссию), проверяю готовность к зимовке скота.

Перед отъездом он отозвал Коспана в сторону.

— Ох, чабаны, чабаны, пока вам не скажешь, вы и не догадаетесь. Выбери-ка мне, друг Коспан, овечку пожирнее. Если хочешь, пятнадцать рублей заплачу по колхозной цене. Спасибо, дорогой, знал, что ты не откажешь, но на всякий случай отношение от председателя припас.

Он сунул в руку Коспану какую-то бумажку. Коспан взглянул на него с изумлением. Есть ли предел наглости у этого типа? Медленно разорвал бумажку на мелкие кусочки.

— Пусть председатель и дает вам овцу.

Гнусное бессовестное лицо все еще маячит перед глазами. Что за наваждение?

Лицо это словно символ недобрых лет. Каждый раз, когда он видит это лицо, в нем возникает отголосок мерзкого чувства, чувства собственного ничтожества и бессилия, чувства стыда перед окружающими и какой-то неосознанной вины, хотя стыдиться ему вроде нечего и вины никакой нет.

Когда впервые возникло это чувство? Когда он вернулся домой? Или еще раньше?

Весной сорок пятого года в лагерь вместе с далеким гулом канонады пришла надежда. Даже «доходяги» приободрились, в потухших уже глазах появились живые огоньки.

И вот этот день пришел. Ночью сбежала охрана, а утром появился первый советский танк с небритыми солдатами на броне.

Невозможно передать словами радость, охватившую толпу измученных людей. Слезы, смех, поцелуи, песни... Каждый солдат казался родным братом. Воздух свободы опьянял, бывшие смертники чувствовали себя юношами на пороге новой, огромной, фантастически прекрасной жизни.

Предварительным допросам никто не придавал особого значения...

Но проверка затягивалась. Пленных перебрасывали с места на место, и никто ничего определенного им не

говорил. Офицеры, которые вели допросы, становились все более хмурыми и неприступными.

«Расскажите-ка нам еще раз все, как было, только обстоятельно и детально»,— повторяли они.

И пленный угрюмо замолкал. А ведь эти офицеры еще совсем недавно были будто родными братьями. Они пришли с Родины!

Родина... Для них, прошедших через лишения и муки, это было самое священное слово. Можно жить даже без близких людей, но нельзя жить без Родины.

Люди утешали друг друга, говорили о необходимости всестороннего и тщательного расследования, но сердце отказывалось воспринимать эти «объективные» доводы, появлялась обида.

Первым со всей определенностью высказался, разумеется, Гусев.

— Что-то не добреют к нам эти ребята. Боюсь, что надолго затянется все это.

— Неужели домой не отпустят?— ужаснулся кто-то.

— Отпустить-то отпустят, но думаю, что и дома нас встретят без цветов и оркестра...

— Почему ты так решил?— спросил Коспан.

Гусев быстро взглянул на него, невесело усмехнулся и после довольно продолжительной паузы задумчиво проговорил:

— Ну, ничего, нормальный человек всегда найдет выход.

Все эти неприятные разговоры, многомесячное ожидание, конечно, омрачали радость освобождения, но окончательно заглушить ее не могли. Каждый жил надеждой на скорую встречу с Родиной, с близкими людьми.

А когда Коспан увидел наконец свой родной поселок, он сразу начисто забыл о красивых офицерах со стальными глазами. Он никогда бы и не вспомнил о них, если бы...

В райисполкоме из старых знакомых и сослуживцев не осталось никого, кроме некоего Ляшкера. Ляшкер встретил его шумно и радостно и сразу повел к заместителю председателя.

По внешнему виду заместитель скорее напоминал грузчика. На нем была самая заурядная телогрейка. Не отличался особенной импозантностью и кабинет его: печка-голландка облупилась, пол был некрашен и не очень

чист. Пахло сыростью, пылью, табачным дымом. Все это напомнило Коспану недавний фронтовой быт, и ему стало приятно и легко.

Он весело смотрел на продолговатое лицо заместителя, на котором выделялся вислый мясистый нос. На щеке заместителя была большая, как и у самого Коспана, черная бородавка, из которой, словно пучковая антенна, торчали жесткие волосы. Изрытое оспой лицо его, видимо, плохо поддавалось бритве: рядом с гладко выбритыми участками кожи соседствовали островки щетины. Взгляд из-под припухших век казался сонным и флегматичным.

Сонливость эту как рукой сняло, когда Ляшкер представил Коспана как бывшего работника райисполкома.

— Очень рад, очень рад. С благополучным возвращением! Замечательно, что снова пришли сюда. Кадров у нас не хватает. Давай-ка сразу быка за рога. Чего там рассусоливать? Вот вам анкета, заполняйте.

Когда Коспан подал ему заполненную анкету, он принял ее с благодушным свойским видом и читать начал как-то небрежно,— извините, мол, за формальности. По мере чтения лицо его вытягивалось, брови сходились к переносице. Не дочитав даже до конца, он глянул на Коспана, и тот увидел вдруг столь знакомые ему отчужденные глаза с холодным металлическим блеском.

— Мда-а... Значит, так... Жена, стало быть, есть у вас, а детей... гхм... стало быть, нету...

Пряча глаза, он ворошил на столе какие-то бумажки. По всему было видно, что он стремится как можно скорее закончить эту неприятную процедуру.

— К сожалению, должен вас разочаровать... Оказывается, я ввел вас в заблуждение: в отделе кадров мне сообщили, что ничего подходящего для вас у нас нет... Уверен, что устроитесь где-нибудь в другом месте...

Так начались хождения по многочисленным районным учреждениям. Везде повторялась та же история. Многие его знали и вначале встречали чуть ли не с объятиями, затем он заполнял анкету, но когда речь заходила о возможности получить работу, следовало приглашение зайти «через пару-тройку дней».

Длинной цепью промелькнули перед глазами Коспана руководители всех районных учреждений. Он даже перестал различать их в лицо, забывал, к кому заходил, к кому

нет, но зато прекрасно научился читать их взгляды. Взгляды эти означали одно из двух. Или: «Черт тебя знает, чем ты, братец, там занимался, в плену». Или: «Знаю, все знаю, я тебе даже сочувствую, дорогой, но ты же сам понимаешь...»

Прочтя то или другое, Коспан уже сам торопился закончить бессмысленную беседу.

Запомнился ему один безрукий русский парень. Ничего в нем особенно приметного не было — среднего роста, рыжеватый, курносый, самый обыкновенный простоватый парень.

Чем-то, то ли своей рыжеватостью, то ли суетливостью, он напомнил Коспану его бывшего взводного.

Должно быть, парень потерял правую руку в самом конце войны. Это было видно по тому, как он неловко орудовал левой. Взяв бумаги Коспана, он рассыпал их, смущенно улыбнулся, кивнул на стул:

— Да вы садитесь... садитесь...

«Почему он так похож на моего взводного? — думал Коспан.— Собственно говоря, черты лица у него иные...»

Коспан даже улыбнулся, вспомнив того взводного. Какой он был непоседливый, беспокойный. Сам службу знал и с других умел спросить, на учениях не раз вгонял Коспана в черный пот, но всегда был справедлив, никогда зла не срывал на невиновных. Солдаты его уважали и искренне горевали, когда он не вернулся из ночной разведки. Под Харьковом это было. Да, под Харьковом... Вытаскивал взводный раненого солдата и остался на поле...

Настоящий был, верный и храбрый служака. Да, вот чем похож этот однорукий фронтовик на покойного взводного — выглядит он так же, как тот, таким же скромным, деловитым и храбрым солдатом, одним из тех, кто и выдержал всю войну, этим они и похожи.

Пока Коспан предавался этим мыслям, однорукий дочитал анкету. Некоторое время он сидел молча, опустив голову, потом поднял глаза, но смотрел не на Коспана, а куда-то в стену.

— Вы уж извините,— промямлил он,— нет у нас для вас подходящего места... Извините меня, прошу вас...

Смущенно ерзая на стуле, он сжимал единственной своей рукой чернильницу. Потом вдруг заметил, что измазал все пальцы, и вконец растерялся, метнулся было,

чтобы вытереть чернила, беспомощно шевельнул культей правой руки, понял, что вытереть нечем, и улыбнулся Коспану.

— Вечная история. Никак не могу привыкнуть, что однорукий, вот и хожу неряхой.

Коспан схватил со стола газету.

— Дайте я вытру!

— Что вы, что вы... Спасибо, не нужно,— еще больше сконфузился рыжий и, захватив рукой клочок газеты, начал мять ее в пальцах.

— Да вы не обижайтесь! — воскликнул Коспан, вытерев однорукому пальцы, бросил газету в проволочную корзинку и торопливо вышел.

Он шел по коридору учреждения и боролся с каким-то еще не ведомым острым чувством, едва не вызвавшим слезы. В горле стоял комок.

По всей видимости, это был нормальный честный парень. На войне он оставил руку. Там он шел в самое пекло, ежедневно рисковал своей жизнью. Какая же сила заставляет его теперь изворачиваться и лгать?

Неожиданно он понял, что загадка кроется именно в этой странной силе, что невидимой стеной отделила его от общества. Попробуй сразиться с ней... Сколько ни бей, попадешь кулаками в пустоту. Кажется, что ее и не существует, этой невидимой стены, но шагни вперед — и расшибешь лоб. А самое страшное то, что эта сила гасит в тебе искры той великой надежды, что вспыхнула когда-то в майский победный день, и горечь отверженности вселяется в душу.

Наконец Коспану удалось устроиться в контору заготживсырья приемщиком. По совместительству он стал и грузчиком, освободив измученные плечи Жанель от этой не очень женской работы.

Смирившись, он считал овечьи шкуры, таскал тюки с шерстью и думал: «Когда-нибудь это должно кончиться, когда-нибудь выяснят истину, и мы сможем смотреть людям в глаза».

Начальник конторы Баедиль относился к Коспану со спокойным благодушием. Человек этот удивительно напоминал негатив: лицо, шея, руки у него были черными, а волосы и усы совершенно белыми. Старик абсолютно доверял Коспану. Он вообще умел разбираться в людях,

и недостаток образования возмещал природной сметкой и тактом.

Однажды он позвал Коспана в свой маленький кабинетик. Был он необычно хмур, молчал, чинил цветные карандаши. Опытный по части такого молчания, Коспан сразу почувствовал недоброе. И верно...

— Вынужден я, Коспан, освободить тебя от твоей должности,— с трудом проговорил старик.— Вот уже месяц Жаппасбай подсиживает тебя. Я сначала было вертелся, но ты ведь знаешь, какие у него связи...

Дальше можно было не продолжать. Коспан понял причину частых визитов важно-мрачного Жаппасбая в их контору. Ясно было и с какими доводами он наседал на Баедиля:

— Пашистский холуй тебе по душе, а ведущий актеп не по душе?

После того как Жаппасбай стал приемщиком, Коспан не стал искать другую работу — не было уже сил. Он остался там же простым грузчиком. Он был силен, и эта тяжелая работа не утомляла его. Тяжело было ловить на себе недоверчивые или жалостные взгляды, чувствовать себя вышвырнутой собакой.

Коспан стал мнительным. Даже самых близких друзей он подозревал в жалости к себе.

Прошло время, и его стало угнетать чувство какой-то неосознанной вины перед другими людьми. Порой он ловил себя на том, что не может причислить себя к миру «честных людей». Он стал робким, голова опускалась все ниже, все чаще лицо его посещала умильная, просящая снисходительности улыбка.

Однажды пришло письмо от Гусева. Привет от самого близкого друга, с которым они столько раз обманывали смерть, потряс Коспана. Трясущимися руками он разорвал конверт.

Жив-здоров, женился, завел себе сына, работает в геологической партии где-то в Центральном Казахстане. Ничем его не проймешь!

Гусев справлялся о здоровье «красавицы Жанель и богатыря Мурата». Откуда было знать ему про маленький саманный мазар? Все письмо было выдержано в обычных для Гусева шутливых тонах, и только последняя фраза «нормальный человек, Коспан, везде найдет выход» объяснила Коспану, что живет он далеко не слад-

кой жизнью, да и о его жизни, должно быть, догадывается.

Когда расставались, Гусев сказал Коспану:

— Хоть твои предки и были кочевниками, а я больший бродяга, чем ты. Так что жди письма от меня. Как только осяду, настрочу или телеграмму отобью.

Теперь Коспан немедленно сел за ответное письмо, радуясь возможности установить связь с другом, уже само присутствие которого на земле поднимало его жизненные силы.

Месяца за два до этого письма Коспана пригласили в районное отделение госбезопасности. Молоденький, лет двадцати двух, лейтенант попросил его рассказать о годах плена и «вообще, пожалуйста, всю вашу историю».

Коспан начал нехотя: не очень-то интересно в сотый раз долдонить одно и то же,— но лейтенант слушал его, как мальчик слушает интересную сказку, глаза его блестели иногда неподдельным волнением, и Коспан не заметил, как сам разволновался.

Лейтенант смотрел на него широко раскрытыми глазами и лишь раза три при упоминании имени Гусева, словно спохватившись, задавал дополнительные вопросы. Когда Коспан кончил, ему даже показалось, что тот еле подавил тяжелый вздох.

— Все, что вы сказали, нужно изложить на бумаге,— сказал он прерывающимся голосом,— и поподробнее пишите о Гусеве.

— А это зачем? — спросил Коспан, насторожившись.

— Это нужно ему самому. Понимаете, ваши слова в точности совпадают с его показаниями.

Лейтенант улыбнулся, очень довольный, словно оправдались и его собственные предположения.

— Не можете ли вы дать мне адрес Гусева? — быстро спросил Коспан.— Я уже давно ничего о нем не знаю.

— Точного его адреса у нас нет,— развел руками лейтенант.— Он где-то в Карагандинской области. Вообще, положение его неплохое, но...— он осекся, видимо, сообразив, что излишне разоткровенничался, и нахмурился.— Учтите, этот разговор отсюда выйти не должен.

— Понятно,— пробормотал Коспан и опустил глаза.

Голос лейтенанта вновь дрогнул.

— То, что ваше место захватил Жаппасбай, несправедливо. Мы этого так не оставим. Я доложу по начальству.

Позже Коспан раза три встречал молодого лейтенанта. Тот всякий раз останавливал его, расспрашивал о жизни, о разных пустяках. Разговор о Жаппасбае он старательно обходил. Молчал и Коспан. Он понимал, что лейтенант чувствует себя виноватым.

«Видно, и так ему влетело от начальства за тягу к справедливости,— думал Коспан.— Ну ничего, мне не привыкать — все выдюжу и стерплю».

Но вскоре выяснилось, что всего стерпеть он не может. Жаппасбай, которого он считал лишь тупой скотиной и грубым доносчиком, оказался к тому же ловким махинатором. Особенно беззастенчиво он обманывал стариков и старух.

Расценки сырья он устанавливал сам, как говорится, «на глазок». Принесет какой-нибудь старик килограммов сорок шерсти, он выдает ему осьмушку чаю и три метра ситца. Сдаст старуха коровью шкуру да сотни две яиц — получает одну подметку.

На недовольных он дико орал. Как ни странно, на него никто не жаловался, аулчане лишь прозвали его «Узкая мера».

— Слушай, Жаппасбай, ты кончай лучше свои штучки! — сказал ему как-то Коспан.— Кончай обманывать стариков и старух. Иначе...

В первый момент Жаппасбай испугался. Голова его ушла в плечи, глазки забегали, как мыши в клетке. Потом к нему вернулась обычная наглость. Глумливо усмехнувшись, он спросил Коспана:

— Ну, и что будет иначе?

— Попробуй сам догадаться, ублюдок! — рявкнул Коспан.

Свирепо сверкнув маленькими глазками, Жаппасбай придвинулся. У него был вид хищника, у которого отняли наполовину растерзанную добычу.

— На кого это ты клевещешь, пащецки шапиен? Кто тебе поверит? Кому доверяет правительство — всяким там шапиенам или своему правому оку?

На следующий день Коспан не вышел на работу. Работать под началом этого мерзавца он не мог, а наказать его у него не было сил...

14

Хлопья снега превращаются в мелкие колющие крупицы. Снова начинает пылить поземка. Края шубы и сапоги с войлочными чулками занесены снегом.

Коспан не помнит, сколько пролежал на этом месте. Мерзкая ледяная дрожь прошла, сейчас по всему телу разливается приятное усыпляющее тепло. Блаженное полусонное состояние, весенняя благодать. Коспан прикрывает глаза, чередой тянутся приятные видения.

Весна... Это время года он любит больше всего, с каждой весной он оживает. Больше всего в чабанской его работе ему нравится эта пора окота.

Овцы казахской породы ягнятся рано. Уже в начале апреля вся кошара заполняется шустрыми маленькими существами.

Роды бывают нелегкими. Овца хватает ртом воздух, бока ее раздуваются, но вот наступает этот миг, и измученные, закатившиеся глаза уже влажно блестят жадным материнским инстинктом.

Овца взбрыкивает, поднимается с места, раздувая ноздри, нежно облизывает новорожденного. Коспан тепло смотрит на эти крохотные существа, выкарабкивающиеся из еще горячих, дымящихся последов. Еще слепые, не обсохшие как следует, они встают на шаткие ножки и тоненько, дребезжаще блеют, оповещая мир о своем рождении. Проделав это, ягненок тут же безошибочно тычется носом в вымя матери.

У овцы казахской породы материнское чувство развито чрезвычайно сильно. Когда от нее уносят ягненка, она бежит следом и жалобно блеет, а потом долго ходит, как потерянная.

Коспан уносит ягнят в утепленный сенник. Теплые и влажные, они брыкаются, тычутся мордочками ему в грудь. В сеннике особый запах ягнячьего помета. С утра до ночи носит Коспан ягнят на руках одного за другим — овцы ягнятся как по команде. Никогда Коспан не испытывает большего удовольствия от своей работы, как в эти дни. Он чувствует себя, как повар, колдующий в этом вареве молодой зарождающейся жизни.

Весны не остановить. Она прорвется сквозь ледяные стены, проторит путь в самых высоких заносах, и даже ее первое робкое дыхание уже непобедимо.

Қоспан вспоминает свою первую чабанскую весну. Та весна как будто заново раскрыла перед ним смысл жизни.

После того как стычка с Жаппасбаем лишила его работы, Қоспан резко изменился. Безвольно опустив руки, он сидел дома с утра до ночи. Жанель тайком горестно вздыхала, глядя на согбенную фигуру мужа. Қаждое утро она, не говоря ни слова, отправлялась на работу. Лишь через неделю осторожно спросила:

— Что ты думаешь насчет работы, Қоспан?

Он не ответил, но долго, сурово смотрел на нее. На лице его было написано: «Ну вот, и ты теперь... теперь твоя очередь... выходит, что и тебе я уже не нужен...»

Она не отвела взгляда. Знала, о чем думает Қоспан, и ей было больно. Они всегда понимали друг друга почти без слов, и сейчас Жанель только молча покачала головой.

Тогда Қоспан вскочил. Жалость к жене, злость на себя за несправедливые подозрения всколыхнули его. Он заговорил отчаянно и горячо, словно вдруг лопнул гнойник, набухавший все эти месяцы в душе:

— Не могу я больше, Жанель, не могу! Не знаю, что делать! Нет мне места под этим небом! Говорят ведь, что умная собака не показывает людям своего трупа... Вот и мне, наверное, надо найти какую-нибудь канаву и лежать там, пока не околею!

Она молчала. Қогда он выкричался, села рядом и тихо положила руку на его колено.

— Не нужно так себя мучить, милый. Давай переедем в аул. Там мы что-нибудь придумаем, там наши родственники, близкие...

— Где ты нашла этих близких? — снова закричал он.— Все люди только и мечтают присоединиться к травле! Везде, где есть казахи, будут мне совать в нос мое «предательство»!

Жанель не выдержала и тоже закричала:

— Как тебе не стыдно! Какой-то выродок оскорбил тебя, а ты готов плюнуть в душу всему народу?! Всегда я думала, что ты сильный, а сейчас...

Жанель оборвала фразу, и Қоспан почему-то успокоился. Тогда она снова присела рядом с ним.

— Поедем в колхоз, не пропадем мы там. Простой

народ — золотая колыбель для любого джигита. Чужими мы там не будем.

Жанель первая поехала в колхоз и вернулась за Коспаном на телеге, запряженной двумя волами. Председатель Кумар принял их с распростертыми объятиями — ему до зарезу были нужны люди, особенно мужчины.

— Я о тебе знал, Коспан, когда ты еще был районным работником. Ну что ж, отведай и нашего хлеба, милости просим. Подойдет тебе должность бригадира? Хочешь стать заведующим молочной фермой? Есть и другие места.

— У вас тут все мужики в начальниках ходят, а тяжелая работа на бабьих плечах,— задумчиво сказал Коспан.— Знаете что, пошлите-ка вы меня в чабаны.

Кумар был удивлен и даже несколько озадачен. Кто из грамотных мужчин в то время вызвался бы идти в чабаны? Одни старики да старухи ходили за отарами. Разве мог он знать, что у Коспана был особый расчет? Ни один прохиндей не позарится на чабанскую должность, с этой работы его уже никто не спихнет. Привлекало Коспана и одиночество, возможность жить вдали от недоверчивых или жалостливых глаз, которые ему за эти месяцы так осточертели.

Коспан стал подручным старика Минайдара. В те годы Кадыржан и Васиха были еще несовершеннолетними, овцами занимались Минайдар и Салиха. Ну, а Каламуш был тогда лишь шустрым толстеньким карапузом.

Та первая весна в степи... Утренний воздух после грозы свеж и прохладен. Нежная зелень вдоль ручья блестит тысячами бусинок росы, на кустах поросли дождевые капли. Маленькие ягнята копошатся в низине. Туда к ним колобком катится пятилетний Каламуш. При виде мальчишки ягнята смешно подпрыгивают, Каламуш хватает их за спинки.

Великая степь распростерлась под прозрачным голубым небом. Солнце, уже поднявшееся над горизонтом на длину аркана, согревало ее бесчисленные, как морские волны, бугры. Овцы купались в легких клубах теплого пара. Жаворонки с веселым пением набирали высоту.

Дали были близки и отчетливы. Ночная гроза прибила пыль и открыла Коспану весь мир в девственной красоте и юной свежести. Он и сам себя почувствовал в

это утро иным, посвежевшим, помолодевшим, очищенным от всякой скверны.

Ей-богу, человек сам не знает, чего он ищет. Сколько глупостей мы делаем в поисках счастья, а счастье вот оно, рядом. Разве не счастье это весеннее утро? Разве не стоит жить, чтобы видеть его? Ему стало невыразимо жаль своих погибших товарищей, которые не видят этой весны.

В ту весну, один в степи, Коспан многое передумал. Ему было стыдно, что он столько времени в поисках какой-то никчемной должности обивал пороги районных учреждений, мало того — всерьез и глубоко огорчался из-за своих неудач, из-за того, что какие-то люди не хотели принимать его в свою среду.

Эти люди не знают настоящей работы, а посмотришь на их физиономии, кажется, что только на них и держится мир. В отощавших после войны колхозах всю тяжесть несут на себе женщины и старики, а те деятели только и знают свое — утрясти, согласовать, проверить исполнение. Думают ли они о пустоте и суетности своего труда? Вряд ли. Они преисполнены важности, им кажется, что, если они не мобилизуют, не провернут мероприятие, ни одна лопата не поднимется, трактор не сдвинется, овцы останутся непоенными.

Нет, Коспан больше не желает убиваться в поисках какой-то должности. Теперь у него настоящая работа, от которой людям только польза. Со спокойной совестью он будет есть свой хлеб.

Семья Минайдара встретила их просто и дружественно, как будто они всю жизнь жили вместе с ними и только отлучались куда-то ненадолго. Ели они из общего котла, и имущество было общим.

И другие чабаны, одиноко кочевавшие в степи, при встречах радушно приветствовали Коспана, принимали у себя, сажали на почетное место, угощали чем бог послал, вели неторопливую беседу. Коспану казалось, что он обрел потерянный им когда-то родной дом.

На следующий год Коспан отделился от Минайдара и получил собственную отару. В честь этого торжественного события Минайдар зарезал барана и устроил той.

— Я только поставил тебе юрту, Коспан,— сказал он полушутя,— хозяйствовать в ней ты будешь сам.

Конечно, на первых порах Коспан не мог угнаться за

многоопытным Минайдаром, но прошло несколько лет, и он стал одним из самых передовых чабанов района. На всех совещаниях упоминалось его имя. Он позабыл свои мытарства и унижения, обрел спокойную уверенность в себе. Часто он вспоминал слова Гусева: «Для нормального человека безвыходных положений не бывает...»

— А ведь прав, бродяга,— улыбался Қоспан.

Укутавшись с головой в шубу, Қоспан предается приятным воспоминаниям. Картины прошлого плывут перед его мысленным взором, и вдруг выплывает событие, которое вызывает короткую резкую боль в груди. Возвращается противная дрожь, озноб...

Шла суровая зима пятьдесят первого года. Много овец погибло в округе. Во время мартовского гололеда Қоспан потерял почти треть отары. Это был первый джут в его жизни. Он тяжело переживал несчастье и на собрание в центральную усадьбу приехал решительным и злым.

Собрание проводил сам Қасбулат, работавший тогда заместителем председателя райисполкома. При встрече он сухо кивнул Қоспану издали, и тот ответил ему тем же. Қогда Қоспану предоставили слово, он встал и сказал:

— Что же у нас получается, товарищи? Председатель умоляет чабанов — сберегите своих овец! А чабаны смотрят в небо и умоляют господа — боже милосердный, обереги нас от всяких напастей! Не лучше ли председателю обращаться к богу прямо, а не через чабанов? Вот вы прошлым летом были у нас уполномоченным,— продолжал он, повернувшись к Қасбулату.— Вспомните: сводки, опубликованные в районной газете, показывали, что мы выполнили план сеноуборки на сто процентов. Где же это сено? Мы и половины тогда не скосили, а то, что скосили, по сей день стоит в стогах. Сено мы сохранили, а овец потеряли. Стога эти, должно быть, берегут для сводок текущего года...

Небывало резкое выступление Қоспана разбередило несколько унылое, но вполне чинное собрание. Люди зашумели. Председательствующий за неимением звонка ку-

лаком молотил по столу, кричал, но люди никак не могли успокоиться. Обычно молчаливые, сейчас они выкрикивали с мест суровые слова.

Касбулат сидел с застывшим лицом, строго молчал. Наконец он взял слово и спокойным монотонным голосом начал говорить о недостатках в руководстве хозяйством. Да, многим отарам не смогли вовремя подвезти сено. Да, имеются потери поголовья. Да, положение серьезное, но оснований для паники нет никаких. Чем кричать, лучше по-настоящему взяться за работу и прежде всего увеличить ответственность чабанов за сохранность поголовья.

Коспан внимательно слушал Касбулата, и его постепенно охватывало сомнение в справедливости только что произнесенных им, Коспаном, слов. Может быть, действительно ничего страшного не произошло? Вдруг настоящего джута и нет, а только разговоры идут о нем? Сверху-то виднее. Может быть, только Коспан и Минайдар попали в такое отчаянное положение?

Касбулат продолжал:

— Конечно, за такое положение мы правление колхоза по головке не погладим. Мы должны по-большевистски смело вскрывать недостатки, которые еще имеются в работе, и делать соответствующие выводы. Разве мы можем закрыть глаза на то, что в некоторых отарах был большой падеж скота? Нет, закрывать глаза мы не будем и постараемся разобраться во всех причинах такой ситуации. Повторяю, во всех причинах, товарищи. К примеру, у чабана Ескарина Коспана пало больше половины отары...

«Да как же это больше половины, когда одна треть?» — удивился Коспан.

— ...больше половины, а у тех, что выжили, сделались выкидыши. Случайно ли это, товарищи? Думаю, что нет. Не следует ли нам приглядеться попристальнее к Ескарину, вспомнить, кто он такой. А ведь руководители колхоза и раньше прекрасно знали о прошлом этого человека. Позволительно их спросить — не потеряли ли вы, товарищи, политическую бдительность?

Короткая резкая боль в левой половине груди...

Боль опоясывает уже всю грудь. Каждый вздох вызывает сильный укол под ребра. Коспан подни-

мает голову. Вокруг с монотонным шорохом тихо ползет поземка.

Коспан медленно приподнимается. Видимо, в этой сладкой дреме он все-таки сильно застудил левый бок.

Тортобель с трудом выкапывает траву из-под глубокого снега. Овцы лежат неподвижно, словно покрытые одним белым одеялом.

Нужно двигаться, нужно хотя бы перевалить через еще один косогор, сделать хоть еще один шаг ближе к цели.

Бесконечно метет тысячеязыкая поземка. Снова наплывает прошлое...

Вскоре после этого злополучного собрания Касбулат покинул район. Несколько лет он работал в других местах, а вернулся уже большим человеком.

Что толкнуло его тогда специально приехать к Коспану на далекое пастбище? Что так резко переменило его? Откуда взялась его искренняя радость, с которой он бросился к Коспану? Окуда взялись те слова?

— Старый друг лучше новых двух! Здорово, старый солдат! Честно говоря, Верзила, соскучился я по тебе!

Подчиненные, приехавшие тогда с ним, тоже с чувством пожимали руку Коспану, улыбались, переглядывались, умиляясь встрече старых друзей.

Ошарашенный вначале, Коспан вскоре поддался общему настроению. Разве мог он нарушить эту идиллию? С удивлением он смотрел на Касбулата. Перед ним был совершенно другой человек. С какой простотой и теплотой этот важный работник обращается с ним, простым чабаном, у которого к тому же и прошлое «не без пятен».

С той поры в сознании Коспана остались два Касбулата. Один тот, неприступно-враждебный, и другой, нынешний, настоящий преданный друг.

Дружба их, как вывихнутая кость, была одним движением водворена на место. Коспан, который меньше всего отличался злой памятью, начал забывать прежнее. Что было, то было, а теперь быльем поросло. Касбулат не виноват. Время заставило его совершить несправедливость. Теперь он стыдится своего поступка. Разве мало хорошего сделал он уже для тебя? Всегда старается выдвинуть вперед, откликается на любую просьбу. Да раз-

ве есть на свете друзья, между которыми когда-нибудь не пробегала кошка?

И все-таки нет-нет, да вспоминался Коспану тот, другой, Касбулат. Подспудно он чувствовал в их отношениях какую-то фальшь. Что-то виделось ему неестественное в том, что важный начальник якшается с ним, как с равным.

«Старый друг лучше новых двух»... «Не следует ли нам попристальнее приглядеться к Ескарину Коспану»... «Честно говоря, соскучился я по тебе, Верзила»... «А не потеряли ли вы, товарищи, политическую бдительность?..»

Сорок второй год. Клубящиеся пылью донские степи.

— Драться до последнего патрона! Пока подразделение не оторвется от противника,— ни шагу назад! Задача ясна? Выполняйте!

Приказ был выполнен, но только один солдат из заслона вернулся домой в сорок шестом и встретился с человеком, отдавшим тот приказ.

Лучше не вспоминать эти минуты... Зачем вбивать клин в их дружбу? Но как не вспоминать, если вспоминается? Как не думать обо всем этом?

Тяжелые думы. Тяжелый путь. Коспан все дальше уходит в завьюженную степь.

15

Дорожные мытарства последних трех дней измучили даже Жуматая, обычно не знавшего, что такое усталость. Словно степная сова, стерегущая нору, он смотрит вперед, пытаясь угадать в снегу хоть какие-нибудь очертания дороги. Временами он берется за рычаг и переключает на первую скорость. «Газик», гудя, как гигантский жук, выползает из занесенной снегом рытвины.

В машине, окна которой залеплены снегом, полутемно. Безостановочно, как маятники, работают щетки ветрового стекла, но ходы их становятся все короче: все больше снега скапливается по краям.

Касбулат, откинувшись, сидит на заднем сиденье. Веки его прикрыты, похоже, что спит. Резко обозначились морщины на обветренном смуглом лице.

Жуматай, оглянувшись, хочет прикрыть спящего хозяина шубой, но, заметив, как блестят зрачки сквозь гус-

тые ресницы, отдергивает руку. Что-то неладное творится в эти дни с Касеке. Сидит, как каменный, и молчит.

Касбулат не прочь вздремнуть, но сон не приходит. Тяжелая дорога, бесконечные тревоги, бередящие душу воспоминания вконец измотали его. Вот уже три дня колесит он из колхоза в колхоз, мерзнет, недоедает, спать ложится далеко за полночь, и, несмотря на все это, сон не идет.

Всю прошлую ночь мучили какие-то кошмары. Проснувшись, он ничего не помнил, но голова была тяжелой, горло сухим, а настроение — врагу не пожелаешь, словно натворил что-то гадкое и теперь придется отвечать за это.

Скорее бы добраться до райцентра. Там он всех поставит на ноги и разошлет по колхозам. Не слезет с телефона, пока не отыщутся пропавшие отары. Чертов «газик» ползет, как улитка. Наверное, из области уже звонят. О, Иван Митрофанович!

Неожиданно Касбулат вспоминает мальчишку со вздернутым задорным носиком, подручного Коспана, и на душе его почему-то теплеет. Странное имя Каламуш (Перышко)... Должно быть, ласкательная кличка.

Мальчик своей порывистостью и впрямь напоминает перо под ветром или язык огня. А настырный какой, стервец! Кто здесь в районе посмеет перечить Касбулату? А этот не просит, как все, смиренно, а категорически требует. От молодости это, что ли? Чувствуется в нем какая-то внутренняя неукротимая сила.

Вот дьявольщина! Ну что за странное существо человек! Лютая зима свирепствует в районе, гибнут в степях затерявшиеся отары, а он в это время думает о каком-то мальчишке. И все-таки это неспроста.

Касбулат вспоминает, как мальчик одернул этого липового передовика Кадыржана, своего брата, когда тот, подобострастно растянув губы, подходил к высокому начальству. Да, он ведь и раньше видел мальчугана в доме Коспана, но тогда тот был совсем наивным, краснел, словно девушка. И вот на тебе — клекочет уже, как молодой беркут.

Эх, молодость, как не обработанная еще кожа,— не мнется. В мире она не видит более могущественной силы, чем сила справедливости, а если встречаются на пути

препятствия, идет напролом. Молодость сверкает, как меч из дамасской стали. Да, было время, когда и Касбулат...

Над ними простиралось осеннее небо с его блеклыми красками. Среди безбрежных зарослей черно-бурой полыни виднелись голые, как плешь, желтоватые такыры. Дул порывистый, но еще теплый степной ветер. Вторя друг другу, скрипели тарантас и телега, которую тащила старая верблюдица.

Скрип этот был похож на музыку, что начинается с нижних регистров, доходит до верхней ноты и потом опять идет вниз. В паузе два такта отбивало заднее разболтанное колесо тарантаса.

На телеге куча детей, начиная от семилетних малышей и кончая подростками лет по пятнадцать. Возница — худой чернобородый человек лет пятидесяти в старом чекмене с множеством разноцветных заплат. На голове у возницы старый тумак. Трудно сказать, из какого материала и в какую эпоху сделан этот головной убор. Верх его по цвету напоминает воду, что сливают после стирки.

Возница немногословен, «Да, милый», «как скажешь»,— вот и все его ответы. Когда лошадь легко и быстро катила тарантас под гору, он начинал подгонять камчой свою верблюдицу, и та вразвалку с коротким, похожим на стон, ревом тоже немного пробегала. В такие моменты скрип несмазанных колес на деревянной оси становился особенно пронзительным.

Временами верблюдица начинала жалобно реветь. Паузы становились короче, и рев делался протяжным, как сирена. Чернобородый тогда останавливал телегу и распрягал верблюдицу. Касбулат кричал ему из тарантаса:

— В чем дело, аксакал?

— Пришло время доить кормилицу.

Он не спеша снимал с телеги чучело головы верблюжонка, давал его понюхать «кормилице» и, поручив одному из подростков держать его рядом, начинал доить.

Дети в такие моменты соскакивали с телеги и начинали играть. Касбулат удивленно смотрел на них. Давеча, как выезжали из аула, ребята ревели в голос и потом в пути долго не могли успокоиться, все всхлипывали, а сейчас играют как ни в чем не бывало. Только две

маленькие девочки, самые робкие, жмутся к своей старшей подруге, не спускают с нее глаз, как с матери.

Касбулат вез этих детей в райцентр, в интернат. В этом году там построили большую школу с общежитием, и райком комсомола решил собрать в ней аульных детей, «не охваченных» образованием.

Касбулат набирал в основном сирот, в голод лишившихся родителей и нашедших приют у родственников или добрых людей. Иногда он агитировал бедных родителей или матерей-одиночек отдать своих детей в эту замечательную школу.

Конечно, нелегко было оторвать детей от родного аула и родственников. Касбулат применял для этой цели разные приемы. Собирал детей и, не жалея красок, расписывал им будущую увлекательную жизнь в интернате, где так много игр, где все они будут вместе, где гораздо веселее, чем в забытом богом ауле.

Иногда он даже пускался на невинный обман. Ежедневно в интернате вас будут кормить конфетами, говорил он, а если кто захочет, будет есть одни конфеты, только конфеты — и больше ничего. В подтверждение своих слов он запускал руки в глубокие карманы и одаривал ребят самыми настоящими конфетами. Перед выездом в аулы, он, не жалея денег, во всех районных магазинах выцарапывал эти конфеты.

Да, это было хорошее время, и личики детей, радостно пораженных невиданным лакомством, наполняли сердце Касбулата светом и теплом.

Да, это было светлое, хорошее время. Жили тогда бедно. Совсем недавно по земле прошел великий голод и мор, но вот голод кончился, и люди стали оживать и с надеждой смотрели в будущее.

В то время наложили запрет на убой скота, но, хотя казахи лишились привычного для них мяса, больше стало молока, сыра, айрана. Народ стал подниматься на ноги. Касбулат тоже жил тогда надеждой. Предчувствие счастливых перемен не покидало его.

В годы учебы Касбулат жалел, что поздно родился и не смог принять участие в грандиозных делах революции. Сейчас вдруг перед ним открылись широкие горизонты, беспредельное море работы. Работы, нужной народу.

Нужно строить школы, больницы, клубы, организовы-

вать художественную самодеятельность. Нет такого дела, которым бы не занимался комсомол.

Однако больше всего увлекла Касбулата работа с детьми, которую ему поручил райком. В самом деле, ведь каждый малыш — это будущий гражданин. Он, Касбулат, может помочь ему, от него во многом зависит, как повернется дальше судьба мальчика. Нелегкая жизнь была у его маленьких подопечных, а у некоторых за плечами целые истории.

Вот сидит на телеге рослая светлоокая девочка, почти девушка, в красном платочке. Ей сейчас идет четырнадцатый год, а окончила она всего два класса. Одинокая ее горемыка мать считала, что нечего девочке больше учиться, пусть лучше помогает ходить за скотом. Теперь девочка едет в интернат, перед ней откроется новая жизнь.

Отягощенный своими педагогическими заботами, Касбулат шел по аулу, когда его догнала какая-то женщина. Запыхавшись от бега, она начала быстро и сбивчиво говорить:

— Подожди-ка, кайным! Это ты собираешь детей на учебу? Я должна тебе сказать что-то очень важное. Ты, я вижу, власть имеешь, помоги одной маленькой бедняжке. Бетим-ау! Позор лицу моему! Тринадцатилетнюю девочку хотят выдать замуж! Говорят, что ей уже восемнадцать, а все люди знают, что она родилась в год обезьяны. Только ростом вышла высокая, а так чистое дитя. Бетим-ау! Люди-то не слепые...

Беспрерывно восклицая «бетим-ау» и чертя узловатым пальцем по своему лицу в знак возмущения, женщина подвела Касбулата к какому-то дому.

Встретила его изможденная женщина.

— Простите, женгей, ваша дочь учится в школе? — спросил Касбулат.

Через плечо матери он взглянул на девочку. Похоже, что ему сказали правду. Гюльсум выглядела не старше тринадцати лет, но вырядили ее, как взрослую девицу на выданье: платье с двойными оборками, бархатная безрукавка, на голове тюбетейка с бисером.

Мать исподлобья подозрительно смотрела на него, потом обернулась, прикрикнула на дочь:

— Ты что тут крутишься перед посторонними? Иди отсюда!

Когда Гюльсум вышла, мать смиренно сказала Касбулату:

— Училась-то она мало, а теперь уже поздно — возраст не школьный.

— Мне кажется, что в тринадцать лет учиться не поздно,— заметил Касбулат.

— Да кто вам наврал, что ей тринадцать?! — воскликнула мать. Видно было, что она порядком струхнула.— Нет, милый мой, она вполне совершеннолетняя. Напрасно беспокоитесь.

— Я не слепой, женгей. Внешность девочки говорит сама за себя. Неужели вам не жаль своего ребенка?

— Я своему ребенку сама устрою счастливую судьбу. Не буду позориться и отправлять взрослую девушку бог знает куда.

— Я бы хотел поговорить с Гюльсум наедине. Надо узнать, что она сама обо всем этом думает.

Тут женщина уже истошно завопила:

— Ты что, с ума сошел, голубчик?! Чтоб я оставила свою единственную вполне взрослую дочь с таким парнем, как ты?! Кривые твои слова, как рога коровьи! Дочке моей семнадцать лет, у меня справка есть с печатью, мне ее аульный выдал!

Остановить ее крики было невозможно. Касбулат решил выяснить все дело в аульном Совете. Перед домом он увидел свою добровольную информаторшу, которая разговаривала с Гюльсум.

— Ну как, кайным, увезешь маленькую Гюльсум учиться?

Из-за спины его с дикими криками выскочила мать Гюльсум.

— Ах ты подлая доносчица, сплетница, тараторка несчастная! Кусок хлеба тебе в глотку не лезет, когда ты видишь чужую удачу! Все равно Саумалбай не возьмет тебя в жены!

«Информаторша» тоже не осталась в долгу. Она закричала резким фальцетом:

— Сама ты подлючка несчастная! Малолетнего ребенка решила просватать! Забыла, что сейчас советская власть?! Засудят тебя, дуру окаянную! Сводница проклятая, не лезь к Саумалбаю! Если хочешь знать, мы с ним поладили и любим друг друга!

— Ах вот оно что?! Ты думаешь, если он один раз с

тобой переспал, так вы и поладили? Мужчина, как собака, не возвращается к кусту, где разок помочился!

Поняв, что эта милая беседа затеяна всерьез и надолго, Касбулат удалился. Всю дорогу до него доносились ожесточенные женские крики, и даже возле сельсовета, находящегося за двадцать домов от места действия, был слышен шум поединка.

В конторе сельсовета ему сказали, что девочке пошел четырнадцатый год. Оказывается, мать решила выдать ее замуж за вдовца, зажиточного единоличника Саумалбая.

Вызвали мать с дочерью. Касбулат вместе с председателем принялись увещевать еще дрожавшую от злости женщину, но она была непримирима.

— Может, это вы родили этого ребенка, а не я? Что я, ее возраста не знаю? Если уж вы мне не верите, вот вам свидетельство.

Безграмотно накарябанное на тетрадном листке свидетельство тем не менее доказывало, что Гюльсум в этом году исполнилось семнадцать лет. Странно было, что краткий текст свидетельства был написан в самом верху листочка, а печать помещалась внизу. Подпись прежнего председателя сельсовета тоже была внизу, возле печати. Начертана подпись была не латинским, а еще арабским шрифтом, и это тоже было странно.

Председатель долго вертел в руках эту бумажку и пристально разглядывал.

— Это подпись Нагашбая,— задумчиво произнес он наконец и повернулся к женщине.— Когда было выдано свидетельство?

Женщина замялась.

— Да что я помню, что ли? Откуда мне взять такую память? Выдано так выдано.

— Все ясно,— сказал председатель.— У меня и раньше были подозрения, а теперь мне ясна суть Нагашбая. Это белая печать.

Выражение «белая печать» Касбулат слышал впервые. Председатель объяснил ему, что Нагашбай, видно, хорошо усвоил традиции волостных старост еще царских времен. На чистых листках он ставил печати, а потом при надобности заполнял их.

— Бумага эта фальшивая,— сказал председатель

женщине,— а человека, который вам ее выдал, мы привлечем к ответственности.

— Ну, что вы на это скажете? — спросил Касбулат.

Женщина озадаченно смотрела то на него, то на председателя. Касбулат подумал, что она была когда-то, да и не очень давно, совсем не дурна. Теперь ее широкоскулое, по-казахски красивое лицо стало совсем дубленым, серые глаза помутились, вокруг зрачков желтизна, лоб и щеки изборождены морщинами, тело истощенное, вислые пустые груди...

«Наверное, ей не больше сорока лет. Что с ней сделала жизнь!» — подумал Касбулат. Ему стало жаль женщину, которая сейчас жалобно смотрела на них, словно птица, попавшая в сети, захотелось утешить ее.

— Не нужно обижаться, женгей,— сказал он.— Подумайте о будущем вашей дочери.

Женщина зарыдала. Она била себя кулаком по лбу, хриплым голосом причитала:

— Ой, бедная моя головушка! Да кабы была я мерзавкой, злыдней, разве осталась бы я вдовой! Всю жизнь отдала моей единственной, моей кровиночке. Бога молила каждый день, а он, коварный, отбирает у меня моего жеребеночка. А я-то, дура, думала, что к концу жизни увижу кусочек счастья. Что я тебе сделала, коварный бог? Разве мало тебе моих мук?..

Обхватив голову руками и раскачиваясь, женщина заплакала с невыразимой горечью. Гюльсум не выдержала и подбежала к ней.

— Апатай, не мучай себя, апатай! Все, что хочешь, сделаю, но не уйду от тебя! Умру! Рабыней твоей буду!

Обнявшись, они заплакали вдвоем.

Выдержать это было трудно. Касбулат то вставал, то садился. Он даже был готов махнуть на все рукой и убежать — пусть живут, как хотят. Но допустить этого было нельзя. Он еще никогда не отступал перед трудностями. Жалость унижает человека, вспомнил он. Надо думать о судьбе Гюльсум, о ее будущем. Постоянные лишения и тяжесть одиночества вытравили из ее матери подлинное понимание жизни. Единственный для нее теперь свет в окне — пять домашних скотин Саумалбая. Только об этом скудном, но, на ее взгляд, огромном достатке она и мечтает. Что же делать? Касбулат был в полной растерянности.

Однако председатель аульного совета оказался крепким парнем. Он даже глазом не моргнул. Дождавшись, когда мать с дочерью выплачутся, он заговорил:

— Знаешь, женгей, когда слов много, цена у них небольшая. Никто из нас не может нарушать закон. Если ты выдашь замуж несовершеннолетнюю дочь, отвечать придется не только тебе, но и мне. И ты это знаешь. Выходит, твою дочь надо послать на учебу. Ты пойми, все заботы о ней государство берет на себя. Советская власть ее не оставит. Вытри глаза и собирай дочь в дорогу.

Как ни странно, его слова сразу подействовали на женщину. Теперь она смотрела на председателя покорным взглядом. Беспомощно озираясь, она порывалась что-то сказать, но потом вздохнула и обратилась к дочери:

— Пойдем домой.

Касбулат боялся, что прощание обернется какой-нибудь дикой сценой, но женщину словно подменили. Она была как будто в полузабытьи. Вместо того чтобы складывать нехитрое имущество дочери, она растерянно стояла на одном месте и брала в руки то одну вещь, то другую. Вдруг она подняла шкуру, заменявшую коврик, и понесла ее к дверям.

— Апа, куда ты ее несешь? — окликнула ее Гюльсум.

Мать с недоумением посмотрела на дочь и уронила шкуру на пол. Глаза ее были сухими. «Лучше уж поплакала бы»,— подумал Касбулат. Трудно было смотреть на застывшее лицо женщины, и он отвернулся...

А вот рядом с Гюльсум сидит в телеге смуглый горбоносый мальчик лет десяти по имени Тургай. Его история еще страшнее.

В аул этот он попал три года назад. Никому не известно ни место рождения, ни род его. Сам он знает только свое имя и имя матери. Его привели сюда голодающие, что в поисках неведомого спасения двигались к железной дороге, о которой знали только понаслышке.

Молодая женщина с грудным ребенком на руках привела семилетнего Тургая в аул и обошла все дома, умоляя взять мальчика. До сих пор аульные женщины не могут без слез вспоминать ее рассказ.

— Это не мой ребенок,— говорила она,— я нашла его на дороге. Я бы не оставила его, но своему ребенку

я даю грудь, а чем я буду кормить этого бедняжку? Как он пойдет в дальний путь? Неизвестно, останемся ли мы живы.

Три дня назад она и ее муж, измученные голодом и усталостью, устроили привал возле реки Отеш. Река эта летом сильно высыхает, течение ее прерывается, и образовываются маленькие озера, так называемые «карасу».

Возле одного из таких карасу они устроили камышовый навес, но только легли, как услышали чей-то стон. Вначале они не двигались, но стон повторялся все чаще и чаще, и они все же решились пойти посмотреть.

Шагах в тридцати в камышах что-то чернело. Подойдя поближе, они увидели лежащую женщину. Лицо ее было разбухшим, как кожаное ведро с кобыльим молоком. Она была без сознания. Рядом с ней сидел маленький мальчик. Он даже не повернулся к подошедшим.

Спустя некоторое время женщина как будто пришла в себя. Мутным взглядом она посмотрела на людей и с трудом кивнула в сторону мальчика. Видно было, что если еще и теплится в ней жизнь, то только потому, что она боится за сына. Еле подняв руку, она показала на грязный узелок, лежащий рядом. Развязав его, они увидели крохотный кусочек лепешки, испеченной в золе.

— Мальчику... дайте...— еле слышно прошептали синие губы.

Отдав мальчику лепешку, они напоили умирающую. Взгляд ее чуть прояснился, и она произнесла:

— Мне уже с места не сдвинуться, а вы, добрые люди, хоть мальчика моего с собой возьмите. Отведите его туда, где бы он не умер...

Обессиленная этой долгой фразой, женщина закрыла глаза.

— Мы решили, что нельзя ее все-таки оставить без крошки хлеба, отломили от своей единственной лепешки кусочек и положили ей за пазуху.

Мальчик покорно побрел за нами, но, отойдя несколько шагов, вдруг словно проснулся, закричал:

— Апа, апа!..— и бросился назад.

— Апа уснула, она отдыхает. Вот отдохнет и догонит нас.

С трудом им удалось уговорить мальчика и увести с собой.

Силы у этих истощенных голодом людей были на ис-

ходе, и, пройдя небольшое расстояние по течению реки, они снова сели отдохнуть.

— Я задремала немного и вдруг проснулась от какой-то тревоги. Гляжу — мальчика нет. Вскочила, стала его искать, вижу — он уходит вверх по течению назад, к своей маме, а ведь та, наверное, уже... Еле догнала его.

Женщины плакали и горестно причмокивали, слушая этот рассказ. Мальчик остался в ауле. Женщины попытались пристроить его в те две-три более или менее благополучные семьи, где хотя бы не голодали, но эти семьи как раз наотрез отказались от сироты.

Для всех других лишний рот был так тяжел, как для истощенной лошади вес камчи. Все же то здесь, то там перепадал Тургаю кусок лепешки. Три месяца мальчик слонялся из дома в дом, и это кое-как поддерживало его слабую жизнь.

Что уж там говорить, в голод даже добрые люди становятся жестокими. Не раз молчаливого ребенка, возникавшего на пороге, встречали таким злобным взглядом, что он сразу покорно удалялся. Потом его приютил самый бедный человек в ауле по имени Жанкушук.

Приемыш жадно и радостно привязался к своей новой семье, ожил, даже немного повеселел. Правда, надолго осталась у него одна странность. Иногда он прерывал игру, отходил от других детей и, взобравшись на крутой берег реки, подолгу смотрел в ту сторону, откуда его привели.

— Бедный мальчик все ждет,— плакали при виде этого зрелища аульные старухи...

В те годы Касбулат был очень общительным, он любил вызывать людей на разговор и мог подолгу слушать рассказы старых крестьян. Народ тогда был темным. Любой человек из чужой среды, особенно человек в кепке, вызывал инстинктивное недоверие: его сторонились. Касбулат, хотя тоже носил на голове кепку, умел вызывать доверие. Тепло здороваясь со всеми жителями аула, почтительно приветствуя старших, он быстро находил общий язык с мужчинами, женщинами и стариками.

Много он наслушался разных удивительных, печальных и смешных историй. Он как бы заново открывал для себя свой народ, узнавал многое из того, чего раньше не знал или не замечал.

Это был замечательный период в его жизни. Душа его была открыта, а сердце обнажено. Чужая беда глубоко поражала его. При виде любой несправедливости он яростно бросался вперед. Чудесная, жаркая, неистовая молодость!

Из калейдоскопа лиц, промелькнувших перед ним в молодые годы, Касбулат больше всего запомнил первого секретаря райкома партии Алиаскарова. Ему было сорок лет, звали его Сатимбек, но так как он был и по возрасту старшим среди всех работников райкома, то казался всем умудренным аксакалом, и все называли его почтительно Саке.

На первый взгляд, он не был похож на казаха, а скорее смахивал на представителя какой-нибудь горской народности. Густые брови, большой нос с горбинкой, сужающееся книзу лицо. И все-таки что-то — то ли разрез глаз и слегка припухшие веки, то ли рисунок скул, а скорее всего, медлительное спокойствие, внешняя безмятежность, что присущи нашим аксакалам,— выдавало в нем казаха. Во всяком случае, любой казах сразу видел в нем брата по нации и обращался к нему не иначе как на родном языке.

Алиаскаров весьма сильно отличался от партийных работников тех лет. На фоне почти по-военному порывисто-четких движений его медлительная задумчивость казалась странной. Странно также выглядел среди полувоенной одежды его обычный костюм с галстуком.

На работе он был очень требователен, но, даже давая взбучку нерадивым, никогда не повышал голоса. Видимо, вежливость была его прирожденной чертой. Он вообще не любил повышать голос, не любил пафоса. На самых торжественных митингах он говорил спокойным будничным голосом, не взвинчивал себя и не «шпарил по бумажке».

В юности за участие в революционном движении он был исключен из учительской семинарии, потом был командиром в Красной Армии, сражался с Колчаком. Говорили, что он был настоящим боевым командиром, и это казалось странным при его учительской внешности.

Касбулат чувствовал, что Алиаскаров относится к нему как-то по-особенному, не просто как к младшему товарищу по работе. В свою очередь и он испытывал к первому секретарю какую-то особую симпатию. Однаж-

ды Алиаскаров пригласил его к себе на обед и познакомил со своей женой. После этого Касбулат стал частым гостем в их доме.

Тетушка Сара, так звали жену секретаря, была доброй, приветливой женщиной из простой крестьянской семьи. Совсем недавно она рассталась с аульной одеждой, длинными до пола платьями, но и городская мода ей претила, юбки казались неприлично короткими. Она выработала для себя какой-то промежуточный стиль и рьяно придерживалась его.

Касбулат пришелся по душе тетушке Саре. Если он несколько дней не заходил к ним, она уже упрекала его, что он избегает их. Спустя некоторое время у них появилось общее дело. Оказалось, что она страстная любительница театральных представлений. В маленьком саманном клубе, где собирался самодеятельный драматический кружок, не хватало света, и она принесла из дому большую тридцатилинейную лампу. Вскоре она сама стала активным членом кружка. Касбулат уговорил ее сыграть в одном спектакле роль старухи. Иногда она выпрашивала у мужа единственную в районе «эмку» и ездила по аулам в поисках старинной казахской одежды.

Алиаскаров любил беседовать с Касбулатом, неторопливо расспрашивал его о поездках по аулам, обо всем виденном и слышанном, как с равным, обсуждал с ним разные важные дела.

Юный Касбулат горячился, нападал на нерадивых, по его мнению, работников. Особенно доставалось районному прокурору, который, как ему казалось, недостаточно энергично боролся с пережитками старины.

Много, много в их районе было еще пережитков старины. По-прежнему родители не учат девочек, слишком рано выдают их замуж. Кое-где еще тайно придерживаются отвратительного обычая — платят за девушек калым, а прокурор не принимает действенных мер.

— Правильно, пережитков еще много,— говорил на это Алиаскаров,— но мы не можем рубить сплеча. Главное сейчас — воспитательная работа. Вот комсомольцы и должны больше заниматься этим.

Возмущенный Касбулат восклицал:

— Да разве комсомольцы не докладывают обо всех нарушениях! У меня в руках две папки с вопиющими де-

лами. А сколько материалов я передал в суд и прокуратуру?!

Алиаскаров с мягкой усмешкой поглядывал на разгоряченного Касбулата. Зелен, мол, ты еще, многого не понимаешь. Эта усмешка иной раз просто бесила Касбулата. В душе он склонен был считать Алиаскарова мягкотелым либералом, пособником носителей пережитков старины.

— Это хорошо, что комсомольцы докладывают обо всем, но не слишком ли вы увлекаетесь разными заявлениями? — говорил Алиаскаров.— Их и в старину казахи немало писали. Пережитки, конечно, есть пережитки, но в них кроме того жизнь народа, сложившаяся веками. Тут нужна деликатность. Одним ударом этого не решить, можно многих покалечить. Народ нужно учить, как спокойный и добрый учитель учит детей.

У Касбулата было двойственное отношение к словам Алиаскарова. Где-то в глубине души он понимал, что тот прав, но все-таки ближе, на поверхности, была мысль:

«Недаром ты учился в учительской семинарии, лучше бы тебе в школе преподавать, чем быть на руководящей работе».

Словно читая мысли Касбулата, Алиаскаров ласково улыбался.

— Да, я очень любил учительскую работу... Я думаю, что первые образованные дети темного народа должны прежде всего идти в учителя. Сотня простых учителей нужней нам, чем один знаменитый ученый. Нам и сейчас еще не хватает учителей.— Он грустно вздыхал.

Однажды Касбулат рассказал в доме Алиаскаровых историю Гюльсум. Слушали его с напряженным вниманием, а тетушка Сара все причмокивала и качала головой. Чувствуя близость своей победы над учителем, Касбулат запальчиво спросил:

— Что же, прикажете и их не считать виновными? По-вашему, мать Гюльсум, и Саумалбай, который хотел взять в жены маленькую девочку, и председатель, выдавший ложное свидетельство, все они — невинные голуби? Что будет, если и их не привлекать к ответственности?

— Лучше сделать вот как,— подумав немного, сказал Алиаскаров.— Переведи мать Гюльсум в район и устрой ее на работу в школу, она будет ближе к своей дочери. А Саумалбая надо сагитировать вступить в колхоз.

— Саумалбая в колхоз? — воскликнул изумленный Қасбулат.

— Конечно, Саумалбая можно было бы привлечь к ответственности, однако брак ведь не состоялся. Нужно уважать букву закона. А моральной вины за ним нет. Ты пойми, бедняга Саумалбай не видит ничего зазорного в такой женитьбе. Это обычай, идущий из веков. Человека не только наказание воспитывает. Пусть его воспитает сама жизнь. А вот бывшего председателя привлечь следует.

После этого Қасбулат начал рассказывать историю Тургая. Говорил он с такой болью и гневом, что тетушка Сара пару раз всплакнула, а Алиаскаров помрачнел, сурово насупил брови.

— Так кто же доводит народ до такого ужаса? — яростно выкрикнул Қасбулат и замолчал.

Секретарь медленно заговорил:

— Я в то время учился в Москве. Когда мы, три студента, приехали в тридцать втором году на летние каникулы, мы все это увидели воочию. Не выдержав, мы написали письмо в центральные органы и указали на искривление партийной линии и перегибы. Что же еще нам оставалось делать, если наши местные деятели забыли о народной нужде? Ну, что ж... нас тогда исключили из комсомола и потягали немало...

Алиаскаров хотел было что-то еще добавить, но не произнес ни слова, а только мрачно уставился на свой стол.

Қасбулат понял, что разговор продолжаться не будет. Он почувствовал себя неловко, потоптался на месте, потом вежливо попрощался и, не получив ответа, вышел.

Ссора эта очень мучила Қасбулата. Он чувствовал несправедливость своих упреков и клял себя за то, что оскорбил человека, которого так уважал. Через три дня, набравшись храбрости, он отправился извиняться.

Тетушка Сара встретила его как ни в чем не бывало. Сам Алиаскаров как будто тоже не изменился к нему, но все же был непривычно суховат и сдержан. Қасбулат смущенно ерзал на стуле, не зная, как начать разговор. Алиаскаров сел на диван и жестом пригласил Қасбулата сесть рядом.

— Я хочу поговорить с тобой об очень важных вещах,— сказал он, поглаживая затылок. Видно было, что

он с усилием преодолевал отчужденность, возникшую между ними.— Сказать по правде, я сильно обиделся на тебя третьего дня. Потом, подумав как следует, я пришел к выводу, что ты прав в своей непримиримости. Если ты с такой суровостью спрашиваешь с меня за вчерашнее, то, значит, за завтрашнее так же сурово будешь спрашивать с себя самого. Гражданственность начинается вот с таких суровых вопросов. Чиновников исполнительных и безответных много, а настоящих народных деятелей что-то не очень.

Сказав это, Алиаскаров замолчал, но Касбулат чувствовал, что разговор не окончен. Ему казалось, что секретарь, несмотря на внешнюю невозмутимость, охвачен сейчас каким-то внутренним волнением. Он ждал.

— В юности передо мной было две дороги,— заговорил наконец Алиаскаров, пристально глядя прямо перед собой, словно видел где-то в туманном далеке свое распутье.— Одна из этих дорог — борьба за национальное освобождение, за независимость. Лозунги националистов увлекали и меня.

Потом под влиянием одного товарища я начал изучать марксизм. Предо мной открылись глубочайшие коренные социальные проблемы. Что толку, подумал я, в красивых захватывающих лозунгах национального освобождения, если за ними не стоит по сути дела никакой программы социальных преобразований, если изжившее себя патриархальное общество, старый уклад, невежество и темнота останутся без изменения? Посадить вместо колониальных администраторов своих держиморд и на этом успокоиться? Я выбрал второй, марксистский, путь...

Мы очень торопились, Касбулат, мы работали, как при аврале. За этот короткий срок мы сделали очень многое, но авральную работу трудно делать аккуратно. Да, мы смело ломали старое, но и дров, как говорится, наломали немало. Мы сделали главное — победили в классовой борьбе, но жертв было много, очень много...

— Если нельзя обойтись без жертв, то надо думать о том, чтобы их было как можно меньше, не так ли? — прервал его Касбулат.

— Ты прав. Я маленький человек, но от этого моя ответственность не уменьшается. Ответственность не уменьшается сверху вниз. Когда все сваливают на указания сверху, это только жалкие отговорки. Запомни, Кас-

булат, послушание и исполнительность не всегда сочетаются с сознательностью. Что там говорить, иногда между дисциплиной и сознательностью возникает противоречие.

— Как избежать этого? — сразу же прервал его Касбулат.

Алиаскаров лукаво усмехнулся.

— Попробуй все свои указания и распоряжения проверять на себе. Как бы тебе самому пришлось, если бы эти указания касались тебя. Так делают ученые-медики, иногда ставят опыты на себе.

— А если я получу указания сверху?

Алиаскаров задумчиво усмехнулся.

— В этом случае гораздо сложнее.

Он замолчал, а Касбулат смотрел на него во все глаза. Прошло некоторое время, прежде чем Алиаскаров сказал:

— Что я могу тебе посоветовать? В этих случаях каждый остается наедине со своей совестью.

Слова эти заставили Касбулата глубоко задуматься. Алиаскаров же смотрел на него задумчивым, оценивающим взглядом. Потом, словно встряхнувшись, он снова тихо заговорил:

— Ты очень вспыльчив и горяч, Касбулат, но в этом нет ничего плохого. Это у тебя от молодости. Мне нравится твоя искренность. В этом я вижу надежду. Мы — люди вчерашнего и сегодняшнего дня, а ты человек завтрашнего. У нас были не только успехи, немало случалось и ошибок. Вы должны разобраться в этом. Если вы будете спотыкаться на тех же кочках, что и мы, значит, вы ни черта не поняли из нашего опыта.

Вот посмотри. Сейчас мы все полюбили слово «народ». Все только и твердят: народ, народ, народ... Это слово стало священным. Я считаю, что священными словами не надо злоупотреблять. Как бы не получилось так, что слово «народ» скроет от нас отдельных людей. Этого я боюсь...

Да, мы встряхнули свой народ, пробудили его сознание. Покоренные воспряли, бессловесные заговорили. Проделана великая работа, что и говорить, но... Но все-таки мы иной раз забываем, какая сложная структура этот народ, сколько в нем всякого — и доброго и дурного.

Опыт мой говорит, что хорошее всегда лежит в глу-

бине, а плохое клокочет на поверхности. Возьми для примера наших выдвиженцев. Среди них есть множество прекрасных людей, но есть и такие, которых народ называет «куцехвостыми активистами». Это крикуны и ультрареволюционеры. Хотят они того или нет, но наши высокие идеалы они низводят к своим мелким, ничтожным целям, а нашу сознательную работу подменяют кулаком и дубиной.

Да, мы должны быть строгими в нашей борьбе, но истерические вопли могут заглушить голос разума и справедливости. У руководителя должны быть не только глаза и руки, но и сердце.— Алиаскаров устало улыбнулся, заканчивая разговор.— Прости, друг. Наверное, я надоел тебе своими поучениями. Молодежь любит жить своим умом.

Каждый разговор с Алиаскаровым заставлял юного Касбулата ворочать мозгами. Прозрачные и плоские, как оконное стекло, истины становились многогранным кристаллом. Истина светилась издалека. К ней еще надо было пробиться. С горячностью молодости, которая хочет в один момент изменить мир, он считал Алиаскарова чересчур мягким, недостаточно решительным, и все-таки в глубине души он был благодарен своему первому настоящему учителю.

Пословица гласит: «Первый, кто откроет лицо невесты, становится ей близким...»

16

Надвигались серьезные времена. Участились собрания и митинги. Какому бы вопросу ни было посвящено собрание — снегозадержанию ли или зимовке скота,— в повестке дня одним из пунктов значилось: «Усиление бдительности, выявление врагов народа».

На поверхность выплыли ранее никому не ведомые личности, быстро снискавшие себе славу самых-рассамых активистов. Они обрушивали на головы известных и заслуженных работников такие неожиданные обвинения, что те слабели от страха.

Одним из главных застрельщиков был Жаппасбай. Раньше Касбулат даже не подозревал о его существовании. Теперь этот человек не пропускал ни одного собрания и всегда первым взбирался на трибуны.

Речь его, малограмотная и косноязычная, тем не менее была категоричной, как ствол винтовки.

— Мы не имеем права молчать...

— Нельзя стоять в стороне...

— Ударим по двурушникам, скрывающим свое подлинное лицо...

Удивительно было то, что очень мало находилось людей, осмелившихся возражать этой лжи и наговорам, а если и находились такие, то они только оправдывались с виноватыми растерянными улыбочками.

Спустя некоторое время взялись и за самого Алиаскарова. Вначале на него налепили ярлык «либерал», говорили о «притуплении бдительности». Потом стали раздаваться голоса, что он сочувствует «врагам народа», покрывает их. И наконец, на одном собрании было сказано, что самый крупный враг как раз и есть Алиаскаров.

Касбулат не сдержался и выступил в его защиту. Взволнованно он говорил о невиновности Алиаскарова, об его заслугах перед революцией. Жаппасбай с места крикнул:

— Мы еще проверим его заслуги, а невиновность надо доказать!

Касбулат взорвался:

— Доказывать надо вину, а не невиновность! Ты думаешь, если ты орешь, как ишак, значит, самый главный патриот? Если Алиаскаров враг, то и я враг!

— Да-а, милый мальчик Каламуш, Касбулат тоже когда-то был молодым,— вслух произносит Касбулат. Короткошеий Жуматай поворачивает к нему голову вместе с туловищем:

— Что-то сказали, ага?

Касбулат не отвечает. Перед глазами его стоит разгоряченное и дерзкое мальчишеское лицо. Ничего особенного не сказал ему этот мальчишка, но почему-то в его облике предстала перед ним собственная молодость. Помнишь слова Алиаскарова? «Твоя биография, как только что начатый лист бумаги...» Теперь этот лист исписан больше чем наполовину... Ой ли? А вдруг и места уже не осталось?

Ну что ж, стыдиться этого листочка нечего. Всю

жизнь работал, легкого хлеба не искал. Да-да, всю жизнь работал и легкого хлеба не искал...

Почувствовав холод, Қасбулат запахивает полы шубы. Жуматай сразу оборачивается. Этот парень затылком чувствует любое желание хозяина.

— Замерзли, Қасеке? Закутайтесь поплотнее. Давно бы уж были в районе, если бы не треклятый снег. Ну, ничего, буран вроде стихает...

И в самом деле Қасбулат замечает, что вой ветра изменился, пропала настырная пронзительность, появились какие-то новые ноты, словно чей-то бас виновато гундосит — а я ведь тут при чем, чего все на меня валите...

Қасбулат открывает дверцу и смотрит на север. Там все еще окутано густой снежной тучей.

— Да-а... Нелегко будет выкарабкаться из этой ямы. Джут неизбежен, это точно. Надо будет попросить в области дополнительные корма. Иван Митрофанович не откажет, конечно...

В кормах-то не откажет, но и в удовольствии себе не откажет сказать сакраментальную фразу: «Обязательство давать все мы молодцы, язык-то без костей, а на деле получается липа».

Маленькие голубые глазки, глядящие на тебя в упор. «Я не либерал, голубчик...» Теперь на деле придется убедиться, что этот человек не либерал.

Мысль эта отчетливо оформляется в голове Қасбулата, но почему-то совершенно его не страшит. Ему кажется, что эти дни и ночи, дни и ночи бурана, дни и ночи, полные зловещего свиста, воя и стона, часы бессонницы и раздумий как-то изменили его.

Теперь для него важнее знать, всегда ли верен был его путь, где он сошел с рельсов, какие провалы и изъяны скрываются за ровными строчками его послужного списка. Пропал Қоспан... Жив ли он? Судьба этого человека, что может быть важнее? Сколько раз ты вглядывался в его бесхитростные глаза словно в свою совесть? Почему ты не посоветовался с ним перед тем, как давать эти обязательства?

Трудно идти против течения, это верно. А разве легко было выступить тогда в защиту Алиаскарова? Разве не чувствовал он тогда, что встает поперек сильного и свирепого потока? Тогда он рисковал не только своим поло-

жением... Разве дело тут только в возрасте? Разве обязательно с годами человек коснеет? Разве духовный опыт зрелости не дает человеку новые силы?

Что же произошло? Когда он утратил ту маленькую пружинку, что подняла его тогда на трибуну?

Шарипа... Такие дела не заносят в послужной список, они остаются за строчками. Строчки ровные и твердые, их можно не стыдиться. Да, работал, да, не гнался за легким хлебом, но Шарипа!.. Весна моя, Шарипа!

«Если Алиаскаров враг, то и я враг...» Он сказал это в упор, прямо в бессовестные глаза клеветников и в серые лица тех, кто боялся своей тени...

— Ты, должно быть, в сорочке родился, Касбулат,— говорили ему товарищи спустя время после того памятного собрания.— Уцелеть после такого выступления!

Эти слова, казалось бы, должны были вызвать в нем удовлетворение собственной храбростью и удачливостью, но вместо этого наполняли его смутной тревогой и раздражением.

— Какое такое выступление? — с досадой отвечал он.— Что вы все об этом выступлении?

Он сам не заметил, как страх медленно просочился в него.

Ночью человек может пройти узкой тропой по самому краю пропасти, а при свете дня его охватывает страх за уже совершенный поступок. Второй раз, пожалуй, он не станет испытывать судьбу.

Алиаскаров пропал. О нем уже стали забывать в районе, но в памяти Касбулата он продолжал жить.

Учитель, мудрый старший друг?

Двурушник, скрывавший свое подлинное лицо?

Как можно было не верить ему?

А может, все-таки было что-то подозрительное в его словах?

Лес рубят — щепки летят. Наверное, в случае с Алиаскаровым произошла ошибка.

А впрочем, чужая душа — потемки. Ведь сказано: враг хитер и опасен.

Для того чтобы продолжать жить, Касбулату необходимо было обрести душевное равновесие, и наконец

оно пришло — внутренне он отмежевался от Алиаскарова, причислил его к стану врагов.

В сорок седьмом году Касбулату вновь пришлось встретиться с Жаппасбаем. Тогда он после своей любовной истории с Шарипой был переведен в район, где впоследствии стал большим человеком.

Жаппасбай же, оказывается, перебрался сюда еще за два года до войны. При встрече Касбулат вспомнил причину поспешного отъезда, почти бегства, Жаппасбая из родного района.

Однажды темной ночью неизвестные люди сильно побили его. Пострадавшему оставлена была записка: «Это тебе, собака, за кровь невинных».

Потрясая этой запиской, Жаппасбай ходил по учреждениям, шумел, пытался спровоцировать новую кампанию.

— Вражеские происки!

— Немало еще затаилось врагов!

Но волна уже схлынула, и слова эти потеряли былую силу. Сам он не смог узнать злодеев, а свидетелей не было. Стали было искать виновных по почерку, но искусство графологии в то время в районе было еще далеко от совершенства. Некоторые осторожно намекали, что почерк очень похож на почерк самого Жаппасбая. Тогда Жаппасбай благоразумно решил смотаться из родного района.

Прошло восемь лет, и вот Касбулат вновь увидел эту личность на пороге своего кабинета. Жаппасбай растолстел. Грудь и живот, слившись, выступали вперед огромным колесом. Длинные усы свисали на жирный подбородок. Видно было, что он страдает одышкой.

По спине Касбулата пробежал неприятный холодок. Он попытался сделать вид, что не помнит этого человека.

Жаппасбай, ничуть не смущаясь, оглядел его с ног до головы. Рот его растянулся до ушей в счастливой улыбке.

— Так и есть, это ты, конечно! Я сразу подумал, что это наш Касбулат, когда мне сказали о новом работнике. Спасибо судьбе, что снова свела нас!

Касбулат, продолжая играть в неузнавание, замешкался с приветствием, но и это не смутило Жаппасбая. Счастье прямо распирало его.

— Не узнаешь? — лукаво спрашивал он.— Не узна-

ешь? А ну-ка, напряги память! Да ведь я же...— он сделал паузу, а потом гаркнул: — Жаппасбай!

Не дожидаясь, когда Касбулат кинется ему на шею, он бросился вперед, стиснул руку «старого друга» в своих пухлых лапах.— Ну, с благополучным прибытием! Пусть благодатными будут твои шаги! Как все-таки человека притягивает родина! Увидел тебя и сразу родной аул вспомнил!

Потрясенный, Касбулат смотрел на сияющее искренним счастьем лицо доносчика. Разве не он травил его днем и ночью после того выступления?

— Сам признался, что враг! Прихвостень Алиаскарова! — орал он тогда на каждом собрании.

Как постичь природу таких людей? Насилие и несправедливость они творят искренне и самозабвенно, почитая их за святое дело. Ненависть их к своим жертвам беспредельна. Свято верят в свою миссию, но вот проходит время, и, если жертва уцелела, они подходят к ней без тени смущения, без следа раскаяния,

Выбросить его из кабинета? Нет, это невозможно. Заведующий отделом кадров всего района не может выгонять посетителя. А не боится он еще Жаппасбая? Да нет, ничуть он его не боится, просто связываться с ним не хочется.

Жаппасбай обладал замечательным качеством. Извергая потоки слов, он совершенно не обращал внимания на настроение собеседника. Он даже не заметил враждебности Касбулата. Гулкий его голос заполнил кабинет.

— Скучаю, скучаю по родным местам, хорошо, что встретил земляка, старого товарища по актепу. Теперь нас двое. Здесь тоже можно работать. Меня здесь уважают. Жаппасбай везде нужен.

Не каждый может дать отпор торжествующему хаму. Касбулат и не заметил, как стал поддерживать разговор. А Жаппасбай и совсем освоился. Хлопал Касбулата по плечу, похохатывал.

— Буду заходить к тебе, старый товарищ,— сказал он перед уходом...

Касбулат вытер руки о занавеску, с отвращением посмотрел на себя в зеркало.

— Как же это ты его к себе домой не пригласил, ничтожество? — спросил он свое отражение.

Жаппасбай не заставил себя ждать. Вскоре он совер-

шенно непринужденно стал наведываться в дом Касбулата на правах земляка, чуть ли не родственника.

Верная традициям, Сабира любого гостя встречала радушно, угощала чаем, занимала беседой. Касбулат пытался дать ей понять, что этот гость не очень-то желателен, но заставить жену хоть на йоту отказаться от обычаев было невозможно.

— Не знаю, что там у вас было, но гость есть гость,— говорила она.

Касбулата бесило то, что Жаппасбай совершенно не замечал его неприветливого вида, не понимал никаких намеков. Он был совершенно непрошибаем, этот Жаппасбай.

Вскоре Касбулат узнал, что он распускает по всему району слухи об их необычайной близости, чуть ли не родственных отношениях. Его передергивало от гадливости, но что он мог поделать? Не станешь ведь каждому объяснять, что это не так...

Отвалившись на бок, Касбулат, достает из-под тяжелой шубы коробку папирос. Курево должно отвлечь от неприятных мыслей. Он жадно затягивается. Горький дым высохшего табака режет горло. Некурящий Жуматай, с трудом сдерживая кашель, деликатно прочищает горло.

Затяжка, еще одна затяжка... Черт возьми, раньше он умел запросто избавляться от нехороших мыслей, умел сохранять душевное равновесие. Отмахивался — и все, начинал думать о делах, все становилось на место.

И вот теперь они, эти беспокойные мысли, под прикрытием бурана ринулись на него. Раньше они возникали случайно и не были связаны друг с другом, как мелководные озерки в русле реки Отеш. Теперь какая-то дикая волна соединила их в нескончаемый поток.

Враг хватает за грудки, а собака за подол. Бушует буран. Уже третьи сутки десятки потерянных отар бродят по голой степи в поисках убежища. Многие, наверное, погибли, а те, что успели укрыться в кошарах, доедают последние клочки соломы или, озверев от голода, грызут плетеные изгороди и деревянные ворота...

Щетки на ветровом стекле уже еле-еле раздвигают снег. Трясясь от напряжения, ползет по ухабам оди-

нокий «газик», крохотный пузырек жизни в завьюженной необъятной степи.

Опять перед глазами Касбулата возникает Каламуш. Тонкий, высокий, с чистым и немного смешным в восторженности лицом, он привстал в стременах, словно батыр, окинул взглядом свое мокроносое воинство и тронул коня. Снежные комья полетели из-под копыт, всадники крупной рысью ушли в метель.

Почему он не остановил их? Ведь это же чистое безумие — пускать мальчишек в бушующую степь. Неужели он подчинился воле этого юнца?

«Кто же будет завтра пасти овец, если не они?.. Пусть привыкают!..» Сказал, как отрезал. Этот паренек, видно, не любит недомолвок, идет напролом. Он даже не допускает мысли, что его желания могут встретить препятствия. То, что перед ним два солидных руководителя, не очень-то его стесняет. Казалось бы, прямая и непосредственная натура, но вместе с тем в нем есть какая-то загадка. Однако ясно — ради спасения Коспана он полезет в огонь. Коспан... Он тоже казался когда-то ему воплощением чистоты и простоты. Спокойный, чуть медлительный Верзила, вечный объект добродушных насмешек всей роты...

Дымилось, горело, стонало адское лето сорок второго года. Вся в складках, словно небрежно брошенная кошма, лежала Миусская степь. Прорвав нашу оборону под Харьковом, по ней катились неудержимой лавиной на восток бронированные немецкие дивизии.

Наши войска отступали. Отдельные части кое-где окапывались, пытаясь зацепиться за складки местности. Немцы либо с ходу сметали сопротивление, либо обходили обороняющиеся части, двигались вперед, чтобы не сбавлять темпа наступления. Роты, батальоны, полки, а иногда и целые дивизии оказывались в окружении.

Тучи пыли висели над выжженной степью. Пыль скрипела на зубах, забивалась в ноздри. Из багрового марева, как страшные призраки, возникали вражеские танки. Танки, танки, танки... Им не было числа, негде было укрыться от них в голой степи... Солдаты были измучены жаждой, усталостью, а главное — раздражены беспрерывным отступлением, ощущением своего бессилия.

Рота Касбулата, оторванная от основных сил, безостановочно двигалась на восток, пытаясь догнать армию. Больше, чем гибель, страшила всех угроза окружения.

В один из таких дней чудом добравшийся до них связной из штаба полка передал приказ зацепиться за высоту Н. Не успели они отрыть окопы, как появился противник. Артиллерия немцев, с ходу развернувшись, открыла огонь по позициям. В сумрачном послезакатном небе завыли снаряды. Запахло порохом и особым запахом вывороченной взрывами земли.

Перестрелка продолжалась всю ночь, а при первых проблесках нового дня Касбулат понял, что, если промедлить с отступлением хотя бы на полчаса, они будут уничтожены все до единого человека.

Впрочем, и отступление означало почти неизбежную гибель. Нужно было оставить хотя бы небольшое прикрытие, иначе дрожащая от нетерпения фашистская лавина мгновенно поглотит их.

Касбулат вызвал добровольцев. Десять бойцов должны были остаться в окопах, чтобы рота могла уйти. Солдаты угрюмо молчали. Каждый прекрасно понимал, что ожидает бойцов прикрытия. Минуты шли, Касбулат кусал губы, у него не хватало сил просто приказать:

— Останутся Иванов, Петров, Динмухамедов...

И тогда Коспан, кашлянув, сказал:

— Я останусь, товарищ старший лейтенант.

У Касбулата и в мыслях не было оставлять в прикрытии своего Коспана. Тот был для него живым талисманом, он боялся остаться без Коспана, но голос его прозвучал очень ясно в предгрозовом затишье, и все его слышали.

— Я останусь...

— Ты знаешь, на что идешь? — тихо спросил Касбулат.— Это же верная гибель. Ты мне нужен, Верзила...

— Кто-то ведь должен остаться,— мрачно глядя себе под ноги, проговорил Коспан.

Вслед за ним, словно повинуясь какой-то внутренней команде, вызвались остаться еще десять солдат. Коспан разместил их в окопах и стал спокойно готовиться к обороне; спокойно, как в казарме, торговался со старшиной, выторговал у него три ящика патронов и немного гранат.

И лишь во время прощания он не отдал, как поло-

жено, честь Касбулату, а схватил его руку и чуть задержал ее в нервном, но крепком пожатии.

— Прощайте! Передайте привет Родине, казахам...

В голосе его прорвалась дрожь. В предрассветном сумраке Касбулат видел только его угловатый профиль да черный влажный блеск глаз. Коспан суетливо расстегнул карман гимнастерки и передал Касбулату патронную гильзу с адресом семьи...

И все-таки уцелел его любимый Верзила! Удивительная натура — он почти не изменился с годами. Седина в усах не в счет. Все те же спокойные манеры, неторопливые движения, все так же доверчиво, честно и тихо смотрят его глаза.

Как всегда? Ты забыл, как однажды эти глаза чуть не вылезли из орбит? Как застыли зрачки и стали похожими на треснувшее стекло, будто увидели они нечто страшное, и что это был не танк, изрыгающий огонь, а ты сам?.. Забыл, как потом потухли эти глаза, как голова опустилась и как мороз пробежал у тебя по коже? Это было ведь уже после войны... Не хочешь вспоминать? Ну-ну, давай смелее, давай уж до конца...

Когда в сорок шестом году в коридоре своего учреждения Касбулат случайно столкнулся с Коспаном, он даже вскрикнул от радости. Жив, жив его трижды похороненный талисман.

Он торопился тогда на совещание, после совещания сразу надо было ехать в колхоз. Встретиться вновь решено было через три дня.

Все эти три дня Касбулат провел в радостном предвкушении дружеской встречи, задушевной беседы, воспоминаний. И вдруг его будто пронзила мысль: «Да ведь он же вернулся из плена!»

Мысль эта была такой обнаженно-отвратительной, что он начал бормотать под нос какие-то слова, как бы пытаясь заговорить себе зубы. Да-да, из плена... Да-да, небось много мучений и испытаний перенес бедный Коспан... Много-много испытаний и мучений... Мучений и испытаний... Надо его поддержать... поддержать его надо, как-то обогреть, обогреть как-то...

Бормотание это он как бы выдавал за свои мысли по этому поводу. На самом же деле он думал совсем о другом.

Да, на таких, как Қоспан, везде смотрят косо. Қосовато смотрят на таких... Черт побери, вот ведь незадача! Совсем недавно чуть не споткнулся из-за Шарипы, не остыло еще это дело, не остыло... А тут еще эта рожа появилась — Жаппасбай. Вряд ли он забыл о деле Алиаскарова. Это его спрятанные козыри. В любой момент он может их вынуть. Затягивается узелок, ничего не скажешь, а ведь он, Қасбулат, здесь человек новый. Қоспан, конечно, придет не просто так. Ясно, что он попросит какую-нибудь подходящую работу. У кого же еще ему просить, если не у фронтового друга, заведующего отделом кадров?

Что, если рискнуть, махнуть на все рукой? Должен ведь он поддержать своего солдата, уж он-то знает, что Қоспан человек честный...

Ну да, и сразу же пойдут телефонные звоночки, разные толки, где-нибудь скажут «притупление политической бдительности», «ротозейство» или еще похлестче пришьют формулировочку...

А вдруг будут правы? Кто знает, чем он занимался там, в плену? С какими настроениями он вернулся? Почему он, наконец, не застрелился в последнем бою?

Да нет. Қоспан человек честный, ведь ты его знаешь, как самого себя... Разве можно нанести такую страшную обиду старому другу, настоящему фронтовику! А чем ты докажешь, что он чист? Не сидел же ты с ним в одном лагере?.. И как могут это доказать те, кто с ним сидел? Ведь к каждому из них относятся с недоверием...

Три дня мучили Қасбулата эти мысли, но к моменту встречи он сумел взять себя в руки.

Чистый, гладко выбритый Қоспан — рот до ушей от счастья — шагнул к нему через порог. Он даже не заметил прохладной сдержанности Қасбулата. С места в карьер он заговорил о чем-то давнем, о чем-то, что должно было быть для них общим и близким. Речь свою он постоянно прерывал радостно удивленными восклицаниями: «Ойпыр-ай, Қасбулат, это ты, глазам своим не верю!» И вдруг Қасбулат показал ему пальцем на часы

и развел руками — времени, мол, в обрез. Потрясенный Коспан осекся. Касбулат спрятал взгляд, замычал что-то, зашуршал бумажками. Взглянув через некоторое время на Коспана, он увидел, что и тот не в себе — смотрит в стену, ерзает на стуле, сжимает и разжимает ладони.

«Неспроста это,— подумал Касбулат,— и разговорчивость эта и волнение. Ой, боюсь, рыльце у него в пушку...» Мысль эта сразу же принесла ему облегчение.

— У тебя какое-нибудь дело ко мне? — спросил он.

— Третий месяц, как я вернулся, и все не могу устроиться,— грустно сказал Коспан, не поднимая головы.— Ко мне относятся, как к прокаженному. Трудно выносить подозрительные взгляды...

«В глаза не смотрит. Не решается взглянуть мне в глаза...»

— Все проверят и выяснят соответствующие органы,— холодно проговорил Касбулат.— Без этого вам никто ничего определенного не скажет.

Он встал, давая понять, что аудиенция окончена.

Коспан, выпучив глаза, смотрел на него:

— Вы... вы это серьезно? Можно понять, когда другие... но вы-то... Вы-то меня знаете... ведь вы все помните...

С открытым ртом он смотрел на Касбулата и был похож в этот момент на огромного ребенка, которого кто-то беспричинно и бессмысленно обидел. Этот беспомощный вид разозлил Касбулата.

— Да, я вас знал до августа сорок второго года. Я не знаю, чем вы занимались после этого.

Коспан содрогнулся всем телом, словно от удара по голове. Он пронзительно глядел на Касбулата и глазами настойчиво спрашивал, задавал жгучий вопрос.

Это продолжалось несколько секунд. Потом Коспан весь как-то опал, обмяк. Скрипнув старым стулом, он поднял свое грузное тело и поплелся к дверям....

Касбулат упирается локтем в спинку сиденья, поднимает голову:

— Сколько еще езды, Жуматай?

— Думаю, скоро будем, ага. Похоже, что это район Уштобы.

— Добавь газу!

— Газануть-то я могу, Касеке, да на этой дороге...

Машина влетает в яму, скрытую под сугробом, надрывно воя мотором, виляет на одном месте.

О, этот вопрос... Почему он тогда не бросил ему в лицо то, что Касбулат на его месте непременно бы бросил, почему он не крикнул:

— Почему вы верили мне, когда оставляли на смерть?..

В предрассветных сумерках долго стучал пулемет. Оглядываясь назад, они видели густые полосы тумана, прорываемого вспышками огня. Рота уходила на восток. С каждым часом приближалось спасение. Стук пулемета становился все тише...

Неужели и тогда, в сорок шестом, Верзила вновь поднялся над ним? Разгадал его, но не выкрикнул ему в лицо страшную правду.

Буран... Ветер воет, с размаху налетает на стекло «газика». Муть, снежная мгла... Муть, всколыхнувшись, поднимается со дна души. Где-то в этой степи Коспан, один со своей отарой.

17

И наконец буран кончается. Белая лавина, четверо суток трепавшая отару Коспана в своей утробе, стеной уходит на запад. Под блеклым вечерним небом лежит бескрайняя степь, чуть подернутая застывшей рябью.

Жестокая простуда бросает Коспана то в жар, то в озноб. Чувствуя сильную боль в боку, он продолжает свой бесконечный путь.

В складках курджуна остался один кусок вареного мяса, твердая, как камень, булочка — токаш, несколько шариков курта.

Неумолимо тает отара. Овцы уже дюжинами остаются в пути. Страшно считать потери.

Сегодня после привала, когда он поднял отару, десять овец остались лежать на снегу. Хватая за курдюки, Коспан пытался ставить их на ноги, но ноги подгибались, и животные вновь и вновь падали в снег.

Красавица Кокчулан лежала на краю отары, бока ее тяжело вздымались, глаза вылезали из орбит, ее мучили схватки преждевременных родов.

Коспан запустил руку в горячий послед, помог овце разродиться. Крохотный, но живой и теплый ягненок упал на снег, задрыгал ножками.

Кокчулан, мощно взбрыкнув, поднялась на ноги и ринулась облизывать своего недоноска. Коспан хотел было взять ягненка на руки, но остановился — тот уже вздрагивал в предсмертной агонии. Вот уже бессильно повисли его ножки, он затих и только на боку еще билась какая-то жилка. Кокчулан суетилась, нервно блеяла, безостановочно работала языком, пытаясь спасти своего ягненка. Вдруг она резко отпрянула, словно испугалась чего-то. Ягненок уже не принадлежал ей — он превратился в мерзлый неподвижный комочек.

Кокчулан побрела в хвосте отары, иногда останавливалась, оборачивалась назад и жалобно блеяла. Потом она совсем остановилась. Коспан понял, что дальше она идти не сможет.

Переваливая через косогор, он в последний раз оглянулся. Овца, расставив ноги и не шевелясь, стояла одна посреди белой степи...

К вечеру повадки овец резко меняются. Неизвестно по какой причине, отару охватывает нервное оживление. Овцы судорожно роют копытцами снег, суют мордочки в мерзлую голую землю. Странное это оживление настораживает и пугает Коспана.

Надолго ли хватит сил у овец? Где мы сейчас? Нетрудно потерять ориентировку, когда постоянно лавируешь, спасаясь от ветра, среди совершенно одинаковых отлогих холмов. Еще один подъем, еще один спуск, снова подъем, снова спуск. Почему овцы ведут себя так странно?

И вдруг Коспан видит, отчетливо видит вдали на краю плоской равнины гряду высоких белых холмов. Она похожа на очертания большого города с высокими домами в центре. Снижаясь по краям, гряда уходит к горизонту. Кишкене-Кумы...

Кишкене-Кумы! Земля обетованная, к которой он стремился все эти четверо страшных суток, вот она перед ним! Пустить на выпас изголодавшихся овец, а са-

мому наломать тамариска и колючек дузген... Жаркое пламя щедрого костра, острый запах жареного мяса... Как отчетливо выступают Кишкене-Кумы на фоне вечернего неба!

Но до песков нужно еще дойти, дойти сегодня же. Нужно сделать последний отчаянный рывок.

Страшно закричав и размахнувшись кнутом, Коспан бросается на отару.

— Чайт! Чайт!

Овцы бестолково кружат на одном месте, иные панически мечутся, иные валятся в снег, преграждая дорогу.

Страшным красным шаром висит над горизонтом зимнее солнце. Блики его на растоптанном овцами снегу кажутся кровавыми пятнами. Э, да это и впрямь кровь!

Спрессованный жесткий снег подрезает овечьи копытца, ранит ноги. Многие овцы не могут идти и кружат, жалобно блея, на одном месте.

— Чайт! Чайт!

Овец словно подменили. Кажется, что они забыли свою стадную природу. Бросаются друг на друга, зарывают морды в шерсть. Вот оно в чем дело — они вырывают друг у дружки клочья шерсти и глотают их не разжевывая.

Сильный рывок сзади останавливает Тортобеля. Коспан оборачивается и вскрикивает, мороз пробегает по коже. Гнедая овца вцепилась в хвост Тортобеля, рвет его в стороны, пытаясь отхватить пучок волос побольше. Коспан с размаху бьет ее кнутом, она отскакивает, жадно грызет и глотает оставшиеся во рту волосы. Коспан не успевает снова поднять кнут, как другая овца вгрызается в хвост коня. Еще две, вытянув морды, бегут к нему. Размахивая кнутом во все стороны, Коспан пришпоривает коня. Он долго не может прийти в себя от ужаса. Такого он еще не видел — самые мирные на свете животные превратились от голода в лютых хищников.

18

Отара достигает песков только глубокой ночью. Почувствовав корм, овцы выходят из повиновения. Жадно хрустя колючками, они бросаются врассыпную, словно орда пьяных безумцев, ворвавшихся в мирный город.

С горечью думает Коспан, что враг его, «белый дьявол», снова посмеялся над ним. Достигнув заветной цели, он потерял власть над отарой. На глазах рассыпается сокровище, которое он бережливо собирал столько лет.

В безмолвных песках слышатся только хриплое дыхание, чавканье и возня жрущих овец. Плывет луна среди длинных прозрачных облаков. Она бледна и тоже как будто измучена четырехдневным бураном.

Еле переставляя ноги, Коспан бредет вперед, ведя под уздцы Тортобеля. Нет уже сил бороться, апатия овладевает им. Слабо ворочаются в голове тупые беспомощные мысли.

Впереди, среди дюн, определяется обширный котлован, похожий на тарелку. Снег здесь совсем тонкий, он не скрывает даже низкорослого буюргуна, желтыми барашками покрывающего этот солончак.

Бог даст, овцы остановятся здесь. Корма много, они нажрутся и остановятся. Быстрей закутаться в шубу и упасть в снег. Нет в мире большего блага, чем сон...

Тихий протяжный звук возникает в ночи. Неизбывно тоскливый, щемящий нутряной вой. Коспан вскакивает, волосы его поднимаются дыбом — волчий вой, как исповедь убийцы... Ему из-за дюн отзывается другой волк, потом третий... Вот где настигли Коспана его заклятые враги!

Вой многих волков сливается. Теперь он звучит угрожающе, как будто все сомнения и угрызения совести уже отброшены. Вой заполняет все пространство. Кажется, что тысячи хищников выползают из нор, собираясь в огромное полчище.

Коспан бросается к Тортобелю. Тот уже поднял голову, тревожно смотрит на хозяина. Овцы проснулись, беспокойно толкутся в котловане. Плаксиво скулит Майлаяк. Ну, на нее-то надежды мало. Зато Кутпан уже стоит, ощетинив загривок, в одной из своих картинных поз, готовый к схватке.

Коспан берет в руки соил и, погладив Тортобеля по холке, садится в седло. Черт побери, сюда бы хоть один автомат Калашникова! Одной длинной очередью скосил бы всю стаю. Увы, в руках лишь старый, видавший виды соил.

Вой затихает, потом смолкает окончательно. Полная тишина. Коспан, дрожа от напряжения, обводит глазами гребни песчаных холмов.

Вот резко, отрывисто начинает лаять Кутпан. Бесшумно промелькнув в лунных пятнах гребня холма, волки ныряют в темную низину. Сколько их? Кажется, не меньше пяти...

Коспан поднимается в стременах. Ему хочется издать мощный устрашающий крик, но из горла вырывается только беспомощный хрип.

Из тьмы вылетают горящие волчьи глаза. Хищники с ходу врываются в гущу отары. Не успев перехватить атаку, Коспан, подняв соил, бросается вдогонку. Несколько овец уже валяются на спинах, белея распоротым брюхом, дрыгая ногами в предсмертной агонии.

Под ногами Тортобеля один из волков, упоенно разрывающий клыками внутренности овцы. Что было сил Коспан бьет его соилом по крестцу. Хищник отпрыгивает, ощерившись, сверкает клыками. Коспан поднимает соил для второго удара, но Тортобель уносит его.

Обезумевшие от страха овцы кучками и в одиночку носятся по котловине. Откуда-то издалека слышится отрывистый лай Кутпана. В хаосе, в смятении, во мраке ничего нельзя разобрать. Тортобель топчет овец копытами, Коспан кричит, пытаясь пробраться к волкам, которые дружно терзают овец уже на другом конце котловины.

Заметив всадника с длинной палкой, два волка начинают бешено работать задними лапами, поднимая тучи песка, смешанного со снегом. Коспан пускает фыркающего Тортобеля сквозь эту своеобразную дымовую завесу, замахивается соилом, бьет, но волки ловко уворачиваются от удара.

Несколько овец в ужасе бросаются к гребню холма, за ними устремляются другие. В давке слышатся истошные предсмертные вопли. Снег обагрен кровью, усеян обрывками кишок.

В какое-то мгновение Коспан видит сражающегося Кутпана. Тот преследует удирающего волка, мощным броском накрывает его, вгрызается в ляжку. Сцепившись в бешеный комок, пес и волк катаются на снегу.

Второй волк скачками приближается к месту схватки. Коспан пытается направить наперерез ему Тортобеля, но тщетно — конь снова уносит его в сторону. «Конец Кутпану»,— думает Коспан, но в это время невесть откуда выворачивается Майлаяк. Сука бросается наперерез второму волку. Тот мгновенно подминает ее под себя, начинает расправу и вдруг с диким воем подпрыгивает, словно пытаясь что-то с себя стряхнуть. На горле его висит безжизненное тело Майлаяк. Волк вытягивается на задних лапах, потом падает.

Вся эта драма разыгрывается за несколько секунд, и вот уже в обнимку друг с другом лежат трупы волка и собаки, сомкнувшей челюсти на его горле.

Ощущение времени покидает Коспана. Он уже не знает, сколько времени длится схватка, минуты или часы проходят в этом кровавом шабаше, в реве, вое, стонах, визге, клацанье зубов, в бессмысленном кружении овец.

Быстрые, как ртуть, хищники ловко ускользают от ударов соила. Кутпан практически борется в одиночку. Дважды Коспану удается отогнать окруживших его волков, спасти верного пса, но что будет дальше?..

Матерый, величиной с годовалого теленка, самец бежит прямо на Коспана. Соил со свистом разрезает воздух. Но волк отскакивает в сторону, и соил вылетает из рук.

В следующее мгновение Тортобель с надрывным ржанием вскидывается на дыбы. Под брюхом у него что-то мелькает, слышится треск разрываемой клыками кожи. Не успев сообразить в чем дело, Коспан вместе со своим конем валится в снег.

Едва он вытаскивает ногу из-под Тортобеля, матерый хищник бросается на него. В последний момент Коспан с силой отталкивает волка от себя. В зубах волка остается вата разодранной на груди стеганки.

Коспан успевает схватить врага за горло. Тот бьет ему в грудь передними лапами с такой силой, что пальцы едва не выскальзывают из мокрой шерсти.

Припав на левое колено, Коспан захватывает волчье горло, большими пальцами давит на хрящи. Волк пытается опрокинуть его на спину, Коспан сдерживает его мощный напор. Он боится переменить позу — одно не-

осторожное движение, и он будет на спине. Тогда конец. Словно каменный, Коспан стоит на одном колене и давит большими пальцами на хрящи.

Совсем неподалеку за его спиной трудно умирает Тортобель. Слышно, как клокочет кровь в его горле, как беспорядочно стучат о землю его копыта. Спустя некоторое время звуки смолкают.

Коспан продолжает на вытянутых руках держать волка за шею. Тот дергает головой, норовя зацепить клыками руку. С длинного языка на руки Коспана капает слюна, брызги ее долетают до лица. Его мутит от зловония, прущего из розовой пасти врага.

Волк, собрав все силы, бросается в последнюю атаку. Тело его дрожит, словно внутри работает мотор. Выдержав этот натиск, Коспан мгновенно засовывает большие пальцы под челюсть волка.

Глубже... глубже... В пальцы вонзаются шейные позвонки. Проходит минута, час, год... Коспан чувствует, что хищник слабеет, у него вываливается язык, глаза стекленеют... Коспан хочет опрокинуть его на спину, но не может сделать больше ни одного движения. Руки его сведены судорогой.

Где-то слышится задыхающийся лай Кутпана. Приближается или удаляется дробный стук бегущих лап. Рычание, лай, возня схватки... Вот взвыл от боли Кутпан. Нет сил оглянуться, невозможно повернуть шею. Шум борьбы удаляется и затихает совсем.

Коспан стоит на одном колене, вцепившись скрюченными пальцами в горло мертвого волка.

19

Маленькая спасательная экспедиция из шести всадников и двух саней, груженных сеном, уже сутки рыщет по безмолвной степи. Временами попарно всадники отрываются от основной группы, скачут к дальним холмам, прочесывают балки.

Все тщетно. За сутки они не встретили ни души, не увидели ни одного живого существа. Ощупью они движутся вперед по завьюженной мглистой пустыне. Ребята, еще недавно радостно возбужденные первым в их жизни серьезным делом, сейчас притихли. Бессмысленный и тоскливый вой ветра угнетает их.

К исходу первых суток погода резко меняется. В небе появляются голубые проемы, снег серебрится, обнадеживающе скрипит под копытами. Ребята мгновенно оживляются, просятся в разведку, норовят ускакать без разрешения к дальним холмам. Қаламуш с трудом удерживает их.

За это время они обшарили всю равнину Қара-Қиян, но нигде не обнаружили никаких следов Қоспана. Не может быть, что они прошли мимо какой-нибудь балки: группу ведет старик Минайдар, он знает в этом краю каждую складочку.

Вначале Қаламуш не хотел брать с собой отца — зачем старому человеку лезть в такое рискованное дело,— но Минайдар, прикрикнув на него, настоял на своем.

Теперь-то Қаламуш даже рад, что старик с ними. Если говорить честно, без него они могли бы даже заблудиться. Совершенно невероятным образом сквозь пелену пурги он узнает каждый холмик. Немигающими, слезящимися глазами задумчиво смотрит он вокруг. Вокруг степь, в которой он провел всю свою жизнь.

Что он может рассказать про эту степь? Для него здесь каждый холмик история, вся эта безжизненная пустыня полна звуков далекой прошедшей жизни, эхом человеческих страстей... Может быть, ветер доносит до него из глубин времени отголоски свадебных пиршеств, скрежет металла о металл, гортанные крики лихих джигитов, топот угнанных табунов?

Старик молчит, только изредка отдает короткие точные распоряжения. Қаламуш подъезжает к саням, спешивается, укутывает отца сеном. Тогда тот начинает сердиться:

— Ты что меня, как сосунка, пеленаешь? Думаешь, я уже в детство впал? Ну-ка пусти!

Он вылезает из саней и легко садится на коня.

— Эй! Эй! Здесь овца! Баран! — доносятся возбужденные голоса.

Ускакавшие далеко вперед Жанузак и Бадак машут шапками с косогора. Қаламуш пришпоривает коня.

Ребята, спешившись, руками откапывают замерзшую овцу. Дрожь пробегает по спине Қаламуша. Это овца из

их отары, черная с белой шерстью на макушке. Первый след Коспана.

— Я скачу... вижу... что-то чернеет,— проглатывая слова, рассказывает Жанузак.

— Это я первый увидел! — кричит Бадак.

— Совесть у тебя есть?! — орет на него Жанузак.

— А у тебя?!

— Помолчите! — одергивает парней подъехавший Минайдар. Спешившись, он переворачивает овцу, осматривает ее.

— Околела она не сегодня. Мы держимся верного пути. Я сразу понял, что Коспан идет к Кишкене-Кумам. Хоть бы добрался, господи-боже...

— А сколько нам еще идти к Кишкене-Кумам?

— Хорошо пойдем — доберемся к утру. Ночью сделаем привал. Ночью идти бесполезно, ничего не увидим. Мы должны по пути к Кишкене-Кумам осматривать каждую балку. Мало ли что может случиться,— старик твердо смотрит в глаза сыну.

Каламуш понимает значение этого взгляда. Отец предупреждает его, чтобы он был готов ко всему, и к самому страшному. Предупреждает, как взрослого человека, товарища по нелегкому и опасному делу.

К вечеру на розовом от заката косогоре Каламуш замечает несколько маленьких бугорков. Недоброе предчувствие заставляет его бросить коня в намет. Так оно и есть — снова мертвые овцы. Коспан-ага оставляет овец в пути, словно рассыпает зерно из дырявого мешка. Значит, дело совсем плохо, раз дошло до этого. Дотянет ли он до Кишкене-Кумов?

Догнавшие Каламуша ребята угрюмо молчат над трупами овец. Они первый раз идут по следам смерти.

20

Словно ледяной панцирь сковал тело Коспана вместе с трупом задушенного им волка. Перед глазами раскрытая пасть волка с вывалившимся языком. Какое-то гнусное лукавство чудится Коспану в этом застывшем оскале.

Он снова собирает все усилия, чтобы опрокинуть волка, но невидимый панцирь не дает шевельнуться ни одной мышце.

Вдруг он видит, именно видит, а не чувствует, как разжимаются пальцы его правой руки и кисть скользит вниз по шерсти волка. Собрав всю силу, Коспан делает рывок, и тут, словно лопается стальной каркас панциря,— к нему возвращается чувствительность. Он тяжело поднимается на ноги, правой рукой начинает массировать левую, все еще цепляющуюся за шею волка. Пальцы разжимаются, он отдергивает руку, окоченевший труп волка со стуком падает на снег.

Бесконечно долго Коспан массирует омертвевшую руку. Эти однообразные инстинктивные движения под стать его состоянию. Лишенный мысли и воли, он уже почти не ощущает себя, только массирует свою руку, только массирует руку...

Наконец неприятные колющие мурашки побежали по мышцам, рука согнулась в локте. «Спать»,— приходит в голову первая мысль. Он откидывается на спину и тут же вскрикивает от сильного удара по затылку. Коспан оборачивается с тупым удивлением.

А, вот в чем дело! Голова ударилась о луку седла. Прямо перед ним чернеет труп Тортобеля. Конь лежит, широко раскинув ноги и запрокинув голову, словно и в последний миг пытался ускакать от смерти. Из распоротого брюха вывалились кишки.

— Надо встать... надо встать... надо встать...— тупо бубнит Коспан. Немыслимым усилием отрывает от земли каменное тело, встает сначала на колени, потом поднимается во весь рост, делает первые шаги. Поднимает соил.

Облака ушли, оставив в бездонном черном небе прозрачные клочки ваты. Луна заливает мертвенным светом всю округу. В продолговатой впадине, оказавшейся ареной кровавых событий, там и сям чернеют трупики овец.

Коспан спотыкается о какой-то предмет. Наклоняется — это Майлаяк. Рядом с ней вытянулась мертвая волчица.

Итак, убито два волка. Сколько же было всего? Почему они ушли? Мертвых овец не сосчитать. Живых не видно. Неужели все уничтожены?

Котловина напоминает поле битвы. Трупы, трупы, без-

молвие... Лишь один уцелевший солдат, как помешанный, бродит по застывшим лужам крови.

Вот еще один его товарищ — Кутпан... Боже, да он жив! Тихо скуля, он поднимает к нему голову, потом начинает зализывать раны. Верный старый друг, как хорошо, что ты уцелел!

Коспан отстегивает подпруги у Тортобеля, снимает седло, попону. Трудно стянуть узду — мундштук крепко зажат мертвыми челюстями. Расстелив попону, Коспан укладывает на нее Кутпана, а сам плетется дальше, без мысли, к гребням дюн.

Кутпан, прихрамывая, догоняет его. Видно, и псу не по себе лежать одному среди трупов. Тени человека и собаки, качаясь, движутся среди мерцающих под лунным светом дюн.

В одной из впадин Коспан видит с десяток уцелевших овец, в другой обнаруживает еще штук шесть, в третьей лежат две. Надо бы собрать их вместе. Горячая волна захлестывает Коспана. Через несколько секунд бушующее внутри пламя сменяется сотрясающим все тело ознобом. Снова пламя, снова озноб... Чья-то гигантская рука то сует Коспана в паровозную топку, то погружает в прорубь, в ледяную купель. В глазах темнеет.

Шуба! Где его шуба? Где его замечательная спасительница — шуба? Все спасение в шубе...

Туман под ногами, как вода, даже плещется. Куда он идет по воде? Жанель, куда ты меня ведешь по воде? «К покою,— отвечает Жанель,— к покою, мой милый...»

В мерзлой лунной пустыне, шатаясь, бредет человек огромного роста. Неотступно за ним следует собака-волкодав. Они то скрываются в песчаных впадинах, то медленно карабкаются на гребень. Вот человек подходит к какому-то черному предмету, распластанному на земле, и начинает кружить вокруг, словно бабочка вокруг лампы. Вот ноги его подкашиваются, и он падает лицом вперед.

Очнувшись, Коспан не сразу поднимает голову. Протягивает правую руку, стараясь дотронуться до Жанель, ведь только что она была рядом. Рука ложится на снег. Коспан поднимает голову. Вот оно что — он все еще в пу-

стыне среди овечьих трупов и смерзшихся кишок. Жанель далеко. Не меньше восьмидесяти верст разделяет их. Он один в Кишкене-Кумах... один, без коня, без овец... Тихо, утробно подвывает лежащий в ногах Кутпан. Неужели это уже конец пути?

Бороться дальше? Попробовать еще раз оттянуть развязку? Неужели он действительно совсем один в этом ледяном мире? Неужели его не ищут? Неужели Каламуш?.. Неужели он сейчас не рыщет по степи, не разыскивает своего Коспана-ага?

«Нормальный человек всегда найдет выход...» Кто это сказал? Гусев... Сколько раз в лагере казалось, что при-

ходит конец... Надо разжечь костер: еще одна попытка — огонь...

Раздирая до крови ладони, Қоспан ломает тамариск. Бесконечно тянется ночь. Трещит костер. Қоспан сидит неподвижно, временами впадая в забытье и тут же в ужасе встряхиваясь. Только не спать, не расслабляться! Если хоть на полчаса сбросить напряжение, освободить смертельно усталое тело, забыться, больше уже ничего никогда не вспомнишь.

Ничего не вспомнишь, а что-то нужно вспомнить, что-то еще осталось не сделанным, что-то крайне важное... Что это? Он жил честно и всегда делал то, что от него требовалось. Почему же сейчас, на грани жизни, его тревожит ощущение какого-то зияющего провала, какой-то пустоты, требующей заполнения! Что это?

Қоспан мучительно думает. Ему кажется, что мысли его должны проясниться, как проясняется после отстоя взбаламученная вода.

— Қасбулат,— неожиданно явственно и четко произносит он.

Да, вот что мучает его, вот откуда дует гиблый холодный ветер. Этот человек, предавший его, своего солдата, а потом одурманивший его, заморочивший его своей «дружбой». Почему он вечно теряется перед ним, почему не решается сказать ему жестокой правды? Почему он без боя сдался тогда, в Алма-Ате, почему еще раньше, когда Қасбулат, как ни в чем не бывало, явился на джайляу, он не отвернулся от его протянутой руки, а расплылся в дурацкой счастливой улыбке? Разве не пришло время прямо посмотреть в глаза Қасбулату и потребовать от него ответа за прошлое и за нынешнее?

Он должен это сделать ради себя самого, ради своей жены, ради всех тружеников-чабанов, ради Қаламуша! Қаламуш — его наследник, а что он оставит ему? Трупы овец, разбросанные по степи от Аттан-Шоки до Қишкене-Кумов? Передаст ему вековечную палку чабана и скажет: смирись, откажись от своей мечты, слушайся Қасбулата и жуй свой хлеб?..

Нет, этого не будет! Пятидневный буран сделал Қоспана другим человеком. Он больше не будет безответным теленком, он должен заполнить пустоту, забить зияющий провал в своей жизни.

Снова гигантская рука сжимает его тело, то засовывает его в топку, то погружает в ледяную купель. Мутится голова. Почти теряя сознание, скрипя зубами, Коспан сжимает свой соил, словно готовится принять бой даже за гранью жизни...

С первыми лучами солнца на гребень белого холма взметнулся всадник. За ним появился второй, потом третий... Увидев лежащего возле потухшего костра человека, всадники ринулись вниз. Впереди скакал Каламуш, похожий на юного богатыря, а за ним его товарищи.

— Милые мои, я здесь! — хочет крикнуть Коспан...

индийская повесть

Перевод с казахского В. АКСЕНОВА

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ

1

Долгие сборы. Ночной полет. Космические тревоги. Аленушка на чужой сторонушке Первые встречи.

Ощущение заграницы начинается совсем неподалеку от Москвы. Как только ты миновал барьер контрольного пункта на международном аэродроме Шереметьево, тебя тут же охватывает тревожное щемящее чувство расставания, и рядом с мечтой о дальних странствиях возникает мечта о том дне, когда ты снова перейдешь этот барьер уже в обратную сторону. Кто-то сказал, что в заграничных поездках самый увлекательный момент — это возвращение на родину... Неплохо сказано!

Однако эти соображения ничуть не уменьшали нашей досады в связи с тем, что проводы из Москвы сильно затянулись. А долгие проводы, как известно,— лишние слезы...

Поездка наша, запланированная сначала на октябрь, многократно отодвигалась то на ноябрь, то на январь, то на конец февраля. И уже после прохождения всех медицинских процедур, связанных с резкой переменой климата, заветная дата снова ускользнула от нас, переместившись на десятое марта.

Я сидел довольно уныло в номере гостиницы «Россия», пытаясь отвлечься то приемом таких добрых друзей, как Юрий Казаков, любимый мной за его яркую талантливость, то просто созерцанием из моего окна удивительной гармонии Василия Блаженного и Спасских во-

рот. И как раз в тот момент, когда я уже и ждать перестал, раздался телефонный звонок. Меня приглашали на званый вечер к советнику индийского посольства по культурным связям господину Маданджиту Сингху. Это был явный знак близкого отъезда и конца томительного ожидания.

Именно так восприняли это приглашение и мои будущие спутники: Леонид Почивалов — спецкор «Правды», прозаик Майя Ганина и редактор журнала «Советская женщина» на языке хинди Исаак Голубев.

И вот я мечусь в поисках приличных цветов для жены советника... Увы, это канун восьмого марта, и очереди даже за самыми чахлыми букетиками протянулись, как говорят у казахов, на расстояние лошадиных скачек. Только при помощи дотошного таксиста я раздобыл несколько свежих хризантем. Они были красивы, но, выражаясь высоким стилем,— красота их меркла перед красотой встретившей нас женщины.

Пожалуй, можно сказать, что знакомство с чудесами далекой Индии началось для нас еще в Москве... Глядя на хозяйку этого посольского приема, я впервые глубоко понял слова поэта: «благоговея богомольно перед святыней красоты...» Она была совершенна, как произведение искусства, эта маленькая хрупкая женщина в розовом сари. Безупречность пропорций, пластичность движений, пленительность взгляда...

Я прислушивался к речам господина советника, оказавшегося живописцем и знатоком гималайского искусства, а взгляд мой то и дело обращался в ту сторону, где сверкала почти неправдоподобной красотой его жена. В голове моей вставали с детства привычные образы восточного фольклора: «...Губы твои как лепесток, кожа как зрелый персик». Нет, всего этого тут недостаточно.

И видит бог, охватившее меня чувство было чистейшим эстетическим наслаждением, которое, кстати, разделяла со мной и моя будущая попутчица Майя Ганина. А уж если женская красота вызывает отклик в другой женщине, то о чем тут можно еще говорить...

Молодые индийцы, сотрудники посольства, довольно сносно объясняясь по-русски, высказали нам немало добрых пожеланий. Но все это разбилось о лаконичное сообщение, полученное нами через день: по просьбе прави-

тельства Индии наша поездка опять отодвигается, на этот раз до 27 марта.

Снова возвращение в Алма-Ату, снова утомительные расспросы знакомых: «Ну, как там Индия? Ах, еще не ездил?» Новый вызов в Москву, такой долгожданный, как ни странно, застал врасплох. Начались мелкие неприятности из серии «черт попутал». То неизвестно куда задевался фотоаппарат «Зенит», предусмотрительно приобретенный для индийских снимков, то уже перед посадкой в самолет вдруг обнаруживается, что проездной билет потерян. Ну, будем считать, что это жертва богам, подобная той, что приносили, отправляясь в поход или в дальнее плавание, древние греки и римляне. Да ведь и наши казахские предки жертвовали святому Карасану барана, а святому Аулие — коня. «Чтоб святые хранили, чтоб чума не брала...» Будем же считать все неприятности искупительными жертвами богам! Ведь все это пустяки сравнительно с тем фактом, что наш ИЛ-62 поднялся в воздух и взял курс на Дели.

Пять с половиной летных часов. Столько же, сколько от Москвы до Алма-Аты. Но как много вмещают в себя эти короткие часы, лежащие между нами и той неведомой многоликой страной, куда мы летим, страной, о которой в любой книге можно прочесть, что она, отгороженная от других Гималаями и океаном, представляет собой некий особый мир.

Никто в самолете не дремлет, никто не принимает в креслах расслабленных удобных поз. Всеми владеет сдержанное возбуждение, все напряженно всматриваются в иллюминаторы, стараясь с высоты в десять тысяч метров разглядеть землю. Мы долго летим над Казахстаном. Территория Казахстана незаметно сливается с узбекскими землями, а огни Самарканда и Бухары, отделенные друг от друга полуторастами километров, засверкали одновременно.

Мы уже летели над Афганистаном, остро всматриваясь в очертания гор, когда раздались возгласы:

— Комета! Смотрите! Вот, вот, слева!

Я увидел светлый круг величиной с небольшую деревянную чашу с белесым хвостом, напоминавшим луч прожектора. Это и была знаменитая коварная комета Беннета, стремительно приближавшаяся к Земле, хотя казалась неподвижно стоящей на месте.

Удивительное чувство овладело мной. Точно какая-то прапамять ожила в моем сознании, и я физически ощутил тревогу своих предков, испокон веков боявшихся «хвостатых звезд». Комета — это всегда предвестие черного дня, это напоминание о безбрежности мирового океана и о тех опасностях, которые грозят нашей маленькой планете, летящей куда-то в беспредельной и безмолвной пустоте. А что, если столкнутся? Вдруг живо представилось, какая оглушительная тишина воцарилась бы после подобного столкновения в нашем «прекрасном и яростном мире», где выращивают цветы и мастерят водородные бомбы, где живут поэты и военачальники.

Утренняя заря растворила в своем все крепнущем свете эти странные космические тревоги. Медленно угасая, удалялась комета. Вот в последний раз мелькнул ее лучистый хвост, потускнел огненный диск. Исчезли под нами смутные очертания земли, и вот мы уже летим по самой кромке светотени, и хотя там, внизу, еще глухая ночь, но над нами уже день с его трезвыми дневными заботами.

В течение всего пути нас заботила тоненькая белокурая молодая женщина с ребенком, сидевшая впереди меня. На ее мягкое лицо ярко выраженного славянского типа то и дело набегала тревога, которую она неумело пыталась скрыть. Ее нервное состояние передавалось маленькому сынишке. Он не хотел спать, то сползал с материнских колен, то снова забирался на них. Мальчишка был настолько смугл, черноволос и кудряв, что казалось, будто он рожден непосредственно своим индийским папой, без всякого участия светлоглазой русской мамы.

Чем ближе к концу полета, тем напряженнее становится взгляд молодой женщины. Понятно! Она приближается к кульминационной точке своей судьбы. Удастся ли ей, как задумано, уговорить своего мужа индийца, получившего образование в Москве, поехать на работу в Советский Союз? А если нет, то что ждет ее и ребенка в этой таинственной стране, где все иначе, чем у нас, где из простой свойской «гражданочки» она сразу превращается в иностранку, в чужеземку, зависящую от того, как еще на нее взглянут.

Толчок. Земля. Аэропорт Дели. Который же час? Я вдруг путаюсь в поясах времени и определяю его,

взглянув на небо так, как это делали мои прадеды: солнце поднялось на высоту конских пут.

Как важно для человека, чтобы его встречали на вокзалах, пристанях, в аэропортах! Особенно в чужой стране. Лица работников нашего посольства, ждущих нас у таможенной заставы, кажутся нам давно знакомыми. И мы все волнуемся за молодую женщину с ребенком, которая не находит — да, определенно не находит своего мужа среди встречающих.

Мы помогаем ей перенести вещи и беспомощно толчемся вокруг нее, не решаясь взглянуть на ее убитое лицо. Как оставить ее одну, без друзей, без языка, с ребенком на руках? Тем более что таможенный пункт не пропускает ее в город, требуя какое-то свидетельство, которое должен был представить ее муж.

И вдруг на наших глазах происходит чудо — лицо молодой матери загорается ярким румянцем, она стаскивает с шейки ребенка пеструю косыночку и отчаянно машет ею в воздухе, сигнализируя кому-то, еще не видному нам.

— Пришел!

Стройный, высокий человек, энергично расталкивая всех, пробирается к нам из-за таможенного второго барьера.

— Пришел!

Но что это? Он, кажется, больше рад встрече с Исааком Голубевым, которого знавал в Москве, чем приезду своей семьи. По крайней мере, так думает наша Майя Ганина.

— Жена за тридевять земель летела с мальчиком. А он даже не поцеловал. Жмет руку, как на дипломатическом приеме,— ворчит тихонько Майя, укоризненно качая головой.

— На Востоке не принято публично лобызаться с женщиной,— авторитетно разъясняю я, сам в глубине души встревоженный за нашу милую спутницу.

— А ребенок? Сынишку-то он мог поцеловать, не нарушая восточного этикета? — не успокаивается Майя.

— Вообще на Востоке принята сдержанность в проявлении чувств.

Это я успокаиваю не только Майю, но и самого себя. Здесь, в чужом, еще не раскрывшемся перед нами городе, мне остро жаль эту беленькую нашу русскую девчонку,

ставшую индийской матерью. Я чувствую какую-то необъяснимую грусть при расставании с ней, какую-то ответственность за ее судьбу. Я вспоминаю казахскую поговорку о девушках — «для чужой сторонушки родилась»... И еле сдерживаю себя, чтобы не обратиться к незнакомому индийцу с просьбой быть верным другом нашей Наташе... А может, Вале... Или Аленушке. Мы ведь даже не знаем, как ее зовут.

Однако солнце уже поднялось на высоту аркана, а мы еще только-только прошли через контрольный пункт. Первая наша задача — приспособиться физически, вписаться в эту высокую небесную синь, в этот зной, пока еще по-утреннему милосердный, но обещающий к полудню стать неистовым. Ведь всего каких-нибудь шесть-семь часов назад мы ежились от пронизывающей сырости и злых порывов ветра на московском взлетном поле.

Внутренне я подготовился к необычному, и потому меня удивляет, что дорога, по которой нас катит широкий приземистый «форд», вызывает во мне ощущение чего-то уже виденного, знакомого, пережитого. И тут я вспоминаю чье-то выражение: «Самарканд — хорошее предисловие к Индии». Вот в этом-то все дело! Это высокое голубое небо, это раннее утро, затихшее в предчувствии наступающей жары, сам воздух юга — все это напоминает мне советскую Среднюю Азию. Во всяком случае, я не ощущаю пока особой экзотики. Единственное экзотическое явление, что поразило и даже как-то травмировало меня на улицах индийской столицы,— это левостороннее движение машин. Я весь напрягаюсь каждый раз, когда встречная машина вдруг резко забирает влево. Это как острый нож в мое шоферское сердце.

В гостинице мы с наслаждением сменили одежду. Но даже и в летних костюмах мы с каждым часом все ощутимее познавали дыхание раскаленного воздуха. Очень тянуло сразу же отправиться бродить по улицам, с которых доносились звуки, не похожие ни на что привычное. Шуршанье сотен велосипедных колес, негромкий говор людей и очень резкие птичьи голоса. Говорили, что здесь прямо на улицах много зеленых попугаев, которые ведут себя с такой же непринужденностью, как наши воробьи. Все это очень хотелось разглядеть. Но нас приглашали прямо-таки с корабля на бал — в Литературную академию Индии, где уже ждала группа писателей, возглав-

ляемая ученым секретарем академии господином Крипалани.

И тут опять загадочная Индия обернулась к нам совсем не загадочной, а наоборот, привычной, повседневной для нас проблематикой. После первых взаимных вежливостей наша беседа пошла о принципах художественного перевода. Мы сразу почувствовали, что вопрос этот не менее важен для индийских литераторов, чем для нас в Советском Союзе. Пятьсот пятьдесят миллионов индийцев говорят на совсем разных языках. Литературная академия и занята главным образом координацией усилий этой многоязыковой литературы, организацией литературного процесса в стране.

— Главная проблема Литературной академии — это сближение, сплочение разноязычных литератур, в первую очередь тех шестнадцати, которые пользуются наиболее распространенными языками,— объясняет нам господин Крипалани.

Завязывается живой спор о принципах перевода, и выясняется, что здесь по этому вопросу ломают не меньше перьев, чем у нас. Переводить ли непосредственно с оригинала, мирясь с тем, что при такой практике число переведенных произведений будет незначительно? Или прибегать к помощи языка-посредника, каким у нас является русский язык, а здесь — английский?

После многолетнего колониального существования индийцы особенно ревниво относятся к языковой проблеме. И вопрос об ежегодных премиях, присуждаемых академией произведениям шестнадцати разноязычных литератур, часто превращается в вопрос большой политики. Такую же щепетильность приходится проявлять и в структуре самой академии, ее управления. Многоступенчатые выборы, представительство от каждой национальной литературы, от семидесяти университетов Индии, от правительства страны — все это призвано обеспечить справедливую пропорциональность, высокую объективность в оценке произведений.

Академия носит имя Рабиндраната Тагора, и это высокое имя как бы распространяет вокруг себя свет мудрого спокойствия. Наши собеседники полны доброжелательного терпения по отношению к инакомыслящим. Их аргументы лишены какой бы то ни было запальчивости, и, даже не соглашаясь с вами, они высказывают уваже-

ние к вашему мнению. Например, требуя обязательного знания языка переводимого оригинала и отвергая роль языка-посредника, господин Крипалани все-таки считает долгом подчеркнуть мой опыт переводческой работы.

— Вам, многое, вероятно, виднее, мистер Ахтанов,— деликатно говорит он мне,— ведь и у нас были случаи, подтверждающие вашу точку зрения. Например, перевод вашего великого Льва Толстого на языки народов Индии. Находились литераторы, переводившие непосредственно с русского. Но из-за ограниченности своих возможностей они жестоко обедняли несравненные произведения. И наоборот, переводы, сделанные нашими талантливыми писателями, не знающими русского и прибегавшими к английскому как языку-посреднику, индийцы и сегодня читают с наслаждением. Однако в принципе...

Спор продолжается, радуя обе стороны сходством проблематики, совпадением интересов. Здесь, в доме, носящем имя великого Тагора, нам вспоминаются его мудрые слова: «Дело не только во взаимных влияниях, дело и в общности человеческих представлений...»

Я волнуюсь, видя неподдельную радость, с какой здесь принимают привезенный мной подарок — пластинку с записями избранных казахских песен и кюев, с каким интересом наши хозяева разглядывают макет домбры.

— Музыка в переводчиках не нуждается. А тому, кто лишен счастья воспринимать ее, и переводчик не поможет. Но нам, индийцам, казахская музыка безусловно покажется близкой.

...Этот наш первый индийский день, битком набитый впечатлениями, завершился встречей с давним знакомым. Нас пригласил провести вместе вечер известный поэт Саджад Захир, пишущий на языке урду. В начале шестидесятых годов это имя не сходило со страниц газет. Его сопрягали тогда с именем другого крупнейшего поэта современного Востока — с именем Фаиза Ахмад Фаиза. Оба поэта были заключены в тюрьму. Их поэтические произведения, создаваемые в камере, пересылались на волю под видом писем к семьям, и прогрессивная пресса охотно печатала эти свидетельства несломленного человеческого духа. Тогда коммунист Саджад Захир был первым секретарем коммунистической

партии Пакистана. Сейчас, живя в Дели, он активно участвует в прогрессивном движении писателей Азии и Африки. Всего несколько лет назад мы принимали его и его жену у себя в Алма-Ате. С ними был тогда и многоизвестный литератор Амрит Рай, сын большого индийского писателя Према Чанда. Встречались мы и позднее, на симпозиуме писателей Азии и Африки.

С тех пор Саджад Захир немного погрузнел, да и седины прибавилось. Но все те же мягкие ровные манеры, все тот же негромкий грудной голос. В этом проявляется индийский национальный характер. Уже через два-три дня, проведенных в этой стране, путешественник замечает, что люди здесь не шумливы, хотя есть в них и живость, и общительность, и непосредственность.

Атмосфера доброжелательства, неподдельного интереса к личности гостя создается не только хозяином, но и хозяйкой. Гость ощущает оригинальность этой семьи, слитность ее духовных запросов. Как писательница, как автор интересных проблемных романов на языке урду Разия Саджад Захир пользуется большой популярностью. Она очаровывает собеседника не только содержательностью и глубиной своих мнений, но и внешним обликом. Это пример того, как душевная красота влияет на внешний облик человека. Выразительность глаз, их блеск, вызванный воодушевлением, доброта улыбки — все это делает Разию-ханум очаровательной, заставляет забывать об ее возрасте позднего лета. Смуглая Мадонна...

Жилье супругов Саджад Захир стирает у нас ощущение заграницы. Потому что главное убранство этого небольшого коттеджа — книги и рукописи. Масса книг... И стол, буквально заваленный рукописями. Это так знакомо, так привычно, так соответствует нашему быту, что ты забываешь о тысячах километров, лежащих между этим кабинетом и твоим собственным. Да и сама беседа — это как бы продолжение наших московских, ташкентских, алма-атинских долгих разговоров, в которых хоть и нет особой последовательности, и даже, может быть, немало разбросанности, но в которых зато сквозит богатство мыслей и чувств, желание щедро обменяться ими с друзьями, с теми, кто живет и дышит интересами художественного слова.

Я доволен, что могу порадовать Разию-ханум ново-

стью: ее роман «Дочь куртизанки», опубликованный на русском языке, скоро выходит и на казахском.

— Что вы пишете сейчас, Разия-апай? — интересуюсь я.

— Ничего существенного. Дети, домашние хлопоты...— Разия-апай лукаво улыбается.— Оказывается, даже муж-коммунист не в силах избавить женщину от кухни.

За ужином мне преподносится небольшой урок языка урду.

— Как переводится слово «казах» на урду? Какой смысл вкладывается в это слово? — лукаво щурясь, спрашивает хозяин.

— Ох, кажется, что-то не особенно лестное... Не то лиходей, не то разбойник...

— Нет, главным образом, удалец! Удалец, храбрец, молодец... Так что сыну такого удалого народа не к лицу разбавлять виски водой...

И Саджад Захир мягко отводит мою руку, протянувшуюся было к бутылке с содовой...

Возвращаемся мы в свою гостиницу уже поздним вечером. Гирлянды разноцветных огней на яркой зелени деревьев радуют глаз. Красиво выглядят и белые, оттененные густой зеленью невысокие дома, напоминающие здания наших санаториев.

— Что-то уж очень все обычно,— с оттенком разочарованности вздыхает кто-то из моих спутников,— хотелось бы экзотики побольше.

— Как? А сикхи-швейцары у подъезда гостиницы! Какие чалмы с султанами! Как в балете «Бахчисарайский фонтан»! А бороды? Держу пари, что они не брились с самого сотворения мира!

И все-таки экзотики нам явно не хватало в этот первый вечер нашего знакомства со столицей Индии. Дели так и остался для нас пока нераспакованным. Открытие Индии было еще впереди...

2

В царстве белого мрамора. Наследство Царя-узника. Райский сад.

Не знаю, пропагандируется ли в Индии забота о человеке, или глубокая человечность настолько органична для этой страны, что и пропагандировать не приходится,

но на каждом шагу вы ощущаете деликатное ненавязчивое внимание, искреннюю заинтересованность вашими делами, готовность ежеминутно оказывать вам всяческое содействие.

Напрасно я боялся проспать ранний час отъезда в Агру. Ровно в четыре утра в моем номере гостиницы «Джан Пахт» мелодично зазвонил телефон и чей-то негромкий голос напомнил мне, что пора вставать. Именно тогда, когда я уже был одет — ни раньше, ни позднее,— бесшумно вошел официант с легким завтраком на подносе.

Нам предстоял недолгий перелет, всего сорок пять минут. Один из нас, Леонид Почивалов, не раз бывавший в Индии, предпочел остаться в Дели, и в самолет мы сели втроем: Майя, Исаак и я. Несмотря на то что уже третьи сутки нам не удавалось толком, досыта выспаться, мы были бодры и оживленны. И не удивительно! Ведь мы летели сейчас, чтобы собственными глазами увидеть одно из чудес света — тысячекратно описанный, тысячекратно прославленный мавзолей Тадж-Махал. Нам казалось, что мы уже когда-то видели его, настолько объемными и выпуклыми были многие описания и изображения. Но все равно — пока не сравнишь объективную реальность с тем хрупким образом, что создался в твоем воображении, ты не успокоишься. Недаром народная мудрость гласит, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

После большого воздушного путешествия этот маленький перелет мы переносим шутя. Тем более что, еще не добравшись до красоты, созданной человеческими руками, мы уже здесь, в самолете, любуемся красотой, созданной самой природой. Я имею в виду нашу стюардессу в голубом сари. Можно бы, конечно, сказать, что она красива, как выточенная статуэтка, изображающая индийскую баядерку. Но я не скажу так. Потому что баядерки, благодаря массовому производству, уже превратились в псевдонациональные сувениры. Красота их стандартизировалась и стерлась от тысяч любопытных туристских рук. А та живая красота, которую мы видели сейчас, воплощала в себе и душу народа и индивидуальное своеобразие...

Для нашего Исаака Голубева, редактирующего советский женский журнал на языке хинди, интервью с

такой девушкой — это просто кусок хлеба с маслом. Парадоксальное сочетание традиционного индийского наряда с вполне современной работой стюардессы уже само по себе — отличное начало для очерка. Только как подойти к девушке, чтобы не спугнуть?

И Голубев просит Майю завязать беседу. С женщиной она будет говорить свободнее. Но опасения напрасны. Наша стюардесса в голубом сари с очаровательной непринужденностью и простотой, тактично придерживаясь доверительного, но отнюдь не фамильярного тона, отвечает на все вопросы Исаака.

Выясняется, что ей двадцать два и зовут ее Мухабудой. Родилась в мусульманской семье. Рано осиротела. Остался только старший брат. Но он в Америке. Мухабуда собирается съездить к нему. Почему работает? А как же не работать? Если бы она даже была богата, все равно она работала бы, потому что только работа дает женщине настоящую независимость в современном мире. Во всяком случае до тех пор, пока она не станет женой, пока не появится главная задача — воспитание детей,— она будет работать...

Майя, которая любуется девушкой и просит Исаака переводить ее ответы, с улыбкой предлагает:

— А что, если спросить ее про любовь?.. Есть ли у нее любимый?

Но Исаак категорически отвергает этот вопрос. Он знает местные нравы. Насчет добрачных любовных связей здесь строго. Такие слухи о девушке могут оттолкнуть от нее всех женихов. Так что эмансипация касается только права на труд, но никак не на отдых от сложившихся норм девичьего поведения.

Однако наш самолет уже пошел на снижение. На нас надвигается яркая зелень. Это огромный, заботливо ухоженный сад вокруг аэропорта.

Агра... Неожиданно мы погружаемся в тишину. Давно не слыханная желанная тишь нарушается только птичьими голосами. Наверху над головой — незамутненная голубизна и раннее солнце, еще щадящее людей. Воздух так чист, что кажется колдовским напитком, восстанавливающим силы.

На короткий миг я вдруг остро ощущаю свою сыновнюю слитность с природой. Может быть, мне только во сне привиделись все эти гулы и грохоты современных

городов, их удушливая копоть, смрад выхлопных труб, треск бесчисленных моторов? Здесь, в преддверии великого памятника индийской культуры, я вдруг с любовью вспоминаю строку русского поэта: «Тишина! Ты лучше из всего, что слышал...»

В нашем ежедневном беге мы часто забываем, как нужна эта тишь, как она целительна для нас...

Но вот и конец передышки. Двадцатый век властно напоминает о себе голосом самолета: его двигатель сердито воет, призывая нас вернуться к реальности.

И вот мы уже опять в широком приземистом сером автомобиле, везущем нас по улицам Агры в гостиницу, и господин Ума Шанкар Шарма, наш гид, инспектор местного отдела народного образования, любезно объясняет нам все то, что надо объяснять туристам на подступах к несравненному Тадж-Махалу. Он очень старается. Его энергичное темно-коричневое лицо поблескивает капельками пота. Он даже несколько повышает голос, что, как я уже приметил, несвойственно индийцам.

Однако его хвалебная ода как-то не очень доходит до меня. У меня сложное отношение к предстоящей встрече с Тадж-Махалом. Я боюсь разочарования. Когда видишь что-нибудь так часто в изображении, начинаешь опасаться: совпадает ли с действительностью твое представление, выработанное копиями? Ну, хоть собор святого Петра в Риме. Или химеры на парижском Нотр-Даме. Или вот купол мавзолея Тадж-Махал и четыре минарета по углам... Все эти достопримечательности планеты так примелькались нам на цветных лакированных открытках, захватанных тысячами пальцев, что первоначальное восприятие красоты притупилось, поблекло. Иногда даже возникает кощунственный образ идеально красивой, по всем доступной женщины. И вот сейчас, перед самой встречей с Красотой, я волнуюсь, сомневаюсь в самом себе, в своей способности разглядеть ее душу сквозь приторность лакированных открыток и деловитость бесчисленных функционеров туристского бизнеса.

...Путь оказался короче, чем я предполагал. Наш автомобиль уже на зеленом лугу, окруженном со всех сторон стеной из красного камня. Оглядываюсь — и сразу узнаю хорошо знакомые черты мусульманской архитектуры. Среди гигантских, в три обхвата, старых деревьев

высится увенчанный куполом дворец, напоминающий мечеть. Мусульманством веет и от сплошных двухэтажных келий — худжар.

Весь ансамбль, называемый первыми южными воротами,— это и есть вход в Тадж-Махал. Смотрим налево. Там, словно в зеркальном отражении, повторяется сказочный дворец с куполом. Однако, приглядевшись, замечаешь, что этот дворец больше размером сравнительно с первым, что в нем выпуклее представлена декоративность мусульманской архитектуры. Портал дворца украшен изысканным орнаментом, изречениями из корана, выполненными тончайшей арабской вязью. Это основной парадный вход.

Ниже его по обе стороны раскинулись два крыла. Они симметрично повторяют в уменьшенном виде основной рисунок ворот. Все четыре угла строения завершаются мощными колоннами. И над каждой колонной возвышается белый купол с острым шпилем, вонзающимся в небеса.

Удивительная пластичность и гармоничность всей композиции подчеркивается одиннадцатью белыми куполами над центральными воротами. Их изящно отточенные острые шпили тоже устремлены в далекую высь.

Наш гид Шанкар Шарма замечает восторженные взгляды туристов и оживленно комментирует:

— Они великолепны, эти одиннадцать куполов, не правда ли? Если вы посмотрите с обратной стороны, перед вами откроется точно такой же вид. Еще одиннадцать куполов. И мы получаем цифру двадцать два. Они, эти двадцать два купола, служат венцом сооружения и в то же время символизируют те двадцать два года, что строилась гробница Тадж-Махал.

Я околдован окрестностями Тадж-Махала. Я вижу их впервые. Их куда реже фотографируют, рисуют, демонстрируют в кино, чем сам мавзолей. И свежести восприятия ничто не мешает. Мне не навязывают чужих ракурсов.

Чем ближе к самой гробнице Тадж-Махал, тем больше я медлю. Делаю вид, что завязываю ослабший шнурок на ботинке. Боюсь, боюсь встречи, как боятся ее тогда, когда долгими годами не виделись с кем-то близ-

ким и представляют себе его только по снимкам. Ах, Тадж-Махал! И зачем только твоя тень дошла до меня раньше, чем твоя живая плоть!

— Подойдите, пожалуйста, сюда,— приглашает нас Шанкар Шарма.— Вот эта линия проходит как раз по самому центру ворот. Если идти по ней дальше, не сворачивая, то через ближние ворота вы увидите, словно в раме, весь Тадж-Махал...

Я следую приглашению. И в пронзительной голубизне утреннего неба передо мной всплывает мавзолей. Легчайший купол его как будто невидимыми нитями подвязан к небу. Мне доподлинно известно, что передо мной много тысяч тонн каменных глыб. Откуда же берется это ощущение удивительной легкости, крылатости всего сооружения? Точно не камень, а лебяжий пух принял такие совершенные очертания и устремился ввысь. А пропорции! Этот одинокий купол посередине и четыре минарета по углам. Как идеально они соотнесены друг с другом! Как будто не человеческие руки, а сама земля индийская породила это чудо.

— Тадж-Махал — грандиозное сооружение,— методично продолжает между тем гид,— высота его от основания до вершины купола — семьдесят девять метров. Это выше, чем современное двадцатиэтажное здание...

Пусть он рассказывает что угодно! Эти полезные сведения не имеют никакого отношения к тому чувству, которое наполняет меня сейчас. Я приобщаюсь к Красоте. Мои опасения оказались напрасными. Встреча с мавзолеем, в котором воплощена душа Индии, прошла замечательно. Ни рекламы туристских бюро, ни эрудиция всех гидов мира не смогут помешать мне увидеть Тадж-Махал по-своему. Я увидел его по-казахски. Разве этот белый купол с вонзившимся в небо полумесяцем не напоминает своей округлостью просторную белую казахскую юрту? А эти удивительные геометрические очертания верхней части, разве не похожи они на деревянный круг потолка юрты? Ведь точно так же он изящно сужается и завершается красивой отделкой. Нижняя часть полушара своим плавным сужением вызывает у меня привычный образ тонкого девичьего стана, туго перехваченного широким позолоченным поясом.

— С чем бы ты сравнил это чудо? — спрашивает меня кто-то из попутчиков.

Я ограничиваюсь неопределенными междометиями. Ведь не говорить же вслух о том, что все это сооружение почему-то будит во мне память о выстоенной поджарой скаковой лошади, напрягшейся перед первым прыжком. И вообще лучше помолчать, чтобы не обнаружить своей растроганности, не прослыть сентиментальным. Тем более что в голову приходят самые необычайные мысли. Например, я думаю про себя, что вся эта бессмертная архитектурная композиция имеет в своем строении нечто общее с казахской песней, с тем ее моментом, когда мелодия перед крутым взлетом как бы набирает силу в упругих, величаво-спокойных сдержанных звуках...

Однако, чтобы приблизиться вплотную к мавзолею, нам предстоит еще пройти метров триста. Мы идем мимо фонтанов. Они дарят блаженную прохладу. Они, а вместе с ними и священная река Джамна, текущая за мавзолеем, оберегают белоснежный лик Тадж-Махала от зноя, от раскаленных солнечных лучей. Ведь белый мрамор, как и белолицая красавица, не любит ослепительного солнца. А мы сейчас как раз входим в царство белого мрамора. Светящегося белого мрамора. Впервые вижу такое скопление этого благородного камня. Из него целиком сделан не только сам мавзолей, но и все вокруг. Оказывается, мрамор полон тайны. Он может быть одновременно монументальным и легким, плотным и ажурным. Может восприниматься как непробиваемый металл и как нежный платок из белого шелка. Он осчастливает глаз и возвышает душу.

У самого входа в гробницу мы задерживаемся, чтобы еще раз выслушать объяснения гида о том, как тонко чувствовали законы перспективы художники тех времен. В самом деле, по размеру буквы в изречениях из корана, венчающих обе стороны входа в Тадж-Махал, кажутся одинаковыми с теми буквами, что у самой стенки, внизу. Еще наш гид говорит о том, что в искусстве орнамента мусульмане — непревзойденные мастера. Ведь они специализировались именно на орнаменте, поскольку ислам запрещает изображение бога и человека.

Гид спрашивает нас, что мы думаем о красках, которыми выполнены рисунки цветов по внутренним стенам и высоко-высоко над входом. В ответ на наше заверение, что это замечательные краски, наш гид, торжествуя, сообщает, что никаких красок тут вообще нет. Это

тончайшая инкрустация из разноцветных драгоценных камней.

Да, именно о таких мастерах казахи говорят: «Он из дерева узлы вяжет». Только зодчие Тадж-Махала вязали узлы не из дерева, а из камня. И не только узлы, но удивительные ювелирные узоры. Такие, например, как на мраморной белой ограде, оторачивающей надмогильные камни Мумтаз и Шахджахана. Не железные прутья, а нежно сплетающиеся стебли цветов держат эту ограду.

Узнаем от гида, что вначале надгробие Мумтаз было ограждено золотой решеткой. Но верховный визирь Шахджахана осмелился подать властелину совет: не искушать злодеев, которые могут позариться на золото. Лучше — мрамор.

Внутри мавзолея, под глубоким сводом купола,— две могилы, а под малыми куполами, в четырех углах мавзолея,— четыре просторных зала, молельни.

И многие наши современники, приезжие и индийцы, стирая грани эпох, приходят сюда и молятся за давным-давно усопших. Вот юноша индиец, стоявший до сих пор молча у могильной ограды, неожиданно прокричал что-то пронзительным голосом муэдзина, и шестикратное эхо взволнованно откликнулось на возглас.

И вообще на дорогах, ведущих к Тадж-Махалу, видны далеко не одни туристы. По ярко-зеленому бархатистому газону великолепными цветовыми пятнами выделяются легкие грациозные фигуры женщин в красных и синих сари. На их смуглых тонких руках — тяжелые браслеты, в ушах — искристые разноцветные серьги. Мужчины индийцы — все в белом — куда медлительнее, чем женщины. Вся их манера держать себя подчеркнуто сдержанно полна достоинства, но в то же время и предупредительности по отношению к гостям.

Ко всем гостям. Даже вот к этим странным молодым существам в живописных лохмотьях, с грязными засаленными космами до плеч, с непроходимыми зарослями бород. Они шлепают босиком по воде фонтанов Тадж-Махала. Это хиппи — посланцы современного цивилизованного мира. В странах Запада, где они бродят уже давно, никого больше не поражает и не эпатирует эксцентричность их одеяний и поведения. Но на фоне индийского пейзажа и нравов, на фоне Тадж-Махала, этого чуда, созданного человеческим гением, фигуры западных хиппи царапают глаз, наводят на размышления о парадоксах нашего времени. Ведь эти хиппи — внуки и правнуки тех высокомерных западных «цивилизаторов», что двести лет жили за счет богатств Индии и в то же время снисходительно третировали ее, толковали о ней как о нищей и грязной стране. Теперь они ищут здесь некую истину.

Наряду с хиппи здесь можно увидеть и мусульманских паломников, бредущих на поклонение древней свя-

тыне. Это почти черные, насквозь прокаленные неистовым солнцем, изможденные старики и старухи. Они еле волочат ноги, продвигаясь как бы прямиком из какого-нибудь четырнадцатого или пятнадцатого века... А здесь смешиваются с западными хиппи, прокламирующими всем своим видом возвращение во тьму первобытных времен.

Однако и на солнце есть пятна. В несказанной гармонии Тадж-Махала мы обнаруживаем изъяны, нанесенные временем. В одной из молелен мы примечаем небольшие трещины на стене и безжалостно делимся своими наблюдениями с нашим добрым Шанкаром Шармой. Он смущен. Он так оправдывается, точно начальником строительства этого здания, возведенного триста пятьдесят лет назад, был он сам. Он обстоятельно объясняет, что стены под мраморной облицовкой сделаны из обожженного кирпича. Кирпичи скреплены железными прутьями. От зноя железо расширяется — и вот эти трещинки... Господа русские туристы должны понять, что уровень научных знаний, которыми располагали строители три с половиной столетия назад, был далеко не нынешний...

Мы уж и не рады, что подняли вопрос о трещинах, и успокаиваем нашего доброго гида, снова выражая восхищение совершенством Тадж-Махала. А трещины эти — такая мелочь.

Но Шарма все продолжает объяснять неизбежность мелких просчетов в строительной технике тех времен, и я бормочу ему какие-то утешительные слова. Наконец нам удается отвлечь внимание господина Шарма от этих злосчастных трещин другим серьезным вопросом.

— Почему могила Шахджахана, по приказу которого был построен Тадж-Махал, выглядит как-то несимметрично? В то время как могила его супруги Мумтаз, память о которой он увековечил, расположена в самом центре, под куполом, за восьмигранной оградой,— могила самого Шахджахана примостилась слева, и ее громоздкое надгробье, едва вмещаясь в отведенное ему пространство, явно нарушает целостность всего ансамбля. Почему этот столь могущественный владыка нашел свое последнее успокоение в таком скромном уголке?

Глаза нашего гида загораются, и он начинает негромко, но с заметным воодушевлением вводить нас в

мир человеческих страстей, отшумевших, отпылавших три с половиной столетия назад.

Потрясенный кончиной возлюбленной супруги, Шахджахан находил некоторое утешение в раздумьях о том, как увековечить память своей возлюбленной Мумтаз. Прежде всего надо было избрать для мавзолея достойное место, а это оказалось совсем не просто. Было неоспоримо, что Тадж-Махал должен быть возведен на берегу Джамны — одной из двух священных рек Индии. Но русло Джамны в этом месте крайне извилисто. С большим трудом удалось выбрать ровную площадь длиной около километра. В дни скорби Шахджахан думал и о своей собственной близкой кончине. И его воображению рисовалась другая усыпальница, соединенная с мавзолеем Мумтаз белым мраморным мостом — символом вечной любви, неподвластной смерти. Тот, второй Тадж-Махал, был задуман в черном цвете. Недаром среди предков Шахджахана был поэт Бабур. Свое поэтическое видение мира он передал Шахджахану, а тот старался передать его строителю Тадж-Махала Устаду Ахмеду.

Я вдруг выпукло, объемно представил себе второй мавзолей, который так же взмывал бы ввысь, как и первый. Только отливал бы черным блеском. Это было бы великолепно! Черный двойник нынешнего Тадж-Махала, соединенный с ним белым мраморным мостом, символом слитости супругов, преодоления вечной разлуки. Увы... Я видел только полуразрушенные следы начатого давным-давно сооружения. Эти обломки фундамента... Они как зачеркнутые строки недописанной второй части великой поэмы.

Почему же так и не был построен второй, черный, Тадж-Махал? А потому, что и здесь, под ослепительным мирным небом, пылали роковые извечные человеческие страсти. Местным Ричардом Третьим оказался один из сыновей Шахджахана — Аурангзеб. Терзаемый демоном властолюбия, он убил трех старших братьев, наследников престола, а престарелого отца своего лишил власти и навеки заточил во дворце. Из двух дочерей злосчастного Шахджахана одна перешла на сторону удачливого злодея-брата. Зато другая трогательно ухаживала за узником-отцом до самой его смерти. Вот почему некогда всевластный царь оказался вынужденным после смерти

тесниться где-то в стороне как придаток к величественной могиле своей обожаемой супруги. Вот почему остался одиноким несравненный Тадж-Махал из светящегося белого мрамора.

В этот день нам предстояло еще продвинуться вверх от Тадж-Махала вдоль священной реки Джамны. Там, на крутом обрывистом берегу, алели стены древней крепости. Еще издали мы залюбовались величественным видом этих стен из красного камня, вздымающихся на крутоярье. Я начал было мысленно прикидывать их протяженность, пользуясь стародавней казахской мерой — лошадиной скачкой[1]. Но тут снова заговорил наш гид Шанкар Шарма. Этот спокойный и в общем-то немногословный молодой человек заметно воодушевляется всякий раз, когда представляется возможность поговорить о духе древнего индийского искусства, об его устремленности в бесконечное. И эта нескрываемая гордость за искусство своей страны привлекает к нему сердца. Ведь и действительно — все это несравненное великолепие есть проявление гения индийского народа, несмотря на то, что цари-владыки, по чьему повелению возводились эти памятники, были пришельцами тюркского происхождения, чужими здешнему народу и по языку и по вере.

Древняя крепость. Сделав круг, мы подходим вплотную к стенам из красного камня и останавливаемся в изумлении. Неужели прошло четыре столетия? Стена выглядит так, точно ее возвели вчера. Прочна, гармонична по цвету и форме, красива.

В чем же суть этого кричащего противоречия между примитивностью тогдашней жизни и этим высоким, почти непостижимым умением? Может быть, те таинственные озарения, которые вспыхивают в душе архитектора, скульптора, художника, нельзя просто механически сопоставлять с развитием науки или с социальным прогрессом?

Дворец, огражденный этим красным камнем, его залы показались нам довольно скромными сравнительно с Тадж-Махалом. Здесь нет ни ошеломляющего фасада, ни особых архитектурных украшений. Здесь все потуск-

---

[1] Двадцать-тридцать километров.

нело, все дышит мраком и тленом, запущенностью и забвением. Мелькнула мысль, что тогдашние властители были, видимо, больше озабочены местами своего посмертного увековечения, чем комфортом и роскошью земного своего странствия. Но эту мысль тут же опроверг наш гид, указавший нам на карниз одной стены огромного полуразрушенного зала. Здесь сверкала, как огонь в ночи, яркая свежая краска. Оказалось, что на этом небольшом клочке, не больше метра, был восстановлен прежний колорит стены. Это было сделано когда-то по распоряжению вице-короля Индии лорда Керзона.

Да, если мысленно раскрасить этой ослепительной золотистой краской все стены и потолок этого зала, то первоначальное мое предположение об аскетизме древних владык отпадает само собой. А если еще дать волю воображению и представить себе украшения, орнаменты во всех залах и лоджиях, на всех балконах и переходах, представить себе мебель из сандалового дерева, инкрустированную слоновой костью, нарисовать в своей фантазии золотую вышивку на бархате портьер и занавесы из тончайшего индийского шелка — то вам сразу станет ясно: нет, они кое-что понимали в земных усладах, эти потомки первого из великих моголов — Захиридина Бабура, около трех веков властвовавшие в Индии. Они старались не только обеспечить себе жизнь вечную — Баки, но и устроиться со всеми удобствами в этом бренном, суетном мире — Фани.

В большом красном зале Шарма обращает наше внимание на изображения лотоса, украшающие верхнюю часть полукруглой двери и карниз потолка. Это уже отход от отвлеченности мусульманского орнамента. Это элементы чистого индуизма, традиционные образы индийских украшений, которые при всей склонности к гиперболизму, к монументальности все же реалистичны в своей основе.

Шарма повествует нам о широте вкусов и терпимости Акбара. Когда строили этот дворец, Акбар вовсе не настаивал на соблюдении всех канонов мусульманской ортодоксии и охотно допускал элементы чисто индийского искусства. Может быть, потому, что одна из жен всемогущего Акбара была индуской. Вот как раз этот зал и служил ей жилищем.

Зал огромен и полон спасительной прохлады, как, впрочем, и весь дворец, построенный сплошь из камня. И все же нельзя позавидовать бывшим обитателям этого дворца. Они, правда, были защищены от зноя, даже от самого нестерпимого, но зато совсем не защищены от недоброго человеческого глаза. Дворец — точно музей, а не место для повседневного существования. Он весь распахнут. Дверей в обычном смысле слова здесь вообще нет. В залах — три стены. Вместо четвертой — огромный балкон, а то и просто выход на площадь. Ни на минуту не скроешься здесь от посторонних глаз.

Таков весь красный дворец. Но вот он неожиданно обрывается, и наше зрение, уже приспособившееся к красному цвету, погружается в успокоительный океан белизны.

У наследника Акбара — его сына Джахангира — был вкус, отличный от отцовского. Он расширил и достроил дворец, прибегнув к белому мрамору. Здесь явно красивей и удобнее. Залы второго этажа не соединяются между собой, а отделены, воспринимаются как самостоятельные жилища. Правда, и здесь нет окон, свет проникает через отверстия в потолке или через открытую стену, но все-таки человек не лишен возможности уединения.

На одной из открытых площадок перед нами вдруг появляются два маленьких изящных дворца из белого мрамора. Они принадлежали некогда двум дочерям властелина. Рядом с огромными залами дворцы кажутся игрушечными, зато в них настоящие двери и окна.

В сказочный мир вводит нас зеркальная комната. Пучок света, струящийся через небольшое отверстие в потолке, рассыпается по стенам, состоящим сплошь из зеркал. Но это не обычные стеклянные зеркала, а чистое серебро, покрытое сверху еще каким-то блестящим металлом. Поверхность этого металла не зеркальна в нашем смысле, то есть она не ровна, не гладка, а наоборот — вся из множества граней. Преломление лучей на этих гранях и создает феерическую атмосферу восточной сказки. В центре зеркальной комнаты — бассейн. Так легко себе представить, что и три столетия назад солнце так же сверкало, падая на этот бассейн, к которому по

трубам направлялась свежая вода, а солнечные блики играли на телах юных невольниц, когда они нежились здесь, стараясь соблазнить своей обнаженной красотой пресыщенные очи владыки.

Возникают и другие картины. Когда рухнула Великая империя моголов, восставший народ ворвался в эту обитель тиранов и, в ярости круша все вокруг, развел в залах невиданные костры, расплавившие все золото на стенах и потолке.

Нам предложили подняться на крышу дворца. Это огромная ровная площадь, украшенная крохотными, как игрушки, домиками, с куполами и кружевными стенами из белого мрамора, с беседками, похожими на казахские юрты для молодых. Но что за вид открывается с крыши дворца! Священная Джамна, убегая за высокий крутояр, выводит свои воды из таинственных извилин, а потом исчезает совсем в темно-синем мареве. Нескончаемы долины за рекой. И главное — куда бы ни обернулся,— над всем пейзажем царит Тадж-Махал.

Строго говоря, он находился справа от нас, на возвышенном берегу Джамны. Именно тут стоит он, словно белый лебедь, распластавший крылья перед полетом. Но и слева, и впереди, и позади — везде перед вами возникает чудесное видение. Это создается его отражением в маленьком зеркальце, вправленном в колонну. С поразительной четкостью это зеркальце величиной с пятачок передает очертания великого мавзолея.

Однако, как ни подчеркивает наш гид элементы чисто индийского стиля во всем этом ансамбле, все же, мне кажется, влияние ислама тоже проступает здесь очень отчетливо. Вот рядом с дворцом, за стенами крепости,— большая белая мечеть со множеством минаретов. Правда, предание говорит, что сам Железный Хромой предпочитал молитвам ратные подвиги, а внук его Улугбек — астрономию. Но зато другие потомки старого вояки немало часов проводили вместе со своими свитами под сводами этой мечети, предаваясь правоверным мусульманским размышлениям и молитве. Впрочем, погружаясь в молитвенную созерцательность, они умели одновременно ориентироваться и в хитроумных лабиринтах политики.

Спустившись снова в большой открытый зал дворца, поддерживаемый граненой мраморной колоннадой, мы

обнаружили любопытный секрет тогдашнего государственного руководства. Оказалось, что с пышно украшенного балкона, где восседал на своем троне повелитель, просматривались все колонны, все до одной. Ни одна не заслоняла другую. Благодаря этому повелитель, а также верховный визирь, сидевший несколько ниже, могли не спускать глаз с любого из своих махараджей, низамов, султанов, преклонивших колени под каждой колонной. От бдительного ока повелителя и его верховного визиря не ускользало во время всяческих совещаний ни одно движение, ни один косой взгляд верноподданного, и крамола могла быть пресечена еще у самых ее истоков. Все как на ладони! С таким расчетом и возводилась эта колоннада.

Мы возвращались несколько подавленные и лучами все распалявшегося солнца и изобилием впечатлений. Этот день вместил в себя слишком многое: и отзвуки давно ушедших времен, и явления совершенной красоты, и обильный материал для раздумий о человеке, о его удивительных возможностях.

И вот мы снова в реальности сегодняшнего вечера. Из мира древних дворцов и мавзолеев — в широко раскинувшийся современный город. Наш автомобиль снова протискивается по улице, где снуют пешеходы, велосипеды, машины... И вдруг меня точно кольнуло прямо в сердце. Я увидел странное зрелище, фантастически слившее впечатление от этой в общем-то обыденной улицы с какими-то давнишними хрестоматийными образами колониального угнетения. Неужели такое еще возможно?

Да, это был рикша. Классический рикша, именно такой, каким он изображался некогда в моей школьной хрестоматии. Точно сошедший с антиимпериалистического плаката. Тощий, дочерна иссушенный солнцем белобородый старик с головой, обмотанной черной тряпкой чалмы, сгорбясь в три погибели и напрягая до немыслимого предела все свое жилистое тело, волочил в гору маленькую крытую пролетку, в которой развалился, будто специально позируя для агитплаката, смуглый толстяк с холеными усами и с сигарой в зубах. Да под такой тушей согнулся бы, пожалуй, и конь-пятилеток!

Вся эта картина воспринималась, как чья-то бестактная шутка или сценка из бездарного спектакля. Но это был факт. Реальный жизненный факт из повседневного быта небольшого города, ведущего к храму чистой Красоты — к Тадж-Махалу.

Наше здешнее пристанище — небольшая одноэтажная гостиница, непривычная для нашего глаза. В ней нет коридора, а в номера входят непосредственно с веранды. В маленьком ресторане нас обслуживают официанты, одетые в белые камзолы, туго перетянутые в талии. Белые тюрбаны на головах, лихо закрученные усики, босые ноги, а пуще всего гибкие, до нарочитости проворные движения этих официантов — придают нашему обеду какой-то опереточный оттенок.

Зато знакомство с хозяином ресторана вводит в атмосферу психологической драмы — обычной драмы старости и одиночества. Он, конечно, англичанин, владелец этого сугубо национального индийского ресторана. Типичный «сын Альбиона», рыжий и тощий. Сначала нас несколько утомляла его стариковская суетливая услужливость. Но потом он растрогал нас жалобами на одиночество и тоску по родине, рассказом о недавнем приезде двух племянниц «оттуда»... Ностальгия — благородная болезнь. Ее понимаешь под любым меридианом.

...Когда сразу после обеда нам предложили еще сегодня же осмотреть мавзолей Акбара, мы со вздохом переглянулись. Но... как говорится, провинившийся раб усталости не знает. И вот мы снова едем по городу. На этот раз в сторону, противоположную древней крепости. Насытившись вдосталь древностями, мы теперь жадно впитываем впечатления живой жизни. Общий вид улицы совпадает с тем, что мы еще на родине видели в индийских фильмах.

Шумливый пестрый восточный базар. На фоне невысоких тесно прижавшихся один к другому домов — навесы, навесы, навесы... Множество лавок, магазинчиков, ремесленных мастерских, фруктовых и овощных лотков. Все это зрелище венчает водруженная в конце улицы круглая железная печка с казаном. На ней готовят. Тут

же, прямо на земле, едят. Босоногие, полуголые ребятишки, обжигаясь, хватают грязными ручонками только что сваренные куски.

Только уже при самом выезде из города на широкой асфальтовой дороге нам встретилась первая стройка. Над низеньким домом надстраивался второй этаж. Но где же привычная для нашего глаза строительная техника? Ее нет. С полсотни рабочих, выстроившись цепочкой, передавали кирпичи снизу вверх, из рук в руки. Движения их были идеально слаженны, плавны. Невольно подумалось: эти люди строят дом так же прилежно, с такой же полной самоотдачей, как их предки, возводившие некогда несравненный Тадж-Махал или древнюю крепость на берегу священной Джамны. Словно и не протекли три с лишним столетия.

Мы опасались, что после всех диковин этого дня не сможем воспринять еще и мавзолей Акбара. Думалось, что наступило пресыщение. Но впечатление от этого совершенного произведения искусства оказалось таким сильным, что оттеснило усталость. Мы опять — в который уже раз за этот нескончаемый день — были восхищены и грандиозностью сооружения и неповторимым своеобразием восточной архитектуры.

Снова красный камень, снова монументальные стены с четырех сторон, и в каждой из стен — свои ворота. Силуэт главных больших ворот напоминает старославянскую букву «А» с заостренным кончиком и прямыми вертикальными боковыми линиями. Общий вид этих ворот настолько необычен, что, если вы даже опытный путешественник, основательно повидавший белый свет, вы все же вряд ли отыщете в своей памяти что-либо похожее на этот высокий, вознесшийся над всем сооружением портал, эти четыре купола, поддерживаемые мягкими подпорками. К тому же купола эти не круглы, а четырехгранны. Два крыла, построенные чуть ниже, повторяют основные мотивы портала.

И снова тот же эффект легкости, грации, воздушности, заложенный в эту огромную каменную постройку.

Орнамент, украшающий поверхность ворот, наш гид сравнивает с узорами восточных ковров. По-моему, это почти кощунство. Ну какие там ковры — в конце концов прозаическая деталь быта — могут сравниться с поэзией этих ослепительных узоров из белого мрамора по крас-

ному каменному фону! Ритмика этих симметрично повторяющихся узоров снова рождает в душе восточные мелодии, которые завершаются неожиданным взлетом, как песни зычноголосого Биржана.

Да, вот он, этот неожиданный рывок ввысь — эти четыре ярко-белых минарета. Белое и красное. Полярность этих цветов (огонь и вода, страсть и успокоение) подчеркивается резкой, как взмах клинка, гранью. Тонкие, уводящие в небо минареты опоясаны балкончиками. Их воздушные купола, поддерживаемые, словно тонкими пальцами, узенькой колоннадой,— все это гениально задуманный антипод громадного, раскинувшегося вширь мавзолея. Вам как бы бросают вызов: попробуйте-ка проглотить сразу огонь и лед. При первом взгляде в нас начинают бунтовать привычные школярские эстетические представления. То, что вы видите, кажется вам дерзостью, нарушением законов гармонии...

Но если вы воздержались от этой мгновенной примитивной реакции, если вы сумели постоять несколько минут молча, сосредоточенно вглядываясь в творение Мастера, то вы почувствуете: этот миг вашей жизни существенно обогатил вас. И вы понимаете, что ошиблись, спутав дерзновение с дерзостью, понимаете, что перед вами не произвольные парадоксы архитектора, а произведение, пронизанное глубочайшей мыслью, соразмеренное величайшим художественным тактом.

Помимо чисто эстетического наслаждения я испытываю при взгляде на большой дворец-ворота и какое-то сугубо личное волнение. Передо мной нечто родственное, напоминающее архитектурный стиль нашей Средней Азии. Эта легкость линий, аскетическая скупость в украшениях и тонкая одухотворенность всего комплекса — все эти классические свойства архитектуры, выражающей мысли и чувства просвещенного мусульманства,— будят во мне какую-то прапамять.

Мы проходим ворота, и вот перед нами сам мавзолей Акбара. Его нижний зал, сделанный из красного камня, по высоте равен примерно современному четырехэтажному дому. Верхняя часть мавзолея — сплошь белая. Над порталом — громадный купол, очень похожий на ярко украшенный паланкин на спине слона. Это уже мощное проникновение индийского стиля, своеобразный сплав мусульманской и индийской традиций.

Движемся вперед и по выходу, напоминающему пещеру, спускаемся к самой могиле Акбара. Очень высокий куполообразный свод. Оттуда, сверху, через скупое отверстие струятся тоненькие лучи света. Это проникновение солнца в усыпальницу мусульманина наш гид трактует очень широко, как верный знак усиления влияния индуизма.

— Акбар отличался веротерпимостью,— говорит Шарма,— будучи правоверным последователем Магомета, он не ограничивал свободу исповедания индуизма, а главное, с глубоким уважением относился к индусскому искусству. Вот и в архитектуре этого памятника как бы слились мусульманский культ луны и индуистский культ солнца.

Я не вступаю в дискуссию с нашим гидом, но внутренне я с ним не согласен. Я знаю, что Акбар хотел создать новую религию — дин, объединив ислам с индуизмом. Но из этой затеи ничего не вышло. Мне кажется, что не произошло и органического слияния двух далеких один от другого стилей, что эти два слоя явственно проступают во всем облике памятника. Если большой дворец-ворота так поразил меня близостью к памятникам Средней Азии, то в самом мавзолее — явное преобладание элементов индийского стиля.

Я нисколько не претендую на бесспорность суждений — о вкусах, как известно, не спорят,— но я отдаю предпочтение дворцу-воротам с устремленными в небо белыми минаретами по углам. Сам же мавзолей представляется мне несоразмерно разбросанным. Меня утомляет нагромождение окон и минаретов. Мне видится в этом нарушение пропорций. Но, может быть, я ошибаюсь? Может, и к этому надо приглядеться подольше, повнимательней?

Так или иначе, но стены мавзолея, выдержавшие четырехвековое испытание, вряд ли дрогнут и от моих критических замечаний, к тому же весьма условных и несмелых.

Мы медленно проходим через все четыре этажа, и пространство под нами последовательно суживается, зал, размещенный на первом этаже, кажется все меньше. Пятый этаж, венчающий сооружение, окружен мраморной решеткой, украшенной все той же тончайшей резьбой.

В середине открытого зала с четырехугольным куполом — инкрустированное надгробие, похожее на громадный слоистый камень. Оно стоит точнехонько над могилой Акбара, которую мы видели на первом этаже. Надгробие вознесено на такую высоту, чтобы ни единое живое существо, кроме разве перелетной птицы, не осмелилось переступить священный прах.

Мне захотелось окинуть взглядом окрестности мавзолея, и для этого я спускаюсь с пятого этажа, где мраморная решетка затеняет перспективу, на четвертый. Отсюда видны все четверо ворот. Только на северных различимы некоторые следы времени. Остальные стоят как ни в чем не бывало. Четыре столетия не отразились на их красоте.

Спустился вечер. Наконец-то мы с облегчением вздохнули, жадно впитывая в себя свежесть. Нет, все-таки этот нещадный зной не может не влиять на трудоспособность. Впрочем, индийцы уверяют, что сейчас еще достаточно прохладно, что вообще март — прохладный месяц...

Когда смотришь сверху, тебя поражает девственность, первозданность открывающегося ландшафта. Никаких признаков современного индустриального мира. Где-то очень далеко, почти на линии горизонта, две заблудившиеся трубы. Они только подчеркивают целостность картины, только напоминают о великом счастье — впитывать этот чистейший озон, поднимающийся от огромного сада, раскинувшегося по всей долине.

— Разве вы не знаете этого мусульманского обычая — окружать кладбище со всех сторон садами? — спросил наш гид.— При постройке мавзолея Акбара это условие было соблюдено.

Я сразу воспроизвел в памяти наши казахские кладбища, потом вспомнил знаменитый Шах-и-Зинда в Самарканде. Да что там... Даже окрестности прославленного на весь мир Гур-Эмира совершенно пустынны. А ведь там покоится прах Тамерлана, «потрясшего мир» Железного Хромого, воинственного предка Акбара и Шахджахана. Там погребен и великий ученый древности — астроном Улугбек.

Да-а... Их потомки не только превосходили своих отцов в умении предаваться земным усладам, но и в умении увековечивать свою память.

Мои спутники трудолюбиво щелкают своими фотоаппаратами. А мне что-то не хочется. Я погружен в созерцание райских садов.

— Это место носит название «Райский сад»,— подтверждает мои невысказанные мысли наш гид.

Сияние алых цветов. Неустанное пение птиц. Настоящий Эдем. Обезьяны прыгают по деревьям и игриво раскачиваются, зацепившись за ветки длинными хвостами, да на вершинах деревьев дремлют, нахохлившись, голошеие грифы. Так и кажется, что сейчас из-за кустов вдруг мелькнут фигуры наших общих прародителей — Адама и Евы.

Он пришел из детских снов, этот удивительный райский сад. Он пронзительно напомнил начало жизни, вызвал какие-то полузабытые чувства, не очень-то укладывающиеся в слове. Что-то вроде полета, сладостного обмирания, и грусти о чем-то, и счастья впереди. И хотя сквозь синеватую сетку марева, простершегося над садом, я снова увидел зыбкий силуэт Тадж-Махала, в этот момент не хотелось думать ни о чем рукотворном. Хотелось длить — еще хоть немного — чувство слитности с природой, с породившим нас Целым...

Вечерняя синяя тишина становилась все гуще. Далекие бледные огни города несмело мигали, как бы стесняясь сравнения с нежно-алыми лучами уходящего солнца. Неужели это то самое солнце, что так беспощадно жгло сухого, жилистого изможденного старика-рикшу? Того, который волочил, вылезая вон из кожи, черноусого толстого верзилу, развалившегося в повозке?

3

На берегах священной реки. «Уан рупий!» По следам Шехерезады. Храмы и университеты.

Я знал, что в старой белокаменной Москве церквей было «сорок сороков». Я помнил шутливую историю о том, как татарский мулла, состязаясь с Абубакиром Кердеры, известным казахским поэтом прошлого, ошеломил противника, заявив, что в Казани сорок тысяч мечетей.

Но даже эта гиперболическая цифра не подошла бы для решения вопроса о том, сколько же храмов в Бенаресе. Официальная статистика утверждает, что их здесь всего полторы тысячи. Не может быть... А не пропустили ли вот этот, с плоской крышей? Или тот, островерхий? Или вот этот, шершавый, как ласточкино гнездо? А вот этот, с яркой многослойной крышей, вроде китайской пагоды?

Город буквально наводнен храмами. Они не знают здесь специальных площадей, не претендуют на особые места, в стороне от будничной толчеи. Наоборот, они примащиваются иной раз в самых неподходящих углах, среди тесно сгрудившихся построек, в самом центре столпотворения, где кишмя-кишит народ — мужчины в белых штанах и рубахах и женщины в разноцветных ярких сари, с легкими платками на плечах.

Мимо бесчисленных храмов несется поток велорикш и отрешенно бродят коровы, нисколько не похожие на наших простодушных буренок. У здешних «священных» коров вид аскетический. Они тощи, мосласты, острогорбы. Они меланхолически подбирают кожуру у фруктовых лавок.

В лавчонках недостатка нет. Базар, базар, нескончаемый базар. Чем только не торгуют... И стеклянными браслетами, и какими-то неслыханными целебными травами, и шелковыми шалями. В глазах рябит от пестроты товаров и толпы покупателей. Жилье торговца, мастерская ремесленника — все тут же, в этой лавчонке. И сам хозяин, скрестив ноги, сидит на прилавке.

В Бенаресе мы впервые ощутили подлинный дух Индии, почувствовали, как велика и многолика эта страна с ее древней историей, сложной культурой, своеобразными обычаями. Особенно рельефно было это ощущение после только что увиденной Агры, наполненной памятниками в стиле мусульманского Востока. Здесь, в Бенаресе, наоборот, царит дух индуизма. Может быть, путешественнику-европейцу, воспринимающему традиционные атрибуты Востока в русле привычных общих представлений, и не так бросится в глаза разница между Агрой и Бенаресом. Но для меня лично ясно: это два совершенно разных мира. Ведь я и сам человек Востока, и мне-то уж вполне очевидны отличия одного Востока от другого. Мне даже кажется, что именно на Востоке наи-

более ярко выявляются своеобразные, неповторимые черты каждого народа, особенности быта, искусства, мышления. Ведь тенденция к одинаковости, к стандартизации вкусов, образа жизни, манеры мыслить и чувствовать идет не с Востока, а именно с Запада.

И вот уже второй день, как мы пытаемся постичь суть подлинно индийского города Бенареса, уловить его пульс, войти в его ритм. Это трудно. Город так тесен, пестр и многолюден, что окунуться в самую гущу здешней жизни — не простая задача для иностранца. А не окунувшись, не разберешься, что к чему, останешься поверхностным наблюдателем.

Гостиница, где мы остановились, носит звучное имя — «Париж». Это одноэтажное, маленькое, окруженное дувалом здание — совсем неплохой наблюдательный пункт, отсюда можно хоть сколько-нибудь присмотреться к быту города.

Чтобы представить себе степень многолюдия на улицах Бенареса, вспомним московскую толпу на переходах метро в час «пик» предпраздничного дня. Именно такой сплошной поток тесно сбившихся людей движется в Бенаресе по самой середине улицы. По вечерам кажется, что все население выгнали из домов в административном порядке. Просто уму непостижимо, каким образом велорикши находят щели, чтобы вклиниться в этот сплошной живой поток.

Увидев впервые рикшу на улицах Агры, я был потрясен. Здесь, в Бенаресе, от этих рикш в глазах рябит. И я даже слышал серьезные рассуждения о «техническом прогрессе» в этом виде транспорта. Дескать, прежде, как известно, рикша впрягался сам непосредственно в маленькую двуколку. А теперь, мол, эта двуколка под небольшим навесом пристроена к велосипеду, и рикше остается всего-навсего поэнергичнее крутить педали.

Всего только... Нет, к этой картине привыкнуть немыслимо. Человек, впряженный в повозку другим человеком. Это уже не просто мученик, полусожженный солнцем, существо с дубленой кожей и широкими струями пота на лице. Это — символ бесчеловечности, это живое напоминание о том, с чем нельзя смириться.

Самый медленный и ненадежный способ передвижения в этом городе — это автомобиль. К такому выводу

мы пришли на собственном опыте. Чем глубже мы погружались в живое месиво толпы, тем плотнее шли пешеходы и тем невозможнее становилось продвижение нашего вместительного форда, который мог бы без особых усилий развить двухсоткилометровую скорость, а здесь, в Бенаресе, шел сначала темпом велорикши, затем перешел на ослиную трусцу и наконец начал, как стреноженная лошадь, останавливаться через каждые два-три шага. Не случайно в этом городе так мало машин.

Бенарес, колыбель индуизма, стоит на берегу священной реки Ганг. Ее воды исцеляют от всех болезней. Их, эти волшебные воды, набирают в большие кувшины и увозят в ближние и дальние деревни, где все страждущие трепетно ждут святой воды. В Ганге купаются не только для избавления от мук физических, но и для духовного очищения, для того, чтобы освободить свой дух от ненасытных позывов греховной плоти.

Нельзя быть в Бенаресе и не побывать на берегу Ганга. И мы, конечно, отправились туда, дождавшись второй половины дня, в тщетной надежде на то, что жара спадет. Сначала мы ехали в машине. Но в ней добраться до берега не удалось. За несколько кварталов пришлось оставить автомобиль и отправиться дальше пешком, буквально проталкиваясь локтями сквозь нескончаемые толпы народа.

Внезапно и стремительно спустилась южная ночь. На черном плюшевом небе зажглись звезды. Мы движемся в общем потоке, не спрашивая о дороге, уверенные, что толпа вынесет нас к Гангу. А вокруг, несмотря на ночь, все кипит и кипит торговля. По обе стороны улицы, по краю тротуара, поджав под себя ноги, сидят гусиным рядком бойкие торговцы. Их товары разложены на циновках, на холщовых мешках. Бесконечные лавчонки, лотки теснят друг друга, сталкивают в глубину тротуара. Непременный атрибут улицы — все те же коровы, которые бродят, покачиваясь, обводя всех своим отрешенным философическим взглядом.

— Далеко еще до Ганга?

— Квартала три будет.

Чем ближе к священной реке, тем больше уличная картина напоминает кочевье старого казахского аула. Только куда многолюднее. Вспоминаются и пушкинские цыгане. «Они сегодня над рекой в шатрах изодранных

ночуют...» Тут и шатров-то нет. Прямо на расстеленных мешках лежат мужчины в ожидании ужина. Женщины готовят еду тут же, на железных печурках вроде пресловутых «буржуек» времен нашей гражданской войны. Полуголые или совсем голые ребятишки пищат и цепляются за материнские подолы. Почти все дети попрошайничают. И многие делают это уже вполне профессионально. Маленькие оборвыши наметанным глазом сразу различают иностранца, и тогда уже нет прохода. Окружив нас плотным кольцом, они протягивают сложенные лодочкой ладошки. Дитя, вымаливающее милостыню... Вот это подлинно невероятное зрелище для нас!

Некоторые ребятишки уже догадались, что подаяние будет тем щедрее, чем больше сумеешь выделиться из ряда, привлечь к себе внимание. Тщедушное голенькое тельце девятилетней девчушки размалевано белыми полосами, точно шкура тигренка. Той же краской разрисовано и все ее лицо. Подглазницы густо вымазаны красным. Грязные, засаленные коротко остриженные волосенки топорщатся ежиком. Маленькое страшилище не протягивает руку, а слегка шлепает прохожих хлопушкой-мухобойкой. Потом выразительно тычет себе грязным пальчиком в рот.

Но вот среди толпы маленьких нищих выделяется предприимчивый семилетний коммерсант. Он вызывает симпатию. Не клянчит человек, пытается заработать честным трудом. Он продает вырезанные из камыша свирельки. Товар лежит в маленькой торбочке, висящей на шее. Мальчишка демонстрирует качество своего инструмента, поднося свирельку ко рту и выводя несколько тактов странной пронзительной мелодии. Потом тоненьким дребезжащим голоском выкрикивает цену своего товара:

— Уан рупий! Уан рупий!

Такую коммерцию грешно не поддержать. Я приобретаю свирельку и, расплачиваясь с купцом, мысленно воспроизвожу рядом с его озабоченным лицом веселые озорные глазенки его ровесника — моего оставшегося на родине сынишки. Ему этот торговец свирельками был бы непонятен, как обитатель другой галактики.

Странная мелодия, издаваемая свирелькой, и ломкий стеклянный голосок мальчишки привязались ко мне надолго. Уже мы вышли к берегу Ганга, а в моих ушах все еще звенело: «Уан рупий! Уан рупий!»

Но вот наконец и берег священной реки. Высокий крутой берег Ганга. Конец улицы, по которой мы шли, упирается в гранитные ступени. Смолк, почти иссяк и нескончаемый базар. Теперь мы движемся в толпе паломников.

Кругом нас люди того типа, который в древней Руси выразительно назывался «калики перехожие». Это какой-то парад нищих, сирых, убогих, обездоленных. Острые ребра выпирают под темной, точно обугленной, кожей полуголых старцев. Живописные лохмотья, как с гвоздиков, свисают с плеч древних старух.

Я едва удерживаюсь на ногах, чтобы не наступить на седые космы больного старика, что умудрился заснуть на грязной ветошке, расстеленной прямо на гранитных ступенях. Пониже его сидит урод, точно сошедший с картины Гойи. Рядом с ним — обрубок человека без обеих ног, без одной руки, горбатый, одноглазый... Из каких страшных снов он явился? В каком кошмаре родился тот нечеловеческий стон, с каким он протягивает за милостыней свою единственную руку?

Что больше всего потрясает — это та спокойная будничность, с которой на таком фоне развертывается повседневная жизнь людей. Многие купаются. Женщины стирают белье. На маленьких лодчонках, стоящих у берега, тоже копошатся люди, идет какая-то хозяйственная возня.

Здесь уже сложился свой особый быт, не считающийся со сменой дня и ночи. Когда на утро следующего дня для нас была организована лодочная прогулка по Гангу, мы увидели на берегу реки точно ту же картину, что наблюдали ночью. То же многолюдье. И люди все так же непрерывно купаются, умываются, стирают белье, чистят рыбу, моют посуду. Древняя священная река безропотно принимает в себя все отбросы такого большого, такого перенаселенного города. Но от этого она не перестает восприниматься как священная. И тот черный изнуренный человек, что, стоя по пояс в реке, истово и шумно полощет горло водой, полной нечистот, конечно же, незыблемо верит в чудотворные свойства вод Ганга.

Как объяснить все это? Легче всего было бы повторять избитые места традиционной западной литературы начала века. О пестроте индийских верований и суеве-

рий, обрядов и предрассудков, о неистребимом фатализме, о загадочных свойствах индийской души... Но подобные рассуждения поверхностны. Их авторы нарочито закрывают глаза на вопрос о последствиях чужеземного ига, на то, что, по данным экономистов, население Индии в начале двадцатого века страдало от голода больше, чем в начале века восемнадцатого.

Вот почему Индия живет как бы одновременно и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Века уживаются рядом. Это мы почувствовали особенно ясно здесь, в Бенаресе, где могли наблюдать эти картины на берегу Ганга и в то же время общаться с людьми вполне современными, с людьми высокой культуры и высокого строя души.

Я имею в виду нашу встречу с местными писателями и журналистами, которая была организована здешней Литературной академией на языке хинди — филиалом уже знакомой нам общеиндийской академии.

Да, толпы нищих бездомных паломников на берегах священного Ганга — это драматическое прошлое страны, отзвуки трагедии, пережитой этим вдохновенным и добрым народом. Отличная библиотека, с которой мы ознакомились в Бенаресском филиале Литературной академии, изобилие недавно изданных книг, в том числе шестнадцать томов энциклопедии хинди,— это настоящее и будущее Индии.

И когда мне выпала честь выступить в качестве руководителя делегации советских писателей перед полусотней индийских литераторов, пишущих на языке хинди, я искренне волновался. Удастся ли мне найти слова, чтобы обобщить свои противоречивые, пестрые впечатления? Меньше всего тут подходили сухие официальные декларации, считанные с бумажки, переполненные цифирью.

Слушая — хоть и в переводе — красноречивые выступления местных литераторов, я в который раз мысленно одобрил себя за привычку выступать без бумажки. Было бы очень неловко читать по готовому тексту после задушевных речей этих людей, владеющих ораторским искусством. Не мучил я их и цифровыми данными. Кстати, я вообще абсолютно не перевариваю цифр. Я предельно глух к ним. Они скользят мимо моего сознания. И мне пришлось перед поездкой в Индию сделать над

собой усилие, чтобы усвоить хоть основные цифровые данные в области наших культурных, в частности литературных, связей с этой страной. Но одну цифру я все-таки назвал, и она прокатилась по залу, отозвавшись радостным гулом. Семьсот две книги индийских авторов изданы на русском языке за последнее двадцатилетие.

Наши хозяева так ликовали, узнав об этом, такой неподдельной братской дружбой веяло от каждого их слова, что на душе стало тепло. И я еще раз порадовался, что говорил не слишком официально, и еще раз огорчился, что с утра в гостинице, несмотря на несусветную жару, я мужественно напялил на себя пиджак. Да еще и галстук нацепил! А перед такими людьми совсем не надо было застегиваться на все пуговицы ни в буквальном, ни в переносном смысле слова.

С молниеносной оперативностью местные журналисты отразили нашу встречу в бенаресской газете. Репортаж был озаглавлен: «Семьсот две книги индийских писателей на русском языке». Изложение моей речи заканчивалось так: «Руководитель делегации советских писателей, рассказав о том, как торжественно отметил советский народ столетие со дня рождения великого сына Индии Махатмы Ганди, выразил надежду, что народы Индии так же торжественно отметят столетнюю годовщину со дня рождения великого вождя советского государства В. И. Ленина».

...В Бенаресе наш гид сумел показать нам зрелище в своем роде неповторимое — ночной базар. Он повел нас туда прямо с берега Ганга, где мы задумчиво стояли, глядя то на отблески городских огней в священных водах, то на аспидно-черное небо, на котором южная луна лежит как бы плашмя, а звезды — огромные до неправдоподобия — горят, как далекие костры. Ага, вот и Полярная звезда. Она здесь несколько ниже, чем у нас. Минутный укол в сердце. Вон там она, моя родина... Далеко, очень далеко от меня...

По пути на ночной базар Шарма предложил нам держаться вместе, чтобы не потерять друг друга, не отстать от него. Ведь нам опять предстояло протискиваться сквозь толпы, сокрушая локтями то потные человеческие тела, то тощие бока бродячих коров.

К базару ведет тесная, кривая, извилистая улочка.

Сквозь нее пробираешься точно сквозь ущелье. Но по обе стороны этого ущелья — огни, огни, огни. Они многоцветны, переливчаты, от них рябит в глазах. Это огни бесконечных лавок, лавчонок и магазинов, буквально налезающих друг на друга. Использован каждый сантиметр площади. На самом крохотном клочке, притиснувшись к стенам домов, под небольшим тентом стоят торговцы со своими товарами. Те магазины, что покрупнее, побогаче, развернули свои витрины, втиснувшись в самую глубину стен. И весь этот узкий каменистый колодец, весь этот бесконечный ряд «торговых точек» затоплен электрическим светом.

А товары! Хотел бы я посмотреть на того товароведа, который смог бы сотворить опись этих товаров! На любой вкус, на любой карман. Дорогие и дешевые, стеклянные и жемчужные, шелковые и бумажные, стандартно-традиционные и прелестно-оригинальные. Необходимые в хозяйстве житейские вещи: кувшины, чашки, половники, рюмки. А рядом с ними плоды буйной фантазии: фигуры танцующего четверорукого бога Шивы или другого бога с головой слона. Драгоценные каменья, мрамор, золото, сандаловое дерево, слоновая кость... У какой женщины не разгорелись бы глаза на эти вышитые бисером сумки, покрывала, платки, на отрезы разноцветных тканей!

Это подлинно восточное сказочное изобилие и цветистость озарены мощным потоком рекламных огней, которые в нашем представлении всегда связываются с Западом. Но здесь даже этот «цивилизованный» электрический свет выглядит по-восточному сказочно. Он пляшет на пестрых товарах, то сливаясь в одном ослепительном сиянии, то рассыпаясь на миллионы крохотных цветных блесток. Вспоминаю казахское выражение: «Девяносто цветов огня». Нет, тут не девяносто... Куда больше... И среди них оттенки, не имеющие словесного обозначения на знакомых мне языках.

Первое, что приходит вам на ум, когда вы погружаетесь в глубину этого ночного базара,— это «Тысяча и одна ночь». Точно вы спите, и вам снится знакомая с детства сказка Шехерезады. Не беда, что арабская сказка предстала здесь перед вами в индийском варианте. Откуда же, как не из «Тысячи и одной ночи», могли явиться эти угольно-загорелые, степенные, немногословные куп-

цы в белых без ворота рубахах? Они сидят, скрестив ноги калачиком, на своих подстилках, снисходительно поглядывая на снующих взад и вперед вертлявых, ловких мальчишек в одних набедренных повязках, на мальчишек, похожих стройностью и темным блеском кожи на отполированные статуэтки.

А женщины! Легкие, грациозные, обтянутые яркими сари, подчеркивающими женскую округлость линий, они все выглядят родными сестрами Шехерезады. Их черные глаза блестят, как электрические огни витрин. Их взоры обволакивают прохожего иностранца пряной атмосферой восточной сказки. И вам не хочется прерывать этот сон наяву, а хочется еще и еще бродить по этому разливу огней, теша свой взор невиданными изделиями из диковинных материалов.

Мы не довольствуемся товаром, лежащим у самой обочины, в лотках. Через широкие двери мы заходим в магазины, похожие на выставки драгоценных изделий, сделанных подлинными мастерами. Витрина — во всю стену. Застекленные ящики с товаром — и в центре, и по углам магазина. И кресла для покупателей. Вас не торопят. Напротив, предлагают посидеть, отдохнуть, полюбоваться товаром. Продавцы помогают вам. Они с неутомимой готовностью и проворством раскладывают перед вами все новые и новые образчики. Они красноречиво расхваливают все, чем богат магазин, но ничуть не сердятся, если вы уходите, так ничего и не купив. Напротив, вас благодарят за внимание, вам улыбаются, приглашают зайти снова. Если у вас есть в кармане хоть что-то, вам и самому не хочется уходить из такого магазина с пустыми руками.

Интересный парадокс. Именно здесь, на этом ночном базаре, где, казалось бы, должен царить дух наживы и приобретательства, как-то очень отчетливо видны психологические особенности индийского характера — склонность к раздумью, к уходу в свой внутренний мир. О чем, например, думает вот этот человек, сидящий на корточках? У него матовая кожа, а волосы черные и блестящие, как мех выдры. Он выглядит гладким и благополучным, точно хорошо ухоженный конь пятилеток, у которого к зиме шерсть лоснится. А в лице его разлит такой полный душевный покой, такое углубление в себя, что вы воспринимаете его отнюдь не как торгаша, а имен-

но как созерцателя, наслаждающегося какими-то тайнами, только ему доступными духовными ценностями. И он не одинок. Их не так уж мало — людей, задумавшихся о чем-то своем в самом центре базарной сутолоки.

Неожиданно в сказку Шехерезады врывается сигнал двадцатого века. Внезапно в один миг гаснут все огни и на смену ослепительному электрическому морю на нас опускается непроницаемо-черный мрак.

— Не пугайтесь! Военные ученья! Гражданская оборона на случай нападения с воздуха! — разъясняет наш гид и вслепую выводит нас к какому-то дому. Вслед за ним, ощупью, поднимаемся по ступенькам на второй этаж.

Это магазин тканей. Здесь наглухо занавешенные окна. Здесь горит свет. Любезные, предупредительные продавцы наперебой помогают нам скоротать время воздушной тревоги, демонстрируя свои товары. А может быть, господа иностранцы и купят что-либо, соблазнившись красотой?

Красота, действительно, неописуемая. Прославленные вышивки, сделанные мастерицами Бенареса, известны по всей Индии. Украшенные этими вышивками сари выглядят настоящими произведениями искусства. Ткань, вышитая золотом, живет и дышит. Рисунок вспыхивает и уходит в тень, мерцает и разливается потоком. Вот уж подлинно золотыми руками вытканы эти золотые узоры!

Сказочное очарование Бенареса несколько тускнеет, когда гаснут ночные огни. Совершая дневную лодочную прогулку по Гангу и медленно поднимаясь вверх по реке, мы куда более трезвыми глазами оцениваем город. Все-таки гнетущее явление — эта необычайная теснота. Типично южные, открытые, окаймленные множеством балконов тонкостенные дома стоят плотным частоколом, впритык один к другому. Беспомощно жмутся к большим домам дома-малыши. Новые пяти-шестиэтажные здания нависают над старыми двухэтажными, как бы угрожая вытолкнуть их. Точно какая-то злая сила согнала на этот клочок прибрежной земли все эти тесные ряды домов, которые с трудом удерживаются у самой кромки воды. Кажется, еще один толчок — и все это сползет, рухнет в воду, рассыплется, как карточные домики.

Что будет тогда с людьми, с бесчисленными толпами

людей, которыми кишмя-кишат и дома и улицы? Может быть, их спасут многочисленные гранитные лестницы, похожие на нашу одесскую? Наверно, именно на это и надеются многие, потому что ступени лестниц, ведущих к священной реке, тоже почитаются здесь как святыни. Там, где ступени вплотную подходят к воде, возвышаются высокие четырехугольные нары. Отсюда приверженцы индуизма созерцают священную реку и молятся ей. Впрочем, и храмов на берегах Ганга тоже немало. Так что помолиться есть где.

Мы обращаем внимание на один из храмов, стоящий по пояс в воде. В сезон дождей Ганг выходит из берегов. В иные годы вода поднимается на пять-шесть метров. В один из таких сезонов вода подмыла грунт под этим небольшим храмом, и фундамент его осел.

Такие происшествия обычно возбуждают народную фантазию. Так и здесь. Мы узнаем нравоучительную легенду о беспутном сыне благочестивой Ахилии-бай, некогда правившей княжеством, стоявшим на месте нынешнего Бенареса. Однажды, ужаснувшись своей греховностью, молодой князь, чтобы смягчить гнев богов, решил возвести этот храм. Но боги не приняли дара грешника. Они потопили отвергнутый ими храм.

Храмы Бенареса — этой колыбели индуизма — очень много дают для понимания чувств и верований народа. В центре города, в тисках сгрудившихся старых домов, стоит Золотой храм, некогда высокий и величественный, с овальным куполом, отделанным чистым золотом. Но царь Аурангзеб, огнем и мечом насаждавший здесь мусульманство (тот самый Аурангзеб, что пришел к власти, убив трех старших братьев и заточив в тюрьму отца), приказал превратить Золотой храм индуистов в мечеть. Преследуемые индуисты перенесли свой главный храм в небольшой домик по соседству. Мы поднимаемся по узенькой лестнице соседнего дома на маленькую, засиженную птицами площадку, откуда можно беспрепятственно наблюдать за молящимися. Мы видим скопление страстно верующих людей. Среди них немало фанатиков с вдохновенными лихорадочными взорами, бледными, изможденными лицами. Их молитвенный экстаз проявляется не только в выражении лица, но и в резких, порывистых телодвижениях. Они неистово бьют земные поклоны, вздымают руки вверх, прикладывают их ко лбу и

к груди. Через века преследований и гонений пронесли они свою веру, и не повлияли на них ни разгром Золотого храма, ни новая высокая мечеть с десятью минаретами, построенная тем же Аурангзебом.

Нам довелось в Бенаресе увидеть собственными глазами индуистские похороны — обряд сожжения тел усопших. Еще с лодки мы приметили на берегу Ганга какую-то площадку, с которой подплыла баржа, груженная лесом. Несколько человек встречали баржу. Они с поразившей нас быстротой и слаженностью движений проделали на наших глазах ряд последовательных операций с этим лесом: сгрузили, распилили, сложили штабелем вышиной примерно в метр. Затем с таким же проворством и деловитостью эти люди положили на штабель туго завернутого в красную ткань покойника. Поверх тела — еще два-три ряда дров. Потом юноша поднес к этому сооружению факел, и дрова — очевидно, очень сухие — мгновенно вспыхнули. Через несколько минут пламя уже бушевало, вознося к небу дым — символ эфемерности и бренности нашей материальной жизни. Пепел, который останется после того, как погребальный костер отпылает, будет брошен в священные воды Ганга, что обеспечит душе покойного слияние с бесконечностью и растворение в вечном блаженстве.

Пока мы плыли мимо площадки, к ней поднесли еще два трупа, также завернутые в красное...

Мы уже вроде привыкли к кричащим контрастам Индии. Здесь выглядит естественным многое, что в Европе было бы воспринято как режущее противоречие. И потому нас уже нисколько не удивляет, когда после знакомства с чудесами священного Ганга наш гид предлагает нам познакомиться с тремя или хотя бы с одним из трех университетов Бенареса. Да, да, этот город, который, к слову сказать, всего лишь районный центр, входящий в штат Уттар Прадеш, имеет целых три университета, не говоря уже о множестве других учебных заведений. Широко представлены гуманитарные науки. В составе одного из университетов — Кашивидиапит — только гуманитарные факультеты. О филиале Литературной академии мы уже знали.

— Не удивляйтесь,— говорит наш гид,— ведь население Бенаресского района составляет два с половиной миллиона человек.

...Новая неожиданность! Оказывается, в этом древнейшем очаге индийской культуры бунтуют студенты. Бунтуют самым наисовременнейшим манером, не хуже, чем в Париже или в Западной Германии. Так что университет, запланированный для нашего посещения, временно закрыт, и уважаемые господа туристы благоволят ограничиться внешним осмотром университетского городка.

Двенадцать колледжей университета разбросаны по большому зеленому массиву. Учебные корпуса и общежития размещены в роскошном саду. В университетском музее богато представлена древнеиндийская скульптура. Мы снова имеем возможность подивиться дарованию этого народа, его умению выразить в причудливых формах свое мироощущение.

На нашем пути — все новые и новые храмы. Входят ли они в число тех полутора тысяч, которые значатся по статистике? Вот, например, этот, построенный местным богачом в стиле модерн, без традиционной резьбы на стенах и куполах? Или тот, что в самом центре города, тоже блещущий новизной, отделанный и снаружи и изнутри мрамором, хоть и не таким ослепительно белым, как мрамор Тадж-Махала?

У входа в этот храм — изображение бога, кажущегося живым. Он человеческого роста. Он поворачивает шею и укоризненно, как китайский болванчик, покачивает головой. И в такт ему качает своей лохматой головой местный юродивый, один из тех, чьей бороды и усов в жизни не коснулась бритва. Лоб его густо намазан белой глиной, пересечен красной линией. Это недоступный нашему пониманию знак причастности к чему-то. На тщедушном теле юродивого единственный лоскут — набедренная повязка, которая тщится хоть «срам прикрыть». Этот человек мог бы с полным правом сказать: «Все мое ношу с собой», потому что, волочась заплетающимися ногами по храму, он таскает за собой грязный холщовый мешок, содержащий все материальные ценности, которые обременяют его в этом мире.

Зато какое богатство в стенах храма! Эти стены снизу доверху покрыты письменами санскрита. Здесь весь текст древней эпической поэмы «Рамаяна».

...Кончается наш насыщенный острыми впечатлениями день. В ресторане гостиницы нам обеспечен самый

современный сервис. Быстроногие официанты проявляют ангельское терпение, ожидая, пока мы решим вопрос о выборе блюд, описанных в меню на английском языке. В этом деле к нашим услугам всегда полное содействие метрдотеля, элегантного джентльмена, облаченного в пиджак и галстук невзирая на самый лютый зной. Как только метрдотель замечает наши затруднения с выбором блюд, он стремительно бросается к нам, обогнув стол, становится сбоку, заученным любезным движением склоняет голову и говорит таким тоном, точно здесь решаются мировые проблемы:

— Сэлед? О йес, сэр... Сэлед вери гуд... Кари? О йес, сэр... Кари вери гуд...

Мы подшучиваем над Майей Ганиной. Скорее всего именно ее женские чары так неудержимо влекут к нашему столику элегантного метрдотеля. А он и впрямь выглядит эффектно со своей худощавой стройной фигурой, прямолинейным очерком лица и выражением любезной озабоченности во всех движениях.

— Силен! Просто кандидат ресторанно-кулинарных наук! — шепчемся мы по-русски.

И вдруг выясняется, что наш гостеприимный хозяин и впрямь кандидат. С отличным университетским образованием. Кандидат искусствоведения! После такого признания нам уже неловко беседовать с ним о салатах и бифштексах. Пытаемся втянуть его в интеллектуальный разговор о Рабиндранате Тагоре, о Льве Толстом... Но наш собеседник опять-таки любезно восклицает:

— Тагор? О йес, сэр! Тагор — вери гуд. Толстой? О йес, сэр! Толстой — вери гуд!

Все с той же метрдотелевской интонацией. О страна чудес!

4

Во дворце магараджи. Царственный бизнесмен и его дочь. Первое апреля — день простаков.

Итак, мы отправляемся с визитом к самому бенаресскому магараджа! Во дворце уже ждут нас, и к нам для сопровождения прикомандирован инспектор Варма —

невысокий коренастный человек средних лет с ястребиным профилем и аккуратной полоской усов, так часто встречающихся здесь. Это очень общительный собеседник, не чета нашему сдержанному гиду Шарма. Едва познакомившись, Варма хочет сообщить многое о себе и узнать по возможности все о вас. Вот он уже с интересом осведомляется, есть ли у меня дети, а заодно и сам доверительно сообщает, что он отец пяти очаровательных малюток, что это очень радостно, однако одновременно создает немало материальных затруднений.

— Вот магараджа, тому государство выплачивает пенсию в пятьсот тысяч рупий. Да доход от собственного имения — не меньше полумиллиона. А послушали бы его! Вечные жалобы на нехватки...— торопливо вводит нас инспектор Варма в курс дела.

Дорога ко двору магараджи довольно далекая. Проезжаем длинный высокий мост в верхней части города, снова спускаемся к реке и долго едем вдоль набережной. Путь этот дарит нам новые достопримечательности. Вот, например, большой четырехугольный бассейн с каменными стенами-лестницами, уходящими под воду. Говорят, что такие бассейны очень характерны для здешних мест. Они размещаются обычно возле храмов. В них совершается обряд омовения перед молитвой.

Но на этом бассейне, мимо которого мы проезжаем,— печать запустения. Он обмелел, помутнела его вода, запущены его окрестности. Зато расположенный неподалеку храм из розоватого гранита выглядит как драгоценная игрушка, за которой бережно ухаживают. Всматриваемся в барельефы, украшающие купол и стены храма. Они выполнены в духе традиций древнего индийского искусства: парадные крытые повозки, волы, львы и, конечно же, слоны в роскошных нарядных попонах. Не обошлось и без танцующего четверорукого бога Шивы. И снова мы поражаемся этому национальному умению — передавать ощущение ритма в пространственном искусстве.

Въезд во дворец магараджи пролегает через небольшое село. Мы катим по асфальтной дороге вдоль села и упираемся в ворота дворца. Вот так сюрприз! Оказывается, чтобы войти сюда, мы, приглашенные гости, должны купить билеты — по одной рупии с головы. Дело

в том, что магараджа рассматривает свое обиталище как музей, а за вход в музей во всем мире платят.

У входа — стража, человек семь солдат. Весьма оригинальная стража. Не стесняющая себя внешними формальностями. Все солдаты развалились на травке, почти нагишом, в самых непринужденных позах, явно наслаждаясь полным отдыхом. Просто уголок пляжа. Тем не менее узнаем, что это солдаты правительственных войск.

— Раньше магараджа содержал собственную полицию, но это влетело в копеечку. Вот он и рад, что после превращения дворца в музей его охраняет государство,— разъясняет инспектор Варма, не желающий скрывать от туристов мелких домашних разногласий.

Во внутреннем дворе дворца — дорожки, посыпанные красным гравием, идеально зеленый травяной ковер. Трава на нем тугая, как ворс настоящего ковра.

Начинаем осмотр с овального зала, в котором экспонируется слоновая упряжь. Слон — излюбленный символ индуизма — представлен здесь, так сказать, с парадной стороны. Совсем не отражена трудовая деятельность этих неутомимых работяг, зато выставлены для обозрения роскошные наряды, в которые облачают слонов, участвующих в торжественных выездах сильных мира сего.

Вот широкий нагрудник, прикрепленный к седлу и подпруге, вот такой же подхвостник. Они очень красивы, блещут серебряными и бронзовыми пластинками. Еще красивее паланкины, прикрывающие спину слона. Их много, и они разнородны. Потому что это изделия разных времен. Ими пользовались далекие и близкие предки магараджи. Есть более скромные, сделанные из обычного дерева. Есть роскошные — из сандалового дерева, инкрустированные костью и драгоценными камнями или обтянутые белым сафьяном. Эти похожи на царские троны. С той же царственной пышностью сделаны и большие слоновьи попоны из ярко-красного плюша, щедро украшенного золотым позументом.

Однако для чего же эти странные дубинки, не длинные, но достаточно увесистые? Они напоминают булаву украинских гетманов — символ силы и власти. Но здесь — увы! — они символизируют как раз рабство столь

почитаемых слонов. Ими подгоняют чересчур медлительных или укрощают взбунтовавшихся. Из дубинки, словно иглы ежа, торчат шипы, напоминающие, что великолепное царственное животное все-таки целиком подвластно человеку.

Мы переходим в соседний зал, и мне кажется, что я уже видел его когда-то. А-а-а... На экране. В каком-то индийском фильме показывали, как в зале, предназначенном специально для кейфа, на покрытом коврами возвышении, среди пышных стеганых одеял и подушек возлежит, лениво потягивая кальян, пышноусый красавец-раджа. А перед ним извивается в танце, пронизанном эротикой, полуобнаженная баядерка.

...Здесь полный набор кальяна. От трубок обычного размера до огромной, в добрую сажень. Чашка для табака и сосуд с водой величиной с небольшой самовар. Через него пропускают дым. Весь прибор сделан из стекла и дерева ценнейшей породы. Все это расписано с большим вкусом.

На застекленной витрине — предметы одежды, передававшиеся из поколения в поколение. Украшенные ручной вышивкой искусниц, эти яркие халаты, шали, сари воскрешают прошлое, показывают образцы мастерства. Да, такие экспонаты украсили бы любой музей.

Переходим в следующее здание, пересекаем двор и вдруг видим вкатившуюся в ворота легковую машину, несколько напоминающую нашу «Волгу». «Киносеанс» продолжается. Совершенно в духе «великосветских» фильмов из машины с подчеркнутой легкостью выскакивают трое мужчин. Один из них, соблюдая все тонкости кинематографического этикета, распахивает переднюю дверцу автомобиля и почтительно помогает выйти молодой девушке, одетой по последней европейской моде. Она не удостаивает взглядом суетящихся вокруг нее мужчин. Она проходит мимо, высокомерно вскинув головку вверх. За ней несут ее портфель, ее зонтик, ее сумочку. Это дочь магараджи. Ей шестнадцать лет. Она ездила сдавать экзамен. Ее всюду сопровождает охрана, так как и до Индии уже дошли гангстерские повадки современного Запада — умыкать отпрысков богатых семей и вымогать потом выкуп.

Все эти сведения нам торопливо сообщает инспектор Варма. Окончив деловую информацию, он не может

отказать себе в удовольствии отреагировать эмоционально.

— Двести слуг и шесть автомашин. Дворец — сами видите...— азартно шепчет он,— и притом еще вечные жалобы на нехватки.

Нет, почтения к званию магараджи в нашем инспекторе Варма явно не наблюдается. Скорее естественное раздражение трудящегося отца семейства против законсервированного, как экспонат былых времен, сановного трутня.

...Сильное впечатление оставляет коллекция оружия, собранная в отдельном длинном зале. Этот зал вполне мог бы сойти за филиал национального музея, настолько выразительна его экспозиция, так красноречив этот путь от лука — пращура современной межконтинентальной ракеты — до нынешних миниатюрных дамских пистолетов величиной с ладонь.

Я критически, со знанием дела осматриваю бамбуковые луки. Пожалуй, наши, из крепкого тугого тала, обтянутые бычьей шкурой, которыми совсем не так давно еще пользовались казахские батыры, более надежны. Впрочем, ведь эти индийские луки были на вооружении предков магараджи еще во времена Акбара и Шахджахана.

Бесконечно разнообразны выставленные здесь стрелы. Чугунные, железные, бронзовые. То обычной формы, то с раздвоенным острием, то плоские, как лезвие ножа, то с каким-то наконечником, похожим на штопор. Дальше — копья, клинки, сабли, излюбленные на Востоке виды оружия. А какие кинжалы! Их не забраковал бы и сам Фантомас. Нажим кнопки — и лезвие пулей выскакивает из рукоятки. Другой нажим — хищный щелчок обоюдоострого кинжала, который раздваивается, как ножницы.

Потом пистолеты всех мыслимых марок. Потом ружья — от самых древних, фитильных, кремневых, до большого ружья с шестью зарядами, с наганным барабаном.

Нам сообщают, что отец нынешнего магараджи был метким стрелком. В доказательство демонстрируется кусок ткани с нашитыми на него монетами, похожий на казахское девичье убранство, которое раньше принято было

украшать серебряными монетами. Нам предлагают поверить, что отец магараджи подбрасывал эти монеты в воздух и простреливал их на лету.

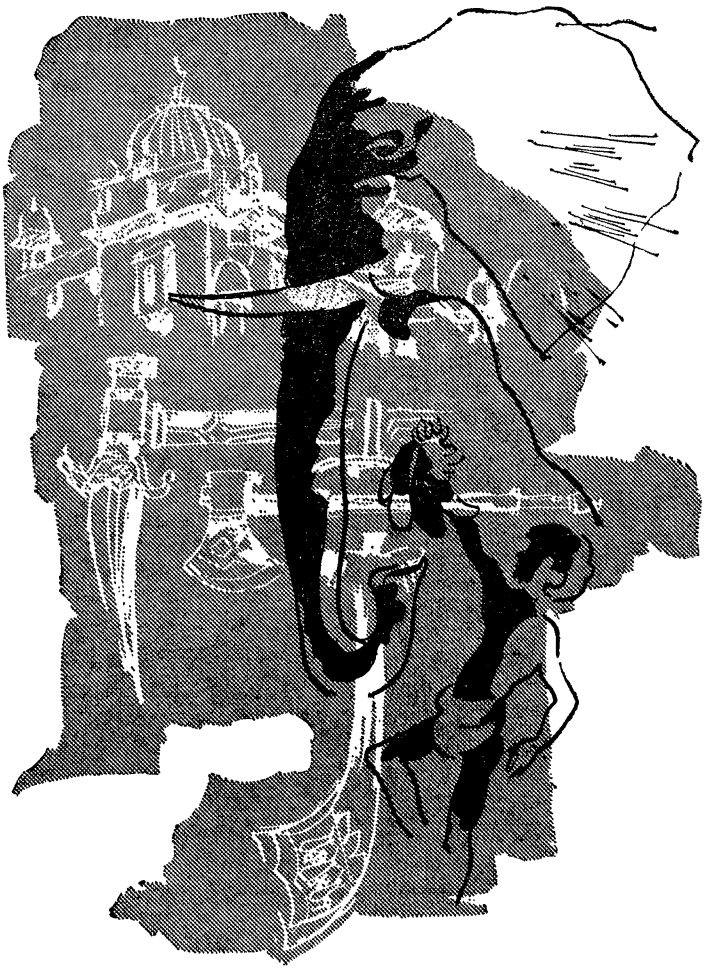
Возможно, что так и было в действительности. Потому что охотничьи трофеи, выставленные здесь, подтверждают, что старый магараджа умел-таки обращаться с ружьем, умел расправляться с тиграми и леопардами. Жаль только, что его крепкая рука и меткий глаз спасовали перед колонизаторами.

Он не только подчинялся английскому диктату, но и всячески угождал иностранным хозяевам. Узнаем тут же историю о роскошной мебели из слоновой кости, которую этот магараджа преподнес лорду Керзону, вице-королю Индии, в начале нашего века. Только вмешательство командующего английскими войсками в Индии Китченера помешало Керзону вывезти драгоценный подарок в Англию. Китченер заявил, что дары, полученные вице-королем, являются государственной собственностью.

Самые любопытные сведения о быте магараджи, об истории дворца можно получить у небольшого сухонького старика, бесшумно бродящего по оружейному залу. Колоритная фигура. Почти все семьдесят семь лет своей жизни он провел, как и все его предки, на службе у магараджей. С умилением повествует о том, что нынешнего магараджу Адитья Нараяна Сингха он на руках носил, и с горечью — о том, что, став великим мира сего, его бывший воспитанник проходит мимо него не замечая. Беспредельная преданность господам, готовность на любую жертву для них... Этакий индийский Савельич. Самые светлые воспоминания старика связаны с тем, как он прислуживал магарадже на охоте, как седлал слона для коронованного гостя магараджи короля Бельгии Леопольда, который был здесь перед началом первой мировой войны.

За все свои заслуги старик получает сейчас тридцать четыре рупии в месяц, то есть на наши деньги — четыре рубля с копейками.

От стариковской нищеты мы переходим непосредственно к царственному великолепию приемных залов дворца. То есть великолепие-то, собственно, только в одном из двух приемных помещений, в том, где принимают знатных гостей. Мы проходим туда, минуя первый — скромный зал для приема подчиненных. Тут нет ни еди-



ного стула. Только кресло магараджи. Не приходится сомневаться, что подчиненные разговаривают с высокородным магараджей только стоя.

Зато во втором зале — подлинно царская роскошь. И потолок, и карниз, и порог отделаны золотом. Золотой и серебряный орнамент украшает и колонны. Величина зала и высота потолка необычайны. Просто хоть верблю-

дов тут паси. И во всю эту величину — огромный ковер, в котором тонет нога. В самом центре — трон магараджи, а по обе его стороны — мягкие стулья для гостей. Стулья эти, однако, без спинок, что тоже намекает на субординацию: сиди, но не разваливайся.

На стене портреты высоких гостей, посетивших магараджу. Здесь побывали короли Лаоса, Саудовской Аравии, Бельгии (Бодуэн второй с супругой). Приезжал и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций господин У Тан. И все-таки печать упадка, печать исторической обреченности лежит на всем этом старательно поддерживаемом величии. Ясно, что и сам магараджа — такой же экспонат своего музея, как древние одеяния или бамбуковый лук. Можно легко представить себе, что и те, чьи портреты висят здесь, чьим визитом гордятся, посещали дворец магараджи так же, как мы, только ради полного знакомства с древностями Бенареса.

Покидая дворец, мы наталкиваемся на любопытную деталь — сарай для слонов. Входим. Только два слона стоят перед нами. Но что это? Почему большой слон закован в цепи и крепко привязан к столбу? Оказывается, это бунтарь, вышедший из подчинения человеку. Так случается иногда. И наиболее своенравных заковывают в цепи на длительный период, порой на целый год. И вот он перед нами — повстанец, не выдержавший жестокого наказания. Стоит понуро, не шелохнется. Воля к сопротивлению сломлена. Из цепей могучее животное выйдет покорным и безвольным. Мы смотрим с глубоким сочувствием на несчастного, закованного в кандалы узника. Вспоминаю из Маяковского: «И какая-то общая звериная тоска, плеща, вылилась из меня и расплылась в шелесте...»

— Не желает ли саиб посидеть на слоне верхом? — осведомляется конюшенный. Он уже приволок большое четырехугольное седло и прилаживает его ко второму слону, который много меньше ростом, чем слон-бунтарь. Мы дружно, один за другим, взбираемся по лестнице на спину слона. Вот теперь-то мы почувствуем, что были в Индии!

Обидно только, что и за это короткое удовольствие надо расплачиваться так же, как за вход во дворец. Каждый по рупии. Ну, ничего, игра стоила свеч.

— Девятнадцать слонов у магараджи,— сердито ворчит наш Варма,— а земли у него сколько, да притом самая плодородная. А лес... Есть где поохотиться. Да еще, представьте себе, имеет земельный участок и в городе. Собирается на нем гостиницу строить. А сам все плачется и плачется. Денег у него, видите ли, нет, не хватает на представительство...

Очень раздражен бедняга инспектор паразитическим существованием богатея, огражденного древними традициями.

В эту ночь я долго не могу заснуть. В моем сознании проходит вереница униженных и оскорбленных, встреченных здесь. Паломники с берегов Ганга. Маленькие нищие, протягивающие ладошку, сложенную лодочкой. Стонущая голодная старуха в живописных лохмотьях. Преданный слуга магараджи, старик, получающий четыре рубля в месяц, И, наконец,— рикши, рикши... При виде их меня охватывает жгучее чувство стыда за весь род людской.

Мне казалось до сих пор, что главные законы человеческой психологии, в основном, применимы ко всем людям, что одни и те же явления объективного мира вызывают примерно одинаковую реакцию в каждом человеческом существе. И сейчас меня безмерно удивляют те спокойно-равнодушные взгляды, которыми здесь смотрят на бесчисленных рикш. Вот мы, возвращаясь из дворца магараджи, подъезжаем к большому мосту. Мост выгнул свою могучую спину, и подъем в середине довольно крут. Несчастный рикша вынужден слезать с велосипеда и толкать повозку сзади. Почему же сотни, тысячи людей идут мимо, не замечая, что рикша, истощенный, жилистый, сожженный солнцем,— вот-вот упадет замертво? Почему никто с гневным криком не стащит с повозки этих двух холеных толстяков, что спокойно сидят, продолжая свою мирную беседу? Ведь у себя на родине я всегда наблюдал, как на крутом подъеме люди спрыгивают с подводы, чтобы облегчить труд животного. А тут человек...

Неужели все дело в привычке? Неужели при ежедневном повторении жестокости в человеческих сердцах мо-

жет выработаться иммунитет против естественных чувств сострадания, нетерпимости к злу?

Не хочу. Пускай это больно, когда с сердца словно кожу сдирают, но это все же лучше, чем обрасти шкурой равнодушия, безразличной к жаре и холоду, шкурой, годной на верблюжьи подошвы.

Мы в Обществе индийско-советской дружбы. Нас гостеприимно встречают люди различных возрастов. Среди них немало женщин. Мы знакомимся с популярными деятелями коммунистической партии страны, с секретарем городского комитета партии. Слушаем выступление жены одного из коммунистов, которая посетила недавно Советский Союз. Это всегда волнует, когда о твоей родине говорят люди, увидевшие ее впервые, когда свежие глаза во всей яркости фиксируют то, что мы сами вроде уже и не замечаем. Речь этой женщины была полна таким восхищением, такой увлеченностью, что аудитория зажглась ответным чувством. Оратора прерывали аплодисментами.

Завязалась непосредственная, живая беседа, в которой, может быть, не все было последовательно, зато все от души. Точно после длительной разлуки встретились давние друзья, у которых накопилось многое, чем надо поделиться. Посыпались вопросы.

— А как у вас с женским равноправием среди народов советского Востока? До конца ли разрешен этот вопрос? — спрашивает какая-то девушка.

— О, настолько решен, что теперь уже довольно остро стоит вопрос о равноправии для мужчин,— отшучиваюсь я.

Каждая шутка охотно подхватывается. Чувство юмора очень свойственно нашим индийским друзьям. В частности, сегодня — первое апреля, и острот — хоть отбавляй...

От нашего имени должен выступить Исаак Голубев. Вся соль этого выступления в том, что оно — на языке хинди. Взаимный восторг оратора и слушателей! Слушателям приятно и лестно, что чужестранец так свободно владеет их языком. В этом — самое убедительное свидетельство дружбы. А самому Исааку бесконечно дорого, что наконец-то он нашел сферу практического приложе-

ния своих теоретических знаний. Кто в Москве мог оценить его знание хинди и урду? А здесь на него так и сыплются похвалы по поводу чистоты произношения и богатства лексики. И наш Исаак старается. Интересно наблюдать за тем, как он отводит душу собственной речью, ее понятностью для индийских друзей, их откликами на его шутки.

Остроумие наших здешних друзей мы могли полностью оценить, став гостями первоапрельского праздника, что зовется здесь «днем простаков».

Рыбацкий баркас покрыт сверху досками, получилась своеобразная палуба. Внизу можно стоять, не боясь стукнуться головой. Там места гребцов, там же и трюм, и каюта, или, если угодно, даже кают-компания. На такую-то оригинальную «яхту» мы и отправились, как только стемнело, чтобы принять участие «в дне простаков».

Стоим на баркасе и с некоторой опаской смотрим на все прибывающих гостей. Опять обычное индийское многолюдие. Как будто уже и некуда больше, а гости все идут и идут. Мы ожидали увидеть на таком празднике преобладание молодежи. Но оказалось, что пришли люди средних лет и даже пожилые. Все они, по-видимому, знакомы между собой, связаны работой, как у нас говорят, «на культурном фронте». Не стесняясь все возрастающей тесноты на баркасе, они непрерывно шутят, острят, добродушно подтрунивают друг над другом.

Наконец два баркаса, полные людей, скреплены между собой и отведены метров на сто от берега. Праздник начинается со вступительной речи, вероятно, очень остроумной, так как она все время прерывается общим хохотом. Я собрался было описать выразительную наружность оратора, но остановился, подумав, что эти описания становятся однообразными. Я все повторяю одни и те же признаки: смуглость кожи, черный цвет волос, стройность, худоба. Между тем теперь уже ясно, что это наиболее распространенные типовые черты. Ни разу не встретил я здесь ни блондина, ни шатена, ни рыжего. Чтобы индивидуализировать описания, надо научиться

различать оттенки «смуглости», а их здесь много: коричневатый, красноватый, сероватый, впадающий в полную черноту...

Нет ничего обиднее, как не понимать причин общего смеха. Мы требуем от Исаака Голубева перевода шуток, но увы! Выяснилось, что язык хинди имеет много диалектов, и, когда оратор перешел на бенаресский диалект, эрудиция нашего Исаака дала осечку. Теперь мы стали жертвами двойного перевода — Исааку переводили с диалекта на литературный хинди, а он нам — на русский. На этом долгом пути соль острот, естественно, выветривалась.

К счастью, устроители вечера скоро перешли от «разговорного жанра» к фокусам, понятным и без перевода. Ведущий стал разбивать кувшины и вынимать из них венки, похожие на те, которые по индийскому обычаю надевают на шею почетных гостей. Только на этот раз венки были не из цветов, а из тех предметов, которые намекали на профессиональные пристрастия или на маленькие личные слабости кого-нибудь из собравшихся на шутливый первоапрельский вечер.

В связи с этим снова состоялся бенефис нашего Исаака. Наши хозяева уже и раньше, оказывается, подшучивали насчет того, что редактор женского журнала — мужчина. А теперь, на первоапрельском празднике, ведущий эффектно разбил перед Исааком очередной кувшин, и оттуда явилась миру запеленатая, как младенец, кукла и венок из... детских резиновых сосок. Одновременно из толпы раздался писк, имитирующий плач ребенка. Его подхватили с разных сторон и «плакали» до тех пор, пока Исаак, подчинившись правилам игры, не повесил венок из сосок на шею и не стал убаюкивать куклу, качая ее на руках.

Было что-то подкупающе чистосердечное, ребячливое в шутках наших индийских друзей. Хоть и смысл острот далеко не всегда доходил до нас, искаженный и ослабленный двойным переводом, но был очевиден добродушный характер шуток, отсутствие ехидства, желания всерьез обидеть. И так человечно, так заразительно хохотали эти люди, что поневоле включились в веселье и мы.

Общая картина «дня простаков» — первоапрельского праздника шутки, красочна и увлекательна. На палубе

ослепительно ярко горит газовый фонарь. Его веселые лучи ложатся на фон темной южной ночи. Оба связанных баркаса покачиваются толчками от взрывов смеха. На подносах разносят какие-то сладости, похожие на шербет. Ни капли вина. Эти люди опьянены только мощным инстинктом жизнелюбия, только чистой радостью бытия. Интересно наблюдать, как искренно отдаются общему настроению даже те, на лицах которых написана нелегкая судьба. Вот рядом со мной — долговязый, длинноносый, как журавль, пожилой человек. Его маленькое, с кулачок, лицо покрыто густой сетью морщин, но в то же время разительно похоже на неоперившегося орленка с голой шеей. С какой трогательной детскостью этот истощенный многотрудной судьбой человек хохочет, широко разинув большой рот, как самозабвенно выкрикивает он свое «Ва! Ва!» в ответ на восхитившую его остроту!

Начинается концерт. Сильный глубокий баритон мне очень по душе. Мелодия, которую он несет, растекается, как говорят казахи, по всем шестидесяти двум жилам. Есть для меня в индийских напевах что-то родное, что-то находящее во мне отзвук. Может быть, спокойный, эпический характер, сливающий эту песню с самой природой, с ее ночными голосами...

Какое удовлетворение дает, наверно, певцу та восторженная поддержка, которую оказывают ему слушатели! Ему нисколько не мешают одобрительные возгласы «Ва! Ва!», пусть даже иногда кричат и слишком громко. И я ловлю себя на том, что мне хочется крикнуть: «Ура! Пале!», этим возгласом казахи тоже поддерживают своих певцов.

Другой певец. На этот раз юноша, почти подросток, с высоким, гибким, как тальник, голосом. Со всех сторон нам шепчут: восходящая звезда, многообещающий талант. К тому же не только певец, но и лирический поэт.

Я давно полюбил индийскую музыку. Еще дома я с замиранием сердца слушал ее в кино, по радио, в магнитофонных записях. Но только сейчас, вот этой черной бархатной ночью на Ганге, я понял, что все, слышанное мной, было, по сути, только бледной тенью настоящей индийской музыки. Нет, не современной технике, изощрен-

ной и в то же время грубой, передать все то живое и неповторимое, что струится сейчас из этого соловьиного горла. Теперь я знаю: индийскую песню может понять только тот, кто слышал ее из уст индийца на индийской земле.

У меня затекла нога. Слишком долго сидел по-восточному, сложив ноги калачиком. Встал, повернулся в другую сторону — и передо мной полыхнуло высокое пламя. А-а, это оттуда, с верхней части Ганга, с того берега, где та самая площадка, на которой сжигают мертвых. Вот сейчас, должно быть, поднесли факел. Вспыхнул новый погребальный костер, большой, с юрту. Значит, эти костры горят и днем и ночью. Круглые сутки души недолгих земных странников отправляются с берегов священной реки прямо в рай.

Жизнь и смерть. Голос юного певца и языки погребального пламени. Безудержное веселье первоапрельского праздника и грустное мерцание таинственных звезд над головой... Я вдруг ясно представил себе глобус — модель нашего удивительного шара. Я нахожусь сейчас на том боку глобуса, что близок к линии экватора. Уж не сон ли все это?

Меня возвращает к действительности разносчик угощений. На этот раз он предлагает мне отведать чего-то очень острого, сдобренного кучей горького перца, шафрана и еще каких-то острейших специй. После этого блюда начинается разъезд гостей.

— Не каждому туристу выпадает счастье побывать на таком вечере! — с энтузиазмом повторяет мне наш инспектор Варма. Он просто неузнаваем. Два с половиной часа он испытывал чистейшее наслаждение, и оно отключило его от повседневных забот кормильца семьи, от раздражения против тунеядца-магараджи, да, пожалуй, и от нас, туристов, требующих столько внимания. На его лице еще лежит отсвет музыки. Сейчас он выглядит не забавным, а трогательным.

На маленьких лодчонках нас перевозят обратно на берег. Мы возвращаемся по знакомой уже нам ночной улице и, что всего удивительней, даже встречаем знакомых. Вот, вот она мелькнула в толпе, та самая девчонка, расписанная белой краской под тигренка! А вот и семилетний коммерсант со своим товаром, восклицающий протяжно и томительно: «Уан рупий! Уан рупий!» Точное

повторение позавчерашней ночной жизни. Некоторые из моих спутников говорят об этом уже с каким-то чисто этнографическим любопытством. А я не могу. Меня продолжают жестоко ранить эти голодные детские глаза и заунывные возгласы.

Конечно, я согласен с Вармой — «вечер простаков» был дивным вечером. Но в то же время этот вечер, соприкоснув нас вплотную с душой индийского народа, еще больше обострил боль за его боли.

Завтра мы уезжаем из Бенареса. Он дал нам кое-что понять о стране. Какие же новые открытия ждут нас впереди?

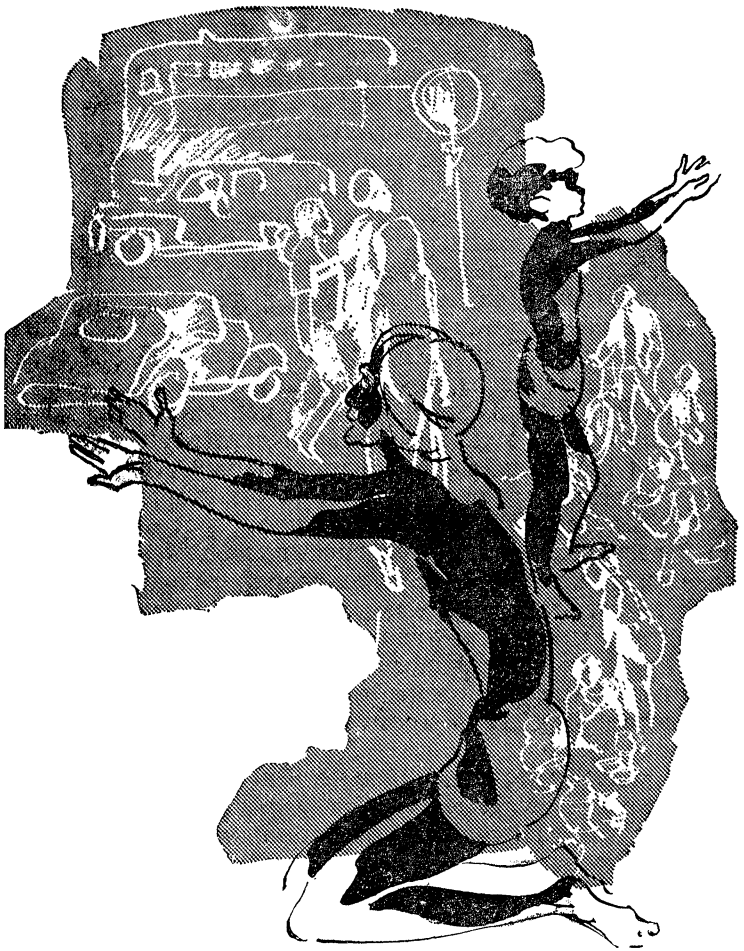
● ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ

1

Блеск и нищета Калькутты. Мягкие беседы об острых вопросах. «Добрым словом и змею из гнезда выманишь».

Мне необходима была пауза, и я взял ее себе явочным порядком. В день отлета в Калькутту решил не выходить до обеда из своего номера. Надо было хоть ненадолго остановить приток впечатлений, чтобы осмыслить увиденное, чтобы поделиться им с бумагой. Это было правильное решение. Мой блокнот помог мне хоть вчерне организовать мысли и чувства.

Если бы я не сделал этого, было бы куда труднее выдержать задержку самолета на целых два часа. Два часа под палящим солнцем — не такое уж шуточное испытание. Но вот и оно позади, и мы летим в Калькутту в самолете «Фокер», напоминающем наш АН-24, с моторами, расположенными под крылом. Нас снова обслуживают не стюарды, а стюардессы. Вспоминаю удивление Исаака Голубева при виде первой из них в Дели. Оказывается, его сведения четырехлетней давности явно устарели. Индийские женщины за эти последние годы сделали большой шаг вперед на пути к трудовой самостоятельности. И держатся они на работе без всякого налета «восточной» забитости. Они скромны, но полны достоинства, вежливы, но отнюдь не искательны. Глядя на них, трудно себе представить, что это потомки тех женщин, которые веками обречены были на затворничество. А какое мужественное спокойствие проявили эти девушки, когда уже на подступах к Калькутте наш самолет начало как-то очень неприятно трясти и швырять из стороны в сторону!



Но вот на фоне быстро густеющих сумерек под нами обозначились огни города. И чем заметнее темнело, тем ярче разливалось это море электрического света. Между огнями извилистой полоской тянулся Ганг. Уже по пульсу жизни аэропорта угадывался масштаб города. А на пути к гостинице мы, несмотря на дождь, ясно разглядели из окон машины, что едем по большому современному го-

роду с широкими улицами, огромными зданиями, с корпусами фабрик и заводов.

Это первое впечатление полностью подтвердилось на другое утро, когда мы ощутили в раскаленном воздухе привкус фабричной копоти. Да, город огромен. Но не похож на наши большие города. Здесь огромные здания банков соседствуют с жалкими лачугами бедняков. Здесь, как и в Бенаресе, огромное количество людей живет просто на улицах, ночует под открытым небом, перенося с собой свой жалкий скарб, приготовляя пищу на железных печурках, посылая своих детей попрошайничать. Что же касается рикш, то в этом вопросе Калькутта даже отстает от Бенареса, поскольку рикши здесь работают без велосипедов, по дедовскому способу.

Все познается в сравнении. Еще недавно мне казалось немыслимым, бесчеловечным существование уличных жителей Бенареса. Сейчас я уже нахожу его более или менее сносным сравнительно с тем, что творится в Калькутте. В пейзаж небольшого древнего города это кочевье на берегу реки еще как-то вписывалось. А здесь, в потоке машин, в городе с современной развитой индустрией... Нет, это просто уму непостижимо, как могут они существовать со всеми тряпками, печурками и бесчисленными голыми ребятишками. Каково, например, будущее этой пятилетней девчушки, которая держит на руках годовалого братишку и протягивает нам его ручонку за подаянием?

С самого утра, часов с девяти, Калькутта уже превращается в настоящее пекло. Оно почти непереносимо для непривычных, потому что это сырая жара. Влажность воздуха достигает здесь девяноста процентов. Дышать буквально нечем. Точно забрался на полок в парное отделение старинной русской бани. Еще более или менее терпимо, пока едешь в машине, где тебя обдувает легким ветерком. Но на улицах, хоть они и широки, то и дело — заторы, пробки, остановка машин. Особенно в центре. Там настоящее столпотворение. Бесконечные вереницы пешеходов и велосипедистов, рикши — все это преграждает дорогу многочисленным автомобилям. К тому же здесь понятие «автоинспекция» носит несколько отвлеченный характер. Практически каждый пользуется теми правилами уличного движения, какие ему подсказывает собственная смекалка. Немало мы насиделись, обливаясь

липким потом и выжидая, пока наша машина сможет как-нибудь извернуться, чтобы продолжить путь.

Вероятно, именно трудные климатические условия и вызвали среди нас разговоры об излишней уплотненности нашей туристской программы. Инициатором этого разговора стала Майя Ганина, заявившая (не без женского кокетства!), что она уже не молода и быстро устает. Клятвенно заверив нашу спутницу, что она молода и красива, мы тем не менее сократили все-таки один пункт программы — посещение библиотеки. На остальные намеченные адреса наших походов просто рука не поднялась.

Итак, музей. Громадный калькуттский музей, открывающий туристам почти неизвестную нам страницу в родословной нашей цивилизации. Ведь если в нашем среднем образовании еще представлены более или менее истоки нашей культуры, связанные с Грецией и Римом, то об Индии в этом плане мы, честно говоря, почти ничего не знали. А здесь мы увидали скульптуру времен правителя Индии Ашоки, жившего в третьем веке до нашей эры. Сюда надо бы ходить ежедневно и долгими часами. Здесь можно бы значительно углубить свое образование. Но у нас нет этой возможности. И мы только отдаем дань восхищения замечательным памятникам древнеиндийского искусства, его вдохновенности, его глубокой человечности. Нас ведет в этом мире красоты большеглазая тонкая девушка-бенгалка, искусствовед музея. Длинные хрупкие пальцы ее нежных рук кажутся фрагментом древней скульптуры.

Из необозримой дали времен правителя Ашоки — в самую гущу сегодняшнего дня. Мы посещаем наш пресс-центр в Калькутте. Потом нас принимает наш генеральный консул. Мы отдыхаем, оценив кондиционированный воздух трехэтажного красивого особняка, в котором размещено наше консульство. Генеральный консул коренаст, широк в кости, с типично славянским складом лица и с той манерой держаться, которые свойственны работникам обкомов и облисполкомов. Ничего характерно дипломатического нет в этом человеке, четко выраженного административного типа.

С чего может начинаться любая беседа приезжих в таком городе, как Калькутта? Ну, ясно, с вопроса о погоде. И наш консул первым делом осведомляется о нашем отношении к здешней жаре. Потом консул рассказывает

нам о листопрокатном заводе, который мы строим для Индии в четырех километрах отсюда. Завод будет иметь мощность в четыре миллиона тонн металла, в то время как Бхилаи дает два миллиона тонн.

...Вечером этого дня мы — гости Литературной академии. Нам уже передано приглашение к президенту академии — выдающемуся писателю современной Бенгалии Тарашанкару Банерджи-Бандопадхайя. Но это на завтра. А пока нас встречает его заместитель, который ведет нас в библиотеку и в музей бенгальского искусства. Директор этого музея Даас так похож внешне на казаха, что я отчетливо представляю себе его на улицах Алма-Аты. Ему очень хочется ознакомить нас с музеем основательно, он вызывает нас на разговор. А когда Майя Ганина задает ему вопрос, он отвечает на него так точно и глубоко, что я запоминаю этот ответ почти дословно.

— Чем объяснить, что индийские скульпторы всегда передают человека в энергичном стремительном движении? Древнегреческие скульпторы обычно изображают героев позирующими,— говорит Майя.

— Древние греки изображали тело, мы же стремимся передать дух. По индуистским верованиям тело — только ничтожная внешняя оболочка. Суть человека в его духовности. Поэтому наши скульпторы и выражают дух в его движении, в его действии,— отвечает директор музея.

Потом, проявляя подлинно индийскую любезность, Даас осведомляется, не желают ли гости из страны марксистов познакомиться с писателем Манаджем Босу, первым марксистским писателем Бенгалии. Мы, конечно, желаем этого знакомства, тем более что о прозе Манаджа Босу нам уже приходилось слышать.

Пыльные ступеньки ведут на третий этаж, в комнатушку, битком набитую книгами, пропахшую специфическими запахами старой слежавшейся бумаги, застоявшейся духоты. Первый марксистский писатель Бенгалии — маленький, ссохшийся темнолицый старик приветствует нас, традиционно по-индийски поднимая над головой сложенные ладони. Ему семьдесят семь. Он молчалив и застенчив. Предпочитает наблюдать.

Всматриваюсь в лицо старика и размышляю над тем, как, в сущности, немногочисленны типы человеческих лиц, как повторяются эти типы под самыми различными широтами. В этом Босу я вижу просто портретное сход-

ство с покойным казахским народным акыном Умбетали Карибаевым. Или, может быть, где-то у самых истоков мы были в родстве?

Беседа за чашкой чая, организованная для нас заместителем президента Литературной академии, выглядит внешне очень идиллически, но подспудно таит в себе кардинальные взрывчатые проблемы.

Леонид Почивалов находит обтекаемую формулировку для вопроса, висящего на языке каждого из нас.

— Какое участие принимают индийские писатели в борьбе за улучшение народного благосостояния? — спрашивает он.

Очень дипломатично. Очень вежливо. Ведь если отбросить все «политесы», то надо бы воскликнуть: «Как вы можете пить свой чай так спокойно, когда там, на улицах, бродят эти фантастические толпы бездомных и нищих? Когда годовалого, слышите, годовалого младенца учат протягивать ручонку за подаянием?»

Наш хозяин, вице-президент академии, несколько минут молчит, скрывая свое недовольство таким направлением беседы. Потом сдержанно говорит, что, конечно, для улучшения жизни народа надо сделать еще многое. Прежде всего, покончить с безработицей. Но это дело администраторов, экономистов. Литераторы же занимаются преимущественно просветительской работой, важности которой гости, конечно, не станут отрицать...

Директор здешнего музея Дас более искренен и эмоционален. Он с горечью говорит о том, как стойки пережитки кастовой психологии в умах многих индийцев. Принципиально все как будто согласны с тем, что единственный выход для Индии — в строительстве нового индустриального общества. Но психологические преграды, к несчастью, еще существуют, и далеко не все из сильных мира сего согласны допустить в свою устоявшуюся благополучную жизнь тех, кто толпится у порога.

Расстаемся мы дружественно, обмениваясь подарками. Я преподношу бенгальским писателям пластинку с записями казахских народных песен и кюев, они передают каждому из нас книги на бенгальском языке.

А вечером — еще одна встреча. На этот раз с участниками всеиндийской конференции поэтов. На тихой красивой улице в южной части города не очень верится в жестокую реальность виденной нами нищеты. Здесь в

комфортабельных особняках живут состоятельные люди.

Поднявшись на второй этаж одного из этих особняков, мы неожиданно попадаем в объятия радиожурналистов, которые требуют у меня интервью, не давая опомниться, суют под нос микрофон. Я должен отвечать на вопрос о течениях в современной советской литературе, о том, к какому течению отношу себя, должен определить свое отношение к Толстому и сказать, есть ли сейчас в моей стране последователи Толстого. Ну и, конечно, сказать, кто из индийских писателей пользуется в Советском Союзе наибольшей популярностью...

Сатьяканта Гуха, избранный на этой конференции поэтов президентом, совсем не похож в своих ораторских приемах на индийца. Ни спокойной созерцательности, ни раздумчивых интонаций. Наоборот, патетический тон, страстная жестикуляция. И хотя говорит он о сплочении индийских поэтов, пишущих на разных языках, о дружбе с нами, но кажется, что он горячо полемизирует с кем-то. Темпераментный кавказец, да и только.

Тем более полным воплощением индийской манеры, индийского образа мышления выглядит следующий оратор, одетый в традиционную индийскую белую рубаху с невысоким стоячим воротником и белые штаны — дхоти. Он толст, рыхл и неуклюж, но его пристальный взгляд искрится деятельным умом и всепонимающим снисхождением к людям. Это один из выдающихся писателей Индии — Ананда Шанкар Рай. Свою речь он произносит, не меняя позы, абсолютно не жестикулируя.

Глубокая любовь к литературе России сквозит в каждом его слове. Он с нежностью произносит имена Толстого и Достоевского, Чехова и Бунина.

— Как ни странно, но Толстой оказал на меня большее влияние, чем Рабиндранат Тагор,— задумчиво говорит Рай, как бы беседуя с самим собой.

В этой речи мне почудилась какая-то скрытая печаль. И во взгляде, устремленном на меня в упор, какой-то невысказанный вопрос. И слова об укреплении дружбы между нашими литературами звучат у него как-то особенно, не формально, точно это не привычная формула, а сокровенное признание в братской любви и тревога — будет ли разделено это чувство.

— Не знаю, по каким причинам, но после тридцатых годов мы как-то упустили русскую литературу,— все так

же задумчиво говорит Рай, обводя всех нас своими умными глазами доброго волшебника.

Интересно познакомиться и с Премендро Митро, одним из самых тонких новеллистов Индии. У него тоже типично индийский внешний облик. Худоба, седая шевелюра и пристальный взгляд глубоко сидящих глаз — все это роднит писателя Митро с теми стариками, которых уже столько мы видели на улицах Бенареса и Калькутты.

Митро любит советскую литературу и неприязненно говорит о тех, кого он называет «беглецами и перебежчиками».

— Но расскажите же нам о себе сами. Мы хотим слышать о ваших внутренних переменах от вас самих. Когда нет этой информации, открывается простор для недружелюбных мнений.

Я стараюсь в своем выступлении откликнуться на призыв к откровенности и рассказываю о наших творческих делах, о нашем правовом и материальном положении. Их поражает, что советский поэт может существовать на гонорары. Потом разговор переходит на некоторые казахские поэтические традиции, и это вызывает живой интерес слушателей. Производит большое впечатление и сообщение о тиражах книг индийских авторов в Советском Союзе.

Чем дальше, тем непосредственней и живей становится беседа. Сдвигаются стулья, смешиваются ряды — и вот уже нас просто обступают, и разговор идет совсем свободно и раскованно.

Небольшая тень пробегает между нами только тогда, когда речь заходит о предстоящей осенью конференции писателей афро-азиатских стран в Дели. Особенно остро и запальчиво реагирует все тот же темпераментный оратор — президент Гуха. Он выкладывает полный набор хорошо известных мотивов.

— Наша организация не вмешивается в региональные конференции. Мы не хотим ссориться с писателями других направлений. Это ведет только к новому расслоению мира... И зачем писателям вмешиваться в политику?

Каждый раз, когда я слышу нечто подобное, меня охватывает прежде всего изумление. Какая странная логика побуждает этих умных и добрых людей к таким рассуждениям? Неужели непонятно, что то сражение за под-

линную свободу человеческого духа, которое ведет литература, немыслимо вне политики. А уж Индия-то как раз самое неподходящее место для уединения в башню из слоновой кости. Как бы ни высока была эта башня, до нее все же донесутся стоны нищих бездомных толп.

Мы горячо доказываем нашим индийским собратьям, что предстоящая конференция в Дели вовсе не «орудие определенной идеологии», а, наоборот, самое широкое представительное собрание, в котором будут участвовать писатели самых различных течений и направлений. Мы напоминаем, что подобные совещания проводились и раньше и что в них участвовали такие, например, писатели, как Хемингуэй. Мы стараемся убедить наших хозяев, что задача конференции в Дели именно в том и состоит, чтобы сблизить писателей различных стран, преодолеть то, что их разделяет, поспорить о наболевших вопросах на самой свободной основе.

Я ссылаюсь на казахскую пословицу: «Кони чужие, пока не перекликнутся ржаньем, люди — пока не завяжется беседа». А если даже и столкнутся самые полярные точки зрения, то ведь все можно выяснить при наличии доброй воли. Не зря ведь наши мудрые старые казахи говорят: «Добрым словом и змею из гнезда выманишь».

Убедили ли мы наших хозяев? По совести говоря, вряд ли. Вслед за взрывчатым Гуха выступил более спокойный, но все же настойчивый Премендро Митро. Многие молодые предпочли хранить молчание, хоть к нашим речам и прислушивались очень внимательно. Больше всего меня смутило полное молчание Ананда Шанкара Рая. Обаяние этого человека так велико, что его-то в первую очередь и хотелось бы завербовать в единомышленники. Но что поделаешь! Не все так просто дается. И пока что об этой встрече можно сказать так, как обычно в подобных случаях выражаются дипломаты: «Обе стороны откровенно изложили свои взгляды».

2

Спор продолжается. По следам Рабиндраната Тагора. Сокровищница леди Мукерджи.

На следующий день Калькутта поставила перед нами новое испытание. Еще раз мы должны были проявить

умение отстаивать свои взгляды в разговорах с инакомыслящими. Наш визит к президенту Бенгальской литературной академии вылился в долгий принципиальный спор по основным вопросам мировоззрения.

Президент — семидесятидвухлетний Тарашанкар Банерджи-Бандопадхайя — встречает нас с отменным гостеприимством, выбежав лично навстречу, едва только наша машина остановилась у подъезда его двухэтажного коттеджа, опоясанного верандой, из которой попадаешь непосредственно в гостиную.

В начале беседы из противоположной глубинной двери с любопытством выглядывают детские личики. Их появление, естественно, направляет разговор в русло семейных отношений, и наш хозяин — автор ста книг, наиболее популярных в стране, признается нам, что он отец четырех детей и дед шестнадцати внуков, из которых двое уже защитили докторские диссертации.

Затем наше внимание привлекают картины, которыми увешаны все четыре стены гостиной. Своеобразная манера в расположении красок, пристрастие к зеленому и желтому тонам — все это создает интересный сплав национального и современного элементов в творчестве художника. С удивлением узнаем, что автором картин является наш хозяин, что именно его кисти принадлежат и два особенно заинтересовавших нас портрета — Тагора и Горького.

— Горький, Чехов, Толстой — подлинные властители моих дум,— с подкупающей душевностью говорит Бандопадхайя,— трудно переоценить их влияние на мое творчество. Да и вообще все великие русские... Я написал сейчас большую статью о Ленине. Он открыл человечеству новую эру. Я склоняю голову перед его гением.

Казалось бы, после таких слов хозяина беседа наша уже не могла натолкнуться на острые подводные рифы. Но тут в какой-то связи опять всплывает вопрос о предстоящей конференции в Дели. И опять, как в разговоре с поэтами, проявляется несовпадение взглядов, уводящее к коренным разногласиям по кардинальным вопросам жизни.

— Не говорите мне об этом,— неожиданно резким тоном сказал наш хозяин,— я имею опыт... И в 1956 в Дели, и в 1958 году в Ташкенте именно я возглавлял делегацию индийских писателей. Однако на следующую кон-

ференцию, в Каире, меня уже не пригласили. А в очередной конференции в Дели будут, видимо, участвовать только писатели-коммунисты.

Шаг за шагом, переходя от одной проблемы к другой, мы касаемся вопроса партийности литературы. Мы разъясняем нашему хозяину, какой смысл вкладывается у нас в это понятие, а также и в понятие народности литературы.

— Нет, нет, все, что вы говорите, это не поиски истины, а всего только пропаганда... Я шесть лет был членом парламента, я знаю цену политической конъюнктуре.

— Какую же партию представляли вы в парламенте? — спрашиваю я не без задней мысли — сделать отсюда острые выводы.

Но оказывается, что старик был независимым депутатом, стоящим вне партий.

Интереснее всего, что такие взгляды уживаются с высокой оценкой Октябрьской революции, с восхищением перед успехами нашего строительства.

— Если бы человечество не стремилось к социализму и к коммунизму, жизнь стала бы бессмысленной и бесцельной,— говорит Тарашанкар,— потому-то я и работаю сейчас над темой о Ленине.

Как совместить такие противоречивые воззрения? Каким путем добираться до ума и сердца этого талантливого и благородного человека, чтобы донести до него нашу правду?

По мере развития беседы выявляется наконец пункт, на основе которого можно искать дальнейшего сближения платформ. Это борьба за мир. К войне, к ее прямой или косвенной пропаганде знаменитый индийский писатель абсолютно нетерпим. Военные очаги современного мира вызывают его возмущение.

— В этом вопросе в руках писателей огромная сила. Борьба за мир должна быть одной из главных наших задач.

Я подхватываю эту мысль, рассказываю о своем участии в Отечественной войне, о том, как я жажду, чтобы дети мои жили под мирным небом.

Тарашанкар Банерджи-Бандопадхайя — крупнейший бенгальский писатель, чье имя обычно ставят непосредственно после имени великого Тагора. Кроме того, как мы убедились, это умный, доброжелательный, искренний

человек, не умеющий кривить душой, приноравливать свои симпатии и антипатии к конъюнктуре дня. Мне бы очень хотелось, чтобы такой человек шагал с нами в одном ряду.

С самого момента приезда в Калькутту мы ни на минуту не забываем, что находимся на родине Рабиндраната Тагора. Именно здесь, в 1861 году, родился человек, ставший не только национальным поэтом Индии, но и ее душой, ее совестью. Надо ли говорить, с каким волнением входим мы в двухэтажный красивый особняк, перед которым стоит бюст Тагора, подаренный Советским правительством.

В этом доме, как и во многих других здешних домах, нет коридора, с обеих сторон тянется длинный балкон, комнаты расположены посередине. И вот мы в полном молчании стоим там, где оборвалась жизнь Тагора. Комната строга до аскетизма, так же, как и кабинет, в котором, кроме письменного стола, почти нет мебели. Некоторый комфорт заметен только в длинном просторном зале, служившем гостиной и приемной. Здесь побывали в свое время великие умы нашего времени. Ведь Рабиндранат Тагор — поэт-мудрец, поэт-философ — потряс старую Европу. И не в этой ли комнате зародились замыслы Ромена Роллана, написавшего книги о мудрости Индии?

Рассматриваем портреты на стенах. Вот Тагор вместе с Эйнштейном. Два гения с одинаково чистыми детскими глазами.

Рядом с домом Тагора, превращенным в музей,— университет Тагора. Здесь изучают искусство. Балет, вокал, музыка, живопись... Это отличный памятник разносторонней талантливости великого писателя. Ведь он был не только литератором, но одновременно и художником, и автором истории индийской музыки.

Индийская хореография — это совсем особое искусство, вмещающее в себя, наверно, нечто большее, чем европейский балет. Глядя на дивные индийские танцы, исполненные девушками совершенной красоты, мы как бы снова переносимся в тот мир чувств, который создается индийской скульптурой и архитектурой. Пластичностью здешних статуй.

Мы выходим из тагоровского университета очарованные, и только раскаленный воздух Калькутты, обдающий

нас горячим паром, заставляет вспомнить о том, как мы устали.

...К вечеру того же дня, когда чуть смилостивилось калькуттское солнце, мы спешим посетить еще одно интересное место. Это Академия изящных искусств. Мы уже немало слышали об этом замечательном музее, хранящем уникальные произведения индийского прикладного искусства, древние ткани, вышивки, старинные костюмы. Организатор этого музея — леди Рену Мукерджи — тоже уникальна в своем роде. Получив европейское образование, это дитя богатой и знатной семьи осталось все же дочерью Индии.

Аристократический титул леди (она единственная, кто носит его в этой стране) как бы относится не к ее родословной, а к тому аристократизму духа, который сквозит в каждом ее движении, в каждом слове этой женщины, посвятившей себя и свое богатство коллекционированию национальных сокровищ, их изучению, их популяризации. У нас, советских людей, ее деятельность вызывает аналогии с деятельностью Третьякова, собравшего для своей страны бесценные сокровища русской живописи.

— С при-ез-дом... Здрав-ствуй-те...— по слогам старательно выговаривает по-русски леди Мукерджи, встречая нас у входа в музей, и тут же, смущенно улыбаясь, объясняет по-английски, что русский она изучала очень недолго.

Эта женщина, легкая телом и пригожая лицом, хотя и перешедшая грань молодости, напоминает своим внешним видом красавицу-персиянку, как их изображают на традиционных старинных картинах. А недюжинная эрудиция леди Мукерджи, ее талант рассказчика, ее манера свободно, доброжелательно, доверительно общаться с малознакомыми людьми — все это делает настолько обаятельным ее нравственный облик, что мы забываем об усталости, слушая ее.

Вот это гид, так гид! Она ведет нас по музею с такой увлеченностью, что я вспоминаю казахское выражение «ищет со свечой в руках». Вот уж подлинно со свечой в руках разыскивала эта удивительная женщина памятники народного творчества своих соотечественников. Это стало целью и смыслом всей ее жизни.

— Взгляните,— говорит она, показывая на небольшой

каменный бюст Будды, и после паузы, торжествуя, добавляет: — Тринадцатый век!

Бюст приобретен в таможне почти за бесценок. Ведь часто тот, кто продает вещь, не догадывается об ее истинной ценности.

— Кашмирская шаль. Эксперты установили, что эта шаль была подарена в прошлом веке английской королеве Виктории. А я купила ее в Нью-Йорке всего за двадцать пять долларов...

Леди Мукерджи рассказывает нам о многих случаях, когда ей удавалось за рубежом доставать редчайшие индийские памятники. А поиски леди Рену Мукерджи здесь, на родине! Кажется, не было такой отдаленной деревеньки, где бы она не побывала. И не было такого дворца древних магараджей, куда бы она не постучалась, прослышав о каком-нибудь бесценном экспонате. А ведь надо было не только разузнавать о замечательных памятниках народного творчества, о редкостных изделиях мастеров-чудодеев — надо было еще бдительно следить за тем, чтобы эти вещи не уплывали за границу, куда с бездумной легкостью часто продавали их иные магараджи да и прочие власть имущие.

Совсем по-другому, гораздо проникновеннее, воспринимаешь музейную экспозицию, когда она теряет привычную отчужденность, свойственную музеям, и обрастает живой плотью человеческих усилий сегодняшнего дня. Каждая выставленная здесь вещь волнует вдвойне, когда слышишь талантливый рассказ леди Мукерджи о тех трудных дорогах, которые ей пришлось пройти в погоне за этой вещью.

Зал народного кустарного ремесла. Обилие индийской национальной одежды из вытканного полотна. Пышные облачения древних магараджей, украшенные золотыми руками индийских рукодельниц. И среди этих умопомрачительных нарядов — вдруг гладкий, простой халат-чапан. Халат Тагора. А женские сари!.. Здесь много таких, что вытканы и вышиты сто, двести, триста лет тому назад. И все так же ослепительно сияют их шелковые узоры. Самые прославленные сари — это те, что из Бенареса. Комбинация шелка, из которого сделан уток полотна, и позумента, из которого сделана распялка, дает удивительный эффект. Цветут дивные узоры, оживляя

память о тех волшебных руках, которые давно уже мертвы.

Зал ковров. Один за другим встают эти удивительные произведения другого народа (ковры здесь персидские). Ими тоже бескорыстно восхищается леди Мукерджи. Она совсем по-детски смеется и радуется, когда мы поражаемся, что один из ковров — коричнево-красный — вдруг становится небесно-голубым, когда смотришь на него под другим углом зрения.

В зале живописи представлены работы художников всех штатов Индии. Здесь много произведений абстракционистов. Хотя по личным своим пристрастиям я очень далек от этого направления в живописи, однако некоторые из здешних полотен произвели на меня впечатление. Краски тоже имеют свои голоса, их только надо уметь слышать. Они передают музыку души. И в данном случае — это, несомненно, индийская национальная музыка. Вот, например, эта картина, где за странным тусклым пламенем проглядывают очертания громоздящихся друг на друга зданий, силуэты людей и сполохи более ярких и тревожных огней. И хотя в общем-то картина беспредметна, но она ассоциируется у меня с Бенаресом, даже точнее — с моим восприятием ночного Бенареса, когда в пляске его ослепительных огней я пережил какое-то странное ощущение полусна-полуяви, ощущение, родственное этой ирреальной картине.

Сердце музея, его гордость — это все, что связано с Тагором.

— Вот самое бесценное наше сокровище,— волнуясь говорит леди Мукерджи,— здесь двадцать ранних картин Рабиндраната Тагора. Знаменитые французские художники и знатоки живописи были поражены ими... А ведь вы, конечно, знаете, что великий писатель только на старости лет открыл в себе дар живописца.

Как раз этого мы и не знали. По крайней мере, я. Мне была известна разносторонняя одаренность Тагора. Я знал, что в области литературы он не пренебрег ни одним жанром. Он был поэтом и драматургом, романистом и новеллистом, переводчиком и эссеистом. Знал я и о том, что он был композитором. Только накануне в университете его имени мы слышали его музыкальные опусы в исполнении хора. Конечно, мне было известно и то, что

Тагор занимался живописью. Но я не знал, что только уже на исходе жизни он открыл в себе этот дар.

И вот я стою перед его автопортретом — шедевром, в котором просветленность внутреннего мира автора передана так, что заражает любого зрителя. Я рассматриваю этот автопортрет и размышляю о том, что в этом человеке как бы нашла выход вся творческая энергия индийского народа. Как говорят казахи: «Уж если бог кому воздаст, то воздаст щедро».

Заметив наше волнение, леди Мукерджи воодушевляется еще больше. Все новые и новые детали жизненного пути Тагора встают перед нами. И уже на лестнице, когда мы спускались вниз, леди Мукерджи с очаровательной детскостью восклицает:

— А знаете, моя бабушка была родственницей Тагора. И довольно близкой...

Потом наша любезная хозяйка угощает нас чаем и водкой. Кажется, она считает, что русские без водки обойтись не могут. Мы искренно отказываемся, ссылаясь на немыслимую жару. Но, увидев эти рюмочки с наперсток, в которые она разливает индийскую водку, мысленно посмеиваемся над ребяческими суждениями нашей хозяйки о русских нравах и «пригубливаем» эти гомеопатические дозы.

Теперь наша беседа льется еще непринужденнее, чем в залах музея. Леди Рену рассказывает о повседневных тревогах, о скрытых и явных схватках с теми, кто старается вывезти из Индии старинные памятники. А таких господ немало среди заезжих туристов. Приходится поддерживать связи с таможней, где проверяется багаж отъезжающих за границу и уезжающих туда. Кроме того, надо пропагандировать индийское искусство. Леди считает своим высоким долгом показывать свое детище, свой музей, всем деятелям культуры, приезжающим в Калькутту.

Мы интересуемся, пользуется ли леди Мукерджи консультациями специалистов, делая свои приобретения для музея.

— Обязательно! Я совсем не так самоуверенна, чтобы полагаться только на себя. К тому же наш музей сейчас уже не только моя личная собственность. Он стал кооперативным.

— А власти штата? Оказывают ли помощь?

Леди выразительно машет рукой. Надеяться на правительство штата нечего. К тому же у них сейчас кризис, и правительства в штате вообще нет. А кто придет к власти дальше — трудно сказать.

В этой женщине — удивительный сплав высокой, вполне «мужской» интеллектуальности с тонким обаянием «вечно женственного».

— Пожалуй, главное сокровище этого музея — это личность леди Рену,— отваживается высказать общую нашу мысль Леонид Почивалов.

Леди Мукерджи вспыхивает, как девочка, и отвечает вдруг по-русски:

— Ви шу-ти-те...

Нет, отнюдь не шутим. Эта женщина, раскрывшая нам столько собранных ею сокровищ, эта натура, полная артистизма, действительно должна рассматриваться как одно из богатств своей страны, как человек, чей вклад в культуру современной Индии поистине неоценим.

...В поисках спасения от калькуттского зноя мы выходим после ужина на вечернюю прогулку. Увы, здесь и улица не приносит спасения от духоты. А если ты вышел из номера с кондиционированным воздухом, то ночной город оглушает тебя жаркой сыростью, словно ты открыл дверь в парное отделение бани.

Но все равно мы бродим по городу, который затягивает своей пестрой и драматической жизнью. Рассматриваем громадный белый дворец — резиденцию губернатора. Дворец занимает около двух кварталов. Он со всех сторон окружен садом. Здесь почти безлюдно. Точно не в двух шагах улицы, которые кишмя кишат нищими и бездомными.

Но оказывается, это впечатление обманчиво. Даже сюда тоже проникают — хоть и не в таком количестве — люди, ищущие ночлега.

— Осторожно! — восклицает мой спутник, и я едва удерживаюсь на ногах, чуть не наступив на нечто, притулившееся с краю тротуара. Нет, вовсе не пьяный. Просто мирно спящий человек. И еще, и еще один. Этот старик, тот юноша, а рядом — мальчишка лет тринадцати. Ночной сон прямо на тротуаре, в непосредственной близости от губернаторского дворца... От этой картины душный воздух ночной Калькутты становится еще душнее.

Любопытное наблюдение, которое я сделал еще в Бе-

наресе. Оно подтверждается и в Калькутте. Оказывается, бездомные бродяги, ночующие на улицах, тоже подразделяются на «классы». У тех, кто стоит на более высокой ступеньке социальной лестницы, есть переносные маленькие складные топчаны. Те, кто ступенькой пониже, владеют подстилкой из рогожи или холстины. Но самая многочисленная категория — нищие из нищих — спят на голой земле или на тротуаре. А рядом дворцы, банки, фабрики, музеи, прославленный ботанический сад... Нет, поистине, в этом городе века не вытесняли друг друга, а уживались рядом, создавая неправдоподобную, фантастическую картину.

3

Как выглядим мы в глазах индийцев... Еще о Калькутте — по возможности без эмоций.

Во время утреннего завтрака к нам приходит работник нашего пресс-центра в Калькутте Юрий Фролов. В наш первый калькуттский день мы заходили ненадолго в советский пресс-центр и познакомились с ним. Еще тогда он расположил нас к себе своим добродушным, истинно русским лицом со светлыми глазами и вздернутым носом, своей манерой держаться просто, без фамильярности и вежливо без приторности. Между нами сразу возникла взаимная молчаливая симпатия.

Сейчас он явился добрым вестником. Наше пребывание в Индии отмечено вниманием. Есть неплохая пресса. Вчера была передача по радио.

— Вот газета «Амрита Базар Патрика». Здесь подробная доброжелательная информация о вашей делегации. А вот статья в «Стейтсмен» и вовсе хороша...

Юрий — специалист по бенгальскому языку. Вполне свободно чувствует он себя и в атмосфере английского. Он бегло просматривает развернутые газетные листы, отыскивая то, что надо перевести нам.

— Вообще-то «Стейтсмен» — газета довольно правой ориентации. Так что я опасался тенденциозного освещения. Но как раз корреспондент — автор статьи — очень приличный парень. Вот послушайте.

«...Медленная русская речь сливается с ритмичной английской речью,— пишет автор статьи,— мы находимся в светлом, просторном, украшенном коврами зале гос-

тиницы. Около двадцати известных индийских поэтов внимательно слушают рассказ казахского писателя Тахави Ахтанова — плечистого, крупного человека — о положении искусства и о литературных делах на его родине. Поэты лишь изредка одобрительно кивают головой. Ахтанов остановился на связях между литературами СССР и Индии. «За последние пять лет с языков Индии переведено свыше семисот книг»,— сказал он. Говоря о материальном положении советских поэтов, Ахтанов заметил: «Им платят за каждую строчку. Этого хватает им на жизнь и на содержание семьи». О читательской аудитории он сказал: «Нет такого аула, где не знали бы своих поэтов и писателей». О любви его народа к поэзии Ахтанов сказал с улыбкой: «Собственно, каждый казах — немножко поэт. Пожалуй, невозможно найти казахского юношу, который не писал бы любимой девушке стихов».

Коллега Ахтанова, московский писатель Леонид Почивалов, вмешивается в разговор шуткой: «Видно, потому Казахстан и занимает в СССР одно из первых мест по рождаемости. Если так будет продолжаться, правительство, пожалуй, вынуждено будет запретить казахам сочинять стихи».

Ахтанов и Почивалов — члены делегации советских писателей, состоящей из четырех человек, путешествующих в настоящее время по Индии. Все три дня, что они пробыли в Калькутте, они были необычайно заняты. Несмотря на непривычную для них жару, они успели многое посмотреть и познакомиться с литературной жизнью.

«Когда мы вылетали из Москвы, там было пять градусов мороза»,— сказал Ахтанов, сидя под вентилятором и вытирая с лица обильный пот.

В беседе с индийскими писателями, а также в дружеском разговоре между собой советские писатели были неожиданно откровенны и искренни. Они не уклонялись от острых вопросов. Например, один из индийских писателей спросил: «Если конференцию писателей афро-азиатских стран организовывают русские, а на таких конференциях обычно говорят не о литературе, а о политике, то какая польза от этого литературе?»

На это непроницаемо-спокойный Ахтанов ответил: «Писатель — член своего общества. А если между нами

существуют разногласия, то давайте поговорим, обсудим».

...Мы внимательнейшим образом прослушали эту статью в переводе Фролова. Значит, таково мнение о нашей делегации одной из крупных буржуазных газет Индии «Стейтсмен». Ну, что ж! Довольно объективно. Без передержек изложены наши выступления. Да и слог автора неплох, лаконичен, напорист, без лишних сказуемых и определений.

Я лично был больше всего польщен выражением «непроницаемо-спокойный Ахтанов». За мои сорок с гаком лет не приходилось мне никогда слышать такой характеристики ни от родных, ни от друзей. Не зря пропали мои труды. За такой характеристикой стоило ехать долгие тысячи километров.

Сегодня в нашей программе «окно». Никаких официальных встреч. Своим временем располагаем сами. И мы решаем использовать эту свободу для более основательного знакомства с этим удивительным городом, самым крупным из городов Индии. Те куски жизни, которые, как в калейдоскопе, мелькнули перед нами, вызывая острую эмоциональную реакцию, это еще, конечно, далеко не вся Калькутта. Постараемся же использовать свой выходной для более объективного знакомства с этим городом. Сопоставим свои наблюдения с данными справочников и календарей. Ведь не на сто же процентов «все врут календари»!

Итак, население Калькутты составляет больше семи миллионов. Это по справочникам. Фактически же, как свидетельствуют старожилы, гораздо больше, поскольку окрестности города, имеющие на картах самостоятельные названия, теперь слились с Калькуттой, стали ее районами.

Спецификой этого города являются широкие открытые площади. Такая, например, раскинулась сразу за углом губернаторского дворца. Справа от широкой асфальтированной дороги, уходящей вверх по эстакаде,— просторный зеленый луг, нечто вроде ипподрома или, может быть, стадиона. Слева — еще одна большая площадь. После фантастической тесноты Бенареса, после бурного темпа здешних центральных улиц эти площади, расположенные совсем недалеко от центра, кажутся оазисами. Здесь резвятся дети, здесь неторопливым шагом

прогуливаются взрослые. Бедный городской житель, стесненный со всех сторон каменными громадами, прижатый машинами к тротуару, вырвавшись из нескончаемого потока, стирающего индивидуальность, превращающего человека в песчинку, наконец-то облегченно вздыхает, попав на большую площадь, где он может оглянуться вокруг, не рискуя тут же быть раздавленным.

На площадях стоят на круглых возвышениях памятники, а иногда только постаменты без памятников. Эти голые постаменты — тоже специфика города, да и всей Индии. Это свидетельство недавнего колониального прошлого страны. Монументы знаменитых «цивилизаторов», прославившихся в деле порабощения Индии, народ смел с лица земли после освобождения. Уцелел только памятник викторианской Англии — скульптурное изображение королевы Виктории, сидящей на троне. За памятником — мемориал-дворец, построенный в честь этой королевы, столько лет правившей Британией, владычицей морей, империей, в которой, по словам придворных льстецов, никогда не заходило солнце.

Мемориал — это большой белый дворец из чистого мрамора. Архитектура его эклектична: западные элементы дают какое-то сходство с собором святого Петра в Риме, то, что принесено как дань Востоку,— напоминает Тадж-Махал. А по сути это верноподданническое произведение одинаково далеко от обоих этих уникальных шедевров древнего зодчества.

Мы нацеливаемся все же запечатлеть мемориал своими фотоаппаратами. И тут же находятся предприимчивые «частники», желающие украсить наши снимки индийской экзотикой. Почти голый, в одной набедренной повязке, дрессировщик-фокусник предлагает нам всего за одну рупию заснять двух танцующих обезьянок и вылезающую на звук флейты из своего ящика натуральную кобру.

...В своих разговорах мы то и дело сравниваем Калькутту с Бенаресом. Разительная разница! Если Бенарес — истинно индийский город, то Калькутта — это город сугубо современный, так называемого европейского типа. Широкие улицы, приспособленные для транспорта нашего времени, высокие многоэтажные здания, а то и небоскребы, торчащие, как коробки от сигарет. Но вместе с тем какая-то неуловимая легкость резко отличает Каль-

кутту от наших северных городов. Может быть, это ощущение легкости создается длинными, во всю стену, балконами, опоясывающими многие здания, может быть, многочисленные тенты, навесы, призванные спасать от нещадного солнца, придают городу какой-то курортный

легкий вид. Во всяком случае у меня Калькутта вызывает ассоциацию с гулякой, вышедшим нараспашку, чтобы охладиться от зноя.

Уличное движение в этом городе тоже отличается от северных городов. На чем только не ездят здесь! Опять стык самых различных эпох. Вот катит спесивый «кадиллак» или «шевроле» с кондиционированным воздухом, а вот плетется с патриархальным скрипом телега, запряженная лошадью. А кругом — мотороллеры, велосипеды, рикши... Сравнительно с анархическим уличным движением Бенареса здесь все же вроде есть какие-то признаки порядка в виде светофоров и полицейских-регулировщиков. Но, приглядевшись, я вижу, что здесь нет и в помине тех незабываемых правил уличного движения, которые, обливаясь слезами, сдают на экзаменах наши бедные шоферы. В сущности здесь все сводится к двум правилам: левосторонность движения и остановка перед красным сигналом, подаваемым редкими светофорами.

То и дело я наблюдаю сцены, которые разрывают на части мое шоферское сердце. Вдруг откуда-то сбоку выскакивает, едва не столкнувшись с вами, невесть откуда взявшаяся машина. Или под самым носом громадного двухэтажного автобуса, несущегося навстречу, водитель резко сворачивает в сторону. Вроде даже какое-то лихачество наблюдается у шоферов, выскакивающих на полной скорости из любого переулка на большой проспект с несущимся по нему транспортом.

Любопытно, что ни водители, ни тем более пешеходы на все это абсолютно не реагируют. С эпическим спокойствием пешеход продолжает свой путь, даже если фары довольно ощутимо коснулись его мягкого места. Любой подобный эпизод вызвал бы у нас массу шума, перебранку, вмешательство милиции. А эти, как говорится, и в ус не дуют.

Картина была бы неполной, если бы мы не напомнили, что эти улицы, переполненные машинами и людьми, вмещают еще, в отличие от других современных городов мира, и огромное количество домашних животных. Прежде всего — бродячие коровы. Чем они питаются на сплошном асфальте, среди камня и цемента — остается для иностранца загадкой. Затем лошади, запряженные в телеги. И, наконец — совсем уже удивительно,— в самом центре города (а он раз в десять больше Алма-

Аты) — вдруг видишь погонщика, который с библейской неторопливостью гонит сотню коз вперемежку с годовалыми и полугодовалыми козлятами. А вот — отара овец с ягнятами пересекает площадь у самого мемориала королевы Виктории.

Калькутта, или, как ее называют по-английски и на всех языках Индии,— Кальката, была основана англичанами двести семьдесят лет тому назад. Нам объяснили, что название города происходит от бенгальского «Гали хаат», что означает «священный берег». Сейчас англичан в городе очень мало. В поле нашего зрения, во всяком случае, они не попадали. Но дома их остались.

Южная часть города — это заповедник богачей. Здесь на чистых, опрятных улицах высятся красивые особняки, утопающие в зелени. Здесь почти не встретишь бездомных бродяг.

К северу от центра — район мелких лавочников, торговцев. Их «торговые предприятия» лепятся наподобие ласточкиных гнезд в любом уголке, на любом пятачке свободной площади. Здесь так же, как в Бенаресе,— лотки, палатки, навесы, карликовые магазинчики. И набор товаров так же пестр. Кажется, нет на свете такой вещи, которая не продавалась бы здесь. Зато тут острая нехватка покупателей. И каждый, кто появляется, сразу становится объектом усиленной обработки торговцев, наперебой расхваливающих свои товары.

Чем севернее, тем нагляднее становится нищета многих сотен тысяч жителей Калькутты. Даже по самым сдержанным статистическим данным, не меньше семисот тысяч калькуттцев не имеют крова, проводят дни и ночи под открытым небом. Но даже и те из жителей северной части города, кто формально имеет жилье, фактически находятся в тисках самой ужасающей нищеты. На клочке земли, в узком ущелье между домами, налезая друг на друга, жмутся лачужки, хибарки. Чтобы войти в их двери, надо согнуться чуть ли не втрое.

До нас доходили слухи, что в городе живут сто тридцать тысяч прокаженных. Но до сих пор мы не сталкивались с ними. Только нынче, когда наша машина застряла в заторе, перед нами вырос вдруг, как видение из кошмарных снов, человек с маленьким ребенком на руках. Он протянул нам руку, вид которой мог бы довести слабонервных до обморока. Гнойно-красная, как бы ли-

шенная кожи, с уродливыми пальцами, полусгнившая в запястье.

Мы в ужасе отшатываемся, хотя Юрий Фролов успокаивает нас по-русски, уверяя, что это ложная проказа, а наш шофер-индиец даже утверждает, что нищий подкрасил руку, чтобы было страшнее. Фролов подтверждает, что здесь принято среди нищих фабриковать особенно выдающихся уродов и калек, чтобы потрясать воображение встречных и делать их более щедрыми. Этакая организация современных компрачикосов! Подумать только! И я вижу это сегодня! А в детстве, читая «Человека, который смеется» Гюго, я думал, что это злодейство, относящееся к какому-то необозримо далекому прошлому.

Не успеваешь удивляться... В глазах еще отражается рука прокаженного, а уже из-за угла к нам приближается зрелище, возвращающее нас в гущу социальной борьбы современного мира. Колонна демонстрантов. И на красных знаменах — серп и молот.

— Идут на крестьянский съезд. Компартия организует,— разъясняет Юрий Фролов.

Это далеко не первая встреченная нами демонстрация. Мы уже наблюдали их немало, слышали, как демонстранты скандируют лозунги перед губернаторским дворцом. Лозунги эти весьма разнообразны, и красные флаги далеко не всегда означают единство взглядов тех, кто их несет. Однако в целом население штата Западная Бенгалия поддерживает главным образом прогрессивные партии левого толка. На многочисленных предприятиях штата — огромные массы пролетариата, хорошо организованного, сильного традициями борьбы против эксплуатации.

И все же правительство, созданное блоком партий, распалось, раздираемое внутренними противоречиями. Мы застали в Калькутте момент острого политического кризиса: отставки правительства, ожидания новых выборов. Атмосфера достаточно накалена, еще не забыты кровавые столкновения, разразившиеся примерно за месяц до нашего приезда. Тогда было убито двадцать человек, ранено больше ста. Тогда покушались на жизнь лидера Параллельной коммунистической партии Босу и нечаянно убили случайного прохожего.

Вот какой пестрой, напряженной, нелегкой жизнью

живет этот город. Иногда кажется почти невероятным, что люди могут выдерживать это многолюдие, эти кричащие противоречия, эту нищету сотен тысяч и, наконец,— этот климат.

Вот и нынче... К полудню зной становится совсем невыносимым. Зыбкое марево застилает глаза, начинает казаться, что бесчисленные многоэтажные дома с балконами слегка покачиваются под давлением этой температуры, способной расплавлять камни. Но этого как будто не замечают местные жители, все с тем же энтузиазмом несущиеся куда-то тесной толпой. И я сам поддаюсь движению этого многоголового организма. Я льюсь, как капля, вместе с этим нескончаемым потоком. Мелькают перед осоловевшими глазами красочные пятна платков и сари, белизна рубах и штанов.

Но вот спасительная дверь гостиницы. За этой дверью гудит кондиционирующее устройство. Из раскаленного пекла улицы я, уже не веря в существование прохлады, попадаю в рай. Тысячи спасительных иголочек прохладного воздуха разбегаются по истомленному, распаленному телу. О счастье, я глотаю холодную кока-колу. Она ударяет в нос. Трезвый взгляд на окружающее мало-помалу возвращается ко мне.

Рукав священной реки Ганг — Вугли разделяет Калькутту надвое. Считается, что послеобеденная прогулка назначена с учетом нашей нетерпимости к жаре. Однако и сейчас, в четыре часа дня, солнце палит нещадно. И даже Вугли, раскинувшаяся на пятьсот-шестьсот метров, не в силах дать нам хоть подобие прохлады.

Плывем вверх по реке и в перспективе перед нами возникает огромный мост, стоящий не на бетонных балках, а на гигантских стальных стержнях. Еще совсем недавно, лет пятнадцать назад, это был самый большой подвесной мост в мире.

Кажется, что город, наступая на реку с обеих сторон, хочет зажать ее совсем. Никаких зеленых массивов на берегах, никаких аллей для гулянья. Дома непосредственно подошли к самой реке. Точно гигантский город в своем стремительном беге еле-еле остановился и уткнулся своим каменным ликом почти в воду.

С катера нам видны прибрежные группы небольших

домов. Они бросаются в глаза прекрасной архитектурой. Но на них печать запустения. Эти особняки, некогда построенные поближе к источнику прохлады, принадлежали в свое время англичанам. Рассматриваю обшарпанные стены, покривившиеся, а кое-где и обвалившиеся лоджии, следы копоти от паровозного дыма (прямо вдоль берега — железная дорога), и возникает образ увядшей красавицы, уже сдавшей позиции в борьбе со старостью...

Мы мчимся на моторном катере, точно удирая от влажного зноя Калькутты. Речной ветерок возвращает нам бодрость и свежесть восприятия окружающего.

Рукав священного Ганга живет бойкой оживленной жизнью. По воде то и дело проплывают глубокие черные лодки, похожие на баркасы. Совсем небольшой мотор потребовался бы, чтобы сладить с такой лодкой. Но она передвигается на веслах. Человек двадцать (двадцать!) гребцов гребут стоя, разместившись у обоих бортов. Привлекают наше внимание и неподвижно стоящие громадные лодки, крытые какой-то скирдой из рисовой соломы. Наверно, это своеобразные шалаши, жилье на реке.

Мы с большим интересом наблюдаем речную и прибрежную жизнь в ее непосредственных проявлениях, но тут приступает к своим обязанностям наш гид — служащий порта. Он считает своим долгом познакомить нас с некоторыми статистическими данными. Он откашливается и начинает сыпать, как из мешка, цифрами. Абсолютными и относительными. В процентном соотношении и без него. За последнее десятилетие и за последний месяц.

На нас, советских писателей и журналистов, как говорится, съевших собаку на производственных очерках, этот поток цифр производит магическое действие. Как по сигналу все вытаскивают блокноты и начинают строчить со стенографической быстротой.

Итак, Калькутта — крупнейший порт не только в Индии, но и во всей Азии. Сорок процентов импорта и тридцать экспорта Индии проходит через этот порт. Добрая половина иностранной валюты, необходимой для Индии, как воздух, прибывает сюда именно через порт Калькутты. Священный Ганг пропускает через свою горловину идущие из-за рубежа материалы и изделия первостатейной важности: цемент, зерно, химические удобрения, механизмы, нефть. Тем же путем и сама Индия шлет за

рубеж свои богатства: чай, джут, сталь, железную руду.

Почти сотня кораблей проходит ежедневно через порт Калькутты. Порт имеет собственную железную дорогу протяженностью в 250 километров. В перспективе развития порта еще гораздо более крупные масштабы.

Мы, как прилежные ученики, записываем все это в свои блокноты. Но вдруг я замечаю, что цифровые данные начинают оказывать на меня свое обычное действие. Я помаленьку соловею, уже не различаю из-за деревьев леса, начинаю дремать или раздражаться. Выше я уже писал об этой странной своей особенности, немало досаждающей мне в обыденной жизни. Что поделаешь! Неуютно моей сугубо гуманитарной душе в пустыне цифр!

Чтобы вырваться из обволакивающей власти «цифровых данных», начинаю разглядывать нашего гида. Он очень напоминает Шарму, нашего проводника в Агре. Так же подчеркнуто вежлив, учтив, предупредителен к малейшим нашим желаниям. Интересно, что и внешне его можно было бы принять за родного брата Шармы. По-видимому, этот мужской тип распространен среди пятисотпятидесятимиллионного населения Индии. Плотные, коренастые, невысокие брюнеты с некрупными чертами лица и горбатыми носами.

Я рисую в своем блокноте профиль нашего гида, и он очень оживляет колонки мертвых цифр. Ничего... Рисовал же Пушкин дамские ножки на полях своих черновых набросков.

Блокнот писателя... Его публикуют обычно только после смерти автора, да и то лишь в том случае, если автор при жизни успел попасть в разряд маститых. И часто так и остаются нераскрытыми оригинальные замыслы, неиспользованными — меткие афоризмы, трогательные или смешные мелочи жизни, подмеченные цепким писательским глазом.

Нет, я, понятно, признаю, что в таком блокноте должны занять свое место и цифры. А моя особая осторожность по отношению к ним, вероятно, объясняется тем, что немало я за свои годы (увы! дело пошло на пятый десяток!) перечитал производственных очерков, герои которых сотканы не из крови и плоти, а из сплошного ряда цифр. И не спасает дела даже испытанный прием (кстати, широко применяемый и казахскими литераторами), когда среди сплошной изгороди цифр мелькают картон-

ные фигуры «мудрых белобородых старцев», «честных беззаветных тружеников», «верной спутницы-жены»... По этому рецепту можно было бы быстренько склеить очерк об Индии из сегодняшних цифр, разбавив их острым соусом «индийщины». Только кому это нужно?

Изложив все, что требовалось по части статистики, наш гид дает нам возможность снова любоваться рекой. В нижней части города, у причала,— мы опять попадаем в мир сегодняшней техники. Гигантские грузоподъемные краны. Большие ослепительно-белые корабли. Прекрасным контрастом к ним — на правом берегу чудесный зеленый заповедник. Пальмы всех видов. Обезьяны, резвящиеся на деревьях.

Великий соблазн — погулять по заповеднику. Но мы неуклонно выполняем свою программу. А по программе — нас ждут в гости на советский корабль, стоящий в Калькуттском порту. Разве можно обмануть ожидания земляков, стосковавшихся по свежим людям с родины!

Сначала заходим в наше торгпредство, где живут три грузинских семьи. Это специалисты по чаю. Именно через их руки проходит знаменитый индийский чай, который так любят казахи. Живут они здесь тесным аулом. Дети говорят по-грузински.

Но вот появляется машина с дипломатическим номером. Это прибыл наш морской представитель в Калькутте, который должен доставить нас в порт.

Одного взгляда на морского представителя достаточно, чтобы определить его темперамент. Внешне он напоминает тех самых капитанов, чья «улыбка — это флаг корабля». Залихватски сбитая набекрень фуражка, блистающая золотой отделкой, тщательно подстриженные баки... Бесстрашный капитан из английского романа.

Только английским хладнокровием наш капитан отнюдь не отличался. Его появление — словно вихрь. Увлекательно и быстро говорит, выкладывая одновременно свои планы, впечатления, воспоминания. Уловив, что Исаак Голубев прирожденный одессит, представитель произносит целый восторженный монолог в честь Одессы, которая, оказывается, и его родина. В общем, мы опомнились от этого натиска, только уже оказавшись в машине. Вымолвить словечко, вставить хоть какую-то реплику в тот поток информации, который обрушился на нас, нам, понятно, не удалось.

О чем только мы не услыхали! И о советско-индийских торговых отношениях, и о порте Калькутты, и о данных корабля, куда мы направляемся, и о политическом положении в Бенгалии, и о погоде, и опять-таки еще об Одессе-маме. Чудесный вообще-то малый, что называется, душа нараспашку. Охотно прощаем ему некоторую излишнюю экзальтированность, от которой, как говорят казахи, голова становится с казан.

Советский корабль, куда мы пришли как гости, называется «Марнеули» по имени небольшого грузинского городка. Корабль привез сюда оборудование для нового металлургического комбината, строящегося с помощью Советского Союза. В порту Калькутты он стоит уже несколько дней, и неизвестно, сколько еще придется простоять. Дело в том, что рабочие местного порта бастуют. С высоко поднятым красным знаменем и с лозунгами-требованиями они прошли у причала мимо корабля.

Капитан корабля — это антипод темпераментного морского представителя, привезшего нас сюда. Несловоохотлив, хотя и принимает нас приветливо. В каждом его движении чувствуется опытный руководитель, вполне овладевший нелегким коллективом моряков. Это один из тех людей, с которым сразу чувствуешь себя так, точно сто лет знаком.

...Тема посещения где-нибудь за рубежом советского корабля имеет уже в нашей журналистике свои традиции. Выработался даже некий устоявшийся стандарт. Принято восторженно живописать радость свидания, атмосферу патриотического подъема и трудового энтузиазма, царящую на корабле, доказывать моральное превосходство советских моряков сравнительно с людьми капиталистических стран...

Что касается меня, то я предпочитаю подобным декларативным общим местам, основательно стершимся от частого употребления, передачу живых конкретных впечатлений. Думаю, что надо исходить из своеобразия и неповторимости каждого отдельного случая.

Конечно, и нас моряки встретили радушно. Но без тех гиперболических братских объятий и поцелуев, которые так любезны сердцам пишущей братии. Нам показали корабль. Удивительно, что громадный корабль водоизмещением в четырнадцать тысяч тонн обслуживается командой всего из сорока человек. Условия труда и быта

моряков превосходны. Главное — они защищены от изнурительного калькуттского зноя. Кондиционирующая установка работает на корабле безотказно. Каждый человек обеспечен отдельной каютой. На корабле неплохая библиотека, в кают-компании — частые сеансы кино.

Приятно отметить, что на встречу с нами моряки пришли с огоньками живого любопытства в глазах. Чувствовалось, что это для них не просто очередное «культмероприятие», а встреча, от которой действительно можно чего-то ждать для души.

Окидываю взглядом аудиторию. Есть и женщины. Но основная масса — молодые крепкие ребята, глядящие на нас в упор с выражением требовательного ожидания.

Каждая новая встреча с читателями для меня всегда событие, всегда испытание. Никогда не знаешь, вспыхнет ли между тобой и слушателями та волшебная искорка подлинного контакта, без которой всякий разговор будет только вялым повторением общих мест. Кроме того, мне почему-то всегда кажется, что говорить на обычную тему «над чем работаете?» как-то не совсем скромно, что этим ты как бы выносишь на всеобщее обозрение свое сокровенное, личное. Точно раздеваешься публично.

В этой поездке мое положение руководителя делегации дало моим спутникам возможность всюду выталкивать меня на трибуну первым.

Выхожу. Произношу все, что положено, вплоть до сакраментальной фразы «Когда мы пришли на ваш корабль, нас охватило радостное волнение. Мы будто вступили на клочок родной советской земли...» Рассказываю о целях нашей поездки, о встречах с деятелями культуры, резонерствую на тему о пользе личных контактов...

После моего выступления наступает тишина. Неловкая пауза. И вдруг просит слова один из моряков, воплощение здоровья, крепко сколоченный, смуглый, со вздернутым веселым носом. И сразу загорается та самая желанная искорка контакта с аудиторией. Пробегает тот самый шорох, который в газетных отчетах обозначается как «оживление в зале».

Нет, вовсе не потому, что оратор умиляется нашей встречей. Наоборот, именно потому, что оратор дает нам жару, или, как говорят казахи, заставляет нас лезть обеими ногами в один сапог... Он предъявляет претензии со-

ветским писателям. Легковесно, поверхностно изображаете вы жизнь моряков, говорит он.

— Вот вы сказали «клочок родной земли». А представляете ли вы себе жизнь на этом клочке? Знаете ли вы, что на таком прекрасном корабле, в сверкающих чистотой каютах мы иной раз обалдеваем от тоски, ностальгии, своей изоляции от мира. Ведь не год и не два мы так плаваем. Всю жизнь. Годами не видим своих жен и детей. Дальнее плавание... Вам кажется это очень романтичным. В своих книгах вы и не пытаетесь реалистически вскрыть оборотную сторону этой романтики.

Из дальнейшей речи выясняется, что оратор — радист корабля.

— Слушаю почти весь мир,— все с тем же задором заявляет он,— да и вижу мир собственными глазами. И часто хочется сказать писателям: не обращайтесь с нами, как с детьми младшего возраста. Вспомните, как говорил Маяковский: «Барскую спесь скорее донашивай! Массы разбираются не хуже вашего!»

Речь радиста всех всколыхнула, а нас задела за живое. Почивалов задает радисту вопрос, читал ли он роман Владимова «Три минуты молчания».

Вот когда нам представляется случай сопоставить мир, изображенный писателем, с подлинным миром моряков. Ведь после публикации в «Новом мире» романа Владимова было немало попыток оглушить автора критической дубинкой, обвинить его во всех смертных грехах вплоть до преднамеренного искажения действительности и даже клеветы на советских морских рыболовов. В некоторых статьях этого сорта явственно ощущалось, что критик знаком с морем главным образом по пляжам Черноморского побережья.

Выясняется, что в нашей сегодняшней аудитории есть люди, читавшие этот роман. Сначала выступают они неуверенно, но понемногу разговор становится общим. Говорят уже не с трибуны, а с мест, перебивая друг друга. И мне жалко, что Владимов не может слышать, как дружно одобряют его роман те, среди кого немало прототипов изображенных им характеров.

Конечно, я далек от мысли, что можно отождествлять читательское мнение, иногда поверхностное, с профессиональным критическим анализом произведения. Но к мнению народа нельзя не прислушиваться, особенно когда

речь идет о правде жизни. Очень много дает писателю такое вот искреннее, бесхитростное мнение так называемого «простого человека». Куда больше, чем хорошо подготовленное и заранее организованное «общественное мнение», которое звучит порой на читательских конференциях.

Наш вечер заканчивается угощением в капитанской каюте, где мы действительно ощущаем дуновение родного ветра, атмосферу товарищества и единой советской семьи. Удивительным парнем оказывается при ближайшем знакомстве этот радист, что раскритиковал нас в пух и прах. Мыслящий, любознательный, горячий. После откровенного застольного разговора он снимает большую часть предъявленного нам «списка прегрешений» и в залог дружбы дает каждому из нас по телеграфному бланку.

— Пишите! Передадим сейчас же. Стосковались поди по семьям-то...

И то сказать. Пролетело уже десять дней. Привет вам, родные, из далекой Индии, страны чудес...

● ТЕТРАДЬ ТРЕТЬЯ

1

Дыхание тропиков. Вице-канцлер — просветитель. Прославленные поэты. Почти библейские муки «двунадесяти языков».

Три реактивных мотора самолета «Каравелла» размещены в хвостовой части самолета. На этот раз мы летим комфортабельно, не оглушаемые гулом, обслуживаемые стюардессой, чья смуглая красота превосходит все виденное нами до сих пор. Стюардесса выходит из переднего отсека и произносит небольшую речь.

— Леди и джентльмены,— говорит она,— наш самолет летит над морем. Но волноваться вам нечего. Предусмотрены любые непредвиденные обстоятельства. Ваша безопасность гарантирована. Под каждым креслом имеется резиновый жилет. Если надавить на него несколько раз, он наполнится воздухом. После этого вы можете его надеть.

Стюардесса приподнимает этот спасательный снаряд и принимается демонстрировать его действие. Я сразу вспоминаю одного из школьных учителей физики, у которого фатально не получались опыты, что доставляло мальчишкам немало веселых минут.

Сколько стюардесса ни поворачивает злосчастный жилет, он и не думает наполняться воздухом, оставаясь безжизненным куском резины.

Через иллюминатор можно разглядеть внизу густую синеву моря. И все пассажиры принимаются экспериментировать каждый со своим жилетом. Увы! Ни у кого эксперимент не удается. Только длинноносый француз, наш

сосед, вдруг вскрикивает от радости: его жилет — единственный из всех — действительно надулся. Подозрительно озираясь вокруг, француз прячет свой шанс на спасение под сиденье и сидит на нем как курица на яйцах.

А наша коричневая красавица, не смущаясь неудачей опыта и сохраняя спокойствие, продолжает давать нам ценную информацию.

— После того как наденете жилеты, направитесь без паники к выходу. В самолете их два: один впереди, другой в хвосте. В минуту опасности для выигрыша во времени рекомендуется открыть оба выхода. Не забывайте уступать дорогу женщинам, уважаемые джентльмены! Самолет может держаться на воде одну минуту сорок секунд. Благодарю за внимание.

Последнее сообщение, вызвавшее взрыв хохота, разряжает атмосферу. Длинноносый француз, махнув рукой, выпускает воздух из своего жилета.

Около полудня наша «Каравелла» плавно приземляется в Мадрасе. Это уже юг Индии. Приятно выйти из самолета, поставить ногу на ровное изумрудное поле, бросить взор на синеющие вдали горы, по первому впечатлению напоминающие наше Кокчетау. Но нет, это другое... Замечаем то здесь, то там вершины великолепных пальм.

Казалось, что в Калькутте мы познали пик зноя. Нет. Здесь, на Мадрасском аэродроме, раскаленный бетон жжет пятки даже через подошвы. Аэропорт исходит паром.

Нас встречает Яблоновский, советский вице-консул по культуре в Мадрасе.

— Так сказать, мадрасский Поростаев,— шутливо рекомендуется он, и мы вспоминаем, что действительно в Калькутте эту должность занимает Поростаев, товарищ из Осетии, имеющий приятное свойство: его присутствия мы как-то никогда не замечали.

Яблоновский совсем другой породы. Из тех, кто всегда «командует парадом». В соответствии с напористостью и предприимчивостью характера Яблоновский худощав, быстр в движениях. На его удлиненном лице с несколько низким лбом и вытянутым подбородком мадрасский загар выглядит как-то чужеродно, не скрывает блондинистой северной окраски.

Безраздельно завладев нами, он ведет нас в помещение аэропорта, знакомит с местным профессором, председателем Индийско-советского общества дружбы и еще с каким-то деятелем культуры. Подходят еще два индийца — представители местных властей. Они претендуют на наше первоочередное внимание. Ну что ж, кашу маслом не испортишь... Чем больше встречающих, тем авторитетнее мы выглядим в собственных глазах.

Плохо только то, что каждая из двух групп наших здешних хозяев выработала для нас собственную программу. Возникает дискуссия. И хотя формальные права на стороне местных администраторов, Яблоновский не собирается упускать инициативу из своих рук.

Приходится выступать в роли примирителей и вырабатывать на основе двух программ некую третью, оптимальную. А ведь в Мадрасе куда жарче, чем в Калькутте. Когда мы были там, то неоднократно употребляли выражение «как в парной». Теперь нам приходится подыскивать другие сравнения. Воздух в Мадрасе суше, чем в Калькутте, и здесь уже не парит, а буквально жарит как на сковородке.

Пока что нам предоставляется краткий отдых в гостинице «Империал». Мы уже заметили, что здесь гостиницы другого типа, чем, скажем, в Дели или Калькутте. Вместо многоэтажных безликих зданий здесь — невысокие, компактные, расположенные несколько на отшибе уютные дома с дополнительными коттеджами, стоящими внутри зеленых дворов. Остроумно придумано. При такой беспощадной жаре было бы непереносимо жить в гигантском муравейнике типа нашей «России».

Программа первого дня у нас сравнительно сиротская. Нас водят, давая время адаптироваться в жаре. Итак — посещение университета и визит к его вице-канцлеру.

Прекрасная идея — разместить корпуса университета на самом берегу моря. Корпуса так же, как и наша гостиница, невысоки, всего два-три этажа. Они тонут в тропических ярко-зеленых деревьях. На фоне домов, окрашенных в красное, зелень выглядит особенно декоративной.

Вице-канцлер встречает нас на втором этаже главного здания. Окна кабинета, выходящие на море, распахнуты настежь, и через них доносится веяние солоноватой

прохлады. Вице-канцлер — человек лет под шестьдесят, похож на бывшего боксера, сохранившего к старости стройную упругую фигуру и крепкую шею. Под стать фигуре и волевое твердое лицо.

Знакомимся. Называем себя и пытаемся запомнить фамилию вице-канцлера. Ее звучание, увы, не приспособлено к нашим органам слуха и речи. Чтобы выговорить эту фамилию правильно, я, привыкший не только к родной тюркской, но и к славянской фонетике, вынужден минимум трижды делать паузу, а язык закрутить, по крайней мере, в три оборота. Одним словом, доктор Н. Д. Сундаравадивелу!

Доктор — опытный администратор. В беседе сразу выясняется, что он много лет занимал пост министра. Да и сейчас деятельность его, видимо, не ограничивается одним университетом. Это видно из того, на каком широком фоне он рисует нам картину университетской жизни.

Доклад (иначе не назовешь!), который он сделал нам, начинается с проблемы всеобщего обучения в данном штате. Кстати о штатах. Сейчас в основу деления на штаты положен национальный принцип. Например, штаты Мадрас и Бомбей, называвшиеся прежде просто по имени главных городов, теперь переименованы. В частности, бывший штат Мадрас, где основное население принадлежит к национальности тамил, называется отныне Тамилнад.

Отправным пунктом для измерения достижений в любом штате Индии является 1947 год — год получения Индией свободы и независимости. Так вот, если в 1947 году здесь было 14 тысяч школ, то теперь их — сорок одна тысяча. Число учащихся соответственно выросло с 1,6 миллиона до пяти миллионов. Полных средних школ вместо 650 стало 2500.

Выразительные цифры. Но проблема еще все равно не решена. Ведь всего только четвертая часть детей, достигших школьного возраста, села в этом году за парты.

— Вот в штате Керала — это наш южный сосед — все дети школьного возраста учатся,— тоном доброй зависти говорит вице-канцлер.

Штат Керала... Все мы очень жалеем, что он не входит в наш маршрут. Не говоря уже о том, что он расположен на самом южном мысе Индии и, по общему мнению, не знает себе равных по красоте природы, он инте-

ресен для нас и тем, что уже в течение многих лет в этом штате при выборах неизменно побеждают коммунисты. Они стоят во главе всех административных органов. Думается, что в большей степени именно это и способствует таким выразительным успехам штата в области народного образования, хотя некоторые специалисты по Индии объясняют эти успехи наличием в штате Керала мощных пережитков матриархата, обеспечивающих высокий процент женской грамотности.

— Плохо и то, что школы разбросаны на значительном расстоянии от многих деревень,— продолжает свой рассказ вице-канцлер,— помню, в детстве мне надо было ежедневно преодолевать расстояние в восемь миль, чтобы добраться до класса. В конце концов мой отец, который имел небольшой клочок земли и некоторые сбережения, предпочел перевести меня на домашнее обучение. Но ведь далеко не всем это было доступно. Поэтому сейчас мы очень озабочены тем, чтобы сократить как можно больше дорогу от села до ближайшей школы. Теперь у нас самое большое расстояние до начальной школы — одна миля, а до средней — пять миль.

Я быстро перевожу в уме непривычные мили на родные километры и высчитываю: одна миля — один километр шестьсот метров. Значит, дорога до средней школы — около восьми километров. Одним словом: «... Вижу я в котомке книжку. Знать, учиться ты идешь... Знаю, батька на сынишку издержал последний грош». Неужели эти беспредельно далекие картины, бытовавшие на нашей родине во времена Некрасова, являются еще реальностью сегодняшнего дня в этой стране, где столько современных предприятий, столько зданий с кондиционированным воздухом?..

Нет, конечно, это не совсем так. И в этой области, как и во многих других, Индия пестра, противоречива и совмещает в себе сразу прошлое, настоящее и будущее. Доктор Сундаравадивелу объясняет нам, что в этом штате обучение в школах и даже на первых курсах колледжей бесплатное. Мало того, в школах дети получают бесплатные завтраки, а девочки — даже бесплатную школьную форму.

— Знаете ли вы, что такое «хариджаны»? — взволнованно спрашивает нас доктор, все больше увлекаясь по мере углубления темы беседы.— Нет? Но наверняка

вы слыхали термин «неприкасаемые». Это одно и то же. Это люди, о которых даже не упоминается в обширном кастовом списке старой Индии и которые, таким образом, не то чтобы занимали самую низшую ступеньку общественной лестницы, но вообще оказывались вне общества.

А сейчас наши хариджаны — активисты народного образования. Все, что подавлялось десятилетиями, сейчас властно вырвалось наружу и ищет выхода. Да вот в мою деревню недавно приехали новые учителя — дети из семей, в которых из поколения в поколение господствовала самая дремучая безграмотность.

Наша симпатия к доктору Сундаравадивелу все возрастает по мере его доклада. Этот человек как бы воплощает своей личностью мощный порыв к свету, духовный взлет своего народа, вырвавшегося наконец из-под колониального ига. Слушая его, вспоминаешь наши двадцатые годы, начало тридцатых. Энтузиасты-просветители типа Макаренко, Крупской и многих других советских педагогов — строителей новой школы, явно сродни этому индийскому вице-канцлеру.

— Если бы вы знали, какую могучую поддержку встречаем мы у населения,— продолжает доктор,— представьте себе, что за последние годы в помощь школам поступило от населения около ста миллионов рупий. А те, у кого нет денег, помогают своим трудом. Делают ремонт школ, проводят уборку, озеленение участков. Местные общины покупают детям учебники, девочкам — форму... Одним словом, все, до чего у властей не доходят руки, берет на себя само население.

— А как с программами обучения?

— Недавно принята единая школьная программа по нашему штату. Нет, общегосударственных программ у нас нет. Да, есть штаты, где программу вырабатывают отдельные педагоги сами для себя.

— А на каком языке ведется преподавание?

— В начальной школе на родном языке. Английский изучается параллельно. Но в старших классах уже все обучение идет на английском.

Этот краткий ответ скрывает в себе очень сложную и болезненную для индийцев проблему.

— Почему же на английском, а не на хинди? — спрашиваю я и тут же осознаю, что допустил бестактность.

Вспоминаю, что, когда несколько лет назад правительство объявило язык хинди официальным языком страны, в Мадрасе вспыхнули волнения.

— У нас есть свой язык,— сухо отвечает наш собеседник,— этот язык нас вполне устраивает. А в общегосударственном масштабе и в международных отношениях мы пользуемся английским. Двух языков для нас вполне достаточно.

— Индийские языки по своим корням делятся на две большие группы,— объясняет доктор Сундаравадивелу.— На севере Индии — индо-европейская группа, на юге дравидская группа. Думаю, что единственный путь к сближению или хотя бы взаимному пониманию — это перевод всех языков на латинский шрифт.

Над этим еще надо поразмыслить. Вспоминаю на опыте казахского языка, какое это непростое дело — переход на чужеродный шрифт. За исторически короткий отрезок времени мы, казахи, испытали это трижды. Подобные реформы, думается мне, ни в коем случае не должны решаться волюнтаристски. Надо десять раз примерить, один раз отрезать. Ведь никто не хочет, чтобы возник заметный ров между наследием древней национальной культуры и культурными перспективами данного народа.

Трудно нам, кратковременным гостям этой страны, занять определенную позицию в ее языковых проблемах. Да это и не требуется. Тем более что в самой Индии работают большие отряды ученых — специалистов по индийским языкам, глубоко озабоченных единством своей страны. Одно мне кажется ясным: колониалистскому принципу «разделяй и властвуй!» должен быть противопоставлен принцип объединения, сплочения народа.

— Познакомимся теперь с Мадрасским университетом,— приглашает нас доктор,— он существует с 1857 года и является одним из старейших вузов Индии. Старше его только университеты в Калькутте и в Бомбее.

Всего в этом штате три университета. Кроме Мадрасского есть еще университеты Мадураи и Анамалай.

Сейчас мы не можем познакомиться с колледжами. Они расположены в других районах города. Нам показывают главные корпуса университета.

— Самое главное, чего не хватает нашей методике обучения,— это производственной практики,— говорит доктор Сундаравадивелу,— даже инженерные факультеты страдают от этого. Мы только что начинаем осваивать это важнейшее дело. И тут нам есть чему у вас поучиться.

Оказывается, доктор отлично знаком с нашей вузовской методикой преподавания. С воодушевлением он рассказывает о том, что видел в одном украинском колхозе под Киевом. Студенты, проходившие там практику, не только работали, входя таким образом в сельское хозяйство изнутри, но и экспериментировали: выводили новые сорта фруктов, проявляли инициативу во всех вопросах, с которыми их сталкивала здесь жизнь. Это восхищает доктора Сундаравадивелу.

Почивалов отмечает, что у нас не только студенты, но и сельские школьники посильно участвуют в работе колхозов и совхозов.

— Юные мичуринцы? — старательно произносит по-русски доктор и торжествующе-вопросительно поглядывает на нас, ожидая нашей реакции на такую удивительную осведомленность.

Затем он восхищается нашей системой вечернего и заочного обучения. Оказывается, он тщательно изучил этот наш опыт и, основываясь на нем, добился открытия десяти вечерних колледжей.

— Это только начало. В дальнейшем мы собираемся расширить вечернее обучение.

Вице-консул Яблоновский сопровождает нас в этой поездке. Он в отличных отношениях с Сундаравадивелу, тем более что связан с ним, так сказать, почти родственными узами: жена Яблоновского преподает русский язык в этом университете.

Оказывается, до нас здесь побывала наша делегация из Туркмении. По каким-то причинам они не успели вручить доктору свой подарок, и теперь Яблоновский догадливо сочетал нашу поездку со вручением туркменского подарка. Как говорится у казахов, и к теще съезжу, и стригунка объезжу.

Ну что ж, нам приходится волей-неволей сыграть роль туркменов. Фотографируемся вместе с доктором, облачившимся в туркменский подарок — красный чапан, широкий пояс, мохнатую белую баранью шапку. Грешно

не запечатлеть такой исторический момент, хотя бы даже несколько извратив истину. Да и грех невелик, ведь живем-то с туркменами под одним большим шанраком[1]...

Города, как и люди, имеют свои собственные неповторимые лица. Мадрас — это аккуратист, может быть, даже немного педант, что не мешает ему быть мечтателем, любителем поэзии.

Вот ведь и здесь жарко, даже куда жарче, чем в Бенаресе и Калькутте, но никто не ленится наводить чистоту. Двух-трех — максимум четырехэтажные аккуратные беленькие домики чинно выстроились вдоль безупречно опрятных улиц. Здесь нет хаотического нагромождения домов, обросших разными пристройками, клетушками, лавчонками. И дома не толпятся у самой воды, а стоят на определенном расстоянии от моря, словно боятся замочить подол.

Мы мчимся по асфальтовой дороге, проложенной по песчаному берегу между городом и морем. Море спасительно обдает нас своим дыханием, облегчая неправдоподобную жарынь. Едем благополучно. Ни заторов, ни пробок. Вообще в этом городе нет того безумного потока людей, который мы стали уже было считать непременным атрибутом индийского городского пейзажа. Конечно, и здесь народу на улицах много, очень много. Но нет всеобщей спешки и суетни. Беспрестанно, но ровно течет поток машин и людей, точно спокойная, умеренная река.

Вдоль берега, на одинаковом расстоянии один от другого, выстроились памятники писателям (главным образом — поэтам) тамильского народа. Среди них есть и памятник женщине-поэту. Я считаю монументы. Насчитываю около десяти. Думаю о том, что их наверняка должно быть гораздо больше, что поэтическое видение мира — это вообще индийская национальная черта. Сам по себе индуизм — это религия поэтов и философов. Недаром две величественные поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна» являются священным писанием индуизма, недаром целая система взаимосвязанных поэтических сказа-

---

[1] Шанрак — кольцо, скрепляющее верх купола юрты; здесь: крыша.

ний, эпических поэм и назидательных песен-молитв и составляет, собственно, основу народных верований.

Вечно юношеское душевное горение этого народа, глубокая человечность всего мировоззрения ставят в этой стране поэзию на такой высокий пьедестал. Смотрю на каменные изваяния, казалось бы, таинственные для путника из далекой страны, и, как ни странно, ощущаю родственную связь с гармонией этого народа, с его песней, запечатленной в этом камне.

Пораздумав, я начинаю понимать, откуда взялось такое неожиданное ощущение родства. Ведь и у казахов поэзия проникает в душу и плоть народной жизни. И у казахов нет имени более почетного, чем поэт. И в этом сходстве раскрывается общность культурного богатства, раскрывается в конечном счете солидарность людей. Я думаю о том, что хотя в каждой национальной культуре важно ее отличие от других, ее своеобразие, но, с другой стороны, есть большая радость и в том, чтобы отыскивать в неизвестном — знакомое, в непонятном — близкое и родное.

Мчимся, мчимся с севера на юг. Слева бесконечно тянется синее-синее море, справа — город, похожий на белую чайку, распростершую крылья. Свернув направо, выезжаем в южную часть. Теперь машина медленно движется по зеленому лесу. Среди обильной зелени на почтительном расстоянии друг от друга белеют дома. Опять не очень высокие, в три-четыре этажа. Дома распахнуты настежь, окружены множеством балконов, весь ансамбль производит впечатление легкости, воздушности, столь характерной для домов Мадраса.

Мы — в студенческой республике. Коттеджи, прячущиеся в густой листве гигантских экзотических деревьев,— это общежития. Здесь размещены и некоторые учебные корпуса.

— Лучший район города,— объясняет наш гид.— Во время разъезда студентов мы часто предлагаем эти помещения нашим зарубежным гостям.

Жаль, что наш визит не совпал со студенческими каникулами. Было бы совсем неплохо пожить здесь, в лучшем уголке чистого, сдержанного, гостеприимного города Мадраса.

2

В стороне от двадцатого века. Пещерный храм. Раскаленное небо рушится на землю. Юноши оживляют камень.

Говоря без похвальбы, я уживчив. Это подтверждено опытом многих поездок, из которых я возвращался, счастливо избежав стычек или маленьких недоразумений с попутчиками, если даже среди них были поэты, люди, как известно, весьма импульсивные.

Условия пути, взаимосвязанность поступков, вызванная общей программой поездки,— все это требует от каждого из попутчиков некоторой ломки устоявшихся привычек, приспособления ко вкусам и склонностям других. На этом фоне нередко возникает взаимное раздражение, обнаруживается некоммуникабельность того или иного Икса или Игрека.

Единственным лекарством от всех этих психологических осложнений является чувство юмора. В той или иной степени это спасительное чувство свойственно всей нашей компании, стремительно несущейся сейчас по Индии и жадно поглощающей ежедневную лукулловскую порцию новых сведений, впечатлений, встреч.

Конечно, что греха таить, порой споры все-таки возникают. Вот и сегодня... По программе предстоит поездка — осмотр двух городов, расположенных в ста — ста пятидесяти километрах от Мадраса. Местные доброжелатели предостерегают нас:

— Вы не выдержите такой нагрузки при этой температуре. Поезжайте только в Махабалипурам, это на берегу моря, и возвращайтесь к обеду.

Большинство наших голосов — за разумное предложение. Три голоса — против одного. Но простым большинством тут не решишь, поскольку один голос оппозиции принадлежит нашей единственной представительнице прекрасного пола, а джентльмены, как известно, должны быть великодушны. Да и неудобно выдвигать наши опасения, если хрупкое, нежное существо храбро готово к штурму древних храмов.

— Итак, в путь! Выезжаем пораньше, пока еще вокруг прозрачная синь, пока солнце еще не раскалилось до предела, не погрузило природу и людей в знойное белесое марево.

С утра мы еще в силах переживать эстетическое на-

слаждение, и мы отдаемся очарованию ландшафта южной Индии. Где-то вдали, на линии горизонта, очертания нежно-синих гор. В низинах — поля риса, вышиной в четверть метра. В верховьях — спелая, плотная, тугая пшеница. Особенно любопытны для нас заросли высокого — в человеческий рост — сахарного тростника. На широкой равнине то и дело мелькают ярко-зеленые колки великолепных пальм, серебрятся чистой гладью небольшие пруды и озера.

В этот удивительно гармонический мир природы, в этот мирный сплав идиллических цветов: розового, голубого, зеленого — так пластично вписывается человек-труженик.

Вот он, землепашец в белой рубахе и штанах, бредет за сохой, запряженной волом. Вот неторопливо продвигается за слоном, везущим поклажу. Вот крестьяне убирают пшеницу. А там, с края, уже приступили к уборке сахарного тростника.

Никакой торопливости, никакой суеты. Никаких напоминаний о последней трети двадцатого века. Как близок этот спокойный землепашец к породившему его материнскому лону Земли! Какой глубинной сыновней связью он связан с ней!

Умиленное чувство, невольно возникшее от этой картины, сразу исчезает, когда мы подъезжаем к жилищам крестьян. Это великое множество хибарок, крытых соломой... Шалаши... Жалкое подобие крова. И точно для того, чтобы подчеркнуть эту поразительную нищету и непритязательность крестьян, перед нами вдруг вырастает несколько громадных многоэтажных современных корпусов. Точно какой-то писатель-фантаст нарочно столкнул здесь, у обочины дороги, какой-нибудь пятый век с двадцать первым. Без промежуточных ступеней.

Наша первая остановка — город Канчипурам, уютно укрывшийся от зноя в тени роскошных пальм. Это бывшая резиденция правителей Мадраса, низведенная сейчас до положения районного центра. По узкой асфальтовой дороге, проходящей через центр городка, неторопливо движется транспорт — велосипеды, арбы, запряженные волами. Рога волов живописно раскрашены в яркие цвета, на кончики рогов надеты металлические наконечники. Иногда попадаются двуколки с передвижным маленьким храмом. В этой священной повозке — колеса

диаметром больше человеческого роста, а высота храма — метров пять. Это типичный остроголовый индийский храм с каменной скульптурой бога внутри. В дни религиозных торжеств в такую повозку впрягаются люди и возят ее по улицам городка.

Все это нам очень живо объясняет мистер Канная, наш мадрасский гид. Это уже немолодой человек со сверкающей глянцевитой лысиной, с веселыми дружелюбными глазами и быстрыми стремительными движениями. Он неутомим. Всего десять минут отдыха — и вот он уже ведет нас осматривать исторические достопримечательности Канчипурама.

Храм Каиласандар — самый древний из всех здешних храмов. Ему тысяча двести лет, он был заложен еще в 674 году правителем Махндраварманом третьим, а достроен к 800-му году.

Четверка колонн у каждого блока, сливаясь с единым цельным карнизом, поддерживает высокий купол. Больше десятка таких куполов стоят, выстроившись в ряд. Уже знакомая нам по другим храмам — скульптура бога Шивы. Но у входа с обеих сторон еще не знакомые нам божества: чудовищные страшилища с кабаньими клыками, рогатые львы, а перед самым входом — лежащая каменная священная корова, как бы бросающая вызов Времени. Она сохранилась во всей своей первозданности, явно смеясь над истекшим тысячелетием.

Зато узоры и орнаменты — дивные произведения древних мастеров — увяли, стерлись, обветшали, об их совершенстве можно теперь догадываться по сохранившимся остаткам.

Снимаем обувь и входим внутрь храма. Как он ни дряхл, но отнюдь не заброшен. «Пусть жертвенник разбит — огонь еще пылает...» В темной серединной келье горит свеча. Она бросает бледные отсветы на грозный лик некоего бога, ростом с человека.

Я испытываю вдруг странное чувство робости. Точно совершаю какое-то святотатство, бесцеремонно прикасаясь к чужой святыне. С особой остротой ощущаю невыносимую духоту молельни, окруженной глухими каменными стенами без единой щелочки. В одной из стен храма — широкая ниша, выложенная камнем. Именно здесь уходили в нирвану отшельники, очищавшие душу мыслями о Нездешнем. За двенадцать веков их фанатических

бдений на каменном полу появились заметные углубления. Можно бы улыбнуться при мысли о терпеливых задах, но почему-то улыбаться не хочется. О люди, люди... Кто вы? Мудрецы или неразумные дети? Святые или глупцы?

Мистер Канная — человек долга. Поэтому он делает вид, что не понимает наших намеков насчет усилившейся жары и неумолимо ведет нас еще к двум храмам, обозначенным в нашей сегодняшней программе.

Первый из них — это храм вишнуистов, о чем красноречиво свидетельствует символ бога Вишну на стене: белая линия в форме узкой сжатой подковы, пересеченной красной чертой, похожей на восклицательный знак. Этот же символ нарисован на лбах молящихся. У входа в храм — высоченный флагшток. Узоры на колоннах так густы, что сливаются, скрывая фон. Между орнаментами выделяются повторяющиеся изображения коронованных богов на вздыбленных конях с занесенными мечами в руках. Дьявольская экспрессия так и рвется навстречу смертному, взирающему на эти фигуры. И кони и боги так крепки, так мускулисты, отважны и решительны, что возникает мысль: может быть, секта вишнуистов более динамична, чем другие секты индуизма, менее созерцательна, больше склонна к действию, чем к раздумьям? Мистер Канная неопределенно пожимает плечами в ответ на мой вопрос...

Другой храм, несмотря на свою древность, является, как у нас говорят, действующим. Ежедневно в нем собираются верующие. Узоры и орнаменты его стен, видимо, реставрируются, так как выглядят свежо и сочно. Двор этого храма просторен и широк, в нем много тенистых укрытий с каменным полом, спасающим от жары. В одном из таких уголков стоят слон и лошадь. Получаем тут же разъяснение: чтобы сфотографировать слона — плати рупию.

Слон и лошадь, повторяю, стоят в тени. Зато нищий, мальчишка лет тринадцати, лежит прямо на раскаленных камнях. Как ни привыкли мы за время этого путешествия к виду нищих и искалеченных детей, но этот ужасает, вызывая горестные мысли о беспредельности людского горя и людской жестокости. Кем были люди, специально изуродовавшие этого ребенка так, как не приснилось бы и в самых зловещих снах! Ради какой грошо-

вой корысти переломан хребет (не в переносном, а в самом буквальном смысле слова!) этого мальчика!

Лицо парнишки красиво скорбной красотой. Оно нежно, бледно, большие черные глаза налиты страданием и покорностью судьбе. Это лицо, эти глаза живут как бы отдельной жизнью от изуродованного тела, в котором вроде нет ни нижних ребер, ни ключиц, где торчит только вздутый живот, а сломанный позвоночник не связывает верхнюю и нижнюю части тела. Подайте, подайте на пропитание! Нет, к этому невозможно привыкнуть...

Сверх программы мистер Канная решил показать нам здешнюю школу. Это длинное одноэтажное здание, покрытое камышом. Обращаем внимание на то, что в саду, окружающем школу, приготовлены скамьи на большое количество людей. Оказывается, здесь состоится конференция местного населения, которая обсудит вопрос о помощи и содействии школе.

Ага, вот это то самое, о чем теоретически мы уже знали из рассказа вице-канцлера университета в Мадрасе. Именно он, доктор Сундаравадивелу, и является застрельщиком этого благородного движения, зародившегося в штате Тамилнад и распространившегося по всей стране. Сюда теперь стекаются за опытом и советом работники народного просвещения со всей Индии.

Получается очень удачно. Здесь, в маленьком городке Канчипурам, для нас неожиданно продолжается интересный разговор, начатый вчера в Мадрасском университете. Узнаем, что в этом уезде школу посещают 90 процентов мальчиков и 80 процентов девочек. Почти все население втянуто в движение помощи школе. Во время конференции откроется выставка вещей, пожертвованных школе населением.

Игнорируя жару, движемся дальше. И судьба награждает наше усердие. То, что мы узнаем по пути о сельском хозяйстве Индии, очень интересно. Например, тут мы сталкиваемся с первоначальными истоками того волшебного потока шелковых тканей, который видели в бесчисленных магазинах больших городов. Шелководство — занятие многих деревень, лежащих на нашем пути. Возле каждого жилища на деревянных катушках сушится белая шелковая пряжа. И тянутся эти катушки почти в каждом дворе метров на шестьдесят. В иных местах шелк уже выкрашен в различные цвета.

В этой части Индии урожай убирают трижды в году. Сейчас с первой уборкой пшеницы уже покончено. Забавный метод обмолота пшеницы увидали мы здесь. Мелкий хозяин, по-нашему, крестьянин-единоличник, каких здесь огромное большинство, использует асфальтовую дорогу и проносящиеся по ней автомобили остроумным способом. Скошенную пшеницу складывают прямо на дорогу, машины проезжают по ней и таким образом «молотят» ее. Мы тоже несколько раз проезжали по такому оригинальному гумну. Так что можем с гордостью сказать, что некоторым образом приняли участие в полевых работах штата Тамилнад.

Эта поездка особенно важна для Леонида Почивалова. Он специально интересуется так называемой «зеленой революцией» и намерен писать о ней. Мистер Канная довольно квалифицированно рассказывает нам о том, какие меры принимаются в сельском хозяйстве, чтобы оно могло справиться с нелегкой задачей — прокормить пятьсот пятьдесят миллионов ртов. Основная задача «зеленой революции» — использовать под посевную площадь все мало-мальски пригодные земли, развивать поливное хозяйство, эффективнее применять удобрения.

— В агротехнике,— утверждает мистер Канная,— мы применяем в основном японский метод...

Но мы видим и безусловное влияние социалистических тенденций. Оно сквозит в тех мерах против спекулянтов, которые применяются теперь государством, в постепенной организации единоличных крестьян в кооперативы, в помощи крестьянам удобрениями, в улучшении транспортной связи между деревнями, в выдаче крестьянам кредитов для приобретения скота и сельскохозяйственного инвентаря.

Однако наш путь что-то затянулся. Тот городок на берегу моря, куда мы едем, как нам объяснили, расположен примерно в двадцати километрах. Мы проехали уже больше пятидесяти, а моря все не видать.

Солнце в зените. Деревни, по которым мы проезжаем, кажутся безлюдными. Только ребятишки играют в тени жилищ. Очевидно, час перерыва в работе, час пережидания знойного «пика». Неожиданно наш путь перерезает железная дорога. Ждем подъема шлагбаума. Выходим из машины в поисках тени. Напрасно! Голая равнина, ни единого кустика...

Я должен извиниться перед читателем за многократное возвращение к неодолимости индийской жары. Право же, без этого не обойтись. Читатель никогда не ощутит подлинного вкуса и аромата этой страны, если автору не удастся воспроизвести этого ощущения сухости во рту — точно вдруг из твоего организма разом ушла вся влага,— этого страха перед тем бесцветным пламенем, которым горит все вокруг: и небо, и воздух, и земля. Вот когда становится понятным выражение «горит белым огнем» или «раскаляется добела». Или казахское выражение: «Жара такая, будто небо, раскалившись, рухнуло на землю».

Раскаленный ветер не охлаждает, а обжигает тебя. Кажется, что солнце решило приземлиться в этом уголке земного шара. Еще немного — и мы будем поджарены, как шашлык, или просто вспыхнем и испепелимся. И самое мучительное — это потеря самоконтроля, это воздействие жары на мозг, который, кажется, вот-вот расплавится под черепом.

У шлагбаума нам приходится простоять час двадцать пять минут, и это были не самые легкие полтора часа в нашей жизни. Требовалось немалое напряжение воли, чтобы не потерять чувства реальности, не прийти в отчаяние от этого полосатого чудовища, преградившего путь. По тому, что шлагбаум то маячит передо мной во всей своей красоте, то вдруг начинает мельтешить перед глазами, как в туманном кинокадре, то исчезает вовсе,— я заключаю, что близок к обморочному состоянию. Только этого не хватает... Чтобы вернуться к спасительной повседневности, я осведомляюсь у мистера Канная, сколько километров осталось до цели нашего путешествия. Оказывается, шестьдесят. Но я не могу сообразить, много это или мало.

Окончательно осознаю себя и все окружающее, когда машина уже мчится на полном ходу. Чудо! Шлагбаум поднялся-таки наконец, и мы снова мчимся к морю. Совершенно ускользнул из памяти момент, когда мы сели в машину и тронулись.

Но вот и оазис в пустыне — маленький кемпинг у самого моря. Просторная, тенистая, но тем не менее невыносимо жаркая веранда. Снимаем комнатушку с кондиционированным воздухом, и здесь окончательно возвращаемся в свое обычное нормальное состояние. Вспоми-

наем, что мы — на берегу моря, красоту и синеву которого трудно даже передать словами. Быть у такого моря — и не искупаться?

Почивалов первым пренебрег предостережением медицины о вреде купания в разгар жары. За ним не выдерживаю и я. Вступаю на прибрежный чистейший и мелкий, как сахарный, песок. Словно по раскаленным углям мчусь к воде и с разбегу погружаюсь в нее. Уф! Точно нежданно-негаданно упал в ванну с горячей водой. Но ничего... Привыкнув, нахожу наслаждение в этом экзотическом купанье, а главное, выхожу из воды с новым запасом бодрости и оптимизма. Пусть горячая, но ведь морская же вода! Целительная и успокоительная!

К достопримечательностям этого городка — он называется Махабалипурам — мы относимся с особой требовательностью. Они должны быть особенно интересны, чтобы мы внутренне оправдали мучения нашего тяжкого пути сюда. И все эти наши ожидания оказались полностью удовлетворены!

Еще купаясь, я приметил храм, стоящий на отшибе у моря, и лежащее перед ним стадо коров. Ни тени сомнения в реальности этих коров у меня не возникло. Тем сильнее было впечатление, когда выяснилось, что все сделано из камня. Скульптуры в натуральную коровью величину. Целое стадо.

Ходим по побережью. На бугре каменного хребта, справа от дороги,— вышка для обозрения окрестностей. На крутом склоне — громадный круглый камень-валун. Прикидываю мысленно его размеры. Пожалуй, будет с юрту для молодых. Поразительно, что он не скатывается с косогора вниз, как должно было быть по законам физики. Туристы воодушевляются при виде такого уникального явления и норовят сфотографироваться прямо под камнем, который вот-вот сорвется и придавит. Шумят и похваляются храбростью, как дети.

Но самое потрясающее, что видим здесь, в Махабалипураме, это, конечно, пещерный храм, высеченный в скале. Здесь мы снова начисто забываем о двадцатом веке, вовлеченные в титаническую затею древнеиндийских художников-каменотесов. Или, может быть, это были не каменотесы, а просто волшебники? Разве не волшебство — это оживление камня? Только магической силой могли быть созданы эти вытесанные из громадного цель-

ного камня два зала, глубокие — метров десять, широкие — метров тридцать. А скульптурный барельеф на плоской поверхности сплошной стены! Перед ним меркнет все, виденное нами до сих пор.

Возникает мысль, что подлинное искусство Индии не столько в Агре или в Калькутте, не столько даже в поздних причудливых храмах юга, сколько здесь, в этой пещере. И снова думаешь о том удивительном чувстве гармонии, которое требовалось древним мастерам, чтобы создать это чудо. Все здесь взаимосвязано. Своды соответствуют стенописи, орнаменты — размерам зала. Хотя изображения людей и зверей фантастичны, но в них, несомненно, отражены долгие наблюдения и размышления над миром. Монументальность скульптуры потрясает воображение. Особенно трудно оторвать взгляд от огромного каменного слона, ведущего за собой слонят.

Поистине велик народ, вдохнувший душу живую в эту каменную глыбу, превративший ее в неповторимое творение искусства. Моя досада на Канная, потащившего нас в дорогу под этим неистовым солнцем, растаяла под мощным воздействием Красоты. Имея такую цель, как этот храм, стоило терпеть все неприятности трудной дороги.

Сухой, поджарый Канная абсолютно не реагирует на жару и потому не может понять нашей усталости. С лицом заговорщика он останавливает нас на обратном пути невдалеке от трех одноэтажных домов, расположенных в саду. «Минуточку!» — говорит он, по его интонации слышно, что он припас для нас интересный сюрприз.

Да, оказывается, нам предстоит сейчас встреча с потомками великих древних мастеров. Мы — в государственной школе скульпторов! В просторной мастерской человек двадцать юношей высекают статуэтки и орнаменты из мягкого серого камня, похожего на графит. Они копируют классические образцы. Их задача — не растерять секреты своих древних предков, пронести через века их огонь, их дерзание. К тому же учащиеся этой школы — в основном дети потомственных скульпторов-умельцев, так сказать, естественные продолжатели древних традиций.

Нельзя не отдать должного дальновидности организаторов подобного учебного заведения. Ведь немало сейчас народов, растерявших секреты ремесел и искусств

своих предков, да так основательно растерявших, что при всем желании не в силах теперь возродить былую славу. И мы с чувством глубокого удовлетворения следим за ловкими движениями рук молодых людей — потомков славных создателей пещерных храмов, таких, какой мы имеем сегодня счастье видеть в Махабалипураме.

Директор этой школы мистер Ганапати — крупный специалист по санскриту. Он знакомит нас с сокровищем, которым гордится школа. Это двухтомная книга, написанная на древнем санскрите, «изданная» на пальмовых листьях. Пальмовые листья, как и древнеегипетский папирус,— пращур современной бумаги. Авторы этой книги, созданной пятьсот лет тому назад,— два брата-близнеца. Это руководство по искусству. Первый том посвящен скульптуре, второй — архитектонике. И до сих пор этот голос из глубины веков дает потомкам много ценнейших указаний.

С возродившимся вдруг чувством острой мальчишеской любознательности разглядываю увиденную впервые книгу на пальмовых листьях. Длинные узкие листья пальмы после сушки стали темно-коричневыми. Они аккуратно обрезаны с боков и теперь похожи на школьную линейку. Во всю длину этой узкой полоски пишутся семь-восемь строк текста. Сотня таких узеньких страниц, скрепленная нитками, и составляет один том.

На обратном пути мы наслаждаемся дорогой вдоль морского побережья. Оказывается, даже в Индии к вечеру жара иногда немного спадает. Любуемся своеобразным пейзажем. Вся долина разделена на отрезки, каждый в добрый квадратный километр. Здесь добывают соль. Эти квадраты наполняют морской водой, которая под лучами нещадного солнца быстро испаряется, и на почве застывает соль.

3

Калакшетра — питомник талантов. Свет нездешних глаз. «Разве так тебя просили пугать?»

«Если ты путник — ходи!» Это любимое изречение одного моего приятеля-ровесника, у которого собирание пословиц, афоризмов, поговорок стало настоящим хобби.

«А если ты турист — то гляди!» — дополняю его я на основе своего индийского опыта.

И мы действительно стараемся глядеть вовсю, пялить глаза как можно шире, вобрать в себя все, что преподносят. А уж отбор материала, группировка его, осмысление — это, очевидно, дело будущего, когда отстоятся впечатления.

Еще один афоризм (неужели я заразился от приятеля его хобби?) — «Гость терпелив, как овца: проглотит и масло без хлеба».

Нет, это я вовсе не к тому, что нам показывают излишнее или неинтересное. Наоборот. Но иногда наши гиды, сами не ведая усталости, недооценивают нашего переутомления от непривычного зноя и потчуют нас на манер демьяновой ухи в то время, как с нас уже давно «катится градом пот». Мистер Канная, в частности, расценивает как личную обиду, если мы недостаточно восторженно реагируем на какое-нибудь явление природы или общественное достижение.

— Это самое толстое дерево в Индии,— радостно сообщает он нам, показывая на ветвистое дерево, действительно большое, но... Право же, приходилось видеть и потолще. Прочтя на наших лицах несколько скептическое выражение, мистер Канная по-детски огорчается, удрученно опускает свою приплюснутую с боков лысую голову, обиженно хлопает ресницами. И мы торопимся выразить восторг и удивление по поводу неслыханных размеров развесистого красавца.

Сегодня мистер Канная доволен и собой и нами, потому что видит, как искренне мы восхищаемся своеобразным учебным заведением, показанным нам. Оно именуется культурным центром Басан. В его состав входит Калакшетра — детская школа искусств, особенно прославившаяся подготовкой танцоров и специалистов классического танца, и школа, готовящая преподавателей разных видов искусств. Последняя открылась только в 1944 году, на десять лет позднее, чем школа Калакшетра.

Директор школы мистер С. Кришнаратнам — легкий, высокий чернолицый человек в длинной белой рубахе, с готовностью и традиционной индийской доброжелательностью отвечает на все наши вопросы. Ребенок попадает сюда в возрасте двух с половиной лет и до пяти лет проходит курс дошкольного воспитания. С пяти до девяти — цикл начального обучения, с девяти до тринадцати —

вторая ступень, с тринадцати до шестнадцати — высшая ступень обучения. По окончании школы — университет или поступление на работу.

Самое трудное — определить степень одаренности ребенка, поступающего в Калакшетру. Конкурс всегда велик, не меньше десяти желающих на одно место. Склонности и таланты ребенка определяются при помощи тестов.

Мистер С. Кришнаратнам соглашается с нашей кри-

тикой этого метода, выслушивает с интересом наш рассказ о неудачах, пережитых нашей так называемой педологией в начале тридцатых годов.

— Да, метод далеко не совершенен,— говорит директор,— поэтому-то мы и избегаем ранней профессионализации. До определенного возраста делаем ставку на общее эстетическое развитие ребенка. Дети занимаются одновременно и танцем, и музыкой, и рисованием. Только после длительного наблюдения над индивидуальными данными ребенка мы направляем его учиться одному из этих искусств. Наша Калакшетра пользуется широкой популярностью. Самые прославленные танцоры Индии — наши питомцы.

Никакого принуждения. Дети занимаются только по желанию. Учение только тогда плодотворно, когда оно приносит ученику радость познания, наслаждение совершенствования. Никаких запретов в пределах разумного.

— Вот, например, эта стена,— показывает нам директор стену, сплошь покрытую детскими рисунками,— дети очень любят рисовать здесь, это для них куда забавнее, чем рисовать в тетради. Через каждые два-три дня мы, сфотографировав лучшие рисунки, снова забеливаем стену, и дети опять разрисовывают ее.

Известно, что на мировых конкурсах детского рисунка работы индийских ребят всегда выдвигаются на одно из первых мест. И сейчас, рассматривая образчики детского творчества на стене Калакшетры, мы видим, как ярко выражена в них душа народа — мудреца, стоика, философа. А сколько фантазии! Как говорил Корней Чуковский: «Это бяка-закаляка кусачая, я сама из головы ее выдумала». Оригинальное детское творчество, «выдуманное из головы»,— это один из естественных заслонов против жупела стандартизации, бича нашего столетия.

«Довести до уровня мировых стандартов»,— этот лозунг, понятный на производстве предметов ширпотреба, становится угрожающим, когда его переносят в сферу производства ценностей духовных. В том-то и прелесть Калакшетры, что здесь нет ничего от стандартизованного облика художественных училищ многих других стран мира. Так же, как и школа скульптуры в Махабалипураме, она пленяет именно своей непохожестью на другие школы, своим «лица необщим выраженьем», своим умением сплавлять воедино традиции и новаторство. Нет,

здесь вовсе и не пахнет нарочитым стилизованным сохранением отжившей старины. Здесь идут вперед, бережно храня полученное от дедов наследство, обогащая его новыми вкладами, не давая забыть ни одно из прежних ремесел или искусств.

Атмосфера доброй педагогики разлита вокруг. Она и в просторе учебных корпусов, раскинутых поодаль один от другого в большом саду, и в пространствах, отведенных для игр и отдыха ребят, и во всем тоне, который, как говорится, делает здесь музыку. Здесь никогда не говорят ученику: «Плохо!» Здесь наставник говорит: «Это у тебя получилось неплохо. Но я уверен, что если ты постараешься, то можешь сделать еще лучше».

В общем, гуляя по аллеям Калакшетры, мы чувствуем, что здесь, на юге экзотической Индии, витают тени великих педагогов иных широт: молодого Льва Толстого, Ушинского, Макаренко, Януша Корчака...

Ватага чернявых мальчуганов с любопытством и без всякого стеснения разглядывает нас, необычных посетителей. Впрочем, «чернявые» — это весьма приблизительное определение их колорита. У индийцев юга оттенок кожи не просто смуглый, а с каким-то синеватым отливом. Очень хороши фигуры здешних молодых людей. Они стройны, тонки, на редкость пропорциональны. Девочки настолько красивы лицом, что кажутся нам какими-то Аэлитами с других планет. Но что особенно вызывает восхищение, так это девичьи глаза. Вот уж где подходит эпитет «нездешние». Они как бы смотрят из глубины какого-то чистого прозрачного родника. Они не черные и не серые. У них меняющийся цвет. Но внутри будто застыл сияющий коричневый лучик. И главное в этом влажном сиянии — спокойствие. Спокойное созерцание прекрасного мира. Не хочется отрывать взгляда от этих глаз. Хочется снова и снова — в который уж раз — повторять про себя слова поэта: «Благоговея богомольно перед святыней красоты...»

Вдруг различаю среди девушек свою землячку. Явная казашка, невысокая, молоденькая, лет шестнадцати, девчонка. Я радостно заговариваю с ней на родном языке. Увы, не понимает ни слова. Оказывается, она из Тибета. Бежала от преследований маоистов.

Наступает полдень — время перерыва занятий и отдыха от жары. Нас ведут отдыхать в библиотеку — двух-

этажный домик, стоящий особняком. Увы, в нем нет кондиционированного воздуха. Мы из деликатности скрываем свое огорчение по этому поводу. И не зря. Физические неудобства щедро окупаются обильной пищей духовной.

Совсем недавно мы впервые увидели книгу из пальмовых листьев, а сейчас перед нами многочисленные полки, сплошь заставленные такими книгами. Целая историческая и искусствоведческая библиотека трех-четырехвековой давности. В этом ворохе листьев, нанизанных на нитки,— кладезь опыта и мудрости. Узнаем, что эта уникальная библиотека собрана одним человеком, умершим в сороковых годах. Его звали доктор Сваминатхан. Он объехал на своем велосипеде весь Тамилнад, собирая отдельные рукописи по деревням и городкам штата.

— Вот он,— с волнением и гордостью говорит молодой сотрудник библиотеки, показывая нам фотопортрет широколицего, очень смуглого человека. Абсолютная белизна его волос и бороды придает портрету сходство с негативом.

Молодому сотруднику очень хочется подробно объяснить нам технику письма на пальмовых листьях. Сначала листья высушивают до определенной степени, потом шилом прокалывают на них буквы. Через какое-то время проколы темнеют и выглядят как буквы, написанные обычными чернилами.

Остальные сотрудники ревниво следят за изложением, вставляя то и дело свои дополнения. Каждый жаждет как можно подробнее познакомить гостей с явлениями национальной культуры своей страны. Они так стараются, словно именно от нас зависит их международное признание.

Это так трогательно и так понятно, если вспомнить о столетиях колониального унижения, которому подвергался этот талантливый народ. Это только естественное желание донести до людей хоть часть того, что было создано тысячелетиями, доказать, что бесчеловечная судьба этой страны не помешала ей создать самобытную культуру, во многом не уступающую античной, культуру, человечную до самой глубины.

...Сегодня после обеда предстоит пресс-конференция. О ней мы говорили накануне вечером с нашим генеральным консулом и с корреспондентом «Правды» по Южной Индии и Цейлону Вениамином Шурыгиным. В этой

беседе раскрылись кое-какие местные проблемы, стала более цельной картина общего положения в штате. Что касается собственных проблем, то тут консула волнует больше всего вопрос о языке. Владение тамильским языком — это путь к умам и сердцам народа. Конечно, здесь все владеют английским, но чужестранец, говорящий по-тамильски, уже вроде и не чужой. Кроме того, на тамильском языке существует богатая древняя литература, почти не переведенная у нас. Это относится и к другим языкам южной Индии — телугу и малаялам. Между тем у нас, в СССР, готовят кадры для Индии лишь по языкам хинди, урду и бенгали. Только сейчас приступили к подготовке кадров по языкам тамили и телугу в Московском и Ленинградском университетах.

Наш консул полушутливо высказывает опасение, что, начав это дело, мы, как это нередко у нас бывает, потеряем масштабы и наготовим столько специалистов, что их некуда будет девать.

Однако время близится к началу пресс-конференции. В ресторанном зале нашей гостиницы уже сервирован чай. Памятуя о предупреждениях, полученных в нашем консульстве («Смотрите, вас могут атаковать справа сотрудники некоторых газет! Будьте готовы!»), я в своем вступительном слове (каюсь!) усиленно занимался тем, что у казахов называется «подкладывать под бочок словесные подушки». То есть вообще-то я был совершенно искренен, когда говорил об исконном интересе наших народов к Индии, о нашей любви к индийской литературе, когда высказывал сожаление по поводу недостаточного нашего знакомства со своеобразной богатой культурой народов юга этой страны. Но форма выражения всех этих правильных мыслей была несколько гиперболической, комплиментарной. Мои товарищи в своих выступлениях тоже усиленно подкладывали «словесные подушки». В результате такого переслащения конференция оказалась пресной, не очень содержательной. Куда большее удовлетворение мы получили бы от столкновения мнений, от активной борьбы за свое мировоззрение.

В связи с этим вспоминаю выразительную казахскую поговорку: «Разве так тебя просили пугать?» Ее в данном случае можно бы перефразировать: «Разве так тебя просили агитировать?»

Ну, ничего. Это все еще будет. А пока мы получили право начать отчет о пресс-конференции знаменитой сакраментальной формулой о «теплой дружеской обстановке». Особенно патриархально «закруглил» разговор редактор какой-то мусульманской газеты — почтенный старец в белом бешмете, в турецкой феске, с острой бородкой и длинным носом на маленьком продолговатом лице. Ни дать ни взять — старый татарский мулла из Казани! Он клятвенно заверил нас в крепкой дружбе, обрамив свои клятвы витиеватыми комплиментами в восточном стиле.

4

Словесная дуэль. У писателей Тамилнада.

Зато реванш был дан на другой день, во время встречи в Обществе индийско-советской дружбы. Тут, мне кажется, нам удалось попробовать свои возможности в смысле не только утверждения, но и активного отстаивания своих взглядов.

Все началось традиционно, и ничто не предвещало бурных столкновений. Народу вначале было немного, и лишь постепенно зал наполнился так, что кое-кому пришлось даже стоять. В основном собралась интеллигенция. В рядах то и дело мелькали и яркие сари женщин.

Изысканно вежливый сорокалетний адвокат, открывший собрание, долго задерживал внимание своей гладкой, типично адвокатской речью. Довольно обстоятельно выступил и наш переводчик Исаак Голубев, являющийся ответственным секретарем московского отделения Общества советско-индийской дружбы.

Казалось, что мы уже близки к завершению взаимно-вежливого, обтекаемого разговора. И вдруг точно лавина прорвалась — посыпались вопросы. Скоро они превратились в перекрестный огонь. И хотя вопросы эти были порядочно избиты, не выходили за рамки обычной враждебной нам пропаганды, но все же словесная дуэль требовала с нашей стороны владения оружием слова.

— А как в Советском Союзе обстоит дело со свободой личности?

— Работают ли у вас люди по собственному желанию?

— Верно ли, что не работающие подвергаются преследованиям? Куда их высылают? Неужели в Сибирь?

Характерно, что среди любознательных людей, задававших подобные вопросы, были и те, кто накануне засыпал нас комплиментами.

Почти в каждом таком вопросе явственно ощущался недостаток объективной информации о нашей стране, а то и просто влияние дезинформации, идущей из печати определенного толка.

Выделяю из группы «атакующих» низкорослого коренастого мужчину, похожего на негра и типом и цветом лица. Он особенно непримирим и не лишен демагогического опыта. Каждый наш ответ он ловко выворачивает наизнанку, щеголяя своей «теоретической подготовкой», требуя от нас «четких формулировок» по вопросу о культе личности и о теоретической основе этого явления. Совсем не удивительно, что этот человек оказался оголтелым маоистом, немало потрудившимся над задачей — внести раскол в коммунистическое движение Индии.

Приходится и отшучиваться, и переходить в наступление, и приводить фактический материал.

— Послушайте, уважаемый,— говорю, обращаясь к маоисту,— вы говорите о культе личности с похвальным хладнокровием. Для вас это тема «теоретических» изысканий. Вы забываете, что для нас — это печальная практика, глубоко ранившая наши души. Усилиями партии и народа эта беда преодолена. И поищите другую канву для вышивания своих «теоретических» узоров.

При переходе к чисто литературным темам заметно активизируется группа из семи-восьми человек, выделяющихся своим холеным видом, аристократической сдержанностью манер.

— Развиваются ли у вас сатира и юмор?

— Ах, развиваются? А тогда скажите, кого или что обличает ваша сатира?

— Так... Но есть ли все же какие-то границы, за которые воспрещается выходить?

Все это изысканно вежливым тоном, негромкими голосами.

Их перебивают более примитивные оппоненты. Те, не мудрствуя лукаво, ставят вопросы в наивной форме первобытной антисоветчины.

— Вольны ли советские авторы в выборе тем? Или они пишут по заданию сверху?

— Правда ли, что советские писатели совсем оторвались от народных нужд и полностью обуржуазились?

Некто очень громкоголосый додумывается до вопроса о том, почему нам ставят такие вопросы.

— Ведь вам их часто задают. Как вы объясняете это? Чем вызван этот интерес?

Самое убедительное возражение в подобных случаях — это сама личность советского писателя, выступающего перед такой разнородной аудиторией. От эрудированности наших ответов, от их непосредственности, даже от самой манеры говорить зависит успех нашей контрпропаганды. Надеюсь, что в нашем случае смехотворный тезис насчет «обуржуазивания» разбивается нашим глубоко демократическим видом, нашими бытовыми навыками. Надеюсь и на то, что в наших ответах прозвучало достаточно «человеческого, слишком человеческого», чтобы в нас можно было заподозрить сходство с теми марионетками, которые мерещутся воображению некоторых, сильно начитавшихся «свободной прессы».

Во всяком случае, кое-кто из наших собеседников явно заколебался после наших выступлений, и их контрреплики звучат совсем иначе, чем первые вопросы. Чувствуется, что многие заблуждения рассеяны благодаря полученной от нас правдивой информации.

Вспоминаю в заключительном слове казахскую поговорку — «храбрые, не подравшись, не дружат». Ее встречают одобрительным гулом. Развиваю эту мысль. Без взаимного испытания, без столкновения мнений, без спора не может быть заложен фундамент истинной дружбы. Теперь мы знаем друг друга не по рассказам. И вы нам нравитесь, хотя не все ваши суждения о нас и о нашей литературе правильны. Но сегодняшний вечер, конечно, сделает более пристальным ваш взгляд на советскую литературу, повысит ваше критическое отношение к пристрастным и необъективным суждениям о ней.

Удивительно благотворно то чувство, которое дает человеку удачный спор. Ты ощущаешь, как рассеялись

сомнения потенциальных друзей, как дрогнули софизмы, которыми оперировали понаторевшие в словесных битвах демагоги.

...Когда встречаешь в печати выражение «личные контакты», оно порой скользит почти мимо сознания, так как от частого повторения первоначальное значение этих слов уже стерлось. Но бывают моменты, когда вдруг выражение это оживает, наполняясь конкретным смыслом. Я вспоминаю об этом во время встречи с тамильскими писателями, пригласившими нас к себе. Потому что здесь возник подлинный контакт, то есть непосредственное узнавание друг друга и радость от этого узнавания.

С понятной гордостью они демонстрируют нам свою библиотеку. Высокий, просторный зал с громадными окнами полон людей. Каждый день здесь бывает тысячи полторы читателей.

— Библиотека государственная. Посещение бесплатное.

Об этом сообщают с горящими глазами. Это внове.

Несколько смущенно показывают нам отделение русской классической и советской литературы. Обстоятельно рассказывают о трудностях укомплектования этого отдела. Действительно, тут не густо. Русские произведения в основном даны в английском переводе. Из казахской литературы я узнаю здесь только «Путь Абая» Мухтара Ауэзова. На равных правах с классиками советской литературы представлены здесь и эмигранты типа Набокова.

Нам рассказывают о советской теме в творчестве писателей Тамилнада. Харати — это их классик — создал поэму об Октябрьской революции. Натараджен — писатель и историк, лауреат премии имени Неру, написал биографию Ленина. Кандесан работает над поэмой «От Волги до Ганга».

Усаживаемся вокруг стола (оживает и замученное журналистами выражение «За круглым столом»). Разговариваем не «на тему», а ведем живой разговор людей, связанных общностью профессиональных интересов. Структура нашего союза писателей. Тиражи книг. Гонорары. Все это остро интересует наших собеседников.

Их поражает наша система оплаты гонорара. Прикидываем: в пятимиллионном Казахстане тираж книг часто выше тиражей пятисотпятидесятимиллионной Индии. Но там, где у нас тираж мал (в литературах малых народов), государственное издательство покрывает за свой счет расходы, а на авторском гонораре это не отражается.

— Увы, у нас на литературные заработки не проживешь,— говорит довольно известный писатель, крупный мужчина лет сорока,— служу в рекламном агентстве...

Этот писатель создал правдивую книгу о нищете Индии, о горестях ее бедняков. И не смог ее опубликовать... Но тут среди наших собеседников находится один, огорченный, оказывается, тем, что в Советском Союзе ущемлена... литература на темы секса.

— Вот если бы вы написали сексуальный роман? Напечатали бы его?

Отшучиваемся как можем. Напираем на физическое и психическое здоровье наших людей, не нуждающихся в искусственном возбуждении.

Не унимается наш оппонент.

— Какая же это свобода, если запрещена сексуальная литература?

Поистине неисповедимы законы чужой логики.

Мадрас одаряет нас наслаждением, от которого захватывает дух,— мы ежедневно во второй половине дня купаемся в море. Лежим на золотом песке ослепительной чистоты. Белогривые высокие волны опрокидываются на берег, захлестывая нас. С замиранием сердца, в приливе детского восторга мы бросаемся на гребень подкатывающейся волны. Изо дня в день. Это не может надоесть.

Недаром в сознании все время звучат пастернаковские строчки:

Приедается все.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И годы проходят,
И тысячи, тысячи лет.

В белой рьяности волн,
Прячась
В белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь, и сводишь на нет.

В Мадрасе, конечно, нет акаций. Другая, более экзотическая растительность окружает «белую рьяность волн». Но ощущение извечности, первозданности стихии неизменно возникает при соприкосновении с этим простором, с этой гиперболической синевой.

Наш приятель, задумавший ряд тематических очерков об Индии, усиленно старается собрать материал о жизни рыбаков. Собирается даже выйти вместе с рыбаками в море, но его отговаривают.

— Здесь выходят в море не на сейнерах, а на утлых лодчонках, в которых едва помещаются двое. За день раза два просматривают и снова переставляют сети. Что вам даст, да еще без понимания языка, день, проведенный в такой лодчонке, трепыхающейся на волнах?

Тогда наш приятель пытается проникнуть хотя бы в особенности рыбацкого быта. Ряд шалашей, крытых соломой, а то и просто разным мусором,— это и есть здешний рыбацкий поселок. В шалашах только спят, живут в основном на улице, вокруг железных печурок, на которых варят пищу.

Я не любопытствую насчет внутреннего убранства этих шалашей. Я мог бы описать его, не заглядывая внутрь. Мне уже слишком хорошо знакомо это проклятие нищеты. На нее нечего глазеть. Ее надо искоренять. Как здорово сказано у Маркса насчет того, что существуют два вида нужды: благородная бедность и оскорбительная нищета. Сколько картин именно такой, оскорбительной для человеческого достоинства нищеты мы уже повидали в этой стране, достойной после долгих лет страданий куда лучшей участи.

...Я не планирую тематических очерков, не занимаюсь собиранием специальных материалов. Довольствуюсь тем, что вижу собственными глазами, заношу в блокнот поток мыслей и чувств, вызванных картинами жизни и потому пестрых, как сама жизнь.

Сегодня я впервые увидел индийского пьяного. Это было так нетипично для здешних нравов, что я сначала принял его за больного. Странная походка, странное поведение. Во время отлива этот чернобородый человек вприпрыжку побежал к обнажившемуся берегу и, вытащив из влажного песка какое-то паукообразное морское чудо-юдо, стал клянчить денег, которые, очевидно, должны были оплатить его труды по ознакомлению нас с морской фауной.

Мистер Канная морщится. Его национальной гордости нанесен ущерб. Этот пьяный попрошайка компрометирует своих земляков. И мистер Канная торопливо объясняет нам, что это своеобразная реакция на низкие заработки и адские условия труда.

● ТЕТРАДЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Ожерелье королевы. Шива благотворит — Шива гневается. Осквернители святынь.

К Бомбею мы подлетаем вместе с вечерними сумерками. Огни уже зажжены. Обычный эпитет «море огней» тут не совсем подходит по масштабам города. Он необозрим даже сверху, из самолета. Океан огней. Небесный свод, усеянный огнями. Да, пожалуй, именно на небесный свод и похоже, потому что огни по краям распыляются, подобно Млечному Пути, убегая вдаль. Только впереди огни обрываются сразу, точно кто-то наспех обрезал гигантскими ножницами край сверкающего огненного разлива. Это — окраина города, упирающаяся в море.

Нас встречает хмурый человек с таким выражением лица, точно его подняли с постели спозаранку. Орлиный нос, нависшие брови и густые черные бакенбарды усиливают впечатление неприветливости. Впрочем, по форме соблюдены все обычаи гостеприимства. Не удержав в памяти труднопроизносимую фамилию, я сразу начинаю мысленно именовать человека мистером Иксом.

Людское месиво в аэропорту настолько густо, что напоминает движение льдин в разгаре ледохода. Все наталкиваются друг на друга, все изловчаются пробить дорогу сквозь массивы тел. Так что мы уж рады-радехоньки тому, что мистер Икс заводит нас в полицейский пункт, отделенный от зала дощатой перегородкой, хотя вообще-то попадать в такие места не слишком приятно.

Полицейские, вроде стараясь победить наши предрас-

судки, проявляют максимум любезности, здороваются с нами стоя, улыбаются. Мистер Икс объясняет, что это единственное место, где мы можем переждать, пока нам принесут наши вещи. Кстати и обсудим пока нашу бомбейскую программу.

У нас уже есть опыт обсуждения программ нашего пребывания в каждом городе. Мы интуитивно чувствуем, где запланированы большие перегрузки и где упущено то, что нам желательно видеть. Поэтому мы активно вносим предложения и контрпредложения. Мистер Икс проявляет сговорчивость, вносит в план предложенные нами поправки, приговаривая то и дело: «О йес!» Но это «йес» порой звучит у него не слишком любезно, напоминая по интонации нечто обратное смыслу.

При непосредственном знакомстве с Бомбеем поражаешься его величине еще больше, чем с борта самолета. Больше часа едем мы от аэропорта до назначенной нам гостиницы «Гранд отель». По мере приближения к центру мы приближаемся и к морю, глубоко заходящему в город. Едем берегом, изогнутым, как подкова, блистающим жемчугами щедрых ночных огней. Это и есть то знаменитое место побережья, что зовут «Ожерельем королевы». С чьей же шеи слетело это изумительное ожерелье? Виктории? Елизаветы? Как бы то ни было — оно великолепно!

Наш первый бомбейский маршрут — остров Элефант, получивший свое название за то, что очертания его при взгляде с моря напоминают фигуру огромного каменного слона. Всеобщее паломничество на этот остров вызвано тем, что здесь находится знаменитый храм бога Шивы, высеченный в одной из скал острова.

Проезжаем через гигантскую арку, носящую название «Ворота Индии». Затем пересаживаемся в небольшую моторную лодку. Неожиданно для нас на море опускается туман, и нам кажется, что мы едем вслепую. Туман сгущается, скоро уже и город утрачивает реальные контуры и выглядит как неясное видение. Многие суда, видимо из-за отсутствия свободных причалов в порту, стоят на приколе в открытом море.

Встреча с земляками! Проплываем мимо небольшого советского корабля. Плавно колышется красный флаг с серпом и молотом. Мелькают фигуры наших моряков. Сигналим им приветственными взмахами рук, но они не

успевают догадаться, что мимо плывут свои. На борту судна отчетливо выведено его название — «Оптимист». Что и говорить — по шерсти кличка. Маленькое судно — чуть побольше катеров и сейнеров — храбро пересекло океан. Для этого, действительно, надо быть оптимистом.

Все познается в сравнении. Только на днях мы стояли в изумлении перед пещерным храмом в Махабалипураме. Казалось, именно тут достигнуто совершенство. Но тот храм сейчас вспоминается как копия великой картины.

Храм Шивы, высеченный в скале на острове Элефант, поражает прежде всего масштабами. Монолитная порода методично, метр за метром выдалбливалась на всем протяжении черной гряды. Храм уходит в глубину скалы метров на пятнадцать — двадцать.

Здесь четыре зала. Особенно великолепен большой зал, полный изумительных образцов скульптурного искусства. Разглядывая их, невольно вспоминаешь скульптуры католических храмов, как полный антипод того, что мы видим здесь. Для христианской религиозной скульптуры характерна прежде всего потусторонность образов. Это лики, полные гармонии Иного мира. Здесь же — все страсти Этого мира, его радости и терзания, его грехи и искупления. Индийские боги — жизнелюбы, им ничто человеческое не чуждо. И в этом смысле облик четырехрукого танцующего Шивы — это апофеоз индийского религиозного ваяния.

Мне лично особенно симпатичен бог Ганеша. Это слон, сидящий в человеческой позе. Волшебство этой скульптуры, повторяющейся во множестве индийских храмов, заключается в том, что лицо слона (именно ЛИЦО!) при полном воспроизведении всего слоновьего — хобота, клыков, огромных ушей — глубоко человечно. В крохотных глазках такая умная улыбка, столько сострадания к людям, понимания их суетных радостей и трагических исходов... Огромное брюхо Ганеши, сползшее на тумбообразные задние лапы, как бы призывает к мирному отдыху, к отказу от честолюбивого злобствования.

Стою перед Ганешей и ловлю себя на том, что губы раздвигаются в добродушной улыбке. Я как бы беседую с этим удивительным богом, который вот-вот подмигнет мне, намекая на то, что, право же, нет смысла огорчаться, ведь мы-то с тобой знаем, что чего стоит.

...Здесь скульптурно воплощен совсем иной идеал

женской красоты, чем тот, который привычен на мусульманском Востоке или даже у буддистов Китая и Японии. Здесь поставлены под сомнение такие канонизированные преимущества, как хрупкость, нежность, тонкость стана, воспетые и в поэзии, и в изобразительном искусстве этих стран («В стане гнется тростиночкой, сквозь кожу просвечивает солнце, линии тела как черточки алифа[1]»).

Индийские скульптуры женщин подчеркнуто полнокровны. Их могучие бедра и груди — символы плотской любви и деторождения.

Центральная композиция храма Шивы на острове Элефант — это тройной облик Шивы, возвышающегося посередине. Просветленный лик, обращенный в профиль к востоку, символизирует идею созидания. Это бог-творец всего живого на земле. В центре — спокойный сосредоточенный лик бога — охранителя жизни на земле. К западу же обращен лик гневный и карающий. Бог-мститель, бог разрушающий. Своеобразный индийский вариант «божественной триады». Здесь бог «един, но троичен в лицах» в том смысле, что он символизирует три цикла жизни: рождение, жизнь, смерть.

В отличие от храмов, виденных нами в других городах, здесь нет золота и драгоценных украшений. Да они и поблекли бы здесь на фоне этих изваяний, сверкающих немеркнущим талантом. Здесь есть и многофигурные скульптурные композиции на сюжеты разных легенд индийской религии. Все это динамично, все отражает движения человеческого тела и человеческой души, ее борения, ее мятежи.

Непривычному глазу европейца не сразу удается освоиться с тем, что мы встречаем в зале, расположенном несколько в стороне от главного зала. Здесь царит культ фаллоса. Скульптура, изображающая мужское начало, сначала кажется нам немыслимой.

Наш гид, видя нашу растерянность, подробно объясняет нам суть этой символики, ее значение в индуизме. Начало человеческой жизни связано с ее носителем — мужчиной. Культ фаллоса, который обыкновенно символизирует Шиву,— это прославление жизни. Он существует наряду с культом таких богов, как Вишну, Ганеша,

---

[1] Алиф — буква арабского алфавита, пишется в виде вертикальной палочки.

с культом явлений природы — воды, деревьев, животных...

Храм полон посетителей. Кроме туристов из разных стран, группирующихся вокруг гидов, здесь немало и индийцев. Респектабельные, полные достоинства главы семейств (очевидно, зажиточных) неторопливо прохаживаются по залам храма в сопровождении жен и детей. Особняком держатся студенты различных колледжей, внимательнее других рассматривающие отечественные памятники.

Узнаем, что тот вход в храм, через который мы вошли, не является его фасадом. Оказывается, главные ворота, представлявшие собой замечательный памятник архитектуры и скульптуры, разрушены снарядами португальских захватчиков.

Что можно сказать о варварстве этих европейцев, разрушивших плоды вдохновенного труда! Слов тут нет. Возмущенное молчание в этом случае, пожалуй, более выразительно.

Следы, оставленные этими гуннами XVI века, видны не только в разрушении ворот. Многие скульптуры изувечены португальскими солдатами, которые останавливались в этом храме. Вот статуя с отломанной рукой, вот другая — с изуродованным лицом. Это не следы времени, а следы бесчинств иноземной солдатни. С грубым хохотом и похабными остротами эти, так сказать, представители европейской цивилизации, кичащиеся своим европеизмом, отламывали грудь прекрасной индийской Венере.

Когда видишь следы бесконечного трудолюбия великих индийских мастеров, высекавших свои творения только из цельной горной породы, и рядом с ними — следы циничного, наглого разрушения, принесенного колонизаторами, начинает казаться, что здесь, в этом пещерном храме, происходила великая битва между духом человечности и дьявольскими силами зла.

Перед моим мысленным взором встают образы мастеров древней Индии — этих великих каменщиков, дающих мне сейчас, спустя многие годы после их смерти, высокое эстетическое наслаждение. Ведь они были лишены даже естественного права творческого работника на черновик, на поиск, на ошибку. Вот уж где подлинно надо было семь раз отмерить и только один раз отрезать. Малейшее отклонение от заданной линии могло нарушить несказанную гармонию целого. И они не допускали ошибок. Они

создали совершенство. Точно рукой мастера водило само божество.

И еще я размышляю о дикости, носящей академическое название — колониализм и неоколониализм. Я узнаю этот почерк, почерк насильников и захватчиков, в общем-то мало изменившийся за века.

Знали ли, ведали ли те, давнишние португальские солдаты, воевавшие с англичанами за право терзать Индию, на что они поднимали руку? Догадывались ли о том, что стали орудием бесчеловечности?

Почему это преступление почти не нашло отклика ни у современников, ни у потомков? Ведь если бы, к примеру, кто-то поднял руку на «Сикстинскую Мадонну» или на «Джоконду», то...

И я размышляю снова и снова о высокомерии колонизаторов. И не только тех, кто непосредственно убивает и насилует, но и тех, кто пишет ученые трактаты, в которых человеческая культура разрубается на различные географические зоны и все, что не соответствует западным стандартам, чванливо третируется как нечто низшее. Чувствую, что во мне закипает злое раздражение, и стараюсь успокоить себя мыслями о том, что есть, есть все-таки некая справедливость в человеческой истории, что пусть поздно — гораздо позднее, чем хотелось бы,— но все-таки приходит для злодеев час возмездия. И начинается это возмездие с того, что выражено известной поговоркой: кого бог хочет наказать, того лишает разума. Превращаясь в полчища варваров, современные захватчики неизменно теряют разум, а в этом уже потенциально заложена их будущая гибель.

...Выходим из храма. Узкая асфальтовая пешеходная дорожка огибает гору, возвышающуюся над храмом. Поворачиваем к кафе у причала. Юркие обезьяны карабкаются по стенам, по ветвям деревьев, грызутся из-за подачек, бросаемых прохожими. Всматриваюсь повнимательнее в глаза этих шимпанзе, как говорят, наших довольно близких родственников. Улавливаю в их глазах не только внешнее сходство, но даже какую-то затаенную, человечью грусть. На кормлении обезьян тоже построен небольшой бизнес. Ребятишки тут же услужливо предлагают вам всего за одну рупию кулек с орехами и горохом. То, что не успеют подобрать скачущие обезьяны, достается детям.

Шимпанзе невелики по размерам. Детеныши их совсем крохотные. Они сидят, прижавшись к материнскому брюху, и не падают при любых гимнастических трюках мамаши, скачущей по деревьям.

Странная сцена: одна из самок не успела схватить брошенный орех, ее детеныш оказался более ловким. Но только что он поднес орех ко рту, как мать вырвала добычу и съела сама. Вот это уже говорит против родства с человеком, у которого, как известно, материнский инстинкт развит больше, чем инстинкт самосохранения. Да что человек! Даже голодная волчица отдает добычу волчонку. А тургеневская воробьиха, прикрывающая птенца своим телом в минуту страшной опасности! Или эгоистичная мамаша-шимпанзе нетипична? Может быть, разнообразие темпераментов и характеров — это тоже признак родства с нами?

...Возвращаясь из этой поездки, мы различаем в очистившемся от тумана морском воздухе контуры еще одного острова на расстоянии пяти-шести километров от уже известного нам острова Элефант. Вокруг этого нового для нас острова висит на опорах белый мост. Может быть, это причал для кораблей?..

— Здесь, на этом острове, мы возводим с помощью Канады атомный реактор,— объясняет наш гид и добавляет: — Два острова рядом. Один — прошлое Индии, другой — ее будущее.

Эту фразу, безусловно стократно повторенную, он произносит вдохновенно, с таким выражением, точно это экспромт, только что найденный им. Ну что ж... Наверно, в этом даре выразительного повторения одного и того же и заключается талант гида.

2

Два аксакала Индии. Ленин в Бомбее.

Этой встречи мы ждали давно. Обоих крупных писателей этой страны: и Ходжу Ахмада Аббаса и Кришана Чандара — мы знали понаслышке давно, кое-что читали в переводах, кое-что видели в кино. Тем более интересно было узнать этих людей, о которых ты уже составил себе

некоторое, должно быть, произвольное впечатление, во всей их конкретности, на родной им почве.

Ходжа Ахмад Аббас живет в городском районе Джуху. Дорога к этому району петляет все время берегом моря. Еще и еще поражаемся масштабам этого колоссального города. Уже двадцать километров позади нас, а конца городским кварталам все не видать.

Джуху — это, по существу, район кинематографистов. Именно здесь расположены многие киностудии Бомбея. Аббас, пригласивший нас на сегодня к себе в гости, очевидно, избрал этот район не случайно, а вследствие своей тесной связи с искусством кино. Ведь именно он является автором сценариев к популярным у нас фильмам «Бродяга», «Господин 420». Он также соавтор сценария фильма «Афанасий Никитин».

Проза Аббаса — романы и новеллы — переведена на многие языки мира. В основном Аббас пишет на английском языке, и знатоки заверяют, что его стилистика, весь его творческий почерк обогащают не только индийскую литературу, но и английский язык. Аббас не поклонник модернизма. Книги его представляют собой добротные реалистические произведения.

— Аббас-ага сам готовит для вас угощение,— доверительно сообщает посланный за нами человек.

Машина останавливается. Из небольшого одноэтажного дома на краю приморской дороги выбегает навстречу нам с протянутой для приветствия рукой худой невысокий человек с непокрытой головой, в рубашке с короткими рукавами. Еще бы не с короткими! Ведь жар пышет неистово, его не может ослабить море, воздух просто испепеляет вашу кожу.

В конце 1954 года я видел Ходжу Ахмада Аббаса на Втором съезде советских писателей. И теперь я пристально всматриваюсь в его узкое лицо с крупноватым носом и глубокими залысинами на лбу, в его серые, глубоко сидящие глаза. Постарел-таки с тех пор. Но глаза по-прежнему светятся молодо и энергично.

Аббас немного объясняется по-русски и по-детски щеголяет этим.

— Как погода в Казахстан? — осведомляется он. Страшно горд, когда мы одобряем его русское произношение.

К нашему приходу приглашен и другой классик Индии — Кришан Чандар, пишущий на языке хинди. Его внешний облик не соответствует тому, который составился в моем воображении. Кришан Чандар низок ростом, плотен, коренаст, с короткой шеей. Лицо его по типу близко к казахскому. Сначала его несловоохотливость и некоторая вялость движений заставляют предположить в нем флегматика, но скоро выясняется причина некоторой заторможенности в поведении писателя. Он недавно пережил тяжелый сердечный приступ, сейчас лечится, избегает путешествий. Очень жалеет, что из-за состояния здоровья не смог приехать в Москву, куда был приглашен.

И Аббас и Чандар много раз бывали у нас, и сейчас в их гостеприимстве ощущается теплота искреннего душевного расположения.

Из дальнейшей беседы с этими писателями нам становится ясно, как сложен вообще вопрос о выработке некоего единства действий в писательской среде Индии. Острая политическая борьба в стране отражается и на литературном фронте. Тем ценнее и трогательнее выглядит дружба, которой связаны эти два автора, несмотря на различие их литературных языков, несмотря на разность религий: Аббас — мусульманин, Чандар — индуист. Взаимное понимание, уважение к мнению другого видны в каждом их слове.

В нашей беседе принимают участие еще двое: молодая жена Чандара, красивая, обходительная женщина, способная украсить любое общество, и поэт Кайфи, человек, углубленный в себя, молчаливый, несколько разочарованный тем, что среди нас нет поэтов.

— Говорят, вы в молодости грешили стихами? — спрашивает меня, улыбаясь, Чандар.

— Было! Но, увы, давно уж, как говорится, «лета к суровой прозе клонят, лета шалунью рифму гонят...»

— Да, наш Кайфи все еще очень юн душой.

В середине беседы к нам присоединяется очень известный в мире индийского кинематографа Балрадж Сахни, одетый по-европейски, но на индийский лад — легко и изящно. Он несколько утомлен, так что его красивое актерское лицо выглядит сейчас не таким сияющим,

каким оно мелькало перед нами на многочисленных киноафишах Бомбея.

Безусловно красивое лицо. Но слишком профессиональное. И этот актерский профессионализм стирает то неповторимое своеобразие, каким отмечены лица Аббаса и Чандара.

Сахни рассказывает о том, как в данный момент он и его сын, окончивший Московский институт кинематографии, снимаются в новом фильме по сценарию Кришана Чандара.

Оказывается, кулинарные таланты нашего уважаемого хозяина почти так же ярки, как его литературное дарование. Мы получаем возможность оценить индийское национальное блюдо кари — жареное мясо с вареным рисом, обильно сдобренное пряностями вроде шафрана, стручкового перца, кардамона и жирным соусом. Несмотря на изнурительную жару, мы с завидным аппетитом лакомимся этим блюдом.

Обстановка в доме Аббаса очень скромна. Нет даже кондиционера. Только вентилятор призван спасать от жарких наплывов извне.

Ощущается и отсутствие хозяйки: жена Аббаса умерла.

После того как мы отдали должное национальному блюду, нас приглашают к приему пищи духовной. Тот самый молодой человек, что привез нас к Аббасу, тоже оказался поэтом. Он по просьбе хозяина исполняет для нас новую песню, написанную популярным индийским композитором на его слова.

Делаем внимательные, вежливые лица. На самом деле песня нам не по душе. Мелодия, держащаяся сплошь на высоких нотах, слишком криклива, лишена лиризма. Вообще-то я всегда с удовольствием слушаю индийские народные песни, но в этом случае что-то идет вразрез с моими эстетическими запросами. Наши хозяева, наоборот, с восхищением внимают певцу, находя, очевидно, в этой мелодии что-то недоступное нам.

Появляется как из-под земли какой-то дотошный фотограф. Он увековечивает нас и за едой, и за беседой, и в окружении многочисленной детворы, которая до этого только несмело выглядывала из-за дверей.

Прощаемся с очевидной грустью. Не много шансов на то, что еще увидимся с этими душевными людьми, с ко-

торыми роднит нас преданность общему литературному делу, высоким идеалам человечества, наконец, та взаимная симпатия, которой не всегда найдешь рациональное обоснование. А может, и встретимся... Недаром, по казахской пословице, конь трижды возвращается туда, куда и ступить не думал.

Во всяком случае, в памяти сердца останется и легкая, подвижная, полная остроумия беседа с Аббасом, и внутренняя сила, идущая от кратких лаконичных высказываний Чандара.

Да порадует нас судьба встречами с хорошими людьми!

О том, как в Индии будет отмечен столетний юбилей В. И. Ленина, мы узнаем заранее из беседы в советском консульстве. Генеральный консул Николай Васильевич Аксенов и вице-консул Марат Хикматуллаев знакомят нас с положением на месте. Оказывается, они испытывали порядочные трудности, желая удовлетворить как можно шире интерес индийского трудового люда к личности Ленина.

— Нам не хватает плакатов, литературы и особенно фильмов о жизни вождя. У нас мало фильмокопий. Их недостает даже для Бомбея — ведь здесь пять миллионов жителей,— не говоря уж про весь огромный штат Махараштра и соседние штаты,— рассказывает товарищ Аксенов.

Нас просят выступить на предстоящем собрании, и мы принимаем приглашение.

...Мы на одной из площадей Бомбея. С волнением смотрим на алое полотнище, протянувшееся по круглому фасаду большого здания. На нем всего пять латинских букв. Они образуют то самое слово, в которое вмещается вся надежда человечества: Л-Е-Н-И-Н. У входа — такой родной нам портрет Ильича: тот, где он стоит вполоборота, в кепке, с руками, заложенными в карманы.

Мы прибываем задолго до назначенного времени. Как говорят казахи, та утка, что тяжела на подъем, взлетает первой. Истомленные жарой, мы так боялись опоздать, что приехали чуть не за час до срока. Оглядываемся вокруг. Высокий круглый зал, мест на тысячу двести, опоясан двумя ярусами балконов. На стенах — стенды,

оформленные как распахнутые страницы книги. На стендах — хорошо составленные фотовитрины, диаграммы, схемы, воссоздающие жизнь и борьбу нашей партии и ее вождя. Есть данные и о сегодняшнем дне нашего строительства. Бумажные гирлянды разнообразных расцветок раскачиваются от струи воздуха, идущего от вентиляторов. Это создает переливчатую игру красок, радующую глаз.

Симпозиум, посвященный столетнему юбилею со дня рождения В. И. Ленина, организованный Обществом индийско-советской дружбы, продлится тринадцать дней, с восьмого по двадцать первое апреля. Здесь будут затронуты всевозможные политико-теоретические проблемы. Примут участие представители различных национальностей. Выступят многие общественные деятели, в том числе и наши знакомые — писатели Кришан Чандар и Ходжа Ахмад Аббас, актер Балрадж Сахни. В перерывах — демонстрация фильмов о Ленине, небольшие концерты.

Как раз на один из таких концертов мы и попадаем. Кантата о Ленине. Инструментальная музыка.

Стоило начаться выступлениям, как все мы с прискорбием отмечаем, что здесь не хватает одной весьма привычной для нас детали — высокой трибуны, с какой привыкли выступать все наши ораторы. Куда же это она, голубушка, задевалась? Ведь уж как удобно-то зайти за нее, как бы отгородившись от всей публики, разложить на ней заранее заготовленные листы бумаги и шпарить себе по этим листкам, заботясь лишь о том, чтобы не пропустить что-либо из написанного.

А здесь — только микрофон на очень высокой подставке. И перед этим очень высоким микрофоном — маленькая-маленькая женщина-оратор. Смуглое личико с кулачок, тихий голос, неторопливая речь. Никаких бумажек в руках. Смотрит прямо в зал и говорит так ровно, с такими доверительными интонациями, точно перед ней не многоголовый зал, а единственный, хорошо знакомый собеседник.

Поскольку я не понимаю ни слова, мне легко сосредоточить внимание на реакции слушателей. Отлично слушают! Ни зевков, ни скучливого кашля, ни шепота. Ясно, что она говорит о чем-то насущном, о чем-то нужном всем, что это не набившие оскомину наставления, не циф-

ровые данные, способные согнуть не только человека, но и верблюда. Велика сила непосредственного, искреннего слова!

Мы, перегруженные постоянными разъездами, конеч-

но, не успели записать своих выступлений на бумаге. И это оказалось к лучшему. Хорошо бы мы выглядели со своими конспектами после такого оратора!

Становление советских восточных народностей как социалистических наций, великая культурная революция в этих странах — вот что стало темой моего выступления. Конечно, основным материалом были близкие мне факты из жизни Казахстана. При всей моей нелюбви к цифрам выбираю все-таки некоторые, наиболее впечатляющие.

— В Казахстане сорок одно высшее учебное заведение!

В любом колхозе под Алма-Атой меня слушали бы равнодушно. Привыкли. Чтобы правильно увидеть, надо отойти на несколько шагов. Закон перспективы. Это становится мне ясно, когда в ответ на эту цифру вспыхивает взрыв аплодисментов.

— Вот уже десять лет, как мы перешли на обязательное десятилетнее обучение в школах.

Опять дружные аплодисменты.

— В Казахстане так же, как и в Узбекистане, Туркменистане, Киргизстане, есть своя национальная Академия наук и десятки научно-исследовательских институтов при них.

Возникает тот общий подъем, который в стенограммах отмечается как «общее оживление в зале». И снова люди аплодируют, радостно улыбаются. В нашем сегодня они провидят свое завтра, и это вдохновляет их.

Мои товарищи выступают с большим подъемом. Исаак Голубев говорит о работе Советско-индийского общества, Леонид Почивалов — о том, как ему довелось однажды организовать отделение Советско-индийского общества в... Арктике!

3

Институт имени доктора Бхальрао. Старик, открывший «предшественников Маркса». Доброго пути языку маратхи!

Забитая, испуганная девушка робко озирается по сторонам. Она окружена озлобленными, яростными женщинами, готовыми, кажется, разорвать бедняжку на части. Они перекрикивают друг друга, издевательски смеются,

топают ногами. Это сцена принятия молодой невестки в дом.

Тетушки, золовушки, снохи и прочие добродетельные родственницы обучают молодуху правилам хорошего тона и ведения домашнего хозяйства.

Эпизод из классической драмы Шарда. Исполнение настолько талантливо и выразительно, что проникаешься сочувствием к девушке, похожей на беспомощного щеночка, попавшего в кольцо чужих собак. Сочувствуешь, не понимая ни слова текста.

Спектакль идет на языке маратхи. Это основной язык, распространенный в штате Махараштра. А театр — небольшой, уютный, со зрительным залом мест на шестьсот — входит в состав так называемого института литературы, который было бы правильней назвать культурным центром, притягивающим к себе многие виды искусства.

В активе института около двух тысяч человек. Среди них не только писатели и журналисты, но и актеры, режиссеры, художники, научные работники — все, кому дорог этот язык, кто желает сохранить его для потомства. Здесь проводятся все литературные мероприятия, здесь сосредоточены печатные органы, читаются лекции по трем разделам искусства, наконец, здесь работает экспериментальный любительский театр драмы. Кстати, здесь есть и кружки по изучению русского языка. Узнаем, что уже идет к концу работа по составлению маратхо-русского словаря.

Свое летосчисление институт ведет с тридцатых годов, точнее, с 1934 года, с первых литературных концертов. В сороковых годах институт сыграл выдающуюся роль в сохранении и развитии индийского искусства драмы, переживавшего в те годы настоящий кризис. Драматический театр стоял перед реальной угрозой поглощения его искусством кино.

В борьбе за сохранение индийского драматического театра выделился доктор Бхальрао, имя которого сейчас присвоено институту. Организовав фестиваль драмы, Бхальрао поставил на своем творческом знамени девиз — сохранение народного искусства. За основу брались сюжеты классических поэм «Рамаяны» и «Махабхараты». Постановки носили массовый характер, их повторяли в селах во время религиозных праздников. Именно фестиваль стал главным источником сбора средств на построй-

ку этого дома. Ведь до 1947 года, года независимости, государство очень мало участвовало в таких делах.

Как хорошо, что институту присвоено имя его фактического организатора, человека, отдавшего все силы национальному искусству Индии, подлинному энтузиасту своего дела! Вообще я подметил этот штрих в жизни индийцев. Они называют свои учреждения именами подлинных, пусть даже скромных, деятелей данного фронта, не стремясь к обязательному преклонению перед тенями великих, но часто далеких светил.

...Итак, мы встречаемся сегодня с авторами, пишущими на языке маратхи. Они уже ждут нас. В небольшой комнате института собралось человек двадцать. В основном люди средних лет, если не считать двух старцев и нескольких юношей. Среди собравшихся две женщины.

Наша беседа начинается с забавного эпизода, отражающего патриархальность в местной писательской среде. Сразу же общим вниманием овладевает один из старцев, который заводит речь о... коммунизме!

— Был у нас в далеком прошлом поэт Намдев,— говорит старик,— так вот, он раньше Маркса открыл коммунизм. Он не делил людей на касты, не измывался над хариджанами, всех людей равными считал.

Оглянувшись на наших хозяев, замечаем на их лицах смущение и растерянность. Видимо, они знают, как трудно остановить старика, если он уже начал держать речь. Знают и то, что, увлеченный ассоциациями, этот оратор может наговорить невесть что. Но прерывать патриарха от литературы? Немыслимо.

Наше дело — соблюдать вежливость. Добросовестно слушаем старика, который, цепляясь за случайные слова, уже окончательно утратив нить мысли, перескакивает от одного к другому.

Ответственный секретарь местной писательской организации, толстяк с глянцевитой лысиной, весь истерзался, ерзая на стуле и бросая на старца-оратора умоляющие взгляды. Наконец он встает со стула в отчаянной решимости сделать патриарху намек на то, что его регламент истекает. Но тут сама судьба приходит ему на помощь — оратор умолкает так же неожиданно, как заговорил. Буквально на полуслове он вдруг кладет голову на ручку своего посоха и самым непосредственным младенческим об-

разом засыпает. Его коллеги облегченно вздыхают, и мы приступаем к настоящей беседе.

Секретарь организации вводит нас в историю литературы маратхи. Она берет свое начало в тринадцатом веке. Первыми произведениями явились переводы с санскрита. Это были «Рамаяна» и «Махабхарата», впервые зазвучавшие для народов на родном языке. Затем стихи-молитвы в честь бога Пандарпура. В период колониального господства очень развилась журналистика маратхи, а затем родились собственная драматургия и проза. Драматургия вначале только воспроизводила традиционные сюжеты санскрита. Потом появились первые робкие шаги в направлении собственной оригинальной драмы.

— Шекспира у нас не переводили, а переписывали применительно к нашей жизни. Позднее появился целый цикл драм под влиянием Ибсена. И ваш Гоголь. У нас знают и любят «Ревизора»...

Дальше секретарь рассказывает нам о прозе маратхи, которая началась с романтизма. Так же, как и у казахов, широко была отражена трагедия женской судьбы, борьба за раскрепощение женщины. Аналогию с развитием казахской литературы я нахожу здесь и в огромном интересе к историческим темам.

Наше глубокое внимание, блокноты в наших руках — все это производит на писателей маратхи большое впечатление. Они ревниво следят за речью своего секретаря, то и дело напоминая ему какие-нибудь пропущенные детали, называя новые имена, всячески желая удовлетворить нашу любознательность.

— Самый большой наш писатель — Апте,— сообщает один из молодых наших собеседников,— его считают Диккенсом маратхи. Один из его многочисленных романов, вскрывающих острые социальные проблемы, переведен на русский под заголовком «Кто позаботится?». Нам хотелось бы, чтобы наши уважаемые советские гости прочли этот роман.

Мы узнаем имена еще двух популярных писателей — Канолькара и Тендулькара. Узнаем, что за последнее двадцатилетие появилось немало интересных произведений, в которых глубоко освещается народная жизнь.

Я внутренне одобряю выступление этого парня. Думаю о том, что если бы к нам в Алма-Ату приехали люди,

ничего не знающие о казахской литературе, я построил бы свое выступление для них примерно так же. Выставил бы на первый план Сакена Сейфуллина, Мухтара Ауэзова, Беимбета Майлина. А для характеристики последнего двадцатилетия в развитии нашей литературы, пожалуй, воспользовался бы формулировками, данными этим молодым индийцем.

Наши собеседники точно задались целью заполнить наши блокноты до конца. Перебивая друг друга, они сообщают нам все новые и новые подробности о себе.

— Из Махараштры вышел в девятнадцатом веке крупный журналист Тилак, ставший видным лидером национально-освободительного движения в масштабе всей страны...— (я вспоминаю по аналогии нашего Чокана Валиханова).— У нас сейчас появляются пролетарские поэты...— (вспоминаю Сабита Муканова тридцатых годов).

— У нас есть женщины-сказительницы, поэтессы. Часто неграмотные, они дают великолепные образцы устного творчества.

— О жизни неприкасаемых пишет наш крупный писатель Аннабхау Сатхе.

— Во время традиционных октябрьских религиозных празднеств мы ставим спектакли по деревням. Народ любит их. Мы очень ценим драму как средство приобщения неграмотных масс к культуре...

Ах, как им хочется высказаться! И как мне понятна эта атмосфера страстного стремления молодой литературы к выходу на широкую арену. Как им обидно, что их крупные произведения все еще мало переводятся! А ведь на языке маратхи говорят почти сорок миллионов человек.

Бомбей — самый космополитический город из всех виденных нами индийских городов. В его порту сталкиваются корабли со всех концов света. Бомбей, конечно, не только центр штата Махараштра, но и крупный промышленный и культурный центр всей Индии. Здесь живут и работают уже упомянутые Кришан Чандар и Ходжа Ахмад Аббас, так сказать, аксакалы индийской литературы. Здесь же творят такие крупные деятели кино, как Радж Капур, Балрадж Сахни и другие. Кто только из популярных писателей, ученых, политических деятелей всего мира не побывал в Бомбее! Не мудрено, что энтузиасты из инс-

титута имени Бхальрао в какой-то мере ощущают себя провинциалами в собственной столице.

Многое я улавливаю в недомолвках и выразительных интонациях наших собеседников — писателей, пишущих на языке маратхи. Ведь как бы высоко вы ни ставили европейскую цивилизацию, вас не может не унижать мысль, что ваша древняя культура, затоптанная в свое время колонизаторами, воспринимается со снисходительным высокомерием как нечто экзотическое и несущественное. И как глубоко понятно страстное желание освободиться от комплекса неполноценности, рожденного столетиями угнетения, утвердить себя, свой язык, свой духовный мир! Тем более что у народов маратхи поистине неисчерпаемая казна, завещанная им предками. Нам знакомо горячее чувство нетерпения по пути в большой мир, знакомо желание убыстрить темпы, прокричать знакомый лозунг: «Время, вперед!»

Пожелание успеха этому пробуждающемуся народу было с нашей стороны отнюдь не данью обычной вежливости, а именно братским сочувствием, основанным на общности стремлений.

Ртутный столбик на градусниках поднимается в Бомбее еще выше, чем в Калькутте, но здесь дышится куда легче. Благословенное море, опоясывающее значительную часть города, приходит на помощь путникам. Не мудрено, что по вечерам люди устремляются к берегу, который здесь так удачно очерчен, что площадь для прогулок значительно увеличивается благодаря острым мыскам, заходящим в море.

И все равно места не хватает. Задуманная нами прогулка по берегу моря у «Ворот Индии» не приносит отдыха именно из-за многолюдья, из-за того, что и здесь надо буквально протискиваться между телами, чтобы пробить себе дорогу вперед.

Ограничиваемся приобретением сувениров, которыми кишат прибрежные лавки. Глаза разбегаются — столько изящных вещиц из стекла, ткани, кости, латуни... Туризм — гигантская отрасль индийского хозяйства. Сувениры — непременная принадлежность обслуживания бесчисленных туристов со всего света.

4

В поисках «живого» капиталиста. Интервью у министра финансов.

Мое поколение не видело живых капиталистов. Представление о них формировалось с детства, через маршаковского мистера Твистера, потом в юности через лекции о прибавочной стоимости, потом в зрелости — через литературу, театр, кино. Однако живой капиталист, так сказать, во плоти, вероятно, несколько отличен от составившегося таким образом представления. Вот так мы все и сошлись на желании познакомиться с мистером Горвиджем, рекомендованным нам в качестве главы очень старой фирмы, существующей еще с прошлого века.

Предприятие размещается теперь за городской чертой, это целый поселок с производственными корпусами и жилыми домами для рабочих. Радует прежде всего идеальная чистота. Вокруг производственных корпусов тянутся зеленые аллеи, асфальтированные дорожки чисто выметены. Тот же порядок царит и внутри корпусов, где производятся конторская мебель, холодильники, пишущие машинки.

Полное разочарование — живого капиталиста так и не удается увидеть. Мистер Годвидж в отъезде. А этот смуглый, худой большеглазый парнишка, что отрекомендовался как инженер предприятия, вряд ли оценит остроту наших вопросов и вряд ли сможет дать на них ответы.

Так и есть. Ничего интересного мы не находим в той продукции, которую инженер нам демонстрирует. Конторские столы, стулья, сейфы. Довольно тяжеловесные грубоватые пишущие машинки.

И мы с особым пристрастием допрашиваем инженера (а может, он и не инженер, а специальный агент по рекламе? Уж очень ловко все расписывает!) о заработной плате рабочих, об их жилищных условиях. Выясняется, что зарплата здесь относительно выше, чем на других предприятиях. Квалифицированный рабочий получает от сорока до пятидесяти рупий за рабочий день.

— Восемь рупий — один рубль,— высчитываем мы,— да, для Индии это высокий заработок.

Гордость фирмы — это рабочий поселок.

— Квартирная плата в Индии очень высока. А наши рабочие при заработке в 500 рупий в месяц платят за од-

нокомнатную квартиру всего 25, за двухкомнатную — 35 рупий. Те, кто зарабатывает свыше пятисот и имеет трехкомнатную квартиру, платят всего десять процентов от зарплаты.

Вторая гордость — своя школа. Рабочий платит одну рупию за обучение каждого ребенка, если их один или два, за троих — уже всего две рупии.

Но на троих покровительственная политика кончается и вступает в силу политика ограничения рождаемости. Если в семье больше трех детей, их не принимают в школу предприятия.

— А как с безработицей? Что вы делаете с теми, кто высвобождается в связи с усилением механизации производства?

— Нет, нет, мы не выкидываем их на улицу,— торопливо уверяет нас инженер,— расширяем производство по их профилю, стараемся, чтобы люди оставались на своих местах.

Выясняем количество инженеров, их заработок. Оказывается, начинающий получает 200 рупий в месяц, опытный, стажированный,— до тысячи.

Переходим к политике. Интересно, к какой партии принадлежит мистер Горвидж? А рабочие? Какой партии они отдают свои голоса?

Оказывается, хозяин предприятия вне партий. А подавляющее большинство рабочих отдает голоса партии национального конгресса.

Конечно, проверить соответствие этой информации подлинной картине мы не имеем возможности. Говорит наш собеседник очень мягко, даже вкрадчиво. Слова стекают с его языка, как масло с горячей ложки.

— Познакомьтесь еще с нашей столовой. Это самая большая столовая в Азии. Поинтересуйтесь методами ее работы. Она успевает за один час обслужить 2500 рабочих.

На обратном пути мы внимательно присматриваемся к домам рабочего поселка. Приятные легкие дома южного типа, со множеством балконов. Четыре-пять этажей. Отрадная картина... Увы! Стоит отъехать на километр, как опять мы вступаем в царство лачуг, крытых соломой.

Так или иначе знакомство с этой фирмой обогатило нас материалом для предстоящей беседы с министром финансов. Именно ему мы решили задать те вопросы,

которые мучили нас с самого начала нашего путешествия.

...Мы входим в небольшую, очень скромно обставленную комнату на первом этаже министерства. На столе — ворох бумаг. Дешевый шкаф у стены так набит изнутри, что дверцы не закрываются плотно. На шкафу тоже масса папок. Обстановка весьма демократическая. Очевидно, это какое-то подсобное помещение, соображаем мы, здесь, наверно, нам придется ждать, пока нас пригласят в кабинет министра. Усаживаемся, настраиваясь на долгое ожидание, соответствующее министерскому чину.

Но тут скрипнула дверь, и вошел торопливой походкой маленький смуглый человек. Так же торопливо пожав нам всем руки, он сел за стол и принялся отвечать на первый вопрос, поставленный Почиваловым.

«Не везет! — огорченно думаю я.— Вместо живого капиталиста пришлось удовлетвориться инженером. А здесь тоже: вместо беседы с министром слушаем этого маленького тщедушного человечка, сидящего в такой бедняцкой комнатке. Кем он может быть? Помощник? Референт министра? Во всяком случае, ни его комната, ни костюм, ни весь облик не дают надежды на высокое руководящее положение. Но, может быть, он из тех, кто готовит начальству материал, чьими словами нередко мыслят начальники?»

Так размышляю я, а затем, воспользовавшись случайной паузой, шепотом осведомляюсь у нашего переводчика Исаака Голубева, кто это такой. Исаак удивленно смотрит на меня.

— Как кто? Министр финансов.

Вот уж подлинно — по платью встречают, по уму провожают. Чем больше вслушиваюсь в речи министра, тем яснее становится, что за щуплой внешностью, за более чем скромным обликом скрываются государственный ум, энергия.

— Перенаселение... Проблема борьбы с перенаселением — это то, что нас мучит больше всего,— говорит министр,— количество людей растет, и все труднее решать проблему, как обеспечить каждому хлеб, одежду, крышу над головой. Это стержень нашей пятой пятилетки.

Министр приветливо улыбается нам и добавляет:

— Это ведь у вас мы научились составлять пятилетние планы, дорогие друзья.

Министр рассказывает нам о засухе последних двух лет, о проблеме ирригации, которая должна дать хоть один устойчивый урожай в год. Иначе и двух-трехкратные уборки урожая ничего не дают. Обводнение, только обводнение даст желаемые результаты.

Только теперь я замечаю, что министру, несмотря на его подвижность и худобу, уже лет под шестьдесят. На нем тонкая белая рубашка, европейские белые брюки. На каждой руке — по золотому кольцу. Он говорит несколько затрудненно, сглатывая время от времени. И все же его хочется слушать и слушать. Потому что глубокая личная заинтересованность во всем, что он говорит, продуманность каждого ответа, настоящая всесторонняя осведомленность о положении дел — все это сквозит в каждом его слове.

Министр переходит от вопросов развития сельского хозяйства к проблеме индустриализации страны. Но о чем бы ни говорил он, неизменно приходится возвращаться к кардинальному для этой страны вопросу — как приостановить или хоть несколько задержать непрерывный рост численности населения. Ежегодно на каждую тысячу человек — сорок новорожденных. Если бы удалось снизить эту цифру до двадцати пяти, многое стало бы куда легче.

— У нас нет никаких ограничений свободы передвижения, каждый может по собственной инициативе менять местожительство. И вот большие города, типа Бомбея, буквально задыхаются от постоянного притока людей. Лачуги, которые вам так неприятно было видеть по дороге,— это убежище для вновь прибывающих. Сейчас собираемся строить около Бомбея новый город-спутник.

Наш вопрос о весе государственного сектора в промышленности попадает, очевидно, в самое больное место. Министр с гордостью объявляет нам, что штат Махараштра — это и есть застрельщик всех реформ в социалистическом направлении. Здесь национализированы банки. Введены ограничительные нормы на право землепользования.

— К государственному сектору относятся пока только основные отрасли производства: сталеварение, производство электроэнергии, строительство крупных каналов. Остальное пока в ведении единоличников и кооперативов.

В нашем штате, например, сорок кооперативных сахарных заводов.

В ораторской манере этого человека видны навыки опытного политического деятеля, привыкшего отстаивать свои взгляды перед избирателями, когда кандидатура его подвергается нелицеприятному, порой противоречивому обсуждению. Министр говорит, не повышая голоса, но подчеркивая каждую свою мысль энергичным взмахом правой руки и характерным движением пальцев, как бы подводящим итог данному разделу его речи. Эта жестикуляция не чрезмерна, не назойлива и даже в какой-то мере помогает усвоить точку зрения оратора. Кроме того, у министра талант внимательного выслушивания собеседника. Когда кто-нибудь из нас задает вопрос, министр — весь внимание. Выпуклые черные глаза в упор смотрят на нас из-за дымчатых стекол, небольшой острый подбородок закинут кверху. Мелькает озорная мысль: он похож на лягушку, нацелившуюся прыгнуть со своей кочки. Но на очень симпатичную и доброжелательную лягушку.

Незаметно соскальзываем с вопросов сугубо экономических на проблемы политики. Выслушиваем изложение концепции строительства социализма в условиях Индии.

— Социализм у нас должен слагаться пока из трех компонентов,— говорит министр,— государственного, кооперативного и частного секторов. Государство облагает частников налогами, составляющими восемьдесят процентов от их доходов. Это из чистой прибыли. Кроме того, существует закон, по которому предприниматель обязан обеспечить рабочего квартирой, лечебницей, школой для детей...

Ага, теперь понятны благодеяния господина Гордвиджа. Ему, понятно, выгоднее использовать деньги на нужды своих рабочих, чем отдавать их на повышенные налоги.

Беседа близится к концу. Но нам хочется еще кое о чем спросить министра. У некоторых из нас есть свое собственное индийское хобби. Один непрерывно огорчается, что собрал так мало материала о рыбаках Индии, а уж это ли не тема. Другой зажегся вдруг темой зеленой революции и жаждет знать как можно больше о сельском хозяйстве.

И министр терпеливо повторяет главные данные. Внедрение скоропоспевающих культур, дающих обильный урожай. Увеличение производства минеральных удобрений. В штате Махараштра обводнено уже тридцать процентов земель. Земля пока у частников. Зато технику крестьяне получают только через кооперативы. Батракам установлен нижний предел зарплаты. Никто не может платить меньше этой нормы.

Наш вопрос о малолетних нищих, которыми заполнены улицы индийских городов, заставляет министра горестно нахмурить брови.

— Я никогда не подаю милостыню,— неожиданно резко бросает он,— почти у всех этих ребят есть родители. И в этом традиционном попрошайничестве проявляется не столько голод, сколько испорченность нравов, оставшаяся в наследие от колониального прошлого. Детей веками развращали и жестокостью и подачками.

Вспоминаю тихоновского Сами. «Хороший сагиб у Сами и умный, только больно дерется стеком, хороший сагиб у Сами и умный, только Сами не считает человеком...»

Так-то оно, конечно, так, но этим все же не отмахнешься от проблемы детского нищенства. Не избавишься от этой язвы и одними административными мероприятиями, например, законом о запрещении попрошайничества, о котором сообщает нам министр.

С заметной горечью говорит наш собеседник о проблеме безработицы среди интеллигенции.

— Надо многое обдумать в системе обучения. Кроме того, наши пограничные инциденты с Китаем и с Пакистаном довольно ощутимо поколебали наш баланс.

На прощанье мы говорим друг другу не только обычные любезности, предусмотренные этикетом, но и искренние слова дружбы.

— Советский Союз понимает наши трудности и всегда приходит на помощь, а мы, повторяю, немало заимствуем из вашего опыта.

И, забыв, что мы уже распрощались, министр еще долго высказывается по вопросу о плановой экономике. Конечно, и у этой системы есть свои «но». Задача в том, чтобы решить их. Тогда плановое хозяйство будет идти вперед гигантскими шагами. Министр финансов

знает экономику капиталистических стран не понаслышке. Он трезво оценивает оборотную сторону ее «чудес».

И все-таки привкус некоторого официального оптимизма остался у нас после этой беседы. Особенно ярко вспомнилось мне заявление министра («Нам не хватает только времени. Дальнейший маршрут ясен») примерно месяц спустя, когда именно штат Махараштра стал ареной борьбы вырвавшихся наружу вулканических сил, дремавших в массе народа. Я имею в виду религиозные стычки между индуистами и мусульманами, принесшие значительные бедствия городу Бхиванди.

Нас потрясло и поразило это сообщение. Ведь в течение поездки по этой стране у нас сложилось твердое убеждение, что здесь никто и мухи не обидит и что недаром индийцы, прощаясь, так нежно складывают руки и поднимают их над головой. И вдруг — взрыв религиозной нетерпимости. Был ли он так же неожидан для министра, как для нас?..

Прекрасен общий вид Бомбея с горы Малабар. И все-таки даже с высоты глаз не может охватить весь город. Гигант Бомбей, огибая море, уходит далеко на юг и, взбираясь на голубые горы, теряется где-то в глубоких ущельях. Только на востоке едва заметно просматриваются окраины и поселки, разбросанные неподалеку от города. Они выглядят как обломки льда, оторвавшиеся от ледяного материка.

За пять дней мы, конечно, не могли составить себе полного представления о такой громаде, как Бомбей, и потому для нас особенно важно, что с вершины малабарского холма можно соединить воедино наши разрозненные впечатления. Итак, перед нами архитектурный ансамбль вполне европейского типа. Преобладают четырех-пятиэтажные здания. Этот потолок города разрывают только прибрежные высокие здания, похожие на вертикально поставленные спичечные коробки.

Отсюда нам виден и морской порт со множеством погрузочных кранов. Точно лес после пожара. Впрочем, порт мы можем наблюдать ежедневно. Наш «Грандотель» — рядом. Совсем недавно я увидел из окна своей комнаты светлый лайнер, шедший к порту, и прочел на-

звание корабля: «Александр Блок»! Рыцарь Гаэтан в Бомбее... Здравствуйте, Александр Блок!

Малабарский холм интересен не только как наблюдательный пункт, но и сам по себе. Великолепен раскинувшийся здесь парк, ухоженный замечательными садовниками. Из зеленых массивов кустарника садовыми ножницами вырезаны фигуры зверей и птиц: слонов, тигров, страусов. Дети приходят в неописуемый восторг при виде их.

Дневной зной понемногу спадает, и над морем повисает зыбкий белесый занавес. Сквозь него светлыми видениями проступают идущие к порту корабли. Ближе к горизонту марево сгущается до синевы, которая живописно подчеркивает зелень гор, поросших лесом.

Но что это за небольшой уступ? Он высится особняком и по очертаниям напоминает горб верблюда. Над уступом парит все время стая орлов. Впрочем, иногда все орлы разом садятся на землю. В чем дело? Нам объясняют, что парсы приносят сюда останки своих умерших единоверцев. Ритуал похорон у этой народности, исповедующей древнюю религию — зороастризм, выглядит для современного человека жутковато. Прежде чем нести сюда труп, парсы вспарывают живот и грудь, чтобы внутренности, которые должны быть расклеваны орлами, были на виду. Меньше чем за один час орлы полностью справляются со своей задачей: освободить тела мертвых от внутренностей.

Индийские парсы — это ветвь народа, населяющего Иран и исповедующего ныне ислам. Однако мусульманство еще не родилось в те далекие времена, когда эта группа пришла в Индию. Теперь термин «парсы» обозначает в Индии и национальность и религию.

...Наступает вечер сборов в дорогу. Появляется наш хмурый гид мистер Икс, которому мы дарим в виде сувенира механическую бритву. Подарок этот был выбран без всяких задних мыслей, и, только вручив его, мы вдруг испугались— не обиделся бы наш гид, не принял бы это за намек на свои нависшие лохматые брови, обильные бакенбарды и давненько небритый подбородок. «Тэнк ю вери мач»,— произносит он, и губы его кривятся неопределенной гримасой, обозначающей, очевидно, улыбку. Затем он снова замыкается и обретает харак-

терный для него вид человека, которого слишком рано подняли с постели.

...Аэродром все тот же. Ясно, что за пять суток, проведенных нами в Бомбее, здесь непрерывно текла эта неиссякаемая толпа людей, для которой безнадежно мал этот огромный зал, несмотря на то что здесь впору степному коню расскакаться. Так что на этот раз мы перестали чураться полиции и охотно проследовали за мистером Иксом в тот же полицейский пункт, где нам помогли в день приезда пробиться сквозь толпы.

Снова огни Бомбея под крылом нашего самолета. Но теперь это уже не чужие нам огни. Здесь остаются наши новые друзья, интересные собеседники, памятники старины, восхитившие нас, книги и документы, обогатившие наш интеллект.

Уже двадцать дней, как мы покинули свою родину. Не один раз уже приключались с нами приступы ностальгии. Теперь мы познали и грусть разлуки с чужим, но полюбившимся нам городом.

● ТЕТРАДЬ ПЯТАЯ

I

Хардвар. Философская беседа в ночном поезде. Новая разновидность хиппи. Подайте прокаженному!

Если Бенарес — Мекка индуистской религии, то Хардвар — это, несомненно, ее Медина. Бенарес стоит на срединном течении священного Ганга, Хардвар — у его истоков.

Впрочем, мы стремимся в Хардвар отнюдь не потому, что уверовали в изречение: «Горе тому, кто обходит святое место!» Нас влечет сюда нечто куда более материальное, чем святость Ганга. Именно здесь, в городе паломников и богомольцев, возводится современный завод по производству тяжелого электрического оборудования. И возводится он с помощью Советского Союза.

Лакомый кусочек для пишущей братии! Тут и тема дружбы народов, и братской помощи развивающейся стране, вырвавшейся из колониального рабства, тут и образы советских специалистов, обучающих индийских рабочих, и благодарное отношение местных жителей к нам, советским людям. Материал так и лежит на поверхности, только успевай брать его — и очерк сам выльется из-под пера.

Но на пути к Хардвару мы должны снова побывать в Дели, где, впрочем, решено не задерживаться. Тем не менее короткая остановка в столице кое-что прибавляет к нашему представлению о ней. Хотя гостиница «Джан Патх» нам уже знакома, но открывающийся из ее окон

пейзаж выглядит теперь иначе, поскольку мы обрели масштаб для сравнения. Мы сопоставляем климат Дели с теми приморскими городами, которые повидали. Привыкнув к влажному воздуху приморья, к его белесой дымке и туману, мы ошеломлены теперь яркостью света и солнца, которым одаряет нас Дели. Кстати, за все три индийские недели мы еще ни разу не видели в небе ни единого облачка.

Интересная делийская встреча: мы с Исааком отправляемся с визитом к известному драматургу и литературоведу доктору Лакшми Нараянлалу.

В небольшом доме на одной из тихих улиц Дели нас встречает человек средних лет и среднего роста, с наружностью скорее подходящей для спортсмена, чем для мыслителя. Но первое впечатление обманчиво. Стоило доктору заговорить, как сразу становится ясно, что он интенсивно живет в сфере духовных интересов и принадлежит к тому типу людей, которые не ждут, пока их спросят о мнении, а спешат активно и часто в полемической форме высказать свои взгляды.

Он начинает со своеобразного наскока на старшее поколение писателей. Те фигуры, на которые принято указывать, как только речь заходит об индийской литературе, безнадежно обветшали, не понимают запросов современного читателя, превратились, по существу, в почитаемые, но бесплодные мумии.

Писатель-литературовед, профессор Делийского университета, он смог насытить свою страстную филиппику множеством конкретных примеров, о которых не нам, чужестранцам, судить. Но общая тональность его речи звучит для нас знакомо. Нечто подобное не раз приходилось мне слышать и у себя дома.

С такой же стремительностью полемиста доктор Нараянлал берет под обстрел и бытующие формы нашего туризма.

— Что толку от ваших бесцельных поездок «галопом по Европам» или вот от вашего стремительного перелета из одного района Индии в другой! Так же мало в этом проку, как и в бесконечных общих декларациях о дружбе народов. Другое дело, если бы каждый из вас ехал сюда с какой-то определенной целью. Ну, скажем, некий талантливый советский режиссер исследовал бы жизнь индийского театра и высказался по вопросам его нови-

нок. Да и другие ехали бы не для пустого глазения, а по специальным командировкам.

Наш Леонид Почивалов, гоняющийся всю дорогу за материалами о «зеленой революции», высказывался примерно в том же духе. Но я лично полагаю, что, прежде чем заняться исследованием какой-то одной определенной отрасли индийского искусства, надо совершить именно такую поездку общего типа, какую совершаем сейчас мы. Надо войти в атмосферу страны, в ее памятники, подышать ее воздухом и послушать ее людей. Тогда твой выбор специальной темы будет органичен, а не случаен.

Впрочем, и слова доктора западают в душу, поскольку они рождены протестом против праздношатающихся верхоглядов.

Доктор Нараянлал подумывает о поездке в Советский Союз, но высказывается и об этом в своем излюбленном, несколько фрондерском тоне.

— Не хочу иметь дела с официальными органами. Как бы это организовать поездку на собственные средства? Как частное лицо...

Он дарит нам свои пьесы, напечатанные на языке хинди, и предлагает, если понравятся, перевести и предложить какому-нибудь советскому театру. Вот в Польше его пьесу ставили. И прислали положительные рецензии.

Исаак, хорошо владеющий языком хинди, тут же начинает с интересом листать книжку. Я снова жалею, что не могу последовать его примеру, хотя в речи нашего хозяина и мелькали для меня, как огни в беспроглядной тьме, слова общего арабского корня, понятные мне. Я радовался этим словам. Китаб... дуния... муххабат... адебиати... А когда я в разговоре употребил выражение «духовный опыт», Исаак тут же перевел его как «рухани тажриба». Так я и сам мог сказать.

Кстати, любо-дорого посмотреть, как воспрял духом наш Исаак при возвращении в Дели, в стихию знакомого ему языка хинди. Ведь в Калькутте, Мадрасе, Бомбее он был так же нем, как и мы, грешные, и вынужден был обходиться одним английским. В Дели он оставил английский, переключившись целиком на хинди. С упоением прозелита беседует с горничными и официантами в гостинице, заговаривает на улице с прохожими

и, как дитя, радуется, когда видит удивление прохожих.

...В комнате у Нараянлала горит четырехгранный тоненький, со спичку, прутик сандалового дерева. Он наполняет помещение ароматом, не давая пламени. Только легкий дымок курится. Я своим степным носом очень четко улавливаю этот аромат, а также то мгновение, когда длинная сандаловая «лучина» догорает. Это хороший предлог, чтобы прервать затянувшийся монолог нашего хозяина и ретироваться восвояси.

Наш делийский опекун — мистер Малик, работник министерства просвещения. Он как-то рассеян в общении с нами. Может быть, оттого, что сам грешит стихами, которые время от времени появляются в газетах и журналах. Во всяком случае, его поэтическая отрешенность сказалась хотя бы в том, что он не сумел организовать как следует нашу поездку в Хардвар: вагон без кондиционированного воздуха в здешних условиях — это источник больших неприятностей. И мы только кисловато улыбаемся в ответ на посулы мистера Малика насчет предстоящей нам в Хардваре замечательной встречи и даже насчет того, что при возвращении в Дели нас ждет прославленное угощение — тандури-чикен, то есть каким-то специальным образом запеченный цыпленок. Видимо, ему представляется возможным, что в этой тропической жаре наши мечты сосредоточены на жареном мясе!

В Хардвар мы едем втроем: Леонид Почивалов, Майя Ганина и я. У Голубева нашлись срочные дела в Дели, и он остался в столице. Мы скрепя сердце согласились тронуться в путь без переводчика, рассчитывая на то, что наша дорога — одна ночь. Ночью беседовать не придется, а там, на заводе, много советских, и среди них найдем себе переводчика. Ну, а для кратких диалогов в пути, может быть, обойдемся скупым рационом почиваловского английского языка.

И вдруг судьба решает порадовать нас неожиданным собеседником. Перед самой отправкой поезда в нашем купе появляется нечто предельно волосатое, увенчанное чалмой. Наверно, сикх из тех, чьих волос и бороды никогда не касалась бритва. И вдруг из глубины этой бороды до нас доносятся слова, произнесенные... по-русски!

Но, может быть, кроме этих двух-трех вежливых слов,

он ничего и не знает? Устраиваем тут же краткий коллоквиум.

— Где вы учились русскому?

Оказывается, он целых пять лет провел в Москве, обучаясь в Университете имени Лумумбы. Почти земляк! Но как хорошо, что мы своевременно узнали это. Иначе могли сказать что-нибудь нелестное о его внешнем виде, а он бы понял...

Попутчик рекомендуется нам. Его зовут Сони Амардиб Сингх. Он вот уже четыре года, как окончил университет, и сейчас работает по специальности. Инженер-нефтяник. Работает почти всегда в степи, поэтому и возит за собой повсюду свою постель. Направляется сейчас в город Дехра-дун. Это подальше нашего Хардвара.

— Ты и в Москве не брился? — любопытствует Почивалов.

— Устоял,— смеется Амардиб,— а многие наши не устояли под напором прелестных девушек, не желающих ходить с такими обросшими парнями, да еще в чалмах. В моей семье восприняли бы как катастрофу, если бы я последовал примеру этих парней. Надо беречь стариков-родителей.

От обрядов беседа наша постепенно переходит на более высокие темы. И вот мы уже говорим о самой сути религиозных верований, о творце вселенной, о бессмертии души, о смысле жизни.

— Я не придаю значения различию верований и обрядов,— говорит Амардиб Сингх,— не в них суть. Суть в главном — в том, что не может быть творения без творца. В это я глубоко верю и по этому вопросу не раз выступал в дискуссии с профессором, преподававшим нам в Москве философию. Он как марксист отрицал всемогущего.

— Он вам не мстил за споры двойками? — смеясь, спрашивает Майя Ганина.

— О нет! Мы были друзьями. Профессор очень ценил некоторую мою начитанность в его науке. И он хоть и спорил со мной, но очень терпимо относился к моим религиозным убеждениям. А знаете, я думаю, что в глубине души каждый человек верит в бога.

Леонид Почивалов твердо заявляет, что к нему это не относится, а наш попутчик адресуется ко мне:

— А вы?

Вместо ответа я рассказываю ему притчу о своем «нагаши» — родственнике по материнской линии. В тридцатых годах это был воинствующий безбожник, не жалевший усилий для борьбы с теми, кто читал намазы и держал уразу. Когда через два десятилетия я встретился с ним в его ауле, каждая его фраза начиналась с восклицания: «Кудая тоба, жасаган ие жаббархак!», то есть: «О Боже, слава тебе, всемогущий создатель!» Его религиозность удесятеряется постоянным страхом перед карой свыше за прошлые кощунства. На мои просветительно-атеистические речи он отвечал, что сам был бы рад, если бы бога не было, тогда ему нечего было бы бояться. А так... Ох, и задаст же он бывшим атеистам!

Несмотря на философские разногласия, Амардиб Сингх полон самых лирических воспоминаний о Москве, об университете. Нашу страну он называет коротко и ласково — «Союз». С приятным мягким акцентом он охотно и довольно свободно говорит по-русски.

Едва открыв поутру глаза, я вижу странную картину: наш попутчик Амардиб Сингх спускается с верхней полки, дрожа от холода! Поезд стоит на станции. Подхожу к окну и вижу, что народ на перроне тоже ежится и укрывается кто чем может: мешком, одеялом, тряпкой. Для них утренний прохладный ветерок — это настоящий циклон. Я же с наслаждением подставляю лицо и грудь этому ветру. Какое блаженство после духоты ночи, которая замучила нас, несмотря на распахнутое окно!

Подсмеиваюсь над Амардибом — вот так москвич! Собираясь умываться, он еле решился снять на этом «морозе» чалму. Батюшки! Под чалмой у него, оказывается, густая черная коса!

Поезд трогается. Но я не могу отойти от окна, не могу оторвать взгляда от предрассветной сини, тающей перед лицом восходящей зари. Современному горожанину не так-то часто доводится видеть эту пору суток, прекрасную под всеми широтами, а здесь, в Индии, особенно дивную. Все кругом тонет в изумрудной зелени. Хочется пить и пить этот благоуханный воздух, хочется глядеть и глядеть на картины мирного труда, проплывающие перед движущимся вагоном.

Крестьяне начинают трудовой день с рассветом. Тугая, выше колен пшеница падает под мерными движениями серпа. Патриархальные вол и соха помогают трудолюбивому пахарю, уже собравшему урожай и теперь снова взявшемуся за пахоту. Иные пускают воду под робкие зеленые всходы риса.

Неторопливость движений. Разреженность людей и построек. Какой контраст с предельным перенаселением индийских городов! И под стать неторопливым патриархальным темпам деревья, раскинувшиеся по обе стороны наполненного водой канала. Это великаны сафайды. Крона каждого такого дерева по объему своей окружности может сравниться с шестикрылой юртой.

Показываются горы. Не очень высокие, складчатые. Казалось бы, трудно удивить алмаатинца горами. Но все-таки испытываю радостное волнение. Главным образом из-за окраски гор в этот утренний час. Здесь все оттенки синего цвета. Нижняя складка горы еще на грани черного, только отливает синью. Повыше — ярко-синяя, сапфировая. А наверху — синь разводняется и превращается в мечтательную голубизну. Точно чистое лицо невесты, с которого только что откинуто покрывало.

Прямо на вокзале попадаем в руки земляков. То есть встречают-то нас и советские специалисты, и индийские друзья, но первый день мы решаем провести среди своих, получить этот завод, так сказать, из их рук. Едем в степь, прямо к поселку советских специалистов, где в одном из двухэтажных коттеджей — каждый на четыре квартиры — отведена квартира и для нас.

Главный инженер этого завода, руководитель советских специалистов Владимир Васильевич Юшков, предлагает нам использовать время до наступления жары. Он сам инструктирует нас, как одеваться, чтобы меньше страдать от зноя. Сожалеет, что мы так запоздали с приездом.

— В это время обычно уже делегации не приезжают. До самого октября ни одна живая душа сюда носа не сунет. Одни мы остаемся наедине с этим климатом. Да зачем вы надеваете майку? Снимайте с себя все, что можно. Надевайте безрукавку прямо на голое тело.

Самому Владимиру Васильевичу жара не в новинку. В течение нескольких лет он работал на Кубе, помогал в строительстве объектов, подобных хардварскому. Впро-

чем, южное солнце не изменило его славянского обличья, и загар выглядит чем-то инородным на его светлоглазом лице. Опытный директор завода, кандидат экономических наук, он с глубоким знанием дела вводит нас в курс работы предприятия в Хардваре.

Это предприятие, изготовляющее тяжелое электрическое оборудование, принадлежит государству. Здесь выпускаются паровые и водяные турбины, генераторы и электродвигатели к ним. Что может быть важнее для страны, в которой поработители веками искусственно сдерживали развитие тяжелой индустрии, чем производство машин, вырабатывающих электрическую энергию!

Но, как ни странно, парламентская и внепарламентская оппозиция используют строительство этого завода для борьбы против экономической политики правительства, которое тратит восемьдесят процентов кредитов, отпускаемых Советским Союзом, именно на тяжелую промышленность. Всем известен знаменитый завод, возведенный в Бхилаи. Тот, что строится теперь в Бокаро, в два раза больше бхилайского.

Оппозиции удается иногда воздействовать на массы своими демагогическими речами именно потому, что тяжелая промышленность не сразу дает доход. Индустриализация страны (это хорошо памятно советским людям) требует преодоления многих трудностей, которые окупаются только с течением времени. Правительство Индиры Ганди своей политикой индустриализации страны определяет выход Индии на международную арену в качестве современного равноправного государства.

Мы слушаем объяснения Владимира Васильевича и, чем больше слушаем, тем больше гордимся той благородной ролью, которую взяла на себя в этом деле наша родина.

— Наша задача не только построить этот завод, но еще и помочь индийским друзьям полностью овладеть предприятием. Подготовить национальные кадры квалифицированных рабочих, инженеров и техников. Кроме того, мы должны доставить из Советского Союза недостающие здесь материалы и сырье.

Многие индийцы уже прошли подготовку в Ленинграде и Харькове. Здесь, на месте, организован учебный центр при самом заводе, а также на периферии. Учатся

по большей части люди, овладевающие новыми специальностями. Советские мастера приучают людей к делу в процессе производства, и когда строительство будет закончено, индийские специалисты и рабочие с полным правом возьмут в свои руки ключ от этого предприятия — крупнейшего в Азии по производству тяжелого электрооборудования. Это будет завод широкого профиля, по виду выпускаемой продукции он как бы объединит в себе два ленинградских завода — «Электросила» и «Металлист».

— Продукция завода — на уровне мировых стандартов,— завершает свой рассказ Владимир Васильевич,— он обеспечит электростанции Индии турбинами и генераторами, снабдит индийское правительство электродвигателями. Их мощность превысит сто тысяч киловатт.

Сейчас строительство завода уже заканчивается. Построенные объекты работают полным ходом. Успели выпустить значительное количество электродвигателей постоянного и переменного тока. Готова к эксплуатации первая паровая турбина мощностью в сто тысяч киловатт. Скоро будет выпущена и вторая турбина. Принялись за производство первого генератора. Мало-помалу предприятие возместит затраченные на него средства. Здесь построят и турбину для электростанции Гири-бато, возводимой сейчас в стране.

Хотя от поселка советских специалистов до завода рукой подать, но нас все же везут на машине. Наши хозяева убеждают нас, что в такой жаре надо беречь силы. Тем более что нам еще придется порядком походить по цехам завода. Разминка там будет предостаточная.

Что говорить! Глазом не охватишь длинные высоченные корпуса, величественно выстроившиеся в ряд один за другим. Каждый цех протянулся в длину на двести-триста метров. Стены уходят далеко в вышину, завершаясь куполообразным потолком. По размерам помещения ясно чувствуется, что об отоплении тут заботиться не приходится. Здесь другая забота — борьба с жарой. В стенах и в потолке много вентиляционных отверстий.

Обходим разнообразнейшие станки. От таких, на которых вытачиваются крошечные детальки, до таких, что

изготовляют многотонные железные формы. Остро чувствуем свою техническую непросвещенность. Нам кажется чудом, скажем, обточка детали. Расчет идет тут не на миллиметры, а на микроны. Классическое «острие иглы», которое является во всех поговорках синонимом едва различимого глазом, здесь никак не подходит. Потому что это самое «острие иглы» сравнительно с микроном — величина вполне солидная.

Впрочем, я не буду описывать подробно все, увиденное в этих цехах. Не имея специальных знаний в этой отрасли, не решаюсь браться за такое тонкое дело. К тому же могу отослать читателя к будущему очерку нашей спутницы Майи Ганиной, которая, поработав в военное время на заводе, имеет некоторое представление о производстве, узнает знакомые ей станки и имеет твердое намерение написать очерк о Хардварском заводе.

— Нет ли среди вас ленинградцев? — раздается вдруг чей-то настойчивый, дважды повторенный вопрос.

Это ищет своих «земляков» мистер Шарма, проходивший практику на Ленинградском металлическом заводе. Сейчас Шарма — начальник кузнечного цеха в одном из блоков местного завода. Он приветствует нас на довольно хорошем русском языке и гостеприимно повторяет своим высоким, почти девичьим голосом:

— Добро пожаловать! Будьте как дома!

Он заметно горд тем, что употребляет в речи такие исконно русские обороты. И действительно, надо отметить большую лингвистическую одаренность индийцев. Мистер Шарма жил в Ленинграде всего один год, но уже может выразить по-русски любую мысль. Хорошо владел языком и наш волосатый спутник по купе, да и многие другие индийцы, пожившие в нашей стране.

Мистер Шарма небольшого роста, очень гибок и изящен в движениях. Его женственное лицо с маленьким носом и франтовски подстриженными усиками просто лучится приветливостью.

— Ах, Ленинград, Ленинград,— мечтательно вздыхает он,— кто не видал этого города, тот ничего не видел.

Мы осведомляемся насчет климата. Не страдал ли с непривычки мистер Шарма от ленинградских туманов и холодных дождей?

— Тепло рабочих сердец Ленинграда согревало нас в этом холодном климате.— И опять Шарма радостно смеется, довольный тем, как ловко удалось ему построить восточный комплимент на русском языке.

Мы засыпаем гостеприимного начальника цеха вопросами:

— Понимают ли ваши рабочие, какое значение имеет этот завод для индийского народа?

— Как вы поощряете рабочих, повышаете их заинтересованность в деле?

— Как соблюдается на заводе государственный интерес?

Мистер Шарма с готовностью отвечает на все. Рабочие завода не могут не понимать значения электрической энергии, а следовательно, и продукции своего завода. Хотя бы уже потому, что здешние рабочие — это вчерашние крестьяне, собственным горбом постигшие цену воды.

Хорошие рабочие перевыполняют норму, а следовательно, и зарабатывают больше других. Кроме того, оплачивается и экономия материала, и бережное отношение к инструментам, и дисциплинированность в работе.

А государственный интерес? Ну, теоретически тут, конечно, возможны противоречия между интересом государства, владеющего предприятием, и интересом рабочего. Но на этом заводе — молодом, перспективном — продукция реализуется полностью, и завод не уклоняется от дополнительной оплаты рабочих.

— Ого! — восклицает Почивалов.— Такая продукция, как ваша, могла бы, наверно, составить честь не только для страны, только что вступившей на путь индустриализации, но и для многих стран с высокоразвитой техникой.

Мистер Шарма польщен. Он расплывается в добродушной улыбке и подтверждает, что завод, возводимый в Индии Советским Союзом, мог бы стать гордостью любой страны мира. Да, и среди друзей есть особые друзья.

Мистер Шарма явно борется со своими чувствами. Видно, как ему хотелось бы подольше побеседовать с нами и как в то же время ему некогда, как беспокоит его оставленный цех. Он жмет каждому из нас руку и на

прощанье вдруг произносит все с той же мечтательной интонацией, которую у него вызывает всякое упоминание о Ленинграде:

— Интересно, какая там сейчас погода...

С этим явлением мы тоже уже не раз встречались во время нашей индийской поездки. Всякий, кто побывал в Советском Союзе, становится патриотом того города, где он жил и учился, и испытывает некий вид ностальгии по отношению к далекой, экзотической для южанина стране.

Главный инженер Юшков, наблюдавший со стороны нашу беседу с мистером Шармой, бросает несколько одобрительных слов об энергии и уме этого обходительного человека и снова возвращается к тому, как сложна работа здесь и как трудно выбирать людей, на которых можно опереться.

В следующем зале мы подходим к группе людей, хлопочущих у турбогенератора. Чтобы представить себе статор, вообразите ведро без дна, опрокинутое набок. Размер такого ведра примерно с небольшую юрту. Внутри этого ведра свободно перемещаются люди, разбирающиеся в загадочных для меня медных проволоках и проводках. В таких статорах и рождается электрическая энергия мощностью в сто тысяч киловатт. А уж как она рождается,— это тема не для записок литератора, а для специального учебника, которых у нас предостаточно!

— Инспектор Кудрявцев! — рекомендует нам главный инженер русского светловолосого парня, окруженного пятью индийскими юношами.

Все вместе они обеспечивают статор необходимым снаряжением, и в процессе работы Кудрявцев обучает своих индийских товарищей. Через некоторое время эти пятеро станут обучать своему делу неопытную рабочую молодежь.

Вся сцена как бы специально создана для фотокорреспондентов. Вплоть до того, что края круглого отверстия, которым заканчивается статор с другого конца, создают хорошие контуры для общей картины. Леонид Почивалов тут же берется за дело. Но не так-то просто добиться, чтобы рабочие выглядели естественно. Стоит людям узнать, что их фотографируют, как помимо воли каждый начинает «делать умное лицо» и принимать

неестественные позы. Леонид долго бьется над тем, чтобы все это воспринималось как кусок жизни. Эх, упустил момент, когда они не знали, что за ними наблюдают! В общем, не так-то легок труд фотокора!

В следующем зале мы знакомимся с очень колоритным человеком, который выглядит прямо-таки парадоксом на этом фоне современной индустрии. Медлительный, немногословный, покрытый густыми, отроду не стриженными волосами и бородой, увенчанный чалмой, Притам Сингх как две капли воды похож лицом на моего любимого индийского бога Ганешу. Тот же лукаво-добродушный взгляд маленьких слоновьих глазок, тот же крупный нос, напоминающий хобот слона. И тем не менее — это начальник одного из цехов завода, хотя по виду ему бы больше подошло быть жрецом какого-нибудь древнего храма.

Он знает сотню русских слов и считает своим долгом говорить с гостями только по-русски. Поэтому он долго обдумывает каждую свою фразу, потом вскидывает руку вверх, как бы помогая звукам выйти изо рта, и наконец произносит по слогам очередное слово. Почивалов сообщает ему, что мистер Ахтанов приехал из Казахстана. Услыхав это, Притам Сингх молитвенным жестом поднимает теперь уже обе руки вверх и нежно, как бы воркуя, произносит по-русски:

— Казахстан как небо... Казахстан — нам близко...

Чтобы беседовать с Притам Сингхом, надо иметь большое терпение. Кроме плохого знания языка, ему мешает разговориться и общая замедленность рефлексов. Он обдумывает не только каждое свое слово, но и каждое слово собеседника. И все-таки нам удается кое-что вытянуть из его полных губ, прячущихся в густейшей бороде.

У этого человека, рожденного созерцателем и философом, оказалась биография, переполненная бурными событиями. Наш век не предоставил человеку с натурой одинокого странника ни минуты уединения. Сержант английской армии, он угодил в тяжелые сражения против гитлеровских войск. В одном из боев был ранен и попал в плен. Узник Освенцима и Бухенвальда, он был освобожден из концлагеря советскими войсками. В лагере он сошелся с советскими людьми. Восхищен их стойкостью в испытаниях и преданностью в дружбе. В част-

ности, среди его советских друзей был один казах по имени Ихмет, которого он полюбил больше всех. Отсюда, очевидно, и его восхищение Казахстаном.

После войны он много путешествовал.

Бывал Притам Сингх и в Советском Союзе. Был в Харькове, в Ленинграде. Он произносит названия этих городов с придыханием, как произносят имя любимой женщины.

Чувство неподдельной любви к нашей стране, которое я так часто наблюдаю в Индии, неизменно волнует меня.

А техника действительно грандиозна. Леонид Почивалов даже слегка огорчился, что этот завод — наше детище — так и останется за рубежом.

— Самим бы нам тоже неплохо иметь такой завод,— говорит он.

Владимир Васильевич Юшков соглашается с ним и добавляет, что от такого красавца гиганта не отказалась бы ни одна страна, даже такая, что кичится своей технической оснащенностью.

В том-то и состоит подлинная братская помощь, чтобы отдать развивающейся стране самое ценное, что у тебя есть. Между тем мы знаем, как часто некоторые страны сбывают под флагом помощи отстающим устаревшие образцы оборудования, не находящие сбыта в своей стране. По принципу: «На тебе, боже, что нам не гоже».

Во второй половине того же дня мы снова совершаем прыжок из последней трети двадцатого века куда-то в глубь прошлых столетий. Владимир Васильевич Юшков и переводчик, специалист по английскому языку, латыш Янис Церпс предлагают нам себя в качестве гидов для прогулки по Гангу, в его верховья, чтобы осмотреть самое священное место Хардвара, привлекающее толпы паломников. Заодно мы должны познакомиться и со школой йогов.

Продвигаясь вверх по Гангу, мы наблюдаем общую перспективу города. Он похож на гигантскую змею, зажатую с обеих сторон рекой и горами. Змея точно пытается как-то выползти из этих тисков, но это не удается, потому что гора прочно зажала город, примостивший-

ся на ее склоне, а река непреклонно раз и навсегда определила его границы. Получился именно змеевидный, вытянувшийся в длину город. Во всем остальном, кроме этих необычных контуров, Хардвар обыкновенный типично восточный город, где все кипит, как вода в казане, где почти не смолкает в узеньких улочках пестрый, разноголосый базар.

И снова уже хорошо знакомая нам картина: бредут, бредут «калики перехожие», бредут юродивые, горбатые, истощенные. Бредут старые и малые. Все они устремлены к священному месту Хардвара — к храму, стоящему на ровной прибрежной площадке, к которой ведут высокие гранитные ступени.

А совсем по соседству, на небольшом мостике, резко контрастное зрелище: сытые праздные люди для забавы кормят ленивых сытых рыб. Огромные рыбы, напоминая стадо баранов, собрались в тесную кучу, чтобы не проронить зернышка, кидаемого туристами. Корм для толстых рыб продают худые тонконогие мальчуганы, делающие на этом рыбном деле свой маленький бизнес. Сразу за Хардваром начинаются горы. Издали они восхищали меня своей голубой окраской. Вблизи они много теряют. В очертаниях этого горного хребта нет никакой плавности. Кажется, что кто-то нарочно вырубил сверху эти безобразные зубцы и выступы. К тому же густой девственный лес, покрывающий склоны, выглядит так, точно над ним пронесся пожар. Листья с деревьев облетели, вместо ветвей — сплошные засохшие стволы да колючки. Нам объясняют, что сейчас как раз сезон увядания растительного мира. Но в наше сознание никак не ложится эта мысль, потому что на календаре стоит дата — 17 апреля.

К школе йогов мы приближаемся с острым чувством любопытства. Немало мы слышали чудес об йогах. Хотя, признаюсь, ничего, кроме скептической улыбки, не вызывали во мне такие, например, йоговские истории, как рассказ о человеке, оставшемся в живых после трехдневного погребения под землей, или о другом — не получившем никаких ранений после того, как его положили на осколки стекла, а сверху по нему проехала грузовая машина. И все это, видите ли, благодаря силе духа, доводящего до полного совершенства наше несовершенное тело! Ну, посмотрим, что это такое на деле...

Так думаю я, с трудом поднимаясь по ступеням, высеченным из камня, по направлению к одноэтажному дому с двумя выдающимися вперед крыльями.

Нас встречает высохший древний старик с волосами до плеч и с бородой, достойной Черномора. Кажется, вот-вот он споткнется о свою бороду, упадет и рассыплется сразу в прах, поскольку тело его напоминает высохшую мумию. А глаза у индийского Черномора блестят! Да еще каким живым блеском! Он долго беседует с нашим Янисом, и тема явно интересует старика...

К сожалению, наш визит в школу йогов почти не расширил представления об этом учении. В дороге Янис рассказывал нам об одном из местных йогов, который мог демонстрировать чудеса. Увы, он укатил на гастроли в Европу. Часы специальной йоговской гимнастики мы пропустили. Из живых йогов нам удается проинтервьюировать только одного долговязого черного парня, черпавшего свои аргументы не в логических построениях, а в неопределенных вздохах, стонах и главным образом в цепких взглядах своих больших черных глаз, которые, впрочем, не оказали на меня никакого магического воздействия.

С йогами нам явно не повезло. Зато совершенно неожиданно мы получили возможность значительно расширить свои представления о хиппи. Трое представителей этого загадочного племени пришли, как и мы, чтобы познакомиться со школой йогов. Тут и состоялась наша встреча.

Итак, их трое: двое парней и девушка. Один из парней точно сошел с полотна Александра Иванова «Явление Христа народу». Ручаюсь, что ни один прохожий не пройдет по улице, не оглянувшись на эту роскошную рыжевато-золотую бороду и ниспадающие на плечи волны пышных волос. Несмотря на наружность библейского самаритянина, он оказывается американцем, бросившим ради образа жизни хиппи свой колледж, куда был определен родителями, респектабельными людьми среднего достатка.

Его спутница, тоже американка, до странности похожа на русскую крестьянскую девчонку. И не только тем, что ее пшеничные волосы расчесаны на прямой пробор, а юбка и кофточка из дешевого холста. Есть что-то типично славянское в ее слегка приподнятом кверху носи-

ке, в овале пухлых, еще полудетских щек. Одежда девушки сильно измята. Но дань женственности все-таки отдана: на девичьей шейке дешевенькое ожерелье из маленьких ракушек, на руке — такое же дешевое колечко, браслет.

Третий в этой компании оказывается итальянцем. Он присоединился к американской парочке уже здесь, в Индии, но теперь они совершают свое путешествие втроем. Итальянец тоже не обходится без опознавательного знака хиппи — буйного волосяного покрова. Но все-таки его черная борода значительно короче, а шевелюра умереннее, чем у его американского спутника.

Сообщение о том, что мы советские писатели, страшно заинтересовывает эту троицу. Они охотно говорят о себе. Вот уже пять месяцев, как они в Индии. Обходят страну по образу пешего хождения. Иногда «голосуют» на дорогах и пользуются услугами попутных машин методом автостопа. Ночуют где придется, чаще всего в крестьянских лачужках. Гостиницы? Нет, для этого у них не хватило бы денег, да это и не совпадает с их принципами.

Через месяц им предстоит покинуть эту страну. Потому что, как выяснилось, в Индии существует закон, устанавливающий максимальный срок пребывания в стране иностранных «дикарей», то есть неорганизованных туристов. Больше шести месяцев нельзя.

Куда же потом? В Афганистан? Но почему именно туда? А не все ли равно? Только бы не назад в Америку!

Тут-то мы и слышим от этих молодых ребят такие речи, которые заставляют поглубже размыслить над разнослойностью движения хиппи. Мы так привыкли к различным рассказам о скандалезных выходках пресыщенных буржуйских сынков, беснующихся на улицах больших западных городов, что поневоле подпали под влияние установившихся стереотипных суждений о хиппи. Вероятно, эти суждения в значительной степени справедливы. Но все же, как говорится у казахов, прежде чем шубу кроить, посмотри на заказчика.

Наши новые знакомцы как-то никак не укладываются в привычную схему хиппи. Мы слушаем объяснения, мотивирующие необычность их жизни, и в сердце закрадывается определенное чувство симпатии.

— Мы вообще избегаем стран с индустриальным направлением. Потому и путешествуем по Азии. Европа? Это та же Америка! Та же бесцельность жизни, те же неразрешимые проблемы... Может быть, в странах Востока мы найдем спокойную жизнь, честность, справедливый труд.

Вот они посмотрят, каков Афганистан, и, может быть, останутся там на постоянное жительство. Индия? Нет, здесь слишком жарко.

Переводим разговор на то, что они увидели в Индии, слышим полные искреннего сочувствия слова о бедствиях индийских нищих. В глазах золотобородого, на самом дне их, я вижу сухую грусть, вижу не личную, а общую человеческую боль.

Хорошо, пусть в эксцентрических формах путешествия этих троих проявляется юношеское легкомыслие, непродуманность поступков, даже жестокость по отношению к родителям, которые, вероятно, сейчас мучаются в беспокойстве за них... Но ведь в путь их толкнула не погоня за сверхнаслаждениями, а поиски смысла жизни, желание, пусть неумелое, противопоставить себя обществу современных цивилизованных джунглей. И так или иначе они предпочли эти трудные полуголодные скитания по чужой стране мещанской обеспеченности, самодовольству, инерции зла. Я чувствую в этой тройке нечто очаровательно детское. В утлой лодчонке своих фантазий пустились они в рискованное плаванье по коварному жизненному океану. И жизнь их кое-чему за эти пять месяцев уже научила. В их суждениях о положении индийской бедноты, ранившей их сердца, уже много здравого смысла. Правда, оба парня и девушка выглядят крайне незащищенными. Еще не раз разобьют они в кровь колени на дорогах своих исканий. Но так или иначе — это «не те» хиппи.

Другими словами, очевидно, в этом явлении много слоев, и к нему надо присмотреться, чтобы отобрать зерна от плевел...

Снова продвигаемся вверх по священному Гангу. На окраине какого-то села, у высокого обрыва над рекой, нас ждет испытание. Нам предстоит перейти на другой берег по узенькому, раскачивающемуся подвесному мостику. Он расположен на огромной высоте. Гладь реки, зловеще поблескивающая внизу, воспринимается нами

как бездонная пропасть. Не буду скрывать, что перспектива идти по этой колышущейся дорожке на такой головокружительной высоте особого энтузиазма у меня не вызвала. Говоря проще и откровеннее,— сердце захолонуло от страха. Но что делать! Не возвращаться же. Придется, как говорят казахи, завязать душу в тряпочку.

Иду, стараясь не смотреть вниз. Знаю, что у меня обычно кружится голова, когда я смотрю вниз с высоты. Но и взгляд вверх не дает ощущения безопасности. Потому что на перилах моста резвятся, скачут вверх и вниз веселые шимпанзе. Они кокетливо демонстрируют свои преимущества перед нами, своими неповоротливыми родственниками. Уцепившись одной лапкой за тоненькие качающиеся перила, шимпанзенок-малыш отважно повисает над пропастью реки и качается, как на качелях.

Слава богу, мостик позади! Сразу попадаем в окружение нищих, сидящих на небольшой площадке у мостика, тесно прижавшись друг к другу. Это закрепленное традицией место для подаяний. Отовсюду потянулись к нам руки, вид которых заставляет содрогнуться даже наши уже ко многому попривыкшие за время путешествия сердца. Это руки прокаженных, с прогнившими мышцами, с обнажившимися страшными розовыми костями. Селение прокаженных, оказывается, здесь неподалеку. Взгляд мой падает на женщину, кажущуюся живым скелетом. Только в зрачках больших черных глаз еще теплится жизнь. Но что это белеет на ее щеке? Случайно приклеившаяся бумажка? Какой-нибудь ритуальный знак? Все куда проще. Это обнажившаяся под гниющим мясом кость.

Сколько раз мы бездумно употребляем такие устоявшиеся словосочетания, как «живой труп» или «остров прокаженных»! И вот довелось увидеть воочию те реальные казни египетские, что скрываются за этими выражениями. Этот живой труп с зияющей обнаженной костью на лице был когда-то женщиной. И даже довольно красивой. Черты лица правильны, пропорциональны... Но лицо мертво. Однако рефлекс голода срабатывает. Уловив, по-видимому, мой взгляд, полный ужаса и сострадания, женщина протягивает ко мне за подаянием руку, руку скелета, изъеденного проказой...

2

Нью-делийские визиты. Неприкасаемый доктор наук. Там, где жил Неру. Мое открытие Индии.

Мы покидаем в Хардваре Майю Ганину, поставившую себе целью собрать более обильный материал для очерка о Хардварском заводе, а сами — Леонид Почивалов и я — возвращаемся в Дели на такси. Проезжаем по пути несколько небольших городков. Индийские города великолепны по ночам. Ощущение праздничности, создаваемое непрекращающейся ночной жизнью, передается приезжему. Кажется, что люди не просто так высыпали ночью на улицу, чтобы торговать, готовить пищу, ужинать, а что какое-то общее торжество заставляет их покидать дома и ярко зажигать ночные уличные огни.

Вообще-то индийцы очень любят всевозможные празднества. Мы с любопытством наблюдали процедуру приготовления к торжественным датам, к пиршествам. К таким вечерам дом именинника или молодоженов украшается от крыши до фундамента гирляндами разноцветных электрических лампочек. Гости прибывают большими группами, разнаряженные в яркие ткани, радостно возбужденные предстоящим весельем. Особенно старательно отмечаются свадьбы. Они требуют от жениха таких больших расходов, что еще долгие годы после свадьбы молодые вынуждены расплачиваться со своими кредиторами. Может быть, такой обычай влияет и на чистоту нравов, поскольку мало какой мужчина отважится на вторую свадьбу и на повторение таких непосильных расходов.

Добираемся до Дели со скоростью омнибуса диккенсовских времен. Преодолеваем двести километров расстояния в течение шести часов. То наш шофер делает остановку, чтобы выпить кофе, то ему вдруг захотелось заглянуть к своей жене в поселок. Не говоря уже о том, что через каждые десять — двенадцать километров наш водитель ощущает потребность освежиться водой. Он вынимает влажную тряпку, которой протирает стекло машины, и с наслаждением обтирает голову и шею. Это разгоняет его сонливое состояние, и мы трусим более или менее благополучно еще пару километров.

Опасаемся, не вывалил бы он нас где-нибудь на обочине, и решаемся предложить ему заменить его за рулем. Но как высказать эту простую мысль? Грех сказать, чтобы Леонид не старался. Он буквально потом обливается, обрушивая на таксиста весь свой скудный запас английских слов. Он надувает щеки, причмокивает языком, складывает губы трубочкой и, главное, изо всех сил шепелявит. Тщетно! Таксист ничего не понимает. Заспанным голосом он гундосит нечто в ответ, но Леонид тоже не понимает его, с досадой уверяя меня, что шофер, видимо, не знает английского.

У меня возникает воспоминание о прочитанной когда-то истории путешествия Карамзина по Англии. Изучив английский теоретически, великий историк не мог никак сладить с английской фонетикой. Его не понимали. Тогда он додумался писать все нужное на бумаге. Его стали понимать и удовлетворять все его желания. Зато он получил среди англичан прозвище «Русский глухонемой». Хочу предложить Леониду испробовать такой метод, но боюсь, не обиделся бы.

...Плохо ли, хорошо ли, но прибываем наконец в индийскую столицу, где мы должны пробыть еще четыре-пять дней. Срок небольшой, но общее представление о городе получить мы успеваем.

Дели — это два города: старый и новый. Нью-Дели своим архитектурным обликом вызывает самые различные мнения. Есть очень ярые критики, считающие, что Нью-Дели нарушает ансамбль, не вписывается и т. д. и т. п. Не будучи знатоком этих вопросов, я могу высказать только свое сугубо личное впечатление. Мне понравился размах Нью-Дели, его приволье. Удобные современные трех-четырехэтажные дома свободно раскинулись на большом пространстве, точно армада кораблей. Нет этой гнетущей тесноты между домами, пешеход не чувствует себя придавленным, смятым, ничтожным червяком, на которого то и дело могут обрушиться тяжелые корпуса зданий, нависающих над его головой с обеих сторон узеньких улочек.

Обилием зелени, газонов, цветочных клумб Нью-Дели напомнил мне нашу Алма-Ату. Очень оживляют городской пейзаж и небольшие особняки, принадлежащие зажиточным людям. Эти дома имеют свои индивидуальные

лица, каждый отражает взлет фантазии архитектора. Не скрою, что, рассматривая эти оригинальные фасады, я испытывал некоторую горечь при мысли о стандартном облике наших микрорайонов. И дело ведь не только в строительных материалах, а в лености мысли, в том, что спасительный трафарет требует меньше всего усилий.

Здание парламента напоминает древнеримский Колизей. И парламент и дворец президента окружены густым зеленым садом. Посольствам иностранных держав отведена специальная улица. Бросается в глаза посольство Пакистана, напоминающее своей архитектурой мечеть, увенчанную голубым куполом.

Привлекает в Нью-Дели и то, что здесь, благодаря огромной площади и обилию зелени, люди не изнывают от зноя, другими словами,— этот город хорошо приспособлен к климатическим условиям края.

О современном стандартном градостроительстве здесь напоминают только единичные небоскребы, нарушающие ансамбль города. А о старой Азии — только Тибетский базар, расположенный неподалеку от нашей гостиницы «Джан Патх». Занимая только одну сторону широкой улицы, этот базар растянулся на два с лишним квартала. Здесь нет специальных торговых помещений, только маленькие лавки. Это, в сущности, шалаши, открытые спереди. А три стены делаются из фанеры или даже из ткани, плотно натянутой на опоры. Так что базар скорее напоминает ярмарку с ее временным устройством.

Базар недаром носит название Тибетского. Монгольская внешность многих торговцев обличает в них беженцев из Тибета. Эти же легкие шалаши служат им, по-видимому, и жильем. Тибетцы торгуют по большей части мелкой галантереей, рассчитанной на иностранных покупателей. Немало здесь и изделий прикладного искусства, оригинальных вещиц из латуни, олова, дерева...

Мы уже имели возможность наблюдать подготовку индийцев к столетнему юбилею В. И. Ленина. Теперь приближался самый день праздника. Радостно видеть, что весь Индостан ощущает день рождения великого вож-

дя трудящихся всего мира как свое собственное торжество.

Настают горячие дни для работников нашего посольства. Они непрерывно выступают на фабриках и заводах разных городов, куда их приглашают рабочие.

И вот — большой митинг у стен знаменитого Красного форта. В этом митинге, посвященном Ленину, принимаем участие и мы.

Красный форт — это прославленный памятник старины. Он построен тем самым царем Шахджаханом, что возвел и Тадж-Махал.

Красный форт — это именно то место, где было поднято знамя свободы и независимости Индии. По традиции, самые значительные и торжественные события в жизни страны отмечаются именно здесь.

Площадь, рассчитанная тысячи на три человек, огорожена забором, так что получается, собственно, открытый зал, которому потолком служат лазурные индийские небеса. В центре зала — сцена, украшенная коврами. У входа в зал — выставка, посвященная жизни Ленина. Вокруг бюста вождя — книги, плакаты, диаграммы...

Церемония начинается с прихода министра обороны Индии Сварана Сингха. Как свидетельствует фамилия, министр происходит от сикхов. Мы, впрочем, и не зная фамилии, догадались бы об этом, так как уже очень хорошо знакомы с традиционным обликом сикхов. Борода, усы, длинные волосы, чалма на голове. Министр обороны выглядит очень эффектно. Высокая чалма делает его еще выше ростом. Седая борода замечательно контрастирует со смуглым лицом. Длинный камзол, стянутый в поясе, подчеркивает стройность этого пожилого человека. Но главное — походка. В ней столько достоинства, неторопливости, гармонии, что хочется следить за каждым шагом этого государственного деятеля, когда он приближается к бюсту Ленина, заложив правую руку за борт камзола, а потом высвобождает эту руку, чтобы возложить венок из цветов.

Собрание начинается не с речей, а со стихов. И это придает всему торжеству эмоциональную окраску. Читают Икбала, великолепного поэта, который первым в Индии написал о Владимире Ильиче стихи. Потом хор исполняет кантату, посвященную вождю революции, на

слова Саджада Захира. Интересен возрастной состав хора. В нем представители всех живых поколений Индии — от седобородых старцев до пятилетних детей.

Только после этого музыкально-поэтического введения начинаются речи. Оказывается, министр обороны Индии Сваран Сингх, несмотря на свои седины, говорит звонким молодым голосом. На трибуне он держится с тем же спокойным достоинством.

Мы дослушиваем речи до конца и из-за этого сильно опаздываем с визитом к известной индийской поэтессе Амрите Притам, пригласившей нас накануне. Видимо, мы сильно нарушили этикет своим опозданием, потому что миссис Притам еле скрывает свою досаду, маскируя ее натянутой улыбкой. Мы застаем в особняке многих гостей, собравшихся, очевидно, уже довольно давно. К тому же наш «расторопный» гид мистер Малик явно забыл передать наше предупреждение об опоздании. Начавшийся так неудачно визит и дальше пошел, как говорится, комом...

Гости нам не слишком симпатичны, беседа не клеится. Тем более, что заждавшиеся нашего прихода визитеры уже изрядно отдали дань виски с содовой, а на южан сразу действует даже доза, которая для нас смехотворна.

Хозяйка называет нам каждого из присутствующих. Мистер такой-то. Мистер такой-то... Запомнить сразу труднопроизносимые фамилии с огромным нагромождением согласных звуков почти немыслимо. Однако понимаю, что среди этих людей есть писатели, в частности один поэт, прибывший в Дели из другого штата за литературной премией. Слушаем стихи другого поэта, молодого человека, представленного нам как юное, подающее большие надежды дарование. Это, по-видимому, литературный крестник миссис Амриты Притам. Она комментирует и горячо расхваливает стихи, анализирует творческий метод автора. Другая гордость хозяйки дома — это издаваемый ею журнал. К этой теме она возвращается поминутно. То и дело мелькает в ее речи «май мэгэзин... май мэгэзин»... На мою просьбу показать журнал она откликается очень охотно.

«Май мэгэзин» оказывается величиной со школьную тетрадку. Он заполнен в основном стихами. Тираж неиз-

вестен. Общее впечатление такое, что это, скорее, издание, предназначенное для потомков и будущих биографов поэтессы, чем для сегодняшних читателей.

Затем идут стихи хозяйки дома в ее собственном исполнении. Амрита Притам читает высоким, тоненьким, как у птички, голоском, и вся она похожа на пичужку со своим маленьким острым носиком, высоко поднятыми бровками, круглым личиком.

Несмотря на все эти литературные занятия, вечер течет натянуто. Гости выглядят чопорными «светскими» людьми, очень озабоченными выполнением всех правил этикета. Особенно раздражает один гость, явно выполняющий здесь роль свадебного генерала. Это молодой немец с ярко-рыжими бакенбардами и непомерно разбухшим, свисающим на колени животом. Откинувшись небрежно в кресле, он вещает некие «истины», которым буквально с благоговением внимают другие гости: и две полные дамы, одетые по-европейски, и молодые писатели, да и сама хозяйка дома. Удивительно, как люди легко принимают на веру любую тривиальность, лишь бы она была высказана этаким тоном заезжего столичного гостя, попавшего в провинциальную гостиную.

Неприкрытый снобизм этого рыжего принимают здесь, видимо, за хороший тон.

Можно себе представить, как облегченно мы вздыхаем, попав после этого визита в гости к своему земляку Морозову. Корреспондент центрального телевидения в Индии, он оказался нашим соседом на ленинском торжестве, представился нам и пригласил на вечер к себе.

— В гостях хорошо, а дома лучше! — радостно восклицаем мы, сразу ощутив привычную атмосферу доброжелательства, искренности, свободы от «светских» условностей.

Изящная, миловидная жена Морозова встречает нас как старых знакомых. И таким уютом, родственным веет от всей обстановки этого дома, что Исаак, откинув всякие церемонии, вопит:

— Люди русские! Дайте хоть поесть чего-нибудь! А то от этого виски с содовой животы подвело!

— Сейчас, сейчас! Ведь вы приглашены на шашлык! — смеется хозяйка и, поскольку мы проявляем не-

терпение, ставит нам пока на стол бутерброды, которые мы уплетаем за обе щеки.

Шашлык готовим все вместе. Работа кипит. Одни раздувают угольки в очаге, другие нанизывают мясо на шампуры.

Наслаждаемся обществом земляков. Наконец-то можно говорить без всяких языковых затруднений и без постоянной мысли о том, правильно ли ты будешь понят. Наших здесь человек десять. Узнаю старого знакомого — корреспондента «Правды» в Мадрасе Шурыгина, узнаю и Масленникова, тоже правдиста, работающего в Дели. С Масленниковым мы уже сталкивались здесь, в Индии, и сейчас с удовольствием затеваем долгий разговор на литературные темы. По многим вопросам мы оказываемся единомышленниками, и в знак расположения я дарю ему тут же свою книгу.

Здесь, у Морозова, я знакомлюсь с переводчиком, выступавшим на ленинском торжестве. Это высокий молодой узбек по имени Сурат, окончивший университет в Ташкенте по специальности индийского языка. Мне доставляет удовольствие побеседовать по-узбекски с ним и с его женой, настоящей восточной красавицей, из тех, про которых казахи восхищенно говорят: «Такая сквозь колечко пройдет». Тонюсеньких, гибких в стане женщин немало и среди казашек, и я благодарен жене Сурата за то, что своим видом она напомнила мне их.

Оказывается, сегодняшний шашлык — последний в этом сезоне.

— Прощаемся сегодня с шашлыком,— объясняет нам Морозов,— начинается такая жара, при которой о шашлыке не может быть и речи.

На требовательный вкус потомка казахских овцеводов мясо не ахти какое! И все-таки он чертовски вкусен — этот самостоятельно приготовленный шашлык, для которого мы сами разжигали огонь, который ели прямо у пылающих углей. Великое дело — русское гостеприимство, широта русской натуры, так щедро проявившаяся в доме Морозовых.

На следующее утро нас находит доктор Шаха с супругой. Супругу зовут Татьяной. Она русская. В ее русской речи есть какой-то неуловимый налет долгой раз-

луки с родиной. Она говорит слишком правильно, слишком грамматически точно, употребляет некоторые выражения, ставшие в современном русском архаизмами. Так, наверно, говорили учителя словесности в дореволюционных гимназиях. Что касается самого доктора Шаха, то он объясняется на языке своей жены с явным удовольствием, хотя и с выраженным акцентом.

История доктора Шаха — это, по-чеховски говоря, сюжет для небольшого рассказа, а на взгляд некоторых пишущих современников — материал, достаточный для целой трилогии.

Все слышали о неприкасаемых, хариджанах. Именно из этой среды и вышел ныне доктор Аксая Кумари Шаха. Можно себе представить, какой заряд энергии был в этом человеке, если он смог через все заслоны и предрассудки, через все ухищрения низости и глупости пробиться сначала к среднему, а там и к высшему образованию.

На физико-математическом факультете Калькуттского университета юный Аксая Кумари впервые услыхал рассказ очевидца о Советском Союзе. До тех пор его знания о нашей стране были романтически неопределенными, как у тихоновского Сами, и уж во всяком случае не связывались ни с какими собственными конкретными жизненными планами.

Очевидцем, поведавшим студентам о стране, где все граждане имеют равные права, а все ученые обеспечены государственной поддержкой в своих научных исследованиях, был профессор Сиви Раман, лауреат Нобелевской премии, почетный член Академии наук СССР. Сиви Раман вернулся из Советского Союза в 1926 году, был еще полон свежих впечатлений, и его рассказы о Советской стране выслушивались студентами, что называется, с затаенным дыханием.

Волевой склад характера Кумари Шаха, давший ему возможность совершить невозможное — получить в Индии звание бакалавра, проявился и в достижении другой поставленной им цели — поездки в первую страну социализма. Здесь, на одном из больших заводов Ростова-на-Дону, он начинает работать, вкладывая в свои ежедневные усилия всю благодарность неприкасаемого, впервые ощутившего свое равенство с другими людьми, впервые вкусившего отраду всеобщего уважения окружающих. Острая изобретательская мысль молодого инженера на-

ходит свое приложение в цехах большого завода. Усовершенствования, внесенные им в оборудование производства, встречают одобрение, и за эти плодотворные новшества Аксая Кумари Шаха получает степень кандидата технических наук.

— Вот оно...— говорит доктор Шаха и бережно вынимает из папки принесенный для встречи с нами какой-то документ. Это свидетельство о присуждении ему ученой степени.

— Взгляните сюда,— с гордостью шепчет доктор, указывая нам на подпись, стоящую под документом.— Кржижановский... Он подписал. Он был тогда председателем Всесоюзной аттестационной комиссии.

Там же, в русском городе Ростове, наряду с первым почетным званием, получил Аксай Кумари Шаха и другой подарок судьбы. Его посетила настоящая любовь. Она пришла к нему в облике беленькой скромной русской девушки Тани. Таня звонко захохотала, когда он решился спросить ее, не боится ли она коснуться неприкасаемого.

Вторая мировая война застала молодых супругов в Индии, где Шаха сотрудничал, под руководством Неру, в плановой комиссии. Узнав о тяжких страданиях советского народа под пятой фашистских захватчиков, супруги Шаха принимают решение — добраться до Советского Союза, чтобы принять участие во всенародной борьбе с фашизмом. Их путешествие в условиях все усложняющегося положения в мире, в атмосфере нарастающего безумия — это отдельный материал для волнующей книги. Нет, они не успели добраться до Татьяниной родины, ставшей родиной и для Аксая Кумари. Они застряли в Иране.

Только в прошлом году, спустя тридцать один год, Шаха становится доктором Шаха. Свою докторскую диссертацию он защищает в Советском Союзе. Здесь же он издает и несколько своих работ.

— Вот взгляните,— доктор снова вытаскивает из заветной папки бумагу, из которой видно, что одна из его книг была издана по специальному заданию Марии Ильиничны Ульяновой.

Мы с увлечением слушаем эту историю, уверенные в том, что это почти диккенсовский сюжет со счастливым концом. Ведь порок-то наказан! Ведь добродетель-то тор-

жествует! Ведь в современной Индии принят закон о равенстве всех граждан и кастовые преследования караются законом.

Увы, неожиданно для нас вместо традиционного хэппи энда мы слышим горькие сетования на судьбу. Оказывается, нынешнее положение супругов Шаха, уже пожилых и не очень здоровых людей, далеко от таких понятий, как счастье или хотя бы удовлетворение жизнью.

Работает сейчас только Татьяна. Сам же доктор Шаха уволен с работы. Как говорится, по сокращению штатов. Пенсии не получает. Устроиться на новую работу ему очень трудно.

— Но почему же?

— А все потому же. Неприкасаемый...

— Но ведь новая Индия... Но ведь закон...

Закон законом, но въевшееся во все поры общества чудовищное представление о неполноценности хариджанов живет и сегодня.

— Поверьте, как ни трудно поверить в это вам, гражданам Советской страны,— что все мои несчастья до сих пор проистекают только из-за моей связи с этой злосчастной кастой. Вот сижу без работы. Пока был жив премьер Неру, мне было легче. Он знал меня и оказывал личное покровительство. Одно время я работал по его рекомендации на заводе в Бхилаи. Но при малейшем дуновении ветра в любую минуту я могу стать жертвой самосуда, жертвой ярости темной первобытной толпы.

Можно сказать, что проблема ликвидации пережитков кастового неравенства, понятная нам и прежде, стала теперь для нас куда яснее, наполнилась на примере истории доктора Шаха конкретным содержанием.

Не раз пробовали мы говорить на эту тему с представителями интеллигенции. Многие вели себя при этом так, точно мы допустили некую бестактность, касаясь этой темы. Другие отвечали уклончиво.

— По конституции касты уничтожены. Все граждане имеют равные права.

— Болезнь входит пудами, выходит золотниками.

Приходится, к сожалению, прийти к выводу, что проблема борьбы с психологией кастовости представляет собой в современной Индии сложный комплекс противоречий. Пережитки этой психологии приносят немало вреда

развитию страны. Еще много потребуется усилий, в частности и писательских трудов, чтобы развязать этот непростой узел.

Нередко случается, что человек никогда не бывал в музеях своего родного города, куда выстраиваются ежедневно очереди приезжих. Но знакомство с новым городом почти всегда начинается с музеев.

В своей индийской поездке мы осмотрели их великое множество. Перед отъездом из Дели нам предложили познакомиться с музеем Неру (кстати, правильное индийское произношение его имени Джаухарлал — по названию двух драгоценных камней: джаухар и лал).

Внешняя сторона биографии Неру очень типична для государственных деятелей многих народов Азии и Африки. Став лидером национально-освободительного движения своего народа, такой человек обычно и возглавляет потом правительство страны, обретшей наконец независимость. Но по внутренней своей биографии, по богатству своей души Неру представляет собой явление уникальное. Это один из тех, кто всегда стоял над мучительной борьбой страстей, над честолюбивыми устремлениями. Это один из тех, чей негромкий голос всегда приносил миру, истерзанному войной и тиранией, успокоение и неяркий свет надежды.

И вот мы в высоком двухэтажном доме, стоящем посреди большого зеленого сада. Здесь он жил, в этом доме, возведенном некогда англичанами для командующего английскими войсками в Индии. С 1947 года, со дня независимости, здесь поселился премьер-министр Индии. В течение долгих семнадцати лет Неру возглавлял правительство независимой Индии, и все это время он жил в этом доме. Здесь же и закрылись навеки его спокойные, добрые, умные глаза.

Как и полагается в квартире-музее, все предметы обстановки расположены так, как это было при жизни хозяина. И как все музеи такого типа, квартира Неру рождает у посетителей грусть, будит размышления о том, как, в сущности, странно, что некий неодушевленный предмет «переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов».

Но помимо экспозиции, типичной для всех музеев этого рода, здесь мы встречаем и памятные материалы, специфические для Индии, невозможные в других странах.

Вот, скажем, ткацкий станок и пряжа. Обыкновенная пряжа, замечательность которой состоит лишь в том, что ее выработал сам Неру. Этот кусок серой пряжи воссоздает целую эпоху в борьбе индийского народа против колонизаторов. Это был период, когда Ганди выдвинул лозунг бойкота английских товаров и призвал население самостоятельно изготовлять себе пряжу для одежды. При всей детской прямолинейности такого метода борьбы, он все же волнует посетителя музея. Ганди и Неру первыми сели за ткацкие станки, чтобы показать пример населению.

Отношения между двумя гигантами индийского народа — Махатмой Ганди, которого здесь зовут отцом нации, и Джавахарлалом Неру, бессменным руководителем страны в течение долгих лет,— отражены во многих материалах музея. Обмен идеями, взаимная поддержка в трудные минуты, непреклонная принципиальность и в то же время терпимость в решении важнейших вопросов — вот на каких основах держались эти отношения. Ганди нежно любил Неру. Вот письмо, адресованное Неру в период его заточения в английской тюрьме. «Мой Джаухар!» — так начинает свое послание Махатма Ганди.

Искусно подобранные фотографии Неру отражают весь жизненный путь этого человека. Вот перед нами красивый мальчик из обеспеченной семьи. Его осанка, взгляд, поза перед объективом фотографа — все говорит о том, что ребенок пока живет непосредственной радостью бытия, что он охотно надел на себя эту игрушечную саблю, потому что он еще воинствен, как все маленькие мужчины всех времен и народов.

Но вот характер снимков резко меняется. Они так удачно подобраны, что нам виден внутренний перелом, происшедший у Неру в юности. В глазах молодого Неру уже поселились печаль и тревога. Хмурящиеся брови Неру-студента выражают мучительную работу мысли, бьющейся над «проклятыми вопросами».

От снимка к снимку мы видим, как формируется так хорошо знакомый нашим современникам облик Неру, как

складываются те черты мудреца и мыслителя, которые вызывают симпатию всех хороших людей нашего сложного мира. Интересно, что, чем позднее сделан снимок, то есть чем старше становится Неру, тем больше отступает на его лице выражение грусти, заменяясь характерной волевой складкой и тем невыразимым светом любви к людям и терпимости к их недостаткам, который лился из его глаз.

Я счастлив, что мне довелось видеть этого человека. Это было пятнадцать лет назад.

...Алма-Атинский аэропорт. Нас человек сто. Все мы ждем прибытия высокого гостя — Джавахарлала Неру. Самолет как назло опаздывает, и мы, изнемогая от нетерпения, досадливо смотрим на небо. Среди нас Мухтар Ауэзов. Здесь и Каныш Сатпаев, Куляш Байсеитова, здесь и женщина-ученый Найля Базанова.

Базанова только что вернулась из поездки по Индии, где ей довелось видеть Неру, и сейчас все прислушиваются к ее рассказу о госте, которого мы ждем.

— У него удивительное лицо,— говорит Найля,— на него хочется смотреть безотрывно. Влюбиться можно.

Восторженный тон Базановой вызывает иронические улыбки. Я и сам — тогда еще молодой и насмешливый — мысленно говорю себе: «Дамские бредни! Без влюбленности дамы не могут обойтись даже тогда, когда речь идет о таком старике, как Неру».

И вот наконец он выходит из самолета. И сразу весь его облик, вся его бесконечная естественность и простота в обращении очаровывают нас. Мы уже не можем оторвать от него глаз, пока он, выслушивая приветственную речь в свою честь, восхищенно смотрит на снежные вершины Алатау. И мне приходит в голову, что, как это ни смешно, но, пожалуй, Базанова-то права. В этого человека именно влюбляешься с первого взгляда.

Раздается его негромкий голос. Он произносит наше традиционное приветствие: «Салям алейкум!» Потом жмет всем поочередно руку и начинает свою тихую неторопливую речь.

Ничего нет в этой речи даже отдаленно похожего на официальные выступления государственных деятелей в аналогичных обстоятельствах. Он говорит прежде всего ...о наших горах. Не отрывая любующихся глаз от Ала-

тау, он рассказывает нам о том, что эти горы напоминают ему его родной Кашмир. И отсюда у него уже с порога возникает чувство родственной связи с казахским народом, и он уже знает, что захочет приехать сюда еще и еще.

И до этого дня я видел многие портреты этого популярного политического деятеля. Они давали, конечно, некоторое представление о благородстве его внешнего облика. Но тот свет высшей духовной жизни, который шел от его живого лица, не мог быть передан в изображении. Это лицо и сегодня, пятнадцать лет спустя, стоит передо мной, но я чувствую свое бессилие, когда пытаюсь описать его словами. Пожалуй, главное в облике Неру — сочетание бесконечной любви к людям, сострадания к их горестям с мужественной готовностью бороться со злом. Мне пришел тогда в голову такой образ: это булат, облаченный в шелк... может быть, это не точно? Не знаю.

...Он излучал человеческое обаяние. Глядя на него, слушая его, хотелось быть лучше, чище, умнее.

Обо всем этом я думаю теперь, проходя по комнатам, в которых он жил, мыслил о благе своего народа и всех людей нашей планеты.

Встреча за встречей. У нас уже столько знакомых и даже друзей в Дели, что мы не успеваем повидаться со всеми, с кем хотелось бы. И все-таки мы не можем отказаться от визита к Саджаду Захиру, гостеприимством которого мы уже пользовались в первый день нашего пребывания в Индии.

Узнаем приятную, скромно обставленную комнату, служащую и кабинетом и гостиной, узнаем эти высокие, до самого потолка, книжные полки. А главное — узнаем и радостно приветствуем Разию-апа, жену писателя, которая так мило встретила нас еще тогда, когда мы чувствовали себя довольно неуверенно, делая первые шаги по этой земле. Разия-апа хочет сейчас же, срочно узнать обо всех наших впечатлениях. И что мы видели. И что нам больше всего понравилось. И какого мы вообще мнения о стране. Она буквально засыпает нас вопросами, успевая одновременно накрывать на стол. Разия-апа

вместе со своим мужем много путешествовала по нашей стране, и теперь ей очень хочется поддержать советские обычаи гостеприимства и обильных сытных столов. Тут мы явно не отделаемся кока-колой или легкими закусками.

Роскошное блюдо кари, удивительный плов... Мы делаем комплименты искусной кулинарке, а она все снова и снова наполняет наши тарелки, потчуя прямо-таки по-казахски. Исаак Голубев сокрушается, что нам все равно всего не осилить и добро пропадет зря, но радушная хозяйка утешает нас тем, что скоро придет из театра их дочь со своими подругами. А уж эти не дадут пропасть первоклассной пище. Как змея языком слизнет. Меня хозяйка потчует еще и индивидуально, напоминая мне об изобилии и гостеприимстве казахского дастархана.

Пища духовная тоже сервируется для нас от всего сердца. Взяв в руки лист бумаги, испещренный арабской вязью, Саджад-ага читает нам свои только что написанные стихи.

— Вы мои первые слушатели. Завтра двадцать второе апреля. У нас в Дели состоится митинг, посвященный Ленину, еще более многолюдный, чем тот, на котором вы присутствовали. И эти стихи, посвященные Владимиру Ильичу, я буду читать там.

Голос Саджада-ага как бы самой природой создан для чтения стихов. Не понимаю языка, но все-таки прошу Исаака не переводить. Не хочу рассудочностью прозаического перевода затенять то восхитительное ощущение мелодии, ритма, которое охватило меня. К тому же во тьме чужеязычной речи то и дело вспыхивают, как путеводные огоньки, знакомые слова: «мехнат», «дуния», «ынтызар», «инсаф». Они, правда, далеко не раскрывают мне значения текста, но обволакивают ощущением какого-то родства, каким-то предчувствием близкого овладения речью друзей.

После стихов, как это часто бывает, спорим до хрипоты о принципах поэтического перевода. Исаак садится на своего излюбленного конька, и мы не замечаем, как стремительно бежит время.

На десерт нам подают фрукты, похожие на апельсины, но в чем-то отличные по вкусу и виду. Оказывается, это гибрид апельсина и мандарина, выведенный в Пакистане.

— Их привезли нам в подарок из Пакистана паломники — сикхи, которые ежегодно отправляются туда на богомолье,— объясняет хозяин.

Священный для сикхов участок земли отошел к территории Пакистана. По специальному соглашению, принятому обеими странами, сикхи каждый год отправляются туда.

...Наша беседа переходит на вопрос о религиозных чувствах, об их легкой воспламенимости, о тех страданиях, на которые нередко обрекают друг друга и самих себя враждующие сторонники различных культов.

И вдруг наша гостеприимная хозяйка Разия-апа, молчавшая до сих пор, взволнованно вмешивается в разговор:

— А вот представьте себе, что в наших школьных учебниках ни звука нет об индийском мусульманстве. Наша младшая дочка узнает на школьных уроках географии, что в Индии существуют разные религии, которые мирно уживаются друг с другом. И перечисляются такие религии, как индуизм, буддизм, фарси... А мусульман вроде и нет в природе.

— Между тем по количеству мусульман Индия стоит на третьем месте после Пакистана и Индонезии,— подхватывает эту тему Саджад Захир.

Он тяжело вздыхает, и нам становится ясно, что религиозные вопросы имеют для этой семьи не только академическое значение. Недаром после этого разговора в комнате воцаряется та самая тишина, о которой говорят: «Тихий ангел пролетел».

Наши хозяева как бы забыли о гостях, углубившись в свои мысли. И это их молчание еще больше сближает нас, показывает, что мы не официальные визитеры, а добрые друзья, с которыми и помолчать есть о чем.

Симпатия к Саджаду и Разии родилась во мне еще в Алма-Ате, где я увидел их впервые. А сейчас, после индийских встреч, они кажутся мне почти родными, я воспринимаю их как ага и женге (старший брат и его жена), которые охраняли мое детство и продолжают быть добрыми моими спутниками на жизненных дорогах.

Порой мы с милыми хозяевами этого дома забываем,

что говорим на разных языках (в буквальном, а отнюдь не в переносном смысле слова), и обращаемся друг к другу непосредственно, минуя переводчика. Ужасное все-таки свинство — эти языковые барьеры!

Утром нам предстоит пуститься в обратный путь. Но мы не спешим прощаться с этим гостеприимным индийским шанраком. Все кажется, что какие-то главные слова еще не сказаны, что я еще не нагляделся на спокойное лицо Саджада-ага с кроткими доброжелательными глазами, на красивую Разию-апа, распространяющую вокруг себя особую атмосферу уюта, тепла, крепко налаженного домашнего очага.

Месяц в Индии. Это и много и мало. Мало — потому что и культура этой огромной страны, и люди, и ее природа — все это может составить предмет глубокого изучения на долгие, долгие годы. Много — потому что за этот месяц, насыщенный мыслями, чувствами, впечатлениями, я обрел мою собственную Индию.

Давно ли эта страна была для меня только чисто географическим понятием, только определенным местом на карте. А сейчас Индия вошла в мою внутреннюю жизнь, стала источником многих моих радостей и болей. Отсвет Индии лег на мою душу, обогатив ее. Ведь мои знания о солнце были совсем не полны до того, как я почувствовал его неистовую силу под небом Индии. А мои сведения о растениях были, оказывается, так скудны, пока я не увидел диковинные деревья Индии, гирлянды ее цветов...

Индия щедро одарила меня своим несравненным искусством, в котором зоркость художника слита с глубокомыслием философа. Тадж-Махал и Акбар. Храмы Махабалипурама и Элефанта.

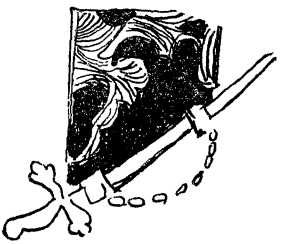
Она раскрыла передо мной яркие неповторимые лица своих городов, точно вышедших из сказки. Бенарес, Бомбей, Калькутта... Все эти имена облеклись теперь для меня живой плотью и кровью.

И своим страданием тоже щедро поделилась со мной Индия. То, что раньше воспринималось только как проблемы демографии, экономики, социологии, стало живой болью. А она для пишущего важнее любых научных исследований.

Люди Индии... Умный и невозмутимый, восседающий, как Будда, Ананда Шанкар Рай. Вспыльчивый, как порох, но полный заразительного веселья и добродушия Тарашанкар Бандопадхайя. Тихий, погруженный в свой внутренний мир Кришан Чандр. Леди Рану Мукерджи, деятельная, самоотверженная, почти по-детски непосредственная. И еще десятки других писателей и ученых, рыбаков и металлургов, студентов и политических деятелей. При всех индивидуальных различиях в этих людях есть нечто общее — индийское, выработанное этой удивительной страной, которую, узнав, нельзя не полюбить.

Когда я отправился в это путешествие, Индия лежала передо мной как закрытая книга. Сейчас она открылась для меня. Я еще далеко не все прочел в этой замечательной книге, но, кажется, научился ее понимать.

1970



КЛЯТВА

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОЭМА

Авторизованный перевод с казахского
Н. ГРЕБНЕВА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Хан Абулхаир	— хан Младшего жуза казахов. Позже — сардар (военачальник) всех трех жузов.
Батима-ханум (Бопай)	— дочь главы одного из трех родов, составляющих Младший жуз. Позже — жена Абулхаира, ханум Младшего жуза.
Султан Сауран	— влиятельный султан из старшей ветви ханского рода Жадиге.
Султан Барак	— соперник Абулхаира в борьбе за трон Младшего жуза.
Букенбай	— батыр и глава рода Керей из Среднего жуза.
Хан Семеке	— глава Среднего жуза.
Хан Каюп	— глава Старшего жуза.
Бий Туле	— бий (судья) Старшего жуза.
Жанарыс	— младший брат Батимы-ханум.
Тевкелев	— посол русской императрицы Анны Иоанновны.
Сейткул	— посол хана Абулхаира при русском дворе.
Бий Мыртык	— приближенный хана Семеке.
Хунтайджи	— джунгарский предводитель.
Нартай	— подневольный человек, получивший свободу за проявленную храбрость.
1-я девушка	— подруги Батимы-ханум.
2-я девушка	

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

Темная ночь. Появляется одетая в траур Батима-ханум.

Батима-ханум

О господи, нелепо создан мир!
Где все, что есть, меняется так скоро,
Где нас осиротил Абулхаир —
Надежда власти и моя опора!
Была беда — он выход находил,
А ныне, беззащитной, одинокой,
Кто мне прибавит мужества и сил?
Тот, кто меня до сей поры хранил,
Пал от руки жестокой.
Судьба мне ныне испытанье шлет,
Невесть куда меня она заводит.
Как дикий конь, мой вздыбился народ.
Где силы взять, чтоб удержать поводья?
Владыке нашему случилось пасть.
И в жизни сразу все переменилось,
С могучих плеч мужских былая власть
На плечи женские переместилась.
Свалился тяжкий груз на плечи мне,
И все, что было, изменилось разом.
О господи, дай прозорливость мне
И от смятенья огради мой разум.
Пошли мне стойкость, разуменье дай,
И силу духа, и успеха в деле.

Но рвутся жилы, руки онемели.
Власть — ноша не для женщины!

(Из темноты выходит закованный султан Сауран. За ним вооруженная стража).

Султан Сауран

Бопай!

(Батима-ханум вздрагивает, но не откликается).

Дай слово, Батима-ханум, сказать,
Чтоб мне не умереть совсем безгласно.

Батима-ханум

Кровь пролита, на слово уповать
Теперь уже и поздно и напрасно.

Султан Сауран

Я не спасенья жду, и суд свершится,
За дело рук ответит голова.

Батима-ханум

Мне лучше слуха было бы лишиться,
Чем слышать эти гнусные слова.

Султан Сауран

Что ж, Батима, в твоей руке секира.
Всему, что скажешь, я внимать готов,
Но меч, пронзивший грудь Абулхаира,
Не разрубил ударом всех узлов.

Батима-ханум

Мне мерзко слышать слово святотатца,
Ты крови не сотрешь, как ни стирай.
Но если все же хочешь оправдаться,
Суд будет завтра — счастье попытай.
Пусть суд решит, что истинно, что ложно.

Султан Сауран

Но я, Бопай, сказать тебе хочу
Такое слово, что сказать не можно
Ни судьям, ни толпе, ни палачу.

Когда б я мог судьбу предугадать,
Предвидеть, что тебе придется, может,
В какой-то день моим судьею стать!..
Ну что ж, вершится все по воле божьей.

Батима-ханум

Зачем теперь, когда из раны свежей
Еще течет дымящаяся кровь,
Вскрывать рубцы былые раны прежней
И то, что зажило, тревожить вновь?

Султан Сауран

Бывает рана старая, как знать,
Больнее свежей. Дай мне молвить слово,
Чтобы выслушать тебе, а мне сказать,
У нас не будет времени другого.
Я не хочу, чтоб ты весь век потом,
Когда меня казнят, сама казнилась,
И мучилась, и думала о том,
Что мне последнюю не оказала милость.

Батима-ханум

Но, Сауран, сам упустил ты час,
Счастливый час, который был у нас.

Султан Сауран

Хоть час и упустили мы, я жду,
Что не прогонишь ты меня сурово.
Коль не сейчас, когда скажу я слово?

Батима-ханум

Все скажешь утром на суду.

Султан Сауран

Как между веток — не могу понять я —
Негаданная трещина прошла?
Как меж друзей в минуту их объятья
Змея вдруг зло и тихо проползла?
Не сам ли я к ногам Абулхаира
И славу бросил, и богатство мира?
Все то, чем наделен я был судьбой,
То, чем владел, ему я отдал даром.

Батима-ханум

Но ты мечом своим, одним ударом,
У должника все отнял, и с лихвой.

Султан Сауран

Верь, Батима, не жизнь мне дорога.
Но на земле страшнее нет мученья,
Чем жить, убив недавнего врага,
И не утешиться, свершив отмщенье.
Забудь на миг все нынешнее злое
И памяти своей свободу дай.
Хоть на мгновенье воскреси былое.
Себя ты помнишь девушкой, Бопай?

ЮНАЯ БОПАЙ

Дробный топот копыт. Звонкие голоса девушек, разгоряченных скачкой. В сопровождении двух подруг появляется Батима. Ей в ту пору восемнадцать лет.

Батима *(оглядываясь)*

Закинь поводья за луку седла
И не пускай пастись коней горячих.

Первая девушка

Ты раньше времени, Бопай, пришла
Иль где-то здесь он затаился, прячась?
Поищем?

Батима

Нет, искать нам не годится,
Как не подходит и ему таиться.

Первая девушка

Пришли мы раньше времени сюда.
Ай, Бопайжан, как нрав твой беспокоен.
Джигит твой нетерпенья хоть достоин?

Вторая девушка

И как еще достоин, вот беда.
Кость белая, он истинный султан.
Не потому ль зовется Сауран.

Первая девушка

Какая невидаль — султан! Ну что ж.
Бопай достойна шаха и эмира.
Ну, а собой ваш Сауран хорош?
Отважен ли?

Вторая девушка

Обыщешь оба мира,
Красивей и отважней не найдешь.

Первая девушка

Как счастлива ты, наша Батима,
Ты в должный час свободно и открыто
Себе по сердцу избрала сама
Достойного и знатного джигита.
Отец твой волю даст, проявит милость
К желанию любимицы своей,
Что, словно роза, пышно распустилась
Средь тридцати джигитов-сыновей.

Первая девушка

Скажи нам об избраннике своем,
Хорош он?

Батима

Я уверена в одном:
Чем мой жених, ни доблестней, ни краше
Джигита не найдешь в народе нашем
Иль в племени каком-либо ином.
Недаром же, его завидя вдруг,
Бегу навстречу, радуясь и плача.
И замирает сразу все вокруг.

Первая девушка

Пускай тебе сопутствует удача!

Вторая девушка

Мне кажется, на том холме — джигит!

Батима

Да, это он — мой милый, без сомненья.
Вы видите, как быстро он летит,
Как у меня, нет у него терпенья.
Теперь хочу я, чтоб вы удалились.

Обе девушки

Считай, что мы сквозь землю провалились.

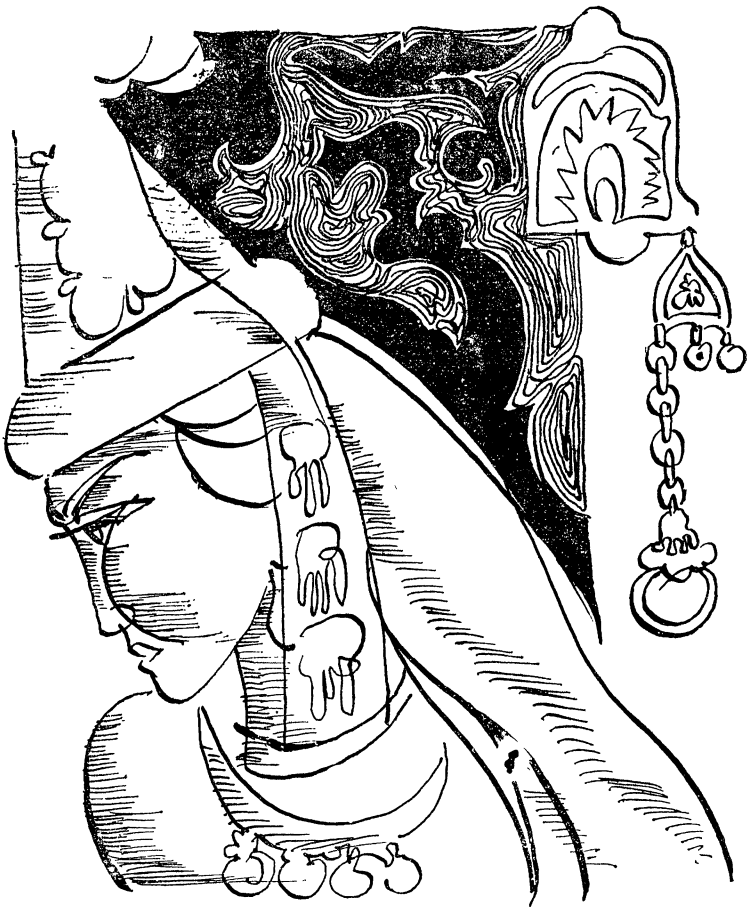
(Уходят.)

Батима *(взволнованно)*.

Мой Сауран нетерпеливо мчится.

(Бежит навстречу, но вдруг останавливается.)

Аллах великий, что со мной творится?
Без милого ни ночи нет, ни дня.



Честь воздают мне шесть родов Алима,
А пред любимым я незащитима.
Чем взял он, чем околдовал меня?
Ползет в разлуке время еле-еле.
И мне годами кажутся недели.
Где прежняя гордячка Батима?
Была строптивой, стала я покорной.
Дорогой Евы, вечною и торной,
Иду, себя не узнаю сама.
Где прежняя веселость, где беспечность?

(Приближающийся топот копыт. Вбегает С а у р а н.*)*

Султан Сауран

Я опоздал, вина моя тяжка.
Давно ль ты ждешь?

Батима

Мне кажется, что вечность!

Султан Сауран

Но я скакал сюда издалека.
Лихое время; на коне горячем
Все рыщешь по степи, все ищешь путь.

Батима

Гляди, покуда по степям ты скачешь,
Любимую свою не позабудь.

Султан Сауран

Нет, мне тебя вовеки не забыть,
Какие б нас ни разлучили горы.
Но время трудное, все может быть,
Вокруг вражда и в племени раздоры.

Батима

Владыки, знаю, не живут ни дня
Без распри и грызни, большой иль малой.
А ждать, пока утихнет их грызня,
Так старой девой и помрешь, пожалуй.
Но где же сваты, добрый мой султан?
Родитель ждет.

Султан Сауран

Послушай, Бопайжан,
Я говорил и повторю опять:
Чем ты, о лучшей спутнице на свете
Я не мечтал и не могу мечтать.
Но вновь судьба нам расставляет сети,
За ханство в Младшем жузе спор идет.
Есть пять потомков Жадиге, и каждый
Считает, что настал его черед,
И каждый власти жаждет.

Батима

Кто ж верх возьмет, кто победит и как?

Султан Сауран

Не знаю, но опасней всех Барак!
Как в змее, в нем и хитрость и коварство.

Батима

Ах, мой султан, я знаю и сама,
Что хитрость иногда сильней ума
И что коварством обретают царство.

Султан Сауран

Ты судишь, как мужчина, Батима.
Мы, люди, часто верим в то, что ложно,
И по кривому следуем пути.
Коварством власть возможно обрести.
Народ свой возвеличить невозможно.
Барак — не сокол, чей удел парить,
Он падалью, стервятник, праздник правит.
Казахов должен хан объединить.
Барак казахов всех друг с другом стравит.
Народ наш без достойного главы
Не будет в славе и не будет в силе,
Чтоб от Джунгарии и до Хивы
Враги пред нами головы склонили.

Батима

А почему б всем распрям и обманам
Не положить конец, и, может быть,
Найдется белая кошма, чтоб ханом
Тебя на ней могли провозгласить.

Султан Сауран

О нет, каким бы ни был гордецом,
Я и помыслить не могу о том,
К тому ж я от жены родился младшей.

Батима *(ласкаясь)*

Родиться можно и от старой клячи,
Да вырасти крылатым скакуном.
К чему стремиться, то и достижимо.
Власть не отдай ни другу, ни врагу.
А я отца и шесть родов Алима
На сторону твою склонить могу.

Султан Сауран

Поверь, моя Бопай, моя орлица,
Не самый слабый, мог бы я решиться
И взять себе под руку край степей,
Но жажды власти нет в душе моей
И не о ней я думаю в гордыне.
К тому ж любая власть — весы, и ныне
Моей другая чаша тяжелей.
Мне мысль иная в голову пришла.
Есть человек один достойней прочих
Из рода Усеке...

Батима

На ханство прочишь
Ты не Абулхаира?

Султан Сауран

Иншалла! [1]

Батима

Но ты бы Жадиге спросил вначале.
Они уступят власть свою едва ли.
Что сможешь ты сказать им, пятерым?

Султан Сауран

Хоть и не просто все, но достижимо.
Есть силы за избранником моим:
Я и родитель твой, а вместе с ним
Могущественных шесть родов Алима.
Останется смириться остальным.

Батима

В Абулхаире бы не обмануться!
Прозреешь, да исправишь ли потом?

Султан Сауран

Я в нем уверен, как ни в ком ином.
И роды все вокруг него сомкнутся.
Он мудр и трезв, он истинный джигит.
Все силы только он объединит,
Чтоб стал казахский род непобедимым,
Абулхаир назначен нам судьбой!

[1] Да поможет нам бог!

Батима

Его я как-то видела с тобой.
Он показался злым и нелюдимым.

Султан Сауран

Да нет, Бопай, он вовсе не такой.
А впрочем, с этим делом решено.

Батима

Но, милый мой...

Султан Сауран

Другого не дано.
Я в твой аул поеду самолично.

Батима

Но разве ехать самому прилично,
Опередивши сватов, мой султан?

Султан Сауран

Что делать, ныне, на свое несчастье,
Я сватом и отправлюсь, Бопайжан,
Когда на это ты мне дашь согласье.

Батима

Но я дала согласье и давно...

Султан Сауран

Бопай, нам вместе быть не суждено.

Батима

Но мне, поверь, никто другой не нужен.

Султан Сауран

Абулхаир достойным будет мужем.

Батима

Слаба моя девичья голова.
Не понимаю, как это возможно?
Ужели обещанья и слова,
Все, чем мы дорожили, было ложно?

Султан Сауран

Нет, Бопайжан, правдиво наше слово,
Что было, это не обман, не сон.
И сам я неизбежностью сражен,
И все же благо племени родного
Дороже счастья нашего былого
И будущего; нет пути иного,
Чтоб сел Абулхаир на ханский трон.

Батима

О Сауран, мне слышать это странно.
Как ни глупа, я вижу путь иной.
Я брошусь в ноги, и родитель мой
Посадит на престол любого хана
Во имя счастья дочери родной.

Султан Сауран

Бопай, я знаю — это все слова,
И отказаться мы должны от счастья.
Без брачных уз, без кровного родства
Кто наделит Абулхаира властью?

Батима

Ужель случилось все это со мной?
И тот, кто был звездою лучезарной,
Торгует мною, как купец базарный,
Для собственной корысти иль чужой!

Султан Сауран

Отец твой волю дочери любимой
Дал не затем по доброте своей,
Чтоб безрассудно пользоваться ей,
А чтоб скрепить все шесть родов Алима.
Сама ты знаешь: тридцать сыновей —
Для власти тридцать золотых гвоздей,
Забитых, чтоб была неколебима.
Дочь любящая, будь отцу под стать,
Будь золотой веревкой, чтоб связать
Все узы ханской власти в час желанный.
И вряд ли выше будущего хана
Для твоего отца найдется зять.

Батима

Куда ж теперь мне — в петлю или в воду?
Твои объятья жгли меня, джигит,
Твое сегодня слово леденит.
Все отдала я, но тебе в угоду
Я все же не отдам свою свободу.

Султан Сауран

Бопай, кто о свободе говорит?
Едва родились мы, и в колыбели
На шею нам уже ярмо надели.
За все мы платим дорогой ценой.
Когда-то племени земли родной
Случилось на три жуза разделиться,
А завтра мы разделимся на тридцать.
А стать нам надо силою одной.
Казахи, мы должны объединиться,
И каждый должен чем-то поступиться
Во имя цели сей, а не иной.

Батима

И порешил ты поступиться мною!
Свободен ты, как хочешь поступай.
И если не твоей мне быть женою,
То все едино...
(Плачет.)

Султан Сауран

Замолчи, Бопай!
Я думал, что из ценного металла
Та создана, кого я так люблю.
А ты не отличаешься нимало
От тех, кому лишь слезы лить пристало.
Не плачь! Молчи! Терпи, как я терплю.

Батима вытирает слезы, суровеет. Гаснет свет, и сразу высветляется одна Батима-ханум. Она в траурных одеждах, как в первой картине.

Батима-ханум

Терпи, и я, послушная, терпела,
Хоть знали и за тридевять земель:

Могла я быть такой, какой хотела.
Ужели это я всю жизнь терпела,
Я, до кого дотронуться не смела
И в холод зимний лютая метель.
Сказали мне «терпи», и я терпела,
Укладываясь, хоть и не хотела,
Как в муравейник, в брачную постель.
Того я не спасла, кого жалела,
Кого любила, с тем я быть не смела...
А время шло, плело свою кудель...

Снова затемнение. На этот раз высветляется султан Сауран. Он закован, как в первой картине.

Султан Сауран

«Терпи»,— сказал я женщине любимой,
Сказал, вонзил ей в сердце нож незримый.
Я думал: все оправдывает цель.
Той целью ослепленный и влекомый,
Кого любил, я отдал сам другому.
И все-таки от цели был далек.
Всем, что любил, пожертвовал. И что же?
На раненого волка стал похожим,
Что лапу перебитую отсек.
Как волк, в безлюдье, я блуждал, бывало,
И рану, что болеть не преставала,
Зализывал, и зализать не мог!..

СМЕРТЬ ЖАНАРЫСА

Ханская ставка. Хан Абулхаир и Батима-ханум.

Хан Абулхаир

Скажи мне слово, Батима-ханум!

Батима-ханум

Я слушаю тебя, опора власти!

Хан Абулхаир

Нуждается сейчас мой слабый ум
В твоем совете и в твоем участье.

Батима-ханум

Мой повелитель, с самых первых дней
Меня, делящую с тобою ложе,
Ты сделал тенью мудрости своей,
И оттого я стала мудрой тоже.
Я не запомнила такого дня,
Когда б ты спрашивал о невозможном,
А при пустом ответе или ложном
Ты вразумлял и наставлял меня.

Хан Абулхаир

Да, если вьется ровно и согласно
От очага супругов два дымка,—
Лишь это из того, что здесь прекрасно,
Прекраснее всего наверняка.

Батима-ханум

Сама я так же думала сначала,
Себя твоей советчицей считала,
И лишь совсем недавно поняла,
Что только слово мужа повторяла,
Не более чем эхом я была.
Все годы...

Хан Абулхаир

Мне казалось — ты смирилась.
Я думал, все, что было, позабылось.
Ужели до сих пор тебя гнетет
Твоя обида, боль былой печали?
Не спорю я — вначале был расчет.
Но разве мы с тобою прогадали?

Батима-ханум

Я выросла на воле без забот,
Резвясь, как жеребенок годовалый,
Но все случилось к лучшему, пожалуй.
О чем жалеть, кто прошлое вернет?
Я стала не женою, богом данной,
А для того соединились мы,
Чтоб мой могучий род держал всем кланом
Один из четырех углов кошмы,
Где смертного провозглашают ханом.

Хан Абулхаир

Твой род одной из четырех опор
Был мне всегда,— и это каждый знает.
Но вот теперь — о том и разговор —
Твой род, что был опорой до сих пор,
Другие три опоры выбивает.

Батима-ханум

Ах, сердце чуяло — грядет беда.
Ты говоришь о Жанарысе?

Хан Абулхаир

Да!

Батима-ханум

Мой повелитель, братьями гордиться
Могу я всеми, у меня их тридцать,
Но Жанарыс — мой самый младший брат.
Он молод, всякое могло случиться.
Прости его, хоть он и виноват!

Хан Абулхаир

Молчи, ханум, не говори, не мучай.
Я сам легко простил бы, но навряд
Все байулинцы — этот род могучий,–
Ответной крови не пролив, простят
Кровь воина, считавшегося лучшим.

Батима-ханум

Мой повелитель, отыщи пути,
Уговори их, выкуп заплати.
Я знаю: ничего не пожалеет
За сына своего и наш отец.
Он кобылиц, верблюдов и овец
Отделит из того, чем сам владеет.

Хан Абулхаир

И я бы отдал все богатство мира
Упрямым байулинцам за батыра,
Но не берут они, как ни молю.
Им нужен свойственник Абулхаира.
А распри я теперь не потерплю.

Батима-ханум

Так что же делать?

Хан Абулхаир

Я им уступлю!

Батима-ханум

Ужель властитель мой понять не может,
Какое он свершить замыслил зло?

Хан Абулхаир

Верь, Батима и самому мне тоже
Принять решенье это тяжело.

Батима-ханум

Ужели ты по воле чьей-то злобной
Ступить решился на кровавый путь?
Мы с Жанарысом единоутробны,
Нас матери одной вскормила грудь.
Спаси от смерти брата дорогого.
Я знаю: ханское, как выстрел, слово —
Коль пущено, потом не возвратишь.
Но при желании все разрешимо,
Ты злобных байулинцев умолишь.

Хан Абулхаир

Я пробовал, они неумолимы.

Батима-ханум

Так стань жестоким с этими людьми.
Есть сила у тебя, ты их сломи!

Хан Абулхаир

Ах, Батима, будь время поспокойней,
Я по-другому стал бы говорить.
Но ропщет черный люд, грозят нам войны.
Три ханства я мечтал объединить,
А мне в своем вражды не погасить.
Так будь и ты тверда, меня достойна.

Батима-ханум

Молю тебя последнею мольбою:
Мой повелитель, брата пожалей.
Скажи, и я пожертвую собою,
Достоинством своим, красой своей
Перед тобою, пред твоей стопою
Тропу я подмету косой своей.

Хан Абулхаир

Твоя печаль понятна мне и свята,
Но говорю я: не пройдет и дня,
Должна ты байулинцам выдать брата!

Батима-ханум

Вот что ты уготовил для меня!
Ужель и память власть в тебе убила?
Пусть я нечистой в твой чертог ступила,
Но я — твоя любимая жена.
Тебе я сына-первенца вскормила.

Хан Абулхаир

Но забывать ты тоже не должна:
Любимых у владыки не бывает,
Они бывают у простых людей.
У нас бывают те, кто нам рождает
Наследников, не просто сыновей.
Жена моя, делить и ты повинна
Со мною бремя власти и труда.
Тебе, как с порванною пуповиной,
Проститься надо с прошлым навсегда,
Под грузом власти голову мы клоним,
И этот груз тяжел, таков закон:
Не мы с тобой сидим на ханском троне,
Мы только подпираем ханский трон.
Тех примирить я должен, кто враждует,
Спасти казахов от большого зла,
Упрямых байулинцев ублажу я,
Алимцы вдруг закусят удила.
А если выдашь брата своре злобной,
Поймут алимцы, сколь он виноват,
Избегнем крови мы междоусобной,
И будет мирно все!

(Уходит.)

Батима-ханум

Мой бедный брат!
Здесь, во дворце, где мужняя жена я,
Здесь, во дворце — в могиле, где одна я,
Светил твой свет, как дальняя свеча.
Ужели над тобой сейчас должна я
Исполнить злое дело палача?

(Входит Жанарыс.)

Жанарыс

Салам, моя сестра, моя звезда,
Сказали, до меня тебе нужда.
И прискакал я.

Батима-ханум

Да, тебя ждала я.

Жанарыс

Как без тебя пустынно в нашем крае.
Хотя я взрослым стал, но и сейчас
Жить без тебя не в силах и недели.

Батима-ханум

Да, слишком рано мы осиротели,
Отцу, конечно, было не до нас.
Мы с малых лет без матери остались,
Но в трудный час с тобой мы утешались
Тем, что друг с другом были всякий раз.

Жанарыс

Но что случилось, почему свой взгляд
Ты как-то прячешь от меня, печалясь?

Батима-ханум

Ты лучше не пытай меня, мой брат.
У каждого из нас довольно боли.

Жанарыс

Когда в моей бы это было воле,
Избавил бы тебя от всех обид.
Пусть шип тебе подошвы не уколет,
Пусть лучше сердце мне насквозь пронзит.
Но в чем твоя беда, скажи вначале?
Тревожной думы от меня не скрой.

Батима-ханум

Мой милый брат, беде моей едва ли
Поможем мы с тобой иль кто другой.
Твоя судьба — предмет моей печали!

Жанарыс

Прости меня, тебя я огорчил,
Но байулинец род наш очернил.
Сначала он унизил наших предков,
Сказал, что я от ханских ем объедков.
Мимо ушей я это пропустил.
Но вот когда тебя он оскорбил,
Я не сдержался, я погорячился,
Обидчика мечом своим пронзил.
Но мы за кровь богатством воздадим.

Батима-ханум

Абулхаир уладить дело тщился,
Но байулинский род неумолим.

Жанарыс

И что же хан?

Батима-ханум

Хан уступает им.

Жанарыс

Но, боже, как на это он решился?

Батима-ханум

Он говорит, чтоб был покой и мир,
Готов он и своею головою
Пожертвовать, не только что тобою.

Жанарыс

Я знал, что страшен хан Абулхаир.
Он совершает зло не без расчета:
Мол, равно всех карает он за грех.
На смерть меня отдаст, и прослывет он
Среди казахов справедливей всех.

Батима-ханум

Я волосы рвала, я заклинала,
Напоминала: ты мне всех родней.

Жанарыс

Зачем, сестра? Вся жизнь моя, пожалуй,
Не стоит и одной слезы твоей.

Батима-ханум

Указ владыки, с кем делю я ложе!
Будь проклят! Я хочу погибнуть тоже,
Когда мой брат на гибель обречен.

Жанарыс

Нельзя, сестра, хоть я немного пожил.
Я виноват, я преступил закон,
И пусть я буду в жертву принесен.
В тяжелый час для родины негоже
Вздувать раздоры родственных племен.
А так вражду я приглушу, быть может,
Спасаться негде, некуда бежать.
Что суждено, того не миновать.

Батима-ханум

Что говоришь ты, брат мой, погоди!
Я не пущу тебя!

Жанарыс

Не подходи!
Прощай, сестра, и знай, что я без страха
Умру от палача или в бою.
Не перед ханом, но перед аллахом
Склоняю ныне голову свою.

Батима-ханум

(Преграждая брату путь.)

Не выходи, там разъярен народ.
Он гневом ослеплен, он разорвет...

Жанарыс

(Отстраняя сестру.)

Прощай, сестра, мне нечего бояться,
Когда враги в наш отчий край стремятся,
Когда идут кровавые бои,
Пусть гибелью моею насладятся
Спесивые сородичи мои!

(Уходит.)

ИЗБРАНИЕ САРДАРА

Появляются султан Барак и султан Сауран.

Султан Барак

Ты вовремя, мой досточтимый брат,
К нам воротился из степи кровавой.
Все о твоей победе говорят,
Пришел ты следом за своею славой.
Позволь тебя поздравить от души.

Султан Сауран

Слова и поздравленья хороши,
Коль вправду от души, и я склоняю
Перед тобой главу, Барак-ага.

Султан Барак

Я, брат, тебе сочувствую, я знаю,
С чьим именем ты побеждал врага.
Ты не себе, Абулхаиру служишь.
Но ведь его не хуже ты, к тому же
Один из Жадиге тебя родил.
Мы помним все, хоть сам ты позабыл.

Султан Сауран

Я не забыл, прости меня покорно,
Что мы от одного с тобою корня,
Но о твоем сочувствии не знал.

Султан Барак

Всегда ты сторонился нас упорно,
Ты кровных уз вовек не признавал.
Не потому ль однажды столь сурово
Не в пользу Жадиге сказал ты слово.
Не будем, впрочем, поминать обид.
Сегодня перед испытаньем новым,
Быть может, кровь в тебе заговорит.

Султан Сауран

Ты о сардаре, о его избранье?

Султан Барак

Да, мы должны условиться заранее,
Кому всех жузов повод передать.

Какой, по твоему понятью, воин
В своей руке держать его достоин,
Кто возглавлять отныне должен рать?

Султан Сауран

У нас три жуза, ими правят люди,
Кому дать повод, пусть они и судят,
А мне его навряд ли кто вручит.

Султан Барак

Но разве должен стать главою в войске
Не тот, кто в битву вел его геройски?
И не тому ли власть принадлежит,
Кто первым от победы шел к победе?
Что скажешь ты: кому сардаром быть?

Султан Сауран

Султан Барак, не рано ли делить
Нам шкуру неубитого медведя?

Султан Барак

Когда словцо «медведь» на языке,
Так извини, но правду я отрежу:
Смотри, не оказалась бы медвежьей
Твоя услуга роду Усеке!

Султан Сауран

В толк не возьму, что хочешь ты сказать?

Султан Барак

Хочу сказать, что застлан путь туманом,
Не слишком ты усердствуй перед ханом,
Не то, глядишь, владыка — твой должник.
А в должниках ходить кому приятно?
Быть должником — удел не для владык.
Тем страшен долг, что ждут его обратно.

Султан Сауран

Султан Барак, умен ты и хитер.
Но вот беда: корыстью и расчетом
Настолько ослеплен твой мудрый взор,
Что велика ль цена твоим заботам?
Подумай ты о том, что так давно

Мечтали племена объединиться.
И вот — три жуза связаны в одно.
Зачем же снова на три нам делиться?

Султан Барак

Все это так, но разве то годится,
Что сын чужого рода взял узду?
А если станет он еще сардаром,
То мы и вовсе пропадем задаром,
Он всех нас оседлает на беду.
Что толку, если вздыбишься ты грозно?
Начнешь потом брыкаться — будет поздно.
Вот я о чем сегодня речь веду.

Султан Сауран

Намеренье мое тебе известно:
Пусть правит нами тот, кто может честно
Объединить казахов всех родов.
Такому хану послужить покорно,
По-моему, нисколько не зазорно.

Султан Барак

Ты думаешь, Абулхаир таков?

Султан Сауран

Владыка мудр и собственную славу
Не ставит выше всех иных основ.
Казахов он сплотит в одну державу...

Султан Барак

Мой брат почтенный, поразмысли здраво:
Кочуя, мы не строим городов,
Какая может быть у нас держава?
Удел казахов — вольно кочевать.
Ложбину увидать — жилье поставить.
А дунет ветер — вдаль идти опять.
Что ж ты предложишь кочевому люду?
К колу его насильно привязать!
Народ — река, поставь ему запруду,
Попробуй — вряд ли сможешь удержать.
Не жди того, чему не быть на деле.
Пока ты судишь о туманной цели,
Кой-кто большой кусок схватил давно...

Султан Сауран

Мой брат любезный, то-то и оно,
Кто не умеет с шелком обращаться,
Тому бы вовсе за него не браться.
Испачкает, растреплет все равно.
Ты не один до жирного охочий,
Такие тянутся со всех сторон.
И если грабит враг аул ваш отчий,
Грабь вместе с ним — вот это ваш закон!

Султан Барак

О чем ты? Эка невидаль — грабеж!
Пограбил недруг, крови насосался
И прочь к себе ушел, а ты остался.
Глядишь вокруг и видишь — просчитался.
И бороду свою с досады рвешь.
Абулхаир твой слишком мягко стелет,
Да жестко спать.

Султан Сауран

Ты не достигнешь цели,
Как ни старайся, клина не вобьешь
В то место, где не существует щели.

Султан Барак

Ты выбил трон из-под меня.

Султан Сауран

Ужели?

Султан Барак

В Абулхаирову поверил ложь.
Все, чем владел, ты отдал не жалея.
Все потерял, а что теперь найдешь?
Ты отдал ту, что всех была милее.
Теперь и душу хану отдаешь.

(Уходит.)

Султан Сауран *(один)*

Султан Барак, коварства в нем довольно,
Обмолвился — и вот мне снова больно.
В живую рану вновь всадил мне нож.

А впрочем, от себя куда уйдешь?
Во имя благородного деянья
Не жаль ни чести, ни добра, ни званья.
Не жаль всего, что дорого, но все ж...
Казалось, что простился я с любовью.
Бопай увижу и не двину бровью,
Хоть режь ножом, хоть жги огнем меня.
А ныне где моя былая сила?
Вновь возвращается все то, что было,
Я вспоминаю, не проходит дня...

(Появляются Абулхаир и Батима-ханум.)

Хан Абулхаир

Ты возвратился, брат мой Сауран?

(Обнимают друг друга.)

Султан Сауран

Я кланяюсь тебе, владыка-хан!

Хан Абулхаир

Ты звал меня «Абулхаир-ага».
Зачем же изменил привычке старой?
Я — друг тебе.

Султан Сауран

Но говорят недаром:
Чти друга, чтобы испугать врага.
Почтенью к хану все должны учиться.

Батима-ханум *(обращаясь к хану)*

Позволь и мне, любезный мой супруг,
В почтении султану поклониться
От всей души.

(Обращаясь к Саурану.)

Тобой народ гордится,
Зовут тебя батыром все вокруг.
И мне тебя, быть может, не годится
Звать «мой султан», но пусть сойдет мне с рук,
Что говорю с тобою столь свободно.

Султан Сауран

Вольна жена владыки как угодно
Именовать своих ничтожных слуг.

Батима-ханум

Пусть будет ныне все, как раньше было.

Султан Сауран *(про себя)*

Зачем она сказала «мой султан»?
Зачем опять коснулась старых ран?

Батима-ханум

За радостную весть я подарила
По шубе и коню твоим гонцам.
Твоя победа всех нас ободрила,
О ней подробнее поведай нам.

Хан Абулхаир

Кто в бранном деле принял сам участье,
Тот многое нам может рассказать.

Султан Сауран

Я был наслышан о людском нечастье,
Но то, что видел, трудно передать.
Покуда вражьей рати путь победный
Не пресекли, я видел сущий ад:
Изгнанники брели толпой несметной,
Шли старики, потупя долу взгляд,
И песню «Элим-ай» печально пели,
И шалые верблюдицы ревели,
Не находя отставших верблюжат.
Уж до чего я сердцем закаленный,
Но и меня пронзали плач и стоны,
Умноженные эхом во сто крат.

Хан Абулхаир

Нам ведомо все это. Стон печальный
Дошел сюда с границы нашей дальней
И наш слезами затуманил взгляд!

(Появляется Букенбай.)

Султан Сауран

Мой повелитель, это — Букенбай,
Джигит отважный из семьи Керея.
В кровавой битве жизни не жалея,
Мечом он защищал родимый край!

Хан Абулхаир

Салам-алейкум, храбрый мой воитель!

Букенбай

Алейкум-ас-салам, мой повелитель,
Столь тяжких испытаний и невзгод
Не знал еще покуда наш народ.
Столь грозен не был враг наш и гонитель.
От века горя не было такого,
Как испытанье этих черных дней.

Хан Абулхаир

Врачуют горе племени родного
Мечи его достойных сыновей!

Султан Сауран

Свела судьба на поле брани нас,
Был Букенбай, как острый меч, отважен,
Меня в бою от гибели он спас.

Букенбай

Но, мой султан, и сам ты был бесстрашен,
Ты в битве отвратил мой смертный час!

Хан Абулхаир

Мои джигиты, я доволен вами,
И в назиданье воинам другим
Оружьем обменяйтесь боевым,
Чтоб стать навечно верными друзьями!

Букенбай, Султан Сауран

Как повелел нам, так тому и быть!

(Обмениваются мечами.)

Хан Абулхаир

Пойдемте, люди ждут, и мы повинны
С гостями быть податливей перины,

Чтоб воедино всех соединить.
Пусть чувствуют себя они свободно.
Победа наша над врагом бесплодна,
Коль мы друзей не сможем примирить.

(Уходят. Появляются Каюп-хан и бий Туле.)

Каюп-хан

По старшинству я должен стать сардаром.
Средь нас ты мудрецом слывешь недаром.
И я взываю к мудрости твоей.
Поддержит пусть меня твое согласье.

Бий Туле

Но надо выслушать других людей,
Судей разумных отыскать трудней,
Чем тех, кто вечно спорит из-за власти.
Нам кто-то может нанести удар.
Три жуза есть, пять ханов, а сардар
Всего один, вот и бушуют страсти.

Каюп-хан

Пусть ханов пять, я — старший из пяти,
И если предпочтут они другого,
Раскаются, сверну я с их пути.
Но вот беда — я не мастак на слово.
Тебе ж аллах проворный дал язык.
Не бойся, можешь говорить лукаво.
Не зря ж ты, от меня сидящий справа,
В ораторском искусстве столь велик.

Бий Туле

По руку правую Аз-Тауке
Не так давно я сиживал, бывало...

Каюп-хан

Ты потрудись во что бы то ни стало,
И власть в моей окажется руке...
Мудрец из жуза Среднего — Казбек
Не прибыл родичам своим на горе,
А без него найдется ль человек,
Чтоб победить тебя в словесном споре.

(Уходят. Появляются хан Семеке и бий Мыртык.)

Бий Мыртык

Коль о сардаре говорить по чести,
Чем вы, достойней нету никого.
Каюп, Абулхаир — да оба вместе
Не стоят вас они и одного.
Жуз Старший — мал, свой вес былой утратил,
К тому ж всегда он с Младшим на ножах.
Что Средний жуз возглавить должен рати,
Не станет спорить даже сам аллах.

Хан Семеке *(не слушая)*

Сюда не прибыл бий Казбек. Как знать,
Что это значит? Разгадай попробуй.
Иль он себя не хочет унижать,
Как все другие, распрею и злобой?
Коль нету сокола — и сыч сойдет,
А нету бегуна, сойдет калека.

(Обращаясь к Мыртыку.)

Казбека нет, тебя пущу в полет.
Но ты, Мыртык, достоин будь Казбека.

Бий Мыртык

«Казбек, Казбек»,— заладили вы, право.
Уменьем слово говорить лукаво
Создатель и меня не обделил.
Я понапрасну не хочу хвалиться,
Деяньями не стану я гордиться.
А вот язык меня не подводил.
Казбек не прибыл, велико ли горе!
Я захочу — такое отколю,
Три жуза друг на друга натравлю,
И все на двести лет погрязнут в споре.

Хан Семеке

Ты слушай речи, уши навострив,
И если кто-нибудь из говорящих
Собьется, что-то не договорив,
Вставь слово, чтоб рассорить всех сидящих.

Кинь незаметно хворосту в костер,
Немного надо им, к вражде готовым.
А после я вступлю, прерву их спор
И всех ошеломлю спокойным словом.
И вновь ты их поддень, начнется драка,
Перегрызутся все между собой.
Но не переусердствуй сам, однако,
Не то все обернется нам бедой.

Ханские покои. Хан Абулхаир, Батима-ханум, Барак, Сауран встречают гостей. В окружении свиты появляются Каюп-хан, бий Туле, хан Семеке, бий Мыртык.

Батима-ханум

Почтение вам всем, владыки мира,
Потомкам славного Чингиз-батыра.
На полдороге каждого из вас
Нам встретить надлежало бы всем вместе,
Но время столь тревожное сейчас,
Что не могли мы вам воздать по чести.

Бий Туле

Не до обычаев теперь, когда,
Как туча, надвигается беда.
Да ниспошлет аллах нам всем прощенье.

Батима-ханум

Кому должна я оказать почтенье?
Садитесь вы сюда, Туле-ата.

(Указывает на почетное место.)

Надеюсь, что не очень провинилась,
Не к знатности я проявила милость,
А к седине...

(Бий Туле проходит и садится на почетное место.)

Султан Барак *(негромко)*

Ханум не так проста.
Весьма хитро она распорядилась.

Султан Сауран

Ах, Батима-ханум, моя сестра,
Как хорошо и умно ты сказала.

Султан Барак

Да, благо, если женщина мудра,
Абулхаиру повезло немало.

Батима-ханум

Хочу, достопочтенные друзья,
Когда нам петлю враг стянул на горле,
Чтоб вы — казахских жузов сыновья,
Объятия друг другу распростерли.
Итак, теперь начните, в добрый час,
Пусть завершит почтенное собранье
Воителя достойного избранье
С согласья всех и каждого из вас.

(Преклонив колено, учтиво поклонившись, Батима-ханум выходит. Ханы и бии усаживаются поудобней, выжидают, кто заговорит первым. Возникает неловкая пауза.)

Бий Туле

Хозяину да будет пусть угодно
Начать, законам всем не вопреки.
Потом и мы почешем языки
В порядке старшинства поочередно.

Хан Абулхаир

Настала ныне тяжкая пора,
Раздоры наши этому причина.
Был между нами мир еще вчера,
И спаяны мы были воедино.
Пока, казахи, жили мы в ладу,
На нас враги с опаскою глядели,
А ныне расхрабрились, осмелели,
Увидев нашу распрю и вражду.
Сегодня нет того, что раньше было,
Нарушен мир в степях родной земли.
Одолевают нас враги не силой,
Мы сами им раздором помогли.
Забудем же, кто мал, а кто велик,

И вспомним, что одна у нас надежда,
У нас пусть будет общим воротник,
Коль скоро общая у нас одежда.
Кто виноват, не будем мы судить,
И ныне, в час, когда бушуют войны,
Трех жузов рати надо подчинить
Кому-то одному, кто всех достойней.
Мы все решить попробуем сейчас.

Хан Семеке

Сейчас принять разумное решенье
Враг и опасность заставляют нас.
Ты, Каюп-хан, скажи свое сужденье.

Каюп-хан

Сардаром быть кому-то одному,
Рассудим же по сердцу и уму.

Хан Семеке

Ты, Каюп-хан, достойней всех, быть может,
Но пусть получит звание «сардар»,
Кто принял первым вражеский удар.
А принял я, хоть я тебя моложе.
Я против истины не погрешу:
Всем станет ясно, коль рассудят здраво,
Я начал битву, я и завершу.
И кто из вас мое оспорит право?
Совет наш будет прав, когда решит:
Кто принял бой, пусть тот и завершит.

Султан Сауран

Единокровные, чтоб спор напрасный
Нам не вести, напомнить я решусь:
Что у казахов, в их семье согласной,
Есть младший брат, и это — Младший жуз.
А если так, их славный представитель
Пусть будет ныне главный наш воитель.
И чтоб меж нами был покой и мир,
Тот, я считаю, должен быть сардаром,
Кто войском наделен и ратным даром.
Сказать короче — хан Абулхаир.

Бий Мыртык

Что так ты скажешь, не было сомненья.
Я знал: не примем вместе мы решенье,
Тем самым возродив былой союз.
Предвидел я: захочет непременно
Подмять всех прочих под свое колено
Махающий дубиной Младший жуз.

Бий Туле

Эй, коротыш, всегда с тобою горе,
Словно верблюд чесоточный, ты рад
Чесать бока о каждый кол в заборе.
Здесь люди о единстве говорят,
А ты встреваешь, чтобы всех рассорить.

Бий Мыртык

Не дело, бий Туле, ты говоришь.
Ты, может быть, всех старше, но не выше.
Зачем меня назвал ты «коротыш»?
Что делать, если ростом я не вышел?
Зато мне бог проворный дал язык,
Витийское искусство — дар немалый.
И ты, почтенный бий, как ни велик,
Не переговоришь меня, пожалуй.

Бий Туле

Тягаться с горлодером — труд тяжел.
И в самом деле, зря слова я трачу.
Хан Семеке — виновник наших зол,
Сокрыл он бий-Казбека и привел
На скачку к нам не скакуна, а клячу.

Бий Мыртык *(хану Семеке)*

Как терпишь ты, властитель благородный,
То, что болтает старец низкородный,
Который памятью к тому же плох?

Хан Семеке *(гневно)*

Заткни свой рот, несчастный пустобрех.

Хан Абулхаир

В словесном споре, братья, вы свободны.
Здесь можем говорить мы что угодно,
Но все должны единство мы явить.
Все прочее ничтожно и бесплодно.
Я за единство сам готов платить.
Не в том, чтоб властвовать, моя забота,
И во главе всех ратей боевых
Вы не меня поставьте, а кого-то,
Достойнее меня и остальных.

Султан Сауран *(растерянно)*

Зачем он прочь уводит разговор,
Иль власть для хана ничего не значит?

Султан Барак

Не горячись, Абулхаир хитер,
Видать, замыслил что-то, не иначе.

Каюп-хан

Ты мудр, Абулхаир, я и не ждал
От мудреца решения иного.
Немудрым, нам пример ты показал.
Хан Семеке, свое промолви слово.

Хан Семеке

Ну что ж, скажу, коль снова мой черед.
Скажу, что ныне, в пору лихолетья,
Проклятый враг, джунгарец и ойрот,
Меня вперед, чем вас, ударил плетью.
Я знаю, всякий пострадавший мстит.
Казахи, все мы пострадали очень,
Но все-таки ущерба и обид
Стерпел я более всех братьев прочих.
Мне больше всех случилось пострадать.
Мой край обильней прочих принял горе.
Кто может право у меня оспорить
Возглавить жузов доблестную рать?

Каюп-хан

Я в споре обскачу тебя едва ли,
Хан Семеке. Не отыскать мне слов,
Но не мои ль владения стонали

И стонут под копытами врагов?
Хоть я, быть может, не искусен в речи,
Я первым бился, сколько было сил,
И хоть с земель исконных отступил,
Но Алатау я себе на плечи,
На спину — Каратау взгромоздил.
Хан Семеке, язык твой острый волен
Что хочет говорить, я все стерплю,
Но я себя унизить не позволю
И прав своих не уступлю.

Султан Барак *(Саурану)*

Хитер Абулхаир, что говорить:
Взирает он без страха и без злости —
Грызутся шавки из-за сладкой кости.
Он знает: кости им не поделить.
Ее чуть помусолят, чуть погложат
И сами же к его ногам положат.
Но в спор сейчас ты встрянешь, может быть,
Кость в сторону мою подвинешь, словно
Нечаянно, и кончена игра...

Султан Сауран

Кость не твоя, мой брат единокровный.

Султан Барак

Я знаю: ты не хочешь мне добра.

Бий Туле

Постойте, братья, спорить так негоже.
Пустые споры порождают гнев,
И мы принять решения не сможем,
Смягчить ожесточенья не сумев.
Кому сардаром быть, нам неизвестно,
Но всем известно, сколь почет высок.
Всем оглядеться нам теперь уместно,
Ведь даже степь Сары-Арки нам тесной
Покажется, коль тесен нам сапог.
Вы спор затеяли между родами,
И наш народ могучий стал убог.
И снова занесен топор над нами.

Подумайте: сейчас годится ль вам
Из-за овечки спор вести с друзьями,
Чтоб стадо целиком отдать врагам?
Или аллах нас проклял без вины,
Казахам всем сказав, что даже малость
Мы уступать друг другу не должны,
Чтоб все позднее чужаку досталось?
Из вас, кто разобщил один народ
На три друг с другом не согласных жуза,
Ужель никто дороги не найдет
Для общего согласья и союза?
Я, бий Туле, согбенный и седой,
Забыв о гордости своей былой,
Жалея соплеменников несчастных,
Как иноходец спутанный, с мольбой
Гляжу на вас — трех ханов несогласных.
Доверьтесь вы сужденью моему,
Чтоб не был вновь наш разговор напрасен.

Хан Абулхаир

Не твоему — какому же уму
Довериться?

Хан Семеке

Я наперед согласен!

Бий Мыртык

Но побожись, старик, что никому
Ты из корысти угождать не будешь.
Что все, как есть, по совести рассудишь.

Каюп-хан *(бию Туле)*

И я с твоим решеньем соглашусь.
Но ты не отвернись от предков наших.

Бий Туле

От духа предков я не отрекусь,
Хоть более сейчас о тех пекусь,
Кто ныне горе пьет из полной чаши,
Кто жив и кто испытывает боль.
Но волосок рассечь непросто вдоль,
А мне сегодня надо умудриться.
Я рассуждаю как бы сам с собой:

Одежда не своя быстрей грязнится,
Скакун чужой — не жаль, пусть в гору мчится,
Чужое войско легче бросить в бой.
Не расторгая вашего союза,
Я говорю: тот жуз, чья больше рать,
Сардара должен выбрать и назвать.
А больше рать у Младшего из жузов.

Султан Барак

Почтенный бий, ты истину глаголишь.
Мы — Младший жуз, ты выбор нам даешь.
И коль избрать сардара в нашей воле,
Достойней Саурана не найдешь.
Себя он показал на бранном поле.

Султан Сауран

Мой брат Барак, трех жузов сыновья
С тобой нам дали в руки общий повод.
Какой же снова для раздора повод?
Поверь, сардаром должен быть не я.
Здесь нужен тот, который трезво судит,
Не только скачет сквозь огонь и дым.
Пусть хан Абулхаир сардаром будет.
Я всех прошу: на том и порешим.

Бий Туле

И сам я так же думаю давно.
Достойный вождь — победы половина.

Голоса

Да будет так!
Согласны!
Решено!

Бий Туле

Итак, мы порешили все едино.
Пусть будет общим воротник у нас.
И пусть решенье наше будет свято.
Не скажет пусть никто на этот раз,
Кому-то, мол, досталось многовато.
Достойнее сардара не найдешь.
Теперь у нас великая забота:
Прогнать джунгарца, наказать ойрота

За поруганье наше, за грабеж.
Я думал, мне увидеть не дано
Едиными казахов, как бывало.
Я верю: день сегодняшний — начало
Того, что будет после скреплено
Победою во что бы то ни стало.
Аминь!

(Все расходятся. Остаются хан Абулхаир, Батима-ханум, султан Сауран.)

Хан Абулхаир

Ты мне так много сделал, Сауран,
Свой долг смогу ли оплатить когда-то?

Султан Сауран

С тобой нас дружба связывает, хан.
Скажи: уместна ли за дружбу плата?
Но если всех казахских жузов люд
Сплотить удастся под твоим началом,
Мне это будет за посильный труд
Наградою и платою немалой.
И, кажется, все к этому идет.

Хан Абулхаир

Мы не дошли пока до перевала
И впереди нас испытанье ждет.

Султан Сауран

Тебя ль ойрота сила испугала?

Хан Абулхаир

О том нет спору — страшный враг ойрот.
Но средь казахов есть страшней, пожалуй,
И я с печалью думаю о том!
Но возвратимся к нынешним заботам:
Ты с малой ратью подступай к ойротам,
Но не вступай в сражение с врагом,
Покуда из аулов отдаленных
Всех наших пеших воинов и конных
Не соберем и в дело не введем.

Султан Сауран

Все будет так, владыка, не иначе,
Чем ты сказал: задача не нова.

Хан Абулхаир

Пускай тебе сопутствует удача.

Султан Сауран

Да сбудутся, мой хан, твои слова.

(Прощаясь, обнимаются.)

Хан Абулхаир

Ты проводи султана, Батима,
И дай ему напутствие как другу.

(Уходит.)

Батима-ханум

Султан мой, больше месяца сама
Тебе в подарок я вяжу кольчугу.
Лишь ночь — и кончена моя работа.
Отдам подарок — можешь надевать.

Султан Сауран

Приятна мне, ханум, твоя забота,
Но для чего же по ночам не спать?
И что она — кольчуга на плечах:
Меч бережет нас в битвах и аллах.

Батима-ханум

Ни юрта в юрте, ни кошма, ни печка
Нам не мешают снежною зимой,
А в той кольчуге каждое колечко
Вязала я с молитвой и мольбой.

Султан Сауран

Стать за тебя мне жертвой, Батима,
И в жизни ничего не надо боле.

Батима-ханум

Зачем же так, султан, когда сама
Я стала жертвой по твоей же воле.
Но не жалей, не кайся, сделай милость,
Я со своей судьбой давно смирилась.

Султан Сауран

Но цель у нас с тобой была одна
И, Батима-ханум, мы ей служили.

Батима-ханум

Я зваться Батимой-ханум должна.
А где ж Бопай? Не умерла она:
Душили мы ее — не задушили.

Султан Сауран

То мы должны забыть, чего уж нет,
От прошлого нам надо отступиться.

Батима-ханум

Как прошлое забыть? Подай совет,
И буду я весь век тебе молиться.

Султан Сауран

Как ни умен Абулхаир — не смог
Любви строптивой женщины добиться.

Батима-ханум

Не понял ты, султан, за долгий срок:
Он не любви искал — искал корону.
Меня не взял он в жены, а привлек,
Став родичем алимцев по закону,
И брата моего на смерть обрек,
Чем байулинцев приторочил к трону.
И на каком базаре — знает бог —
Продаст меня властитель в должный срок.
Была я, есть и буду обреченной,
Я, с виду беспечальная ханум.
Лишь от себя не скрыть да от аллаха,
Как страсть сжигает душу мне и ум
И ноет сердце от любви и страха.

Султан Сауран

Мы, Батима, на двух горах сейчас,
Меж нами пропасть, и не надо руки
Протягивать: не то один из нас
Умрет, другого обречет на муки.

Батима-ханум

Была я дважды смерти предана:
Твоим расчетом, видом братской крови,
Пусть я — ханум, пусть мужняя жена,
Я над своею страстью не вольна,
Ничто меня теперь не остановит.

Султан Сауран

Но, Батима, так вечно быть не может.
Сама попробуй, силу попытай.
Пусть Батима-ханум тебе поможет
Осилить ту, давнишнюю, Бопай.

Батима-ханум

Мне и самой подсказывает ум:
«Убей в себе Бопай!» — да силы мало.
В борьбе Бопай и Батимы-ханум
Бопай всегда покуда побеждала.
Мне жаль Бопай. Что с нею будет впредь?
Сегодня не могу предугадать я.
Она сама согласна умереть
С одним условием — в твоих объятьях.

(Обнимает Саурана.)

Султан Сауран

Постой, ханум, себя не отдавай
Во власть страстей и слабости извечной.
Я помню, милая моя Бопай,
Хоть жги ее, хоть ребра вырезай,
Терпеть умела, будучи беспечной.
Так не позорь же ты себя сама.
Здесь нет Бопай, ее любви ненужной,
Есть ныне только ханша Батима,
Которой и служу я, раб послушный.

(Подает упавшую на землю саукелке. Батима-ханум оправляет одежды, уходит.)

Султан Сауран

Казалось мне: одну Бопай я знаю,
И та уже давно погребена,
Теперь их две, одна Бопай былая
И Батима-ханум — Бопай другая,
Прекрасная, как полная луна.
Одна мне пламя в сердце разжигает,
Другая это пламя раздувает,
И в адском пекле я не знаю сна.
Пусть лучше в честной битве пика злая
Прервет мои мученья: смерть одна!

● ЧАСТЬ ВТОРАЯ

АНГРАКАЙ

Последняя битва с ойротами. Известное в истории сражение Ангракай. Мелькают вдали всадники. В схватке сходятся воины. Трещат копья.

Хан Абулхаир поднимается на холм. Каюп-хан, султан Барак, Сейткул окружают Абулхаира. Все наблюдают за побоищем.

Каюп-хан

Враги бегут. Победа! Аруах!
Отмщенье бог нам даровал, глядите!..

(Появляются султан Сауран и Букенбай).

Султан Сауран

Враг обратился в бегство, повелитель,
Молитвам нашим многим внял аллах.

Букенбай

Оружием изрядно поработав,
Помчались наши воины вперед.

Хан Абулхаир

Велик аллах! Разбили мы ойротов,
Все стоны, что исторгнул наш народ,
Услышал бог и сжалился над нами.
Ты, Букенбай,— хребет мой становой.
Ты, Сауран,— мой брат, помощник мой.

О, если перед прошлыми боями
Вы бы стояли за моей спиной,
Судьба сражений тех была б иной
И нашей кровью, нашими слезами,
Быть может, не был залит край родной.

Букенбай

Позволь тебя добычею богатой
Мне одарить, властитель. На, держи!

(Подает знак. Сарбазы приводят пленного Хунтайджи.)

К ногам бросаю! Вот он враг заклятый.

Султан Сауран

Охотился и я за Хунтайджи,
Да ты, видать, храбрее и шустрее.

Букенбай

У нас одна судьба и общий путь,
Добычу лишь своей считать не смею.

Султан Сауран

Тебе я не завидую отнюдь,
Лишь восхищаюсь удалью твоею.

Хунтайджи

Прошу пощады, хан и повелитель,
Великодушен будь, мой победитель,
К законам ратным не останься глух.
Таков обычай воинов исконный.

Хан Абулхаир

Скажи, а по каким таким законам
Ты убивал младенцев и старух?
Хотел искоренить казахский дух
И превратить в пустырь наш край сожженный?

Хунтайджи

Меня унизить можешь и убить,
Великодушным быть ты не обязан,
И все ж вино победы надо лить

Не через край: оно туманит разум.
Тебе же надобно глаза открыть
И уяснить: врагами могут быть
И те, кого сейчас друзьями числишь.
В грядущий день попробуй устремить
Свой мутный взгляд.

Хан Абулхаир

Я, о грядущем мысля,
Сейчас тебя не должен пощадить.

Хунтайджи

Кто знает, где враги и где родня
И где в своей беде искать виновных.
Быть может, враг опаснее меня
Стоит в кругу твоих единокровных.
Абулхаир, грядущее — темно,
О нем не думать мудрецу негоже,
У всех царей угодников полно,
Но и завистников хватает тоже.
У всех у нас порою ум короткий.
Ты не меня — себя побереги.
Коль бывшие друзья возьмут за глотку,
Понадобятся бывшие враги.

Хан Абулхаир

Как ни вертись, держать ответ придется.
А я свой путь не ведаю, но все ж,
Когда и подо мною трон качнется,
Копьем врага его не подопрешь.

Каюп-хан

Абулхаир, есть у меня причина
Просить тебя: подарком ублажи —
Добыча общая, коль рать едина,
Будь щедрым, уступи мне Хунтайджи.

Хан Семеке

Опять Каюп меня опередил.
Наш Средний жуз разбойника пленил,
Добыча эта нашей быть повинна

Хан Абулхаир

Почтенные, я здраво рассудил:
За Хунтайджи нам выкуп, и немалый,
Дадут, но в назидание другим
На выкуп не польстимся мы, пожалуй,
И по грехам убийце воздадим.

(Дает знак. Хунтайджи уводят.)

Султан Сауран

Мой хан, мы все чего-нибудь хотим
И досаждаем жалкими мольбами.
Прошу и я: как ты жесток с врагами,
Будь доброскловным к подданным своим.

Хан Абулхаир

Что хочешь?

Султан Сауран

Подневольный Сырлыбая,
Хоть к званью низкому принадлежит,
Сражался, словно истинный джигит,
И вот к твоим стопам он припадает.

(Вперед выходит Нартай и падает в ноги Абулхаиру.)

Хан Абулхаир

С чем припадаешь ты к моим ногам?

Нартай

Молю тебя о милости великой.
Я — раб, освободи меня, владыка,
И за тебя я жизнь свою отдам,
С врагом сражаясь, как джигит свободный.

Хан Абулхаир

Считай, что мой ответ, тебе угодный,
Ты получил, свободен ты навек,
Ступай себе, достойный воин, с миром
И не Нартай-рабом, Нартай-батыром
Зовись теперь.

Нартай

Каким бы ни был сирым,
Благодарит свободный человек
Тебя, мой хан.

(Нартай уходит.)

Хан Абулхаир

Теперь, друзья-казахи,
Опять воспрянет духом наш народ,

Так позабудем горести и страхи,
Утрем слезу, нас пир веселый ждет.

(Начинается пир. Издалека доносится постепенно нарастающий голос певца, извещающего о начале пира.)

Султан Барак *(Каюп-хану)*

Вознесся хан, занявши наш престол,
Хотя его не хуже мы нимало.
На просьбы наши ухом не повел.

Каюп-хан

Теперь он не такой, как был сначала.
Переменился, в небо воспарив
На крыльях власти, славы и удачи.
Он слишком стал заносчив и спесив.

Султан Барак

Боюсь, от этой спеси мы заплачем.
Ту петлю, что на горле Хунтайджи
Затянется пред всем народом ныне,
Хан с недруга удавленного снимет,
А что потом? Попробуй, удержи,
Глядишь — ее на шею нам накинет.

Каюп-хан

То, что сейчас сказал султан Барак,
Опасно, хоть и неопределенно.

Хан Семеке

Но точно, что властитель как-никак
Трон Жадиге присвоил незаконно.
Вчера и думать ни о чем не смел,
Страшась друзей и недругов пугаясь,
На троне жуза Младшего сидел,
От страха ерзая и озираясь.
А ныне он набрал довольно сил,
Победы кровью нашею добился.
И вот себя великим возомнил,
И жадный блеск во взоре появился,
И на чужой удел он косит глаз,
Кто ведает, как дело обернется.

Султан Барак

И головам не нашим ли сейчас
Очередною жертвой стать придется?

Каюп-хан

Нам ли не знать обычаев царей,
Покуда сами жертвами не стали
Не лучше ли уйти нам поскорей
В свои уделы от беды подале.

РАСКОЛ

Хан Абулхаир

Окончен пир, все пили мы и ели,
Глядишь, и досидели до сих пор.
Поговорили мы и пошумели,
На том и кончился наш уговор.
О, если бы в согласье жить умели! —
А то, казахи, мы такой народ,
Что сообща на смерть — не на живот
С врагами бьемся, а достигнем цели —
И все опять и вкривь и вкось идет,
В согласье жить не можем и недели.
На счастье наше, больно прост ойрот,
По простоте своей он не поймет,
Что меж собою нас стравить недолго,
Перегрызем друг друга, а потом
В крови, как издыхающие волки,
К ногам врага и сами приползем.

(Входит султан Сауран.)

Султан Сауран

Абулхаир, мой хан, моя опора,
Двух гневных ханов встретил я в дверях.
Ох, не к добру они ушли так скоро
И в их глазах светился гнев и страх.

Хан Абулхаир

А у кого веселие в глазах
Сейчас, в преддверье нового раздора?

Ты сам вспугнул их, был непримирим.
Теперь уйдут они, и жди несчастья.
Ты слишком тверд, не должно быть таким,
Когда мы все толкуем о согласье.

Султан Сауран

Но разве бегство их согласью служит?
Хан Семеке уйдет, и был таков,
Каюп уйдет, и снаряжай послов,
Коварных змей выманивай наружу
Из нор глухих посредством здравых слов.

Хан Абулхаир

Я сам стою сейчас на перепутье,
Я мысленно и вдоль и поперек
Обшарил все, но не дошел до сути
И выхода пока найти не смог.
Все в болтовне погрязли да в обиде
И каждый в сторону свою гребет.

Султан Сауран

Когда и ты не зришь пути, провидец,
Что можем мы или простой народ?
Известно, мы, казахи, краснобаи,
Но счастья не бывает от словес.
Не то земля была б не хуже рая
И мед стекал бы прямо в рот с небес.
И мы с тобою много говорим,
Мы упускаем час, даем отсрочку,
А жузы, как рассохшуюся бочку,
Должны стянуть мы обручем стальным.

Хан Абулхаир

Нет, Сауран, сейчас тому не быть,
Казахской крови вновь рекой не литься.

Султан Сауран

Но если надо всех объединить,
Нам этого иначе не добиться.
Как клячи от бескормицы весной,
Каюп и Семеке сейчас бессильны.
Разбить их хватит битвы и одной,

Хоть крови литься, но не столь обильной,
И снова ты казахам всем глава.

(Тем временем появляется Батима-ханум. Она слышит последние слова султана Саурана.)

Батима-ханум

Султан, какие страшные слова
Ты говоришь! Ужель настало время,
Чужую кровь с мечей стерев едва,
Громить и истреблять родное племя,
Тех братьев, с кем скакали стремя в стремя,
На общего врага еще вчера?

Султан Сауран

Ты, Батима-ханум, хоть и мудра,
Тебе таким речам внимать негоже.
От слов, что произносим мы сейчас,
И у бывалых воинов, у нас
Под волосами вздрагивает кожа.
Но к делу, повелитель! Ты не прав:
У власти на земле свои законы.
И много силой собрано держав.
А из чего? Из толп разноплеменных?
Тому примеры можно взять везде,
Объединяет земли тот, кто в силе.
Возьми урусов: Золотой орде
Они еще недавно дань платили,
А ныне вот на полземли царят,
Боятся все их крепостей и башен.
Иль в даль столетий устреми свой взгляд,
Шуршутов вспомни, турков, кизилбашей.
Власть не отдаст никто по доброй воле,
Должны мы силу силою сломить.
Все остальное лишь слова, не боле,
Чтоб трусость иль бессилие прикрыть.
Пока мечу и огню не предашь
Все, что колеблет наше единенье,
Вовек державы сильной не создашь.

Батима-ханум

Как страшны, мой султан, твои реченья!

Султан Сауран

Ханум, мои реченья не для всех —
Для тех, кто понимает в ратном деле.
Абулхаир, возьми на душу грех
И кровь пролей во имя нашей цели.
Что делать, повелитель, на веку
Нам выдалось нести хомут свой черный,
Подай мне знак, и ханов непокорных,
Как связанных овец, приволоку.
Скажи мне слово и благослови,
В любую битву ринусь я без страха,
И с чистою душою, хоть в крови,
Предстанем мы перед судом аллаха.

Хан Абулхаир

Нет, Сауран, окончилась война.
И пусть мое суждение обманно,
Но кровь казахов литься не должна.

Султан Сауран

Для власти сила только и нужна.
А сила что? Она не постоянна:
Сегодня есть, а завтра где она?
Всего лишь день, а то и час упустишь,
Глядишь: и у врага скопилась рать,
Спохватишься, да локоть не укусишь.

Хан Абулхаир

И все ж нельзя нам братьев убивать.

Султан Сауран

И вновь тебе твержу я, раб твой верный,
Коль цель светла, то и преграды нет.
А если мы избыть не можем скверны,
Боимся крови и боимся черни,
Тогда зачем давали мы обет?

Хан Абулхаир

Я не боюсь ни крови, ни проклятья,
Но все равно, по моему понятью,
Народ мы не удержим в кулаке.
Сегодня сила есть, ее немало,
А завтра что? Начнется все сначала.

Султан Сауран

Но если будет власть в твоей руке,
Едиными, во что бы то ни стало,
Мы будем, как во дни Аз-Тауке.

Хан Абулхаир

Аз-Тауке держал, покуда жил,
В руке весь край, родов, племен немало.
И все ж он сам начало положил
Тому, что Бедствием великим стало.
Держава, что должна стоять вовеки,
Вся расползлась, едва смежил он веки.

Султан Сауран

Но разве мы с тобой не поклялись
Вернуть былую славу? Что же ныне...

Хан Абулхаир

Ты видишь, что творится, оглядись,
Все наши клятвы, словно крик в пустыне.

Султан Сауран

Ты стал бояться крови и огня,
Спокойно хочешь досидеть на троне.

Хан Абулхаир

Не трусость — опыт умудрил меня.
Увидел я: народ — не скот в загоне.
Сейчас его мы сгоним в косяки,
А завтра что? Он растечется снова.
У нас с тобою руки коротки.

Султан Сауран

Но я не вижу выхода иного.
И если ты, властитель, столь убог,
Что всех нас обрекаешь на бесчестье,
Достойнее тебя сидеть бы мог
Потомок Жадиге на ханском месте.

Батима-ханум

Ты, мой султан, пожалуй, слишком смело
Свою к владыке обращаешь речь.

Султан Сауран

Спокойствие мое не без предела.
Час настает поднять нам грозный меч.
И пусть меня не держат за рукав.
Покажет время: прав я иль не прав.

Хан Абулхаир

Твой путь не к единенью, а к несчастью.
И так довольно крови и обид.
На это не могу я дать согласье.

Батима-ханум

Ужель тебя, мой деверь, не страшит
Тяжелый грех, что хочешь взять на душу?
Подумай о расплате в судный час.

Султан Сауран

Со мной что ни случится, я не струшу,
А час мой судный бил и бьет сейчас.
Мой судный час ужасен был и страшен,
Когда я видел: немощный ойрот
Гнал по степям, политым кровью нашей,
Наш гордый, многочисленный народ.
В мой судный час с печалью и тоскою
Взирал я на беспомощных людей,
Могучих духом, разумом, рукою,
Бессильных от усобицы своей.
Я примирить поклялся с братом брата,
Но, если надо, брата не жалеть.
Лишь эта цель была чиста и свята,
И только ей служить я буду впредь.
За эту цель все, чем владел когда-то,
Я потерял, я все готов стерпеть.
И даже если мать моя родная
Путь преградит мне, плача и рыдая,
С молитвой иль проклятьем на устах,
Перешагну я, жалости не зная,
Через нее!..

Батима-ханум

В меня вселяют страх
Твои слова; где разум твой всегдашний?

Да отвратит тебя скорей аллах
От слов таких, от мысли этой страшной.

Султан Сауран

Мой хан, иного случая у нас
Не будет больше; должен ты решиться.
Согласье дай, прошу в последний раз!

Хан Абулхаир

Кровь братьев лить могу ль я согласиться?
Меч убери.

Султан Сауран

Когда б на полдороге
Мне знать, что все слова и клятвы — ложь,
Что и в базарный день цена им грош.
Ну что ж, и ныне, в час твоей тревоги,
Меня с собою рядом не найдешь.

(Поворачивается, чтобы уйти.)

Батима-ханум

Постой, мой Сауран, останься с нами!

(Султан Сауран, не оборачиваясь, уходит.)

Хан Абулхаир

Как он упрям, аллах его прости!
Он станет биться головой о камень,
Но не свернет со своего пути.
Остался я с грызущеюся сворой,
В тяжелый час куда теперь идти?
Он был моей единственной опорой.

Батима-ханум

Я чувствовала: так должно и быть.
Случилось, что должно было случиться.
Мы не смогли надежный кол забить,
Чтоб в час тяжелый за него схватиться.

Хан Абулхаир

Избегнуть мы сумели многих зол,
Разбить врага, а все не слава богу.
Наш караван невесть куда зашел...

Батима-ханум

Ты выведешь казахов на дорогу,
Как ранее спасал их от невзгод,
Как победил ойрота в тяжкий год.
Бог милосерден, он тебе поможет.

Хан Абулхаир

Враг, что внутри, сильнее, чем ойрот,
Ни меч его, ни пика не берет.
Стрела и та догнать его не может.
Как распрю ни души, она живет.

Батима-ханум

Я знаю: власть не радость, а напасть.
Даря ее, не делают услугу.
Так почему же вы, борясь за власть,
Готовы горло перегрызть друг другу?
Когда бы понимал заране тот,
Кто знаком власти хочет быть отмечен,
Что власть ему не радость принесет,
А взвалит тяжкий груз ему на плечи.
Власть удержать настолько мудрено,
Что не жалеют ни отца, ни брата.
Меж тем в конечном счете все равно,
Что б мы ни делали, грядет расплата.

Хан Абулхаир

Я думаю, ханум, ты не права,
Ты знаешь, дни мои все тяжелее.

Батима-ханум

Я не злорадствую, я сожалею
О том, что доля хана такова.

Хан Абулхаир

Да, знает тот, кто властью обладает,
Что власть — тяжелый золотой хомут,
И шею золото больней стирает,
Чем войлок. Раны жить мне не дают.
Я шорох слышу за своей спиною.
То — власть-змея, я от нее бегу.
Пожертвовал я честью и женою,

И совестью, а все равно в долгу.
Я и детей избавить не смогу
От всех долгов, записанных за мною.
За власть мы платим, наш таков удел.
И вновь она кровавой дани жаждет.

Батима-ханум

За власть твою я заплатила дважды.

Хан Абулхаир

До сей поры прощения не смел
Просить за кровь, пролитую однажды.
Прости меня, как грех мой ни велик.
За Жанарыса с самого начала
Меня ты никогда не попрекала,
Благодарю, я вечный твой должник.
Семнадцать лет мы прожили иль боле.
Прости, бывал я не по сердцу крут.
Тебя любя, любви я не дал воли,
Я думал, что сидящий на престоле
Не может быть таким, как прочий люд.
Тень Жанарыса я поныне вижу,
Чья кровь — мое проклятье, мой позор.
Во имя цели, даже самой высшей,
Нельзя идти душе наперекор.

Батима-ханум

От крови, от жестокости твоей
В те годы грудь моя окаменела,
И лишь рожденье наших сыновей
Холодный этот камень отогрело.
Жена и муж, у нас ярмо одно,
Мы в том ярме должны идти до края,
Свое бессилье от врагов скрывая,
Покуда нам упасть не суждено.

Хан Абулхаир

Жена моя, в раздумиях напрасных,
Когда не спал я ночью под кошмой,
Я некий шаг обдумывал опасный,
Которого страшился предок мой.
Я на сомнение себя обрек.
Глава родов, не мог не понимать я,

Что, ошибись хоть на один вершок,
На тыщи лет я заслужу проклятья.

Батима-ханум

Что тайна жжет тебя, я и сама
Могла понять, и вот волдырь прорвался.

Хан Абулхаир

Но как ты догадалась, Батима,
Я тайну скрыть и от себя старался.

Батима-ханум

Своя душа у каждого из нас,
Но мы с тобою спим в одной постели.

Хан Абулхаир

Наш заблудился караван сейчас,
А надо довести его до цели.

Батима-ханум

Ну что ж, властитель мой, решай, спеши
Путь отыскать — ты караван-баши,
И нету вожака тебя умелей.

Хан Абулхаир

Как объяснить — цель наша далеко,
К ней каравану выйти нелегко,
Пески тропу пред нами засыпают,
Но есть одна тропа, и вот по ней
Хочу идти я.

Батима-ханум

Говори ясней.

Хан Абулхаир

Сомнения меня одолевают,
Но все же ханов нынешний уход
Намного укрепил мое решенье.
Нельзя, чтоб снова испытал народ
Великих бедствий горе и мученье.
Должны мы обрести надежный кров,
Чтоб там в буран и в зной могли укрыться,
В Рессей хочу я отрядить послов...

Батима-ханум

Ты что, урусам хочешь подчиниться?

СХВАТКА

Ставка хана Абулхаира. Хан Абулхаир, Батима-ханум, Букенбай, Сейткул.

Хан Абулхаир

Из дальних странствий ты, Сейткул, сейчас
Пришел, и мы, сидящие на месте,
Хотели бы услышать твой рассказ,
Что заприметил твой орлиный глаз
В земле урусов? Все ли честь по чести?
Царь Петр хотел державу на века
Скрепить своей могучей царской дланью,
И все же ныне женская рука,
Быть может, расшатала основанье?

Сейткул

Нет, повелитель, их страна пока
Стоит, как врытый столб, не покривится,
И не была от века столь крепка
И велика рессейская столица.
И в дальних и в соседственных краях
Урусы все так прочно слиты с нею,
Что кажется: царица их сильнее
Здесь, на земле, чем бог на небесах.

Хан Абулхаир

Великий Петр был тем и знаменит,
Что сбил державу, и она на части
Распасться не должна, но недруг зрит:
Сейчас на троне женщина сидит,
А женщина не создана для власти.

Букенбай

Нет, алдияр[1], крепка урусов рать,

---

[1] Полководец.

И все подпорки трона столь надежны,
Что на него без страха ныне можно
Не токмо бабу, а дите сажать.
На поле ратном недруг, преуспев,
Не потеснил пока ее пределы.

Сейткул

Посол к нам прибыл от царицы белой
Мамед-мирза почтенный Тевкелев.

Хан Абулхаир

Что ж, честь ему должна быть воздана.
Веди его, аллах нам да поможет!

(Сейткул уходит.)

Тебе же, друг мой, и тебе, жена,
Хочу поведать, что меня тревожит.
Усобицей земля истомлена,
И даже в дни согласия, быть может,
Мгновенно искра малая одна
Непрочное единство уничтожит —
И вновь междуусобная война,
И тьма казахов головы положит.
Я не щадил ни силы, ни труда,
Чтоб всех объединить, но труд упорный
Напрасен был, глядел я не туда.
И я решил идти тропой неторной,
Посла царицы я призвал сюда.

Батима-ханум

На добрые дела тебя создатель
Благослови. Но опасаюсь я:
Тебе коварством недруги заплатят.
А кто с тобою? Где твои друзья?

Букенбай

Кто сыновей казахов вразумит
Дарить друг друга верой и любовью?
Из нас податься каждый норовит
Один в низовье, а другой в верховье.
Мой хан, я прост, и ты меня прости,
Хоть путь, тобою избранный, неведом,
Мне ведомо: иного нет пути.

Ты верно рассудил, и я идти
Готов повсюду за тобою следом.

Хан Абулхаир

За власть борясь, друг друга предадут
И душу Азазелю продадут.
А власть возьмут — так удержать легко ли?
Для этого вершат неправый суд.
Я власть свою тесню по доброй воле.
Нет ни пути иного, ни лазейки,
И не должны мы закрывать глаза...

(В сопровождении небольшой свиты входит Тевкелев, за ним Сейткул.)

Тевкелев *(низко кланяясь)*

Поклон мой низкий, ас-салам-алейкум!

Хан Абулхаир

Алейкум-ас-салам, Мамет-мирза!

Тевкелев

Ее величество императрица и самодержица всея Руси, Руси Малой и Белой, богоподобная царица северных и восточных владений Анна Иоанновна милостиво и добросердечно откликнулась на ваше послание и решила, проявив благосклонность, принять кочевников киргиз-кайсаков под свое мудрое покровительство. Для исполнения Ея высочайшей воли я — Мамет-мирза Тевкелев-углы, прибыл сюда послом, дабы принять от вас — Абулхаира-Багадура-хана присягу в верности и беспрекословном подчинении самодержице империи Российской. Ее величество повелела вручить вам сию грамоту!

(Подает Абулхаиру царскую грамоту. Абулхаир прикладывает ее к темени и низко кланяется.)

Хан Абулхаир

Да пошлет аллах Ее величеству, великой благодетельнице народов, солнцеликой императрице-ханум долгих лет жизни и здравия! Аминь!

Тевкелев

Ее величество императрица Анна Иоанновна посылает вам, Абулхаиру-Багадуру-хану свое высочайшее благо-

воление и велит передать сии дары как знак Ея царской милости.

(Подает хану Абулхаиру соболью шубу, бобровую шапку, саблю голубой стали и прочее.)

Хан Абулхаир

Я много доволен и растроган щедростью и бесценным даром Ее величества солнцеликой царицы. В добром ли здравии и могуществе пребывает благодетельница наша, Мамет-мирза?

Тевкелев

Благодарение аллаху, в полном здравии и благополучии.

Хан Абулхаир

Благополучно ли все в государстве вашем?

Тевкелев

Аллаху слава, наша сторона
Благодаря провидице мудрейшей
Во дни сии достаточно сильна —
Среди иных держав слывет сильнейшей.
Быть потому вам тоже суждено
В числе земель, ее стране покорных.
Но много ли противников упорных
Того, что мудростью порождено,
Противников среди князей, равно
Как средь простого люда, кости черной?

Хан Абулхаир

Мамет-мирза, в учености своей
Вам ли того не знать, что с сотворенья
Так не было, чтоб множество людей
Одно имело общее сужденье.
И все же в большинстве казахский люд
Меня за шаг мой смелый не осудит,
А вскоре правоту мою поймут,
Уверен я, и остальные люди.
Вот Букенбай-батыр за что мне мил?
Он в Среднем жузе не последний воин,
В моем решенье он опорой был.
Ему я верю, он того достоин.

Тевкелев

Салам-алейкум, Букенбай-батыр.

Букенбай

Салам, Мамет-мирза, покой и мир
Ниспосланы тебе да будут свыше!

Тевкелев

Молва и к нам доходит из степей,
И потому о доблести твоей
Уже давно и много я наслышан.
Отрадно, что прямой ты путь избрал,
Связал судьбу с судьбою хана смело.

Букенбай

С судьбой народа я судьбу связал,
Хочу ему во благо делать дело.

Тевкелев

К врагам престола трон непримирим,
Грозна с врагами белая царица,
Но милостлива к подданным своим,
Особо к тем, кем должно ей гордиться.
А потому сейчас пятьсот рублей
За верность из казны тебе дарю я.

Букенбай

Благословенье щедрости твоей,
Но верностью своей я не торгую.

Тевкелев

От золота не многие из нас
Откажутся; поступок твой похвален,
И все ж от царской милости отказ —
Не дерзость ли?

Букенбай

Премного опечален,
И вновь хочу за честь благодарить,
Но все-таки от денег отказаться.
И самому, чтоб дело завершить,
Тебе в дороге деньги пригодятся.

А нет — от царской милости вкусить
Охотникам не долго отыскаться.

Хан Абулхаир

Достопочтеннейший мирза Мамет,
Отцы народа скоро соберутся,
А завтра будет главный наш совет.
Поспорят меж собой и разойдутся,
И все же станет многое ясней.
Народ наш дикий, не всегда послушный,
Порою как косяк степных коней,
Попробуй загони его в конюшни,
А впрочем, это, может, и не худо.

Тевкелев

Иль отпустили повод вы слегка?
Слух доходил до нас издалека:
У здешнего властителя покуда
Была довольно сильная рука.

Хан Абулхаир

Поспорить тоже надобно кому-то,
Не все едино мыслят, и всегда
В толпе бывают те, что сеют смуту.

Тевкелев

Почтенный хан, все это не беда.
А главное, что трудное начало
Удачным завершается концом.
Императрица долго размышляла,
Посланье ваше получив с гонцом.
Ей ведомо: казахи своенравны,
Правителей своих и то не чтут,
А чтить чужих не станут и подавно.
Чуть что, так откочуют и уйдут.
Закон не будут исполнять исправно,
От клятвы, ныне данной, отойдут.

Хан Абулхаир

Нам ведомо, мирза, во все века
В Рессее вашем у владыки трона
Щедра бывала в милости рука,
А в гневе тяжела и непреклонна.

И все равно назад нам не идти,
Как поначалу не пришлось бы туго,
Совместный путь далек, и мы в пути,
Бог даст, притремся и поймем друг друга.

Батима-ханум

Ты прибыл к нам, мирза, послом чужим,
Но ты — башкир, а значит ветвь родная.
Мы юрту по достоинствам твоим
Поставили на берегу Тургая.
Устал ты от пути и тяжких дум.

Тевкелев

Аллах тебя спаси, моя ханум.

(Батима-ханум и Тевкелев со свитой уходят.)

Хан Абулхаир *(Сейткулу)*

Сейткул, ты верный мне слуга и брат,
И служат слух и нюх тебе исправно.
Что люди думают, что говорят,
Скажи мне.

Сейткул

Люди разно говорят,
А думают по-разному подавно.
Люд черный твоему решенью рад
И видит благо в верности России.
Иные ропщут, многие молчат,
И ничего не знают остальные.
Я слышал, как богатый аксакал
Ворчал сегодня, побелев от злости,
Мол, все дары себе властитель взял...

Хан Абулхаир

(Показывая на царские подарки.)

Скорее кинь собакам эти кости!

(Хан Абулхаир и Сейткул уходят. Появляется Батима-ханум.)

Батима-ханум

Был Сауран и смолоду упрям.
Вернется ль он? Я думаю об этом.

Но верным в дружбе быть — не это ль нам
Завещано пророком Магометом?
О чем сейчас молюсь, о чем прошу?
Пусть Сауран к нам снова возвратится.
Вновь я надеждой ложною грешу,
Опять остывший пепел ворошу,
Хоть знаю: в пламя он не превратится.
Где мой былой всегда спокойный ум
И нрав мой, легкостью своей счастливый?

(Входит султан Сауран.)

Султан Сауран

Поклон мой низкий, Батима-ханум!

Батима-ханум

Тебе почтенье, деверь мой строптивый.

Султан Сауран

Мы с ханом не поладили твоим.
Теперь дорогам нашим не скреститься,
И все-таки решил я возвратиться —
К твоей мольбе не мог я быть глухим.

Батима-ханум

Не отрекись, султан, от старой дружбы,
Случился спор — невелика беда.
Спешить с разрывом никогда не нужно.

Султан Сауран

Нет, с ханом разошлись мы навсегда.

Батима-ханум

Султан мой милый, твой поспешен суд.
Чего порою в дружбе не бывает!

Султан Сауран

Где дружба, если клятвы нарушают
И все, что было свято, предают?
Тот стал врагом, кого я раньше славил,
И я один, ненужный никому.

Батима-ханум

Но, как создатель, сам ведь ты расставил
Всех нас по разуменью своему.
Иль, может, твой расчет был слишком скорый,
А может, сам ты преступил предел
Иль стала цель тусклее, для которой
Когда-то ты меня не пожалел?

Султан Сауран

Ты все года копила злобы яд.
Ну что ж, злорадствуй, может, станет слаще.

Батима-ханум

Была бы злоба, в злобе жены мстят,
А месть от муки избавляет мстящих.

Султан Сауран

Хоть моему терпенью есть предел
И мне с твоим не примириться мужем,
Ты, Батима-ханум, не стала хуже
Лишь потому, что муж твой похужел.
Я многожды за это время клялся
Мечом предательство его пресечь,
Но думал о тебе, и опускался
В руке нетвердой справедливый меч.

Батима-ханум

Твердишь ты о бессилии своем,
А сам похож на тучу над полями.
Подумать страшно мне, что станет с нами,
Когда прольешься грозовым дождем.

Султан Сауран

Мне надо б стать грозою и сурово
За все обиды хана покарать,
Но, видишь, суесловлю я опять,
Давнишней слабости поддавшись снова.

Батима-ханум

Я о твоей любви мечтала ране,
Лишь о покое ныне я пекусь.
Мне кажется, что поместить я тщусь
В один казан две головы бараньи.

Я у тебя, султан, прошу пощады,
Мою исполни просьбу, удружи.

Султан Сауран

Я за тебя, ханум, и в пламя ада
Согласен прыгнуть, только прикажи.

Батима-ханум

Прошу тебя: к Абулхаиру ныне
Не относись, как к своему врагу,
А уступи, смири свою гордыню,
Сойди с его дороги.

Султан Сауран

Не могу!
Уж лучше ты, припомнив все, что было,
Безумье мужа как-то обуздай...
Отговори...

Батима-ханум

Мне это не по силам,
Меня на путь свой ложный не толкай.

Султан Сауран

Что ж, попаслась вблизи осла кобыла,
Так по-ослиному заговорила.
Выходит, умерла моя Бопай?

Батима-ханум

Не сам ли смерти ты ее обрек,
К Абулхаиру затянув в чертог.
Смириться могут все, и я смирилась,
Я положилась лишь на божью милость,
И ненадолго дал мне счастье бог.
Здесь нет Бопай, и не вернуть былого.
Где это видано, чтоб, скот продав,
Купец его забрать хотел бы снова...
И впрямь я повторяю мужа слово
И в том не вижу ничего дурного,
Тем более, что он сегодня прав.

Султан Сауран

Моя ханум, коль скоро я вернулся,
Открою то, что глубоко таил.

Признаюсь, как я в жизни обманулся,
Когда любовь свою пресечь решил.
Я в заблужденье пребывал великом.
Минует все — я думал — стороной,
Как только станешь ты чужой женой,
Главу покроешь белым жаулыком,
Но ревность жгла меня еще сильней,
Чем жгла любовь прошедших наших дней.
Я в степь скакал один, кричал я криком.
Потом, когда прошло немало дней,
Я убедился: пламя не погасло,
И новый облик зрелости твоей
Меня томил и мучил все сильней,
В огонь мой адский подливая масло.
Я горевал сильнее, чем вначале.
И чтоб забыться, преступил закон.
Себе избрал я шесть прекрасных жен,
Но заглушить не мог своей печали.
Ведь сказано недаром: «Сто ворон
Заменят лебедь белую едва ли».
И хоть мои мученья все сильней
И, словно дикий зверь, мечусь я в клетке,
Все ж мне вовек не быть среди людей,
Кому по вкусу ханские объедки.

Батима-ханум

Не трать, султан мой, столько гневных слов.
И хану тяжело на перепутье.
И без того достаточно врагов.
Будь рядом и пойми — он прав по сути.

Султан Сауран

Выходит, у меня у одного
Нет ни беды, ни горя, ни печали,
Меня оклеветали, обобрали,
Нет ничего и рядом никого.
И не любви уже, а гнева пламя
Внутри меня бушует и вокруг.
Мне даже ты, ханум, не свяжешь рук.
Властитель бывший мой, мой бывший друг
Пусть знает: смерть стоит теперь меж нами,
Как ты стояла раньше...

(Уходит.)

Батима-ханум

Быть беде!
Великий наш аллах, когда и где,
Над кем из них меч занесешь, не знаю,
Но умоляю: чудо соверши —
Не кровью спор их грозный разреши.
Лишь твоему суду я доверяю
Две дорогие для меня души.

КЛЯТВА

На высоком холме собрался народ. Впереди хан Абулхаир, Батима-ханум, Тевкелев, Букенбай, Сейткул. Отдельной группой стоят султаны Сауран, Барак и другие.

Хан Абулхаир

Друзья единокровные, не вы ли
В степях своих едва ли не вчера
Свободно кочевали, вольно жили?
Но безмятежная прошла пора.
Сегодня мы окружены врагами,
В степях привольных стало трудно жить.
И Бедствия великого нам с вами
И даже нашим детям не забыть.
Чтобы несчастью вновь не повториться,
Чтоб нашим землям был неведом страх,
Нам нужен кров, где б в снегопад укрыться,
Нам нужен друг, с которым вместе биться
И, преуспев в раздумьях и трудах,
В тяжелую для нас, казахов, пору
В рессейском троне я нашел опору.

Голоса:

— Благослови дела твои, аллах!
— Мы не должны гяурам покориться!
— Нам от врагов одним не защититься!

Хан Абулхаир

Единоверцы, прежде чем решить,
Должны ль с Рессеем мы объединиться,

Посол ее величества царицы
Мамет-мирза желает говорить.

Тевкелев

Казахи, бог спаси вас ото зла.
Царица русская, чья власть и слава
Российские пределы перешла,
Чтобы избавить вас от войн кровавых,
Желанью хана вашего вняла
И ваш народ достойный приняла
Под покровительство своей державы.
Давно уже татары и башкиры
Под русской властью обрели покой.
И вам, казахам, под ее рукой
Жить вечно в благоденствии и мире.
Вы станете сильнее во сто крат
Под верною защитою России,
Которую и недруги былые
Уже давно благоговейно чтят.

Султан Барак

О вашей силе мы все время слышим,
Но если правда столь могучи вы,
Что ж не востребовали мзду с Хивы
За подлое убийство Бекабиша?

Тевкелев

Султан Барак, что было, то прошло,
И как цари ни строги, но порою
Прощают за содеянное зло,
Рожденное неведеньем и тьмою.

Султан Сауран

Как говорит, гляди, какой герой!
Невелика заслуга петушиться,
Когда стоишь за каменной стеной.
На прыть твою взглянуть бы, коль случится
В степи одним сразиться нам с тобой.

Хан Абулхаир

Друзья единокровные, у тех,
Кто хочет на ладье доплыть до суши,
Одна судьба, хоть и различны души,

Наш край — корабль, одна судьба у всех.
И голос разума должны мы слушать,
Чтоб наш корабль остался невредим.
Согласны ль вы с решением моим?

Султан Сауран

Я вижу, люди, многим вам по нраву
Зреть над собой рессейскую державу,
Но я вас не виню, наоборот,
Вы слишком одичали от невзгод,
И ханы, в вечной зависти и злости
Дерущиеся из-за каждой кости,
Лишили пониманья свой народ.
Вы, у которых старики и жены,
И те с врагами бились в страшный год,
Клич ваших предков, давние законы —
Все позабыли, превратились в сброд.
Вы побеждали всех врагов, бывало,
И под копытами земля дрожала,
А ныне, разобщенных, что нас ждет?

(Абулхаиру)

Я на тебя надежду возлагал,
Но мы не стали, как я полагал,
Дружней и крепче под твоим началом.
Не стало меньше распрей, меньше зла,
Рога у холощеного козла
Хотя и велики, но проку мало.

Голоса:

— Вот сказанул!
— Вот это голова!
— Нам мир нужней, чем красные слова!

Хан Абулхаир

Не возносись, мой Сауран, сейчас,
Спустись на землю, где дела земные.
Ты видишь: у кочевников, у нас
Уперлись кони в стены крепостные.
Соседи овладели ремеслом
И города построили большие,
А мы все вспоминаем о былом.
Где крепости, где башни боевые,

Чтоб ныне устоять перед врагом?
Кочевники — сегодня суть бродяги.
А я забочусь о всеобщем благе.
Был дик джунгарец, пьяный от побед,
А ныне где его былые стяги?
Ищи в пустыне чуть заметный след.
И я боюсь: пройдет немного лет,
Мы, не осевши, все сойдем на нет,
Какой ни проявили бы отваги.
От вас я должен получить ответ.
Итак, идти с Рессеем вы хотите ль?

Голоса:

— Ты рассуждаешь мудро, повелитель!

Султан Сауран

Нет, хан почтенный, волка кормят ноги,
А храбреца — походы и дороги.
Так мудрость наша старая гласит.
Когда казах сойти с коня решится,
Своей отваги, крыльев он лишится,
Начнет овец пасти былой джигит.

Хан Абулхаир

Я погляжу, как понесет твой конь
Тебя на пушку, на ее огонь,
И как на крепость твой скакун помчится!
Мы быть должны под сильною рукой,
Обосновать и укрепить столицу
И крепости. Согласны ль вы со мной,
Единокровные мои, скажите?

Голоса:

— Хан, за тобою мы, как за стеной!
— Ты прав — народ нуждается в защите!

Султан Барак

Другое в замысле твоем таится:
О благе края отчего трубя,
Ты русским троном хочешь защититься
От ханов, что достойнее тебя.

Букенбай

Нет, друг мой Сауран, и ты, Барак,
Не согласиться с вами мне никак.
Чтоб жизнь казахов стать могла бы краше,
Пора прибиться к месту и пора
Перенести в затишье юрты наши,
Чтоб их не продували все ветра.
Детей от бед избавить в нашей воле.
И повелитель истину глаголит.
Брат Сауран, ты свой обдумай шаг.

Султан Сауран

Я думал, Букенбай, джигит бывалый,
С мечом способен ринуться на скалы,
А он спешит запрятаться в овраг.

Султан Барак

Абулхаир, напрасно с этим делом
На нас ты понадеялся сейчас.

Султан Сауран

Отправь назад посла царицы белой,
А то живым он не уйдет от нас.

Букенбай

(Вынимает из ножен меч, протягивает Султану Саурану.)

С твоим мечом расстаться не хотел я,
Но вот возьми, а то не ровен час...

Султан Сауран

Но мы ведь в дружбе вечной поклялись!

Букенбай

С тобой мы вместе шли, да разошлись.
Я не могу, султан, тебе позволить
Убить посла и гнев на всех навлечь.

Султан Сауран

Так, значит, вот куда ты клонишь речь!
Что ж, я готов твою исполнить волю.

(Батыры обмениваются оружием, мечами.)

Нартай

Сказать дозвольте слово мне!

Голоса:

— Давай,
Нартай-батыр, скажи нам слово с миром!
— Какой Нартай батыр, он — раб Нартай!
— Он был рабом, за храбрость стал батыром.

Хан Абулхаир

Что ж, начинай.

Нартай

Султан сказал, друзья,
Что храбреца и волка кормят ноги.
Сказал, что их добыча на дороге.
И это правда, возразить нельзя.
Но где добыча слабых и убогих,
Старух и стариков, детишек многих?
Султан почтенный скажет пусть о том.

Султан Сауран

Но дело храбреца — в походе ратном
Заботиться о племени своем.

Нартай

Мы, воины, не все назад придем.
Судьба не будет всем благоприятной.
Что будет с нашими детьми потом?
Я добываю хлеб своим трудом.
Пусть будет мирным он и благодатным.
И я устал весь век махать мечом,
Хочу пасти стада, поставить дом.
А если вновь война, что станет с нами?

Голоса:

— Он слово молвит нашими устами!
— Довольно бед, и войн, и прочих зол...

Букенбай

Решенье хана нечего иначить.
Я подпирать готов его престол

И жду, чтоб средний жуз за мной пошел.
Абулхаир, дай бог тебе удачи.

Голоса:

— Мы держимся, батыр, за твой подол!

Хан Абулхаир

Единоверцы, братья, это значит,
Что мы идем с Рессеем...

Голоса:

— Решено!
— Пусть все свершится так, а не иначе!

Султан Сауран

Не быть нам вольным ни под чьей рукою!

Хан Абулхаир

Пусть будет миром вознаграждено
Согласие, созревшее давно.
Упрямые султаны, только двое,
Со всем народом вы не заодно.

Голоса:

— Согласье нам с Рессеем суждено!
— Ты с нами, повелитель, мы с тобою!

Хан Абулхаир

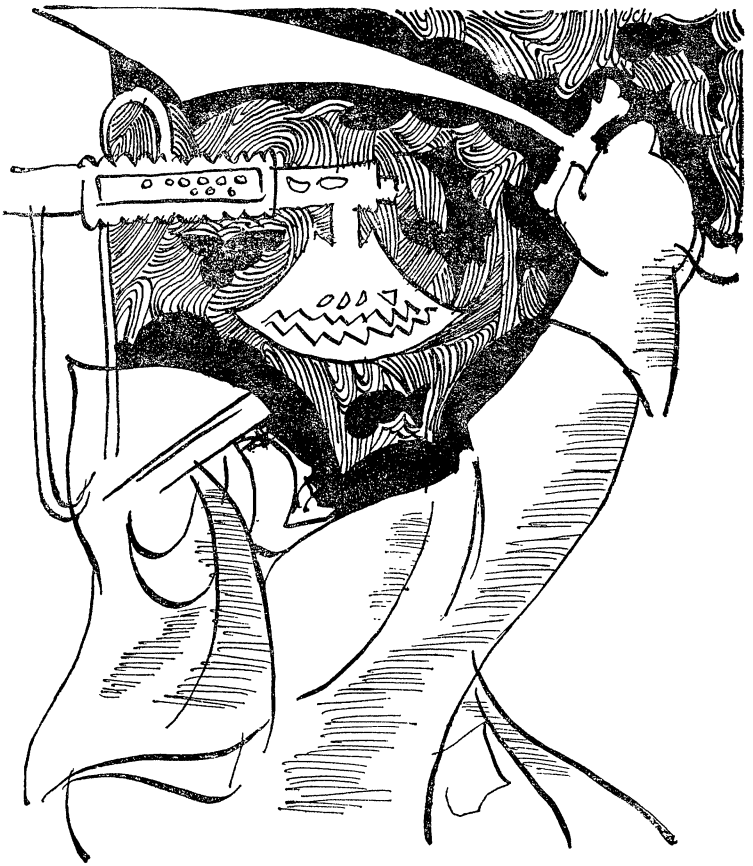
Так значит порешили!

Голоса:

— Решено!

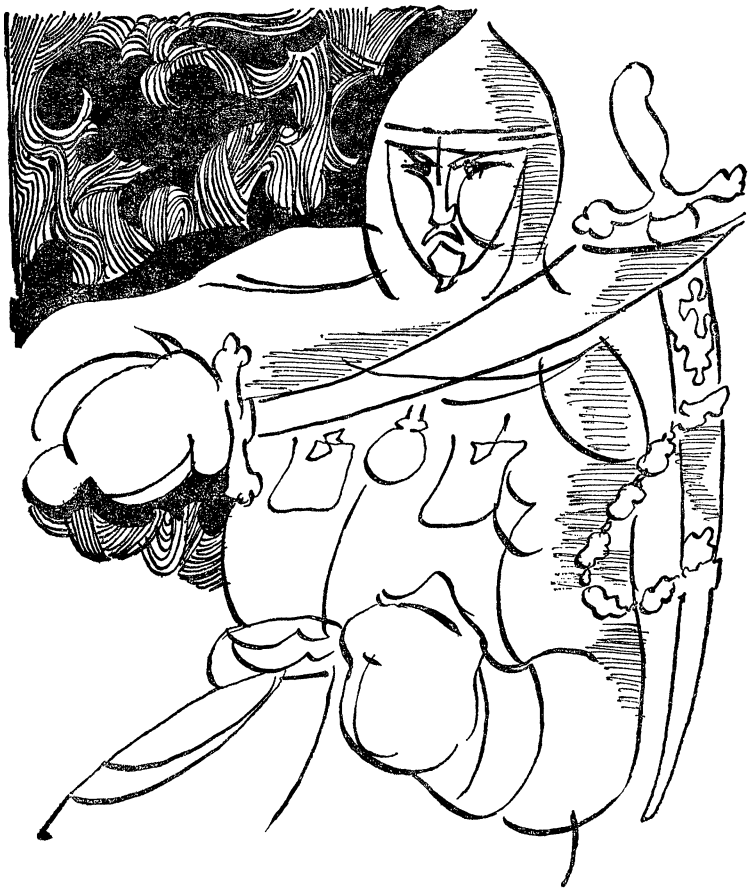
Султан Барак *(Саурану)*

Весь черный люд Абулхаир умело
Сейчас на сторону свою склонил,
Но и у нас еще довольно сил.
Покуда мы не проиграли дела.
Нельзя и ханам преступать предела,
Предел Абулхаир переступил.
Так действуй ты решительно и смело.



Султан Сауран

Абулхаир, так вот каков твой нрав.
Служил тебе я преданно и честно,
Тебе свою любимую невесту
Я отдал, веря, что один ты прав.
А нынѣ со своей поклажей скудной
Остался я один в степи безлюдной.
А ты, всего до нитки обобрав,



Как видно, трусом счел меня ничтожным,
И стал твой путь предательства возможным.
Но я не трус, тебе мой ведом нрав.

Тевкелев

Сородичи-казахи, Ее величество солнцеликая императрица прислала меня принять у хана казахов Абулхаира Бахадура присягу в верности российскому трону. Алдияр, готов ли ты к присяге?

Хан Абулхаир

Ты, верный мой, возлюбленный народ,
Мне власть вручил, чтоб вел тебя я к цели.
Был путь тернист, мы множество невзгод
И перевалов трудных одолели.
И что еще нас на дороге ждет,
Какие испытанья и мытарства?
Но не одни мы ныне, с нами царство,
Что нас под руку сильную берет.
И пусть отныне мы в одно сольемся.
Так поклянемся в верности!

Голоса:

— Клянемся!

Султан Барак

Что медлишь, Сауран, час настает!
Ужель ты не поднимешь меч свой правый?..
Все потерял теперь казахский край,
Сначала потерявши разум здравый.

Султан Сауран

Ну что ж, Абулхаир, исход кровавый
Ты сам избрал и на себя пеняй.
Что получил ты от меня задаром,
Сейчас я возвращу одним ударом.

(Мечом пронзает грудь хана. Абулхаир падает, обливаясь кровью. Батима-ханум бросается к нему. Толпа в ужасе. Гул, ропот, крики.)

Султан Барак

Властителю насквозь пронзил он грудь.
Возмездие находит всех, и ныне
Мне надо притаиться где-нибудь,
Покуда кровь владыки не остынет.

(Поспешно уходит.)

(Букенбай выхватывает меч, бросается на султана Саурана. Тот защищается.)

Султан Сауран

Скрестить мечи попробуем! Однако
Так просто я не дамся, Букенбай!

Сейткул

(Глядя вслед торопливо уходящему Бараку.)

Султан Барак, он всех стравил, вояка,
А сам теперь бежит, хоть догоняй!

Букенбай *(сражаясь с Саураном)*

Брось меч, султан, хотя бы нашей дракой
Ты ханской гибели не оскверняй.

(Султан Сауран смиренно опускает голову и бросает меч.)

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

Все, как в первой сцене. Батима-ханум в траурных одеждах. Закованный султан Сауран, охраняемый стражниками, стоит перед нею.

Батима-ханум

Султан, ты все сказал мне напрямик.
Своей рукою, кровью обагренной,
Сейчас ты прямо в душу мне проник.
И в ней, былой любовью опаленной,
Все взбудоражил, а чего достиг?

Султан Сауран

Чего ж достичь я мог, свершивший зло?
Твой муж, отправясь в путь свой безвозвратный,
Взял выигрыш с собой десятикратный,
А я один, и как мне тяжело,
Никто не знает. То, к чему стремился,
Чего достичь я понапрасну тщился —
Все разлетелось, прахом все пошло.
Я проиграл, мое минуло время.
Я, как бывало, вновь не вознесусь,
Не выну меч, не вдену ногу в стремя.

Батима-ханум

Я этого, султан мой, и боюсь.

Султан Сауран

Что говоришь ты, злобою объята?

Батима-ханум

Нет, мой султан, я лишь о том пекусь,
Чтоб мужа заповедь исполнить свято.
Семнадцать лет я шла его путем,
И в том пути погибли без возврата
Любовь моя и жизнь родного брата,
Я ежечасно думаю о нем.
Семнадцать лет женою я была,
Делила ложе с мужем и смирилась.
Трех сыновей ему я родила.
Цель поняла его и приняла
И к ней душой своею приобщилась.
Свободу не вольна тебе я дать.
Ты, став свободным, в эту же минуту
Опять воспрянешь и затеешь смуту,
И землю ввергнешь в бедствие опять.
Чтоб благоденствовать родному краю,
Чтоб мирно жить, тебя я обрекаю
На смерть; мне больше нечего сказать.

Султан Сауран

Ханум, я знаю, нет пути назад,
Но ничего другого и не надо.
Сейчас мне у тебя просить пощады
Страшнее всякой смерти во сто крат.
И все ж, тебя, любовь моя былая,
Я ныне от греха уберегу.
Не ты, а сам себя я покараю.
И это все, что, находясь у края,
Я сделать для тебя еще могу!

(Схватив пику стражника, закалывает себя. Падает.)

Батима-ханум

(Склоняется над Саураном.)

О боже, все равно велик мой грех.
Того, кто был всегда дороже всех,

Я к смерти не сама ль приговорила?
Но ту любовь, что ты отверг давно,
Поверь мне, пронесу я все равно
Не до твоей, а до своей могилы.

Султан Сауран *(произнося с трудом)*

Спасибо... Я люблю тебя, ты слышишь?
Как поздно я решил извечный спор.
Глупец, не понимал я до сих пор:
Во имя цели, даже самой высшей,
Нельзя идти душе наперекор.

Батима-ханум

Что ты наделал, мой султан!.. Прощай!
Тебя с любовью прежней провожаю
В неведомый твой путь!..

Султан Сауран

Моя Бопай
Не умерла, хоть сам я умираю! *(Умирает.)*

Батима-ханум

(Снимает траурное покрывало. Закрывает лицо султана Саурана. Волосы ее распущены. Она медленно поднимается.)

О господи, мой слабый женский разум
Твоих деяний мудрых не поймет.
Стоял на двух опорах наш народ,
Ты эти две опоры выбил разом.
Кто далее народ наш поведет?
Чем ныне будет путь его отмечен?
Ты слишком тяжкий груз взвалил на плечи
Мне, женщине! Что впереди нас ждет?

СОДЕРЖАНИЕ

БУРАН 7

ИНДИЙСКАЯ ПОВЕСТЬ 131

КЛЯТВА 373

Тахави АХТАНОВ

БУРАН

Приложение к журналу «Дружба народов»

М. «Известия», 1977, 464 стр. с илл.

Редактор приложений **Е. Мовчан**

Оформление «Библиотеки» **А. Гаранина**

Редактор **М. Серебрянникова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **Т. Васильева**

●

А09520. Сдано в набор 1/III-77 г. Подписано в печать 22/VII-77 г.
Формат 84 × 108 1/32. Бум. печ. № 1. Печ. л. 14,5. Усл. печ. л. 24,36.
Уч.-изд. л. 23,95. Зак. 1563. Тираж 200 000 экз.

Цена 1 руб. 21 коп.

●

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»,
Москва, Краснопролетарская, 16.

В 1977 году

издается 15 книг

библиотеки

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Т. Ахтанов — Буран. Роман. Повесть. Драматическая поэма. Перевод с казахского.

Г. Березко — Необыкновенные москвичи. Роман. Повести.

Э. Бээкман — Трилогия о Мирьям. Перевод с эстонского.

В. Богомолов — В августе сорок четвертого... Роман.

Е. Воробьев — Незабудка. Повести. Рассказы.

М. Галшоян — В Каменной долине. Роман. Повесть. Перевод с армянского.

Р. Гамзатов — Мой Дагестан. Повесть. Перевод с аварского.

Н. Думбадзе — Солнечная ночь. Романы. Перевод с грузинского.

В. Земляк — Лебединая стая. Роман. Перевод с украинского.

Избранное «Дружбы народов». Сборник.

И. Науменко — Сорок третий. Роман. Перевод с белорусского.

Не считай шаги, путник! Сборник. Выпуск второй.

Б. Полевой — На диком бреге. Роман.

В. Распутин — Живи и помни. Повести.

В. Санги — Женитьба Кевонгов. Романы. Повести. Рассказы.

Scan Kreyder - 28.01.2018 - STERLITAMAK